

Петр Дмитриевич Боборыкин

# Василий Теркин



# Петр Дмитриевич Боборыкин

## Василий Теркин

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=330112](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=330112)*

### **Аннотация**

«Василий Теркин» – попытка нарисовать нового человека деревни, вышедшего в люди благодаря собственным усилиям и сумевшего сочетать деловитый практицизм с преданностью идеалам.

# Содержание

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Часть первая             | 4   |
| Часть вторая             | 239 |
| Часть третья и последняя | 513 |

# Петр Дмитриевич Боборыкин Василий Теркин

## Часть первая

### I

Засвежело на палубе после жаркого июльского дня. Пароход «Бирюч» опасно пробирался по узкому фарватеру между значками и шестами, вымазанными в белую и красную краску.

На верху рубки, под навесом, лоцман и его подручный вглядывались в извороты фарватера и то и дело вертели колесо руля. Справа и слева шли невысокие берега верховьев Волги пред впадением в нее Оки. Было это за несколько верст до города Балахны, где правый берег начинает подниматься, но не доходит и до одной трети крутизны прибрежных высот Оки под Нижним.

Лоцман сделал знак матросу, стоявшему по левую руку, у завозного якоря, на носовой палубе. Спина матроса, в пестрой вязаной фуфайке, резко выделялась на куске синевшего

неба.

– Пять с половино-ой! – уныло раздалось с носа, и шест замахал в руках широкоплечего парня.

Помощник капитана, сухощавый брюнетик, в кожаном картузе, приложился губами к отверстию звуковой трубы и велел убавить ходу.

Пароход стал ползти. Замедленные колеса шлепали по воде, и их шум гулко отдавался во всем корпусе, производя легкий трепет, ощутимый и пассажирами.

Пассажиров было много, – все больше промысловый народ, стекавшийся к Макарию, на ярмарку.

Обе половины палубы, и передняя и задняя, ломились под грузом всякого товара. Разнообразные запахи издавал он. Но все покрывалось запахом стр.8 кожаных изделий со смесью чего-то сладкого, в больших ящиках с клеймами. Отдавало и горячим салом. Пассажиры второго класса давно уже чайничали у столиков, на скамейках, даже на полу, около самой машины. Волжский звонкий говор, с ударением на «о», ходил по всему пароходу, и женские голоса переплетались с мужскими, еще певучее, с более характерным крестьянским /оканьем. «Чистая» публика разбрелась по разным углам. Два барина, пожилые, франтоватые, в светлых пиджаках, расселись наверху, с боку от рулевого колеса. Там же, подставляя под ветерок овал побледневшего лица, пепельная блондинка куталась в оренбургский платок и бойко разговаривала с хмурым офицером-армейцем. В рубке купец,

совсем желтый в лице, тихо и томительнопил чай с обрюзгой, еще молодой женой; на кормовой палубе первого класса, вдоль скамеек борта, размещалось человек больше двадцати, почти все мужчины. Подросток гимназист, в фуражке реалиста и в темной блузе, ходил взад и вперед возбужденной широкой походкой и курил, громко выпуская клубы дыма.

– Пя-я-ть! – протянулся опять заунывный крик матроса, и пароход еще убавил ходу, но не остановился.

«Бирюч» сидел в воде всего четыре фута; ему оставался еще один, чтобы не застрять на перекате. Это не вызывало особого беспокойства ни в пассажирах, ни в капитане.

Капитан только что собрался пить чай и сдал команду помощнику. Он поднялся из общей каюты первого класса, постоял в дверях рубки и потом оглянулся вправо на пассажиров, ища кого-то глазами.

Плечистый, рослый, краснощекий, ярко-русый, немного веснушчатый, он смотрел истым волжским судопромышленником, носил фуражку из синего сукна с ремнем, без всякого галуна, большие смазные сапоги и короткую коричневую визитку. Широкое, сочное, точно наливное лицо его почти всегда улыбалось спокойно и чуточку насмешливо. Эта улыбка проглядывала и в желто-карих, небольших, простонародных глазах.

– Борис Петрович! – крикнул он с порога двери.

– Что вам, голубчик?

Откликнулся грудной нотой пассажир, старше его, лет за сорок, в люстриновом балахоне и мягкой шляпе, стр.9 худощавый, с седеющей бородкой и утомленным лицом. Его можно было принять за кого угодно – за мелкого чиновника, торговца или небогатого помещика. Что-то, однако, в манере взглядываться и в общей посадке тела отзывалось не провинцией.

– Чайку? – спросил капитан.

– Я готов.

– Так я сейчас велю заварить. Илья! – остановил он проходившего мимо лакея. – Собери-ка чаю!.. Ко мне!.. Борис Петрович, вы как прикажете, с архиерейскими сливками?

Пассажир в балахоне поморщился, точно его что укусило, и махнул рукой.

– Нет, голубчик, спиртного не нужно.

– Воля ваша!..

Они проходили по узкому месту палубы, между рубкой и левым кожухом. Колеса шлепали все реже, и с носа раздавалось без перерыва выкрикивание футов.

В рубке первого класса, кроме комнатки, где купец с женой пили чай, помещалась довольно просторная каюта, откуда вышел еще пассажир и окликнул тотчас же капитана, но тот не услышал сразу своего имени.

– Андрей Фомич! – повторил пассажир и пошел вслед за ним.

Слово «Андрей» выговорил он чуть-чуть звуком о вместо

а. И слово «Фомич» отзывалось волжским говором.

Он был такого же видного роста, как и капитан Кузьмичев, но гораздо тоньше в стане и помоложе в лице. Смотрел он скорее богатым купцом, чем барином, а то так хозяином парохода, инженером, фабрикантом, вообще деловым человеком, хорошо одевался и держал голову немного назад, что делало его выше ростом. На клетчатом темном пиджаке, застегнутом доверху, лежала толстая золотая цепь от бокового кармана до петли. Большую голову покрывала поярковая шапочка вроде венгерской. Из-под нее темно-русые волосы вились на висках; борода была белокурее, с рыжиной, двумя клиньями, старательно подстриженная. В крупных чертах привлекательного крестьянского лица сидело сложное выражение. Глаза, с широким разрезом, совсем темные, уходили в толстоватые веки, брови легли правильной и густой дугой, нос утолщался книзу, и из-под усов глядел красный, сочный рот с чувственной линией нижней губы.

Во второй раз он окликнул капитана звучным голосом, в котором было гораздо больше чего-то юношеского, чем в фигуре и лице мужчины лет тридцати.

– А! Василий Иванович! Что прикажете?

Капитан оставил тотчас же руку того, кого он звал Борисом Петровичем, и подошел, приложившись рукой к козырьку.

В этом поклоне, сквозь усмешку глаз, проходило нечто особенное. В красивом пассажире чувствовался если не на-



чальник, то кто-то с влиянием по пароходному делу.

– Как бы нам не сесть? – сказал он вполголоса.

– Бог милует! – вслух ответил капитан.

– Вы что же? За чаек приниматься думаете, а потом небось и на боковую, до Нижнего?

– Да, грешным делом.

В вопросах не слышалось начальнического тона; однако что-то как бы деловое.

Большие глаза Василия Ивановича остановились на пассажире в люстриновом балахоне.

– С кем вы это? – еще тише спросил он капитана.

– Вон тот?

– Да, бородку-то щиплет!

– Вы нешто не признали?

– Нет.

– И портретов его не видали?

– Стало, именитый человек?

– Еще бы! Да это Борис Петрович...

И он назвал имя известного писателя.

– Быть не может!

Василий Иванович снял шляпу и весь встрепенулся.

– Мы с ним давно хлеб-соль водили. Он меня еще студентом помнит.

– Как же это вы, батенька, ничего не скажете!.. Я валяюсь в каюте... и не знаю, что едет с нами Борис Петрович!

– Да ведь вы и на пароход-то сели, Василий Иванович, пе-

ред самым обедом. Мне невдомек. Желаете познакомиться?  
– Еще бы! Он – мой любимый! Я им, можно сказать, зачитывался еще с третьего класса гимназии.

Глаза красивого пассажира все темнели. У него была необычная подвижность зрачков. Весь он пришел в возбуждение от встречи со своим любимым писателем и от возможности побеседовать с ним вдосталь.

– Василий Иванович Теркин, – назвал его капитан, подводя к Борису Петровичу, – на линии пайщика нашего товарищества.

## II

Они сели поодаль от других, ближе к корме; капитан ушел заваривать чай.

Разговор их затянулся.

– Борис Петрович, – говорил минут через пять Теркин, с ласкою в звуках голоса. – За что я вас люблю и почитаю, это за то, что вы не боитесь правду показывать о мужике... о темном люде вообще.

Он все еще волновался и, обыкновенно очень речистый, искал слов. Его не смущало то, что он беседует с таким известным человеком; да и весь тон, все обращение Бориса Петровича были донельзя просты и скромны. Волнение его шло совсем из другого источника. Ему страстно захотелось излиться.

– Ведь я сам крестьянский сын, – сказал он без рисовки, даже опустил ресницы, – приеммыш. Отец-то мой, Иван Прокофьев Теркин, – из села Кладенец. Мы стояли там, так около вечерен. Извольте помнить?

– Как же, как же! Старинное село. И раскольничья модельня есть, кажется?

– То самое... Может, и отца моего встречали. Он с господами литераторами водился. О нем и корреспонденции бывали в газетах. Ответил-таки старина за свою правоту. Смутьяном прославили. По седьмому десятку в ссылку угодил по приговору сельского общества.

Добрые и утомленные глаза писателя оживились.

– Помню, помню. Читал что-то.

– Теперь он около Нижнего на погосте лежит. Потому-то вот, Борис Петрович, и радуюсь я, когда такой человек, как вы, правду говорит про мужицкую душу и про все, во что теперь народ ударился. Я ведь довольно с ним вожжался и всякую его тяготу знаю и, должно полагать, весь свой век скоротаю вокруг него. И все-таки я не согласен медом его обмазывать. Точно так же и всякие эти барские затеи... себя на мужицкий лад переделывать – считаю вредным вздором.

Лицо Теркина сразу стало жестче, и углы рта сложились в едкую усмешку.

– Затеи эти все лучше кулачества, – уныло выговорил писатель.

– Этим ни себя, ни мужика не подымешь, Борис Петро-

вич, вы это прекрасно должны понимать. Позвольте к вашим сочинениям обратиться. Всюду осатанелость забралась в мужика, распутство, алчность, измена земле, пашне, лесу, лугу, реке, всему, чем душа крестьянская жива есть. И сколько я ни перебирал моим убогим умишком, просто не вижу спасения ни в чем. Разве в одном только...

Он не договорил, оглянулся на плес реки, на засиневшие в вечерней заре берега и продолжал еще горячее:

– Вот она. Волга-то матушка! Порадуйтесь! До чего мы ее довели!.. По такому-то месту... сорока верст не будет до устья... По-моему, – сказал он в скобках, не Ока впадает в Волгу, а наоборот. И слышите, пять футов, а то и три с четвертью, не угодно ли? Может, через десять минут и совсем сядем на перекате. Я ведь сам коренной волжанин. С детства у меня к воде, к разливам влечение. К лесу тоже. А что мы из того и из другого сделали? И мужицкое-то сердце одеревенело. Жги, вырубай, мелей... ни на что отклика нет в нем. Да и сам-то, против воли, помогаешь хищению.

Писатель поднял на него глаза и усмехнулся.

– Андрей Фомич вам меня кандидатом в пайщики отрекомендовал. Это точно. Собираюсь судохозяином быть. Значит, буду, хоть и косвенно, помогать лесоистреблению. Ха-ха!.. Такая линия вышла. Нашему брату, промысловому человеку, нельзя себе карьеру выбирать, как папенька с маменькой для гоголевского Фемистоклюса. Дипломатом, мол, будет!..

– Вы в товарищество поступаете... вот в это самое? – спросил Борис Петрович.

– В это самое, только еще денег надо некоторое количество раздобыть...

Теркин опять перебил себя.

Разговор влек его в разные стороны. В свои денежные дела и расчеты он не хотел входить. Но не мог все-таки не вернуться к Волге, к самому родному, что у него было на свете.

– Судохозяином заправским станешь, Борис Петрович, – продолжал он так же возбужденно, – и начнутся муки мученские. Вот в Нижний коли придем не больно поздно, увидите – целый флот выстроился у Телячьего Брода. Ходу нет этим пароходам, вверх-то по реке. И с каждым летом все горше и горше. А господа набольшие... ученые путейцы... только государственные ассигнации всаживают в зыбучие перекааты. Будем вечерком подходить к Нижнему, извольте полюбоваться на путейскую «плешь» – так ведь их запруду зовут здесь. Перегородили без ума, без разума реку – и порог днепровский устроили; через него ни одна расшива перескочить не может. А ухлопали, слышно, триста тысяч!

И, точно испугавшись, что его главная мысль улетит, он подсел ближе к своему собеседнику, даже взялся рукой за полу его люстринового балахона и заговорил тише звуком, но быстрее.

– Где спасенье мужика? Коли не в какой-нибудь особой вере... знаете, такой, чтобы самую-то суть его забирала, – так

я и ума не приложу, в чем? Только ведь у сектантов и есть еще мирская правда, крепость слову, стоят друг за друга. И в евангельских толках то же самое, и даже у изуверов раскольников, хотя и у них уже многое дрогнуло, особенно по здешним местам. Без запрета, без правила... знаете, вот как у татар, в алкоране, – не будет ничего держаться. А с нищетою да с пропойством что вы устроите? Сначала надо, чтобы копейка была на черный день, для своего и для мирского дела; а накопить ее можно только, когда закон есть твердый во всяком поступке и в каждом слове.

– Копейка! – повторил со вздохом Борис Петрович, характерно наморщив одну бровь, и дернул бородку. – Насмотрелся я, голубчик, на юге, в новороссийских степях, на скопидомство. И у сектантов, и у православных. Ломятся скирды, гумны-то – на целой десятине, везде паровые молотилки, жнеи! Хозяева-то идола какие-то. Деньжищ! Хлеба! Овец!.. И все это мертвечина! – Глаза писателя уныло и мечтательно смотрели вдаль, ища волнистого следа, который шел от парохода. – У наших, у здешних, по крайней мере, на душе-то нет-нет да и заиграет что-то. Церквушку поставить. Лампадку засветить. Не зарылся, как те, идола, в свою кубышку!

Голос его упал, и он, нагнувши голову, стал искать в боковом кармане папиросницу.

Теркину сначала не хотелось возражать. Он уже чувствовал себя под обаянием этого милого человека с его задушевым голосом и страдательным выражением худого лица. Еще

немного, и он сам впадет, пожалуй, в другой тон, размякнет на особый лад, будет жалеть мужика не так, как следует.

– Церквушка! Лампадка! – вырвалось у него. Эх, Борис Петрович! Нет у него никакой веры. А о пастырях лучше не будем и говорить.

Он махнул рукой.

– Да у него своя вера. Поп сам по себе, а народ сам по себе.

– В том-то и беда, Борис Петрович, что православное-то крестьянство в каком-то двоеверии обретается. И каждый из нас, кто сызмальства в деревне посмотрелся на все, ежели он только не олух был, ничего кроме скверных чувств не вынес. Где же тут о каком-нибудь руководстве совести толковать?

Теркин опять махнул рукой.

– Все это верно, голубчик, – еще тише сказал писатель. – И осатанелость крестьянской души, как вы отлично назвали, пойдет все дальше. Купон выел душу нашего городского обывателя, и зараза эта расползется по всей земле. Должно быть, таков ход истории. Это называется дифференциацией.

– Читывал и я, Борис Петрович, про эту самую дифференциацию. Но до купона-то мужику – ох, как далеко! От нищенства и пропойства надо ему уйти первым делом, и не встанет он нигде на ноги, коли не будет у него своего закона, который бы все его крестьянское естество захватывал.

– Вы и тут правы, – выговорил писатель, и обе брови его поднялись и придали лицу еще более нервное выражение.

### Ш

– Борис Петрович! – раздался громкий голос капитана из-за рубки. – Чай остынет, пожалуйста!

Он подошел к ним.

– Заговорились? А вы, Василий Иванович, не откусываете?

– Я только что пил.

– Пожалуйста, Борис Петрович! Мне, грешным делом, соснуть маленько хочется. В Нижнем-то надо на ногах быть до поздней ночи. Вы ведь до Нижнего?

– Да, голубчик, там погощу денька два-три у одного приятеля и в Москву по чугунке.

– Так пожалуйста!

– Сейчас, Андрей Фомич, – отозвался Теркин. – Эк, приспичило. В кои-то веки привелось мне встретить Бориса Петровича, и разговор у нас такой зашел, а вы с вашим чаем!..

– Сию минутку, – просительно выговорил писатель. – Налейте мне стаканчик. Я люблю холодный. И лимону кусочек.

– Ладно, ладно.

Капитан скрылся за рубкой. Они немного помолчали, и Теркин заговорил первый.

– Хороший парень Андрей-то Фомич! Жаль, что на таком дрянном суденышке ходит, как этот «Бирюч». И глянь-ка, сколько товару наворотил. Хорошая искра попади вон в те



тюки – из нас одно жаркое будет.

– Что вы? – тревожнее спросил Борис Петрович.

– Обязательно! Немножко с ленцой, Кузьмичев-то, а толковый. Ежели я, со своим пароходом, в их товарищество поступлю, он может ко мне угодить. Мы его тогда маленько подтянем, – прибавил Теркин и подмигнул. – Вам его история известна?

– Как же!

– Где-то я читал, что московский старец, Михаил Петрович Погодин, любил говорить и писать: «так, мол, русская печь печет». Студент медицины... потом угодил как-то в не столь отдаленные места, затем сделался аптекарским гез/елем. А потом глядь – и капитан, по Волге бегаёт!

Он подметил взгляд писателя, когда произносил имя Погодина и делал цитату из его изречений. В этом взгляде был вопрос: какого, в сущности, образования мог быть его собеседник.

– Вот ведь и ваш покорный слуга – на линии теперь судохозяина, а чем не перебывал? И к чему готовился? Попал в словесники, классическую муштру проходил.

– Вы-то?

– А то как же! Приемный-то отец мой от своих скудных достатков в гимназии меня держал. Ну, урочишки были. И всю греческую и латинскую премудрость прошел я до шестого класса, откуда и был выключен...

– Исключили? За что?

– Долго рассказывать. А для вас, как для изобразителя правды... занятно было бы. Да Андрей Фомич, поди, совсем истерзался?..

– Вы бы пошли с нами посидеть.

– Каютишка-то у него всего на полтора человека. А я – мужик крупный. Я подожду здесь, на прохладе. И без того безмерно доволен, Борис Петрович, что привелось с вами покалякать.

Из-за рубки показалась опять дюжая фигура капитана.

– Пожалуйста! Борис Петрович!

– Иду, иду!

Писатель заторопился, но успел подать Теркину руку и еще раз пригласил его.

– Нет, уж вы там вдвоем благодумствуйте. Места нет, да я и плохой чаепийца, даром что нас водохлебами зовут.

Его тянуло за Борисом Петровичем, но он счел бестактным нарушать их беседу вдвоем. Ни за что не хотел бы он показаться навязчивым. В нем всегда говорило горделивое чувство. Этого пистоля он сердечно любил и увлекался им долго, но «лебезить» ни перед кем не желал, особенно при третьем лице, хотя бы и при таком хорошем малом, как Кузьмичев. Через несколько недель капитан мог стать его подчиненным.

Теркин прошелся по палубе и сел у другого борта, откуда ему видна была группа из красивой блондинки и офицера, сбоку от рулевого. Пароход шел поскорее. Крики матро-

са прекратились, на мачту подняли цветной фонарь, разговоры стали гудеть явственнее в тишине вечернего воздуха. Больше версты «Бирюч» не встречал и не обгонял ни одного парохода.

Все та же родная река тянулась перед ним, как будто и богатая водой, а на деле с каждым днем страшно мелеющая, Теркин не рисовался в разговоре с Борисом Петровичем. У него щемит в груди, когда он думает о том, что может статься с великой русской рекой через десять, много двадцать лет. Это чувство, как и жалость к лесу, даже растет в нем, – нужды нет, что он «на линии» пароходчика. Отопление мечтает он завести у себя нефтяное. Нефти еще целая уйма, хоть и с ней обходятся хищнически, как со всем, что только можно обращать в деньги.

И досада начала разбирать его на то, что капитан помешал их разговору, да и сам он не так направил беседу с Борисом Петровичем. Ему хотелось поисповедоваться, раскрыть душу не по одному вопросу о крестьянстве, показать себя в настоящем свете, без прикрасы, выслушать, быть может, и приговор себе. А так он мог показаться хвастуном, «рисовальщиком», как он называл всех, кто чем-нибудь рисуется. Все, что он про себя сказал, была правда. Да, он мужицкого рода, настоящий крестьянский сын, подкидыш, взятый в дом к «смутьяну», Ивану Прокофьеву Теркину, бывшему крепостному графов Роциных, владельцев половины села Кладенца.

А почему же он, три часа назад, когда останавливались

у Кладенца, даже и с палубы не сошел? Должно быть, сердце-то у него не екнуло при виде красивого села, на нескольких холмах, с его церквами и монастырем, с древним валом, где когда-то, еще при татарах, был княжеский стол? Он в это время лежал на диване своей каюты, предоставленной ему от товарищества, как будущему пайщику, и только сквозь узкие окна видел полосу берега, народ на пристани, два-три дома на подъеме в гору, часть рядов с «галдарейками», все – знакомое ему больше двадцати пяти лет.

Да, его не потянуло и на палубу. Он не любит своего села и давно не любил, с той самой поры, как стал понимать, что вокруг него делается. Своего названного отца он считал «праведником», – нужды нет, что местные вожаки, которые потрафляли неосмысленной «голытьбе» и спаивали ее, обзывали Ивана Теркина кулаком, сторонником скупщиков и врагом мира. Он до сих пор не может простить этому миру ссылки своего отца, – тому стукнуло тогда шестьдесят два года, – по приговору сельского общества, самого гнусного дела, какое только он видел на своем веку; и на него пошли мужики! И пошли на такое дело небось не раскольники, живущие в Кладенце особым обществом, также бывшие крепостные другого барина, а православные хресьяне, те самые, что ставят пудовые свечи и певчих содержат на мирские деньги, нужды нет, что половина их впроголодь живет. Не заедет он по доброй воле в Кладенец, и сделайся он миллионщиком, ни алтына не даст на нужды мира тому сельскому обществу,

что собирает сходки в старинном барском флигеле, до сих пор известном под прозвищем «графского приказа».

С личностью названного отца, Ивана Прокофьева, в его памяти сплетена другая личность, сына почтмейстера, – в Кладенце есть контора, – положившего всю свою душу в дело этой самой «гольтепы», которая ссылала Ивана Прокофьева. Он скорбел о скудости заработка кустарей, собирал их, вдавливал в их мозги, как хорошо было бы им завести товарищество и артель, писал в газетах, ездил в Петербург, просил у высшего начальства субсидии, добился ее, сам сочинял устав и целых два года изнывал на этом деле, перебивался с хлеба на квас. И чем все это завершилось? Да его же обвинили, заподозрили, держали взаперти, сослали, – и хоть бы один из бывших членов правления, которые потом разграбили кассу, постоял за него!..

Лицо Теркина заметно хмурилось, и глаза темнели. Старая обида на крестьянский мир села Кладенца забурлила в нем. Еще удивительно, как он мог в таком тоне говорить с Борисом Петровичем о мужицкой душе вообще. И всякий раз, как он нападет на эти думы, ему ничуть не стыдно того, что он пошел по деловой части, что ему страстно хочется быть при большом капитале, ворочать вот на этой самой Волге миллионным делом.

## IV

Звонкий женский смех молодой нотой скатился сверху от рулевого колеса.

Теркин поднял голову.

Блондинка обернулась лицом к кормовой половине парохода, и ее профиль, в тени вязаного пухового платка, точно изваянный на сероватом фоне, встал над ним.

– Глупости какие! – проговорила она вздрагивающим голосом.

Стан ее заколыхался от смеха. Она осталась сидеть вполоборота и первая пристально оглядела Теркина со своей вышки.

Ее лицо нашел он миловидным и очень знакомым по типу. Наверное, она откуда-нибудь с Волги же родом, скорее сверху, из Ярославля, Костромы, Кинешмы; какая-нибудь обывательская дочь, бабенка или девушка; много-много – молоденькая жена станового, акцизного или пароходского служащего, едет на ярмарку повеселиться, к мужу, или одна урвалась. Может быть, из воспитанных, потому что держит себя без купеческой чопорности, даже весьма развязно, так что ее примут, пожалуй, и за особу, склонную к приключениям.

Ее возглас: «глупости какие!» отвлек его сразу совсем к другим чувствам и образам. Как похоже произнесла она этот звук «глупости», такими же вздрагивающими грудными но-

тами! Может, и поет она таким же низковатым голосом? И в чертах лица есть что-то общее, – только у нее пепельного цвета плоские волосы, растрепанные теперь от ветерка, поднявшегося на палубе к вечеру, а у той – как смоль черные и слегка волнистые. И стан как будто похож, сколько можно было видеть снизу, и рост также.

Та теперь ждет. В Нижнем должна лежать депеша «до восстребования», на телеграфе, где помещается и гостиница напротив Софроньевской пристани. Теркин сегодня же остановится там для ночевки и проживет, сколько нужно будет для дела. Но его влечет, собственно, туда, книзу, – за Казань.

Вот если бы разговору его с Борисом Петровичем не помешали, он, быть может, сам повинился бы ему в своих «окаянствах».

Тянет его к этой женщине не то что как истого распутника или хищного зверя, но и не так, чтобы Борис Петрович его похвалил, при всей своей доброте и терпимости. В том-то и беда, что не может он всеми страстями своими править, как хороший кучер тройкой ретивых лошадей. Расчет у него всегда сидит в голове, но не всегда берет верх. Положим, и на женщину он давно смотреть стал как бы по-охотнички, да и невысокого о ней вообще мнения, – в этом, быть может, мужик сказался, – ловить себя он не даст, да и застраховать себя от ее чар не в состоянии. Не одной красотой смущала его вообще женщина, с ранних лет, еще когда школьником был, по шестнадцатому году, – а какую-то потребностью сойтись,

в нее заглянуть, вызвать преклонение перед собою, видеть, как в какой-нибудь несмышленной или робкой немудрой девочке вдруг распухнет душа, откуда ни возьмутся ум, игра, смелость, дерзкая отвага. На все она пойдет с любимым человеком и для него. В такие минуты только и сознаешь свою мужскую мощь, особенно когда есть вера и в свой деловой ум, когда ты все шибче и шибче катишься по житейской дороге. Только не плошай, быть тебе с большим выигрышем.

Во всем этом он способен был повиниться Борису Петровичу, если бы разговор принял такой оборот. И спроси его тот: «Почему же вы не хотите послужить меньшей братии? Зачем стремитесь так к денежной силе?» – он не стал бы лгать, не начал бы уверять его, что так он живет до поры до времени, что это только средство служить народу.

Нет, он любит успех сам по себе, он жить не может без сознания того, что такие люди, как он, должны идти в гору и в денежных делах, и в любви.

Теркин поднял опять голову; блондинка все еще смотрела на него, продолжая переговариваться с офицером. Он улыбнулся ей глазами и тотчас же отвел их. Мелкое волокитство он презирал, как все, что слишком легко дается.

Он заходил взад и вперед по носовой палубе, где сидели пассажиры второго класса, боролся с своим желанием заглянуть в капитанскую каюту, поговорить еще с писателем.

«Кузьмичев уже завалился спать, – успокаивал он себя, – да и Борис Петрович также».



Раздалось опять заунывное выкрикивание.

– Четыре-е! – протянул матрос.

«Сядем», – подумал Теркин и взглянул на верх рубки.

Там, у звуковой трубы, стоял помощник.

«Посадит он нас, как пить даст, – продолжал он думать с хозяйским чувством некоторого раздражения, – мечется, а толку нет».

Пароход действительно вздрогнул и стал. Грузные колеса побарахтались немного, потом раздалась команда: «стоп!»

– Сидим! – громко сказал Теркин, но уже более не волновался и присел у самого носа поглядеть, как помощник справится с перекатом.

Лоцман с подручным еще повертели колесо вправо и влево и о чем-то перекинулись словами с помощником капитана.

Тот заставлял проделывать быстрые движения взад и вперед, то на полных парах, то полегче. Пароход немножко подавался взад, вперед, вбок, но с места не сходил.

Публика наверху продолжала сидеть и не выказывала заметного беспокойства. Между пассажирами попроще пошел более оживленный говор, но если бы не знать, что пароход действительно врезался в перекаат, нельзя бы подумать, что случилась такая досадная для всех неприятность, из-за которой в Нижний опоздают на несколько часов.

Теркин не считал себя вправе вмешиваться. Он только подо двинулся к рубке, чтобы видеть отчетливее, что там на-

верху будут делать. Кто-то из пассажиров поважнее громко спросил у лоцмана:

– Да где же капитан?

– Никак отдыхает.

– Отчего же его не разбудят?

– Справимся! Не из чего беспокоить, – ответил за лоцмана помощник.

Так они и не справились до появления Кузьмичева, что случилось часа через полтора, когда красная полоса заката совсем побледнела и пошел девятый час. Сорвать пароход с места паром не удалось помощнику и старшему судорабочему, а завозить якорь принимались они до двух раз так же неудачно. На все это глядел Теркин и повторял при себя: «Помощника этого я к себе не возьму ни под каким видом, да и Андрей-то Фомич слишком уж с прохладцей капитанствует».

Кузьмичев известен был на Волге не столько сведениями по шкиперной части, сколько удачей и сноровкой. Не прошло и получаса, как буксирный пароход снял их с мели в несколько минут, и к десяти часам они уже миновали Балахну, где простояли всего четверть часа, чтобы не так поздно прийти в Нижний.

Совсем уже стемнело, и чем ближе подходили к устью Оки, тем чаще попадались встречные пароходы. Тогда поднимался глухой зловещий свист, и махали с кожуха цветными фонарями; на одну баржу чуть-чуть было не налетели.

«Все через пень колоду, – говорил про себя Теркин, просидевший на палубе, не замеченный капитаном. – И как еще мы не погорим в такой дьявольской тесноте?..» У него, если только ему удастся еще этим летом начать хозяйствовать, порядки будут другие. Но на этих соображениях не остановилась его голова, быстро овладевавшая трезвой мыслью делового и предприимчивого волжанина. И не об одном личном ходе в гору мечтал он, сидя под навесом рубки на складном стуле. Мысль его шла дальше: вот он из пайщика скромного товарищества делается одним из главных воротил Поволжья, и тогда начнет он борьбу с обмелением, добьется того, что это дело станет общенародным, и миллионы будут всажены в реку затем, чтобы навеки очистить ее от перекатов. Разве это невозможно? А берега, на сотни и тысячи десятин внутрь, покроются заново лесами!

Такие мысли веяли на него всегда душевной свежестью, мирили с тем, что он в себе самом не мог одобрить и чего не одобрил бы и Борис Петрович.

Когда «Бирюч» причалил к пристани в Нижнем, было уже за полночь. Теркин отдал свой чемодан матросу и, проходя мимо капитана, отбиравшего билеты, спросил его:

– А Борис Петрович?

– Просил не будить его до утра. А вы, Василий Иванович, скоро ли будете на Низу? Побежали бы вместе опять к Саратову?

– Может, так и случится! – крикнул Теркин, в хвосте пас-

сажиров поднялся по крутым мосткам на набережную и велел подвезти себя к большому дому, где телеграф.

## V

Длинная унылая площадь с гостиним двором изнывает под лучами знойного послеобеда. От белой штукатурной стены одноэтажного здания лавок так и пышет. Сидельцы кое-как дремлют у железных створов или играют в шашки.

У окна номера гостиницы Теркин, полуодетый, допивал стакан сельтерской воды. Он очень страдал от духоты. Жар давал ему головные боли. Сегодня он уже два раза ездил на реку купаться.

Больше ему и делать было нечего в этом городе. Из Нижнего «прибежал» он сюда рано утром, на пароходе американской системы, и спал полсуток, разомлев от жары, не проходившей даже и под вечер. Термометр и вчера и сегодня, по реке и в городе, на солнце показывал тридцать три градуса. В Нижнем он пробыл всего два дня; ему удалось многое наладить, но не все. Только половину капитала имел он в руках для уплаты за пароход «Батрак», уже совсем почти готовый на Сормовском заводе. Ему делали кредит еще на четверть суммы; остальную четверть надо было добыть на днях, там, ниже Саратова, у одного благоприятеля, бывшего еще так недавно его патроном и наставником по делецкой части, Усатина.

Но не поездка на низовья Волги наполняла в эту минуту душу Теркина. Он то и дело поглядывал в ту сторону, где был запад, поджидал заката; а солнце еще довольно высоко стояло над длинным ослепительно белым зданием рядов. Раньше как через полтора часа не покажется краснота поверх зеленой крыши гостиного двора.

Отыскивал он своими подвижными зрачками одну точку, ближе к берегу, на самом возвышенном месте нагорного берега, левее от глав и крестов нового собора.

Точка эта была верх памятника, гранитного столба, стоявшего на площадке посреди жидкого садика.

Вот бы когда сойтись в садике, как раз об эту пору, между вечерней и всенощной. Там, наверно, ни души, даже разносчик не пройдет с пряниками или огурцами. Город совсем вымирает в послеобеденный жар. Но разве можно сидеть там, среди бела дня, хотя бы и в такой глухой час? Вдруг как кто проедет невзначай из знакомых? Ведь ее все знают. Она – жена судейского, служащего здесь больше пяти лет, да еще в такой должности, как следователь самого главного участка в городе. Сейчас кто-нибудь сболтнет: «Серафима, мол, Ефимовна сидит на обрыве у памятника с каким-то приезжим молодым мужчиной!»

Нужна опаска! Чем кончится их любовь – уйдет она от мужа или нет, все-таки он должен до поры до времени ограждать ее – ее больше, чем всякую другую женщину. Она – огонь, все в ней горит, и ничего нет легче, как дать ей за-

рваться, без разума, только на один срам...

Ему стало у окна немного полегче. Жар и духота спадали. Он прошелся по номеру, все еще в рубашке, без галстука, потом прилег на диван, подложил кожаную дорожную подушку под голову и закурил, – так время скорее ползет. Он – не большой курильщик и за папиросу берется вот в такие минуты, когда надо убить время, а работы нет, или слишком донимает жар.

Дым от папиросы на то только хорош, всегда думал Теркин, чтобы в его извивах видеть целый ряд приятных картин или строить какую-нибудь комбинацию, план действий, вроде как решаешь уравнение, когда алгебра тебе далась, и ты к задачам относишься, как к шахматам, с настоящим игрецким чувством.

Всего в третий раз он в этом городе, никогда не проживал в нем больше трех-четырех дней, и в нем у него любовь, настоящая, захватывающая, быть может, роковая для него.

И все так быстро стряслось. Он, уходя теперь воображением в подробности их встречи, употребил мысленно это слово: «стряслось».

По делу завернул он снова прошлым летом, даже останавливаться на ночь не хотел, рассчитывал покончить все одним днем и чем свет «уйти» на другом пароходе кверху, в Рыбинск. Куда деваться вечером? В увеселительный сад... Их даже два было тогда; теперь один хозяин прогорел. Знакомые нашлись у него в городе: из пароходских кое-кто, ин-

женер, один адвокат заезжий, шустрый малый, ловкий на все и порядочный кутила.

Он всему и стал причиной.

В саду играли какую-то комедию, – кажется, «Фофан» называется, – плохенькая труппа, так что он на второе действие и не пошел, а остался на балконе буфета. По саду бродили цыгане, тоже неважные, обшарканные, откуда-то из Пензы или Тамбова.

Нашел его на балконе адвокат, и через четверть часа он был в большом обществе. Были тут три дамы, офицер, тот инженер, которого знал Теркин.

Они пошли ужинать, заняли одну из комнат вдоль стен залы, где пели арфистки и цыгане в антрактах. Его представили дамам; сначала помещице, кажется, в разъезде с мужем, уже немолодой, толстой. Теркин сейчас же распознал в ней «кутилку». Она так и сыпала, так и сыпала, и стихи вслух читала, и пила довольно. Из остальных двух одна была девушка, лет за двадцать, длинная, некрасивая, но зубастая на разговор, дочь доктора-старичка. При ней и отец состоял. Вторая села рядом с ним, и адвокат ее громко отрекомендовал ему: – Серафима Ефимовна Рудич, супруга судебного следователя, моего товарища по училищу.

Из этого он уразумел, что оба они были из правоведов.

Ему стало жутко около нее. Никогда еще в жизни не нападала на него такая оторопь, даже покраснел и губы все искусал. В первые минуты не мог ничего ей сказать подходящего,

дурак дураком сидел, даже пот выступил на лбу.

Она первая должна была с ним заговорить. Голос ее точно где внутри отдался у него. Глазами он в нее впился и не мог оторваться, хоть и чувствовал, что так нельзя сразу обглядывать порядочную женщину.

Она была «порядочная», без сомнения, держала себя совсем прилично, хотя и смело, и одета была чудесно. До сих пор он помнит черную большую шляпу с яркими цветами, покрытую кружевом, откуда, точно из-под навеса, глядели ее глаза и улыбались ему. Да, сразу начали улыбаться. Он было подумал: она над ним посмеивается, что он сидит таким дураком.

Когда она заговорила, он в ней распознал волжанку. Говор у нее был почти такой же, как у него, только с особенным произношением звука «щ», как выговаривают в Казани и ниже, вроде «ш-ш». И увидел он тут только, что она очень молода, лет много двадцати. Стан у нее был изумительной стройности и глаза такие блестящие, каких он никогда не видал – точно брильянтики заискрились в глубине зрачков.

«Нет, она не барское дитя», – сказал он себе тогда же, и с этой самой минуты у них пошел разговор все живее и живее, и она ему рассказала под гул голосов, что муж ее уехал на следствие, по поручению прокурора, по какому-то важному убийству, что она всего два года как кончила курс и замужем второй год, что отец и мать ее – по старой вере, отец перешел в единоверие только недавно, а прежде был в «бегло-по-



повской» секте. Намекнула она, и довольно для него неожиданно, что сама она свободно мыслит и на обряд венчания смотрела как на необходимость.

Он слушал и изумлялся, что это все она рассказывает совсем незнакомому человеку и вовсе не по простоте. В ней ума было больше, чем в остальных двух женщинах, и никакой наивности. Оттого это так и случилось, что они друг к другу подошли сразу, как бывает всегда в роковых встречах.

И тогда еще, вернувшись на пароход, он, хоть и в чаду, сказал себе, что эта встреча «даром для него не пройдет!».

## VI

К концу ужина, когда они с ней уже несколько раз чокнулись и он начал ей рассказывать про себя, про своего названного отца Ивана Прокофьяча, про гимназию и про житейские испытания, через какие проходил, когда вылетел из гимназии, распорядитель и заводчик этого импровизированного пикника, заезжий адвокат, позвал цыган.

Это был плохенький хор: дурно одетые женщины, очевидно, разъезжавшие только по мелким ярмаркам, зато настоящие черномазые и глазастые, без подозрительных приемышей из русских, что нынче попадаются в любом известном хору. И романсы они пели старинные, чуть не тридцатых годов.

Один из этих романсов всем, однако, пришлось очень по

вкусу: «Ты не поверишь», пропетый в два голоса. За ним хор подхватил тоже старинную застольную песню, перевирая текст Пушкина:

Кубок янтарный...

Дуэт пели солистка, с отбитым, но задушевым голосом, и начальник хора, бас, затянутый, – ему и теперь памятна эта подробность, – в чекмень из верблюжьего сукна ремнем с серебряным набором и в широчайших светло-синих шароварах, покрывавших ему концы носков, ухарски загнутых кверху.

И вдруг она его спрашивает:

– Вы поете?

– Немножко.

– Может, и на гитаре играете?

– Бренчу.

Он мараковал на гитаре и пел всегда в ученическом хоре; его альт перешел потом в баритон.

– Споем этот же романс... Я его люблю... Он мне напоминает время, когда я только начинала ходить... Я его переняла от нашей горничной... и пела исподтишка. Отец считал всякое пение и музыку бесовским наваждением.

Предложение ее так его захватило, что он даже застыдился... Но желание петь с нею превозмогло.

Она сама сказала адвокату, что они хотят пропеть дуэт.

Все захлопали. Цыган отблагодарили, только одну гитару взяли у начальника хора.

Когда он брал аккорды, их взгляды встретились так непроизвольно, что они оба стали краснеть... Он первый начал, не отрывая от нее глаз:

Коль счастлив я с тобою бываю,  
Ты улыбаешься, как май!

Слова он, кажется, произносил не совсем верно, но он их так заучил с детства, да и она так же. Но что бы они ни пели, как бы ни выговаривали слов, их голоса стремительно сливались, на душе их был праздник. И она, и он забыли тут, где они, кто они; потом она ему признавалась, что муж, дом – совсем выскочили у нее из головы, а у него явилось безумное желание схватить ее, увлечь с собой и плыть неизвестно куда...

После дуэта остальные участники ужина хором подхватили «Кубок янтарный», а потом она запела цыганский же романс: Любила я...

Не мог он не откликнуться на это признание. Ни минуты не усомнился он, что она поет ему и для него, а никогда он себя не упрекал в фатовстве и с женщинами был скорее неловок и туг на первое знакомство.

И он забыл, что она «мужняя жена», и ни разу не спросил ее про то, как она живет, счастлива ли, хотя и не мог не сооб-

разить, что из раскольниковьего дома, наверно, ушла она если не тайком, то и не с полного согласия родителей. Тот барин, правовед, мог, конечно, рассчитывать на приданое, но она вряд ли стала его женой из какого-нибудь расчета.

Все это отлетело от него. Был уже поздний час, около двух. Те две барыни подпили, и она пила шампанское, но только бледнела, и блеск глаз сделался изумительный – точно у нее в глубине зрачков по крупному алмазу.

– Вот бы на лодке прокатиться... – сказала она после пения, когда он уже держал ее руку и целовал...

Лодка!.. Он готов был нанять пароход. Через несколько минут все общество спустилось вниз к пристани. Добыли большой струг. Ночь стояла, точно она была в заговоре, облитая серебром. На Волге все будто сговорилось, зыбь теплого ветерка, игра чешуй и благоухание сенокоса, доносившееся с лугового берега реки. Он шептал ей, сидя рядом на корме, – она правила рулем, – любовные слова... Какие?.. Он ничего не помнит теперь... Свободная рука его жала ее руку, и на своем лице он чувал ее дыхание.

Она первая заговорила о своем замужестве. Не по расчету сделалась она женой следователя, но и не по увлечению.

– Девчонка была!.. Дура!.. Дома очень уж тошно стало! Умел польстить. Суета!.. Теперь только жизнь-то начинаю узнавать.

И в глазах ее промелькнуло что-то горькое и сильное. Намек был ясен: она не нашла любви в супружестве, она искала

ее, и судьба столкнула их неспроста.

Уж на рассвете вернулось в город все общество. Никто никому не должен был отдавать отчета. Толстую барыню провожал адвокат, барышня поехала с отцом.

– Меня проведет Василий Иванович, ему потом два шага до гостиницы.

Она сама это сказала. Они шли молча, под руку. Но он чувствовал, как вздрагивал ее стан от прикосновения к его плечу.

У крыльца их дома она вдруг прошептала:

– Вы отсюда на пароход?

– Да... но я останусь.

– Нет, не нужно. Идите!.. Ведь мы больше не увидимся.

И точно хотела его толкнуть рукой. Он схватил эту руку, без перчатки, и поцеловал. Она прильнула к нему, поцелуй ожег его. И тотчас же она крикнула:

– Идите!.. Идите!..

И дернула за звонок.

Он целые сутки не спал на пароходе.

Как было еще раз видеться с ней? На возвратном пути угодил он сюда не раньше как через месяц, остановился без всякой нужды, искал инженера, искал адвоката: ни того, ни другого не оказалось – уехали в Нижний на ярмарку.

Домика, куда он провожал ее, не мог он распознать; ходил справляться, где живет следователь Рудич; ему сказали – где; он два раза прошел мимо окон. Никого не было видно, и, как

ему показалось, даже как будто господа уехали, потому что со двора в трех окнах ставни были заперты, а с улицы шторы спущены.

«Выкинь из головы! Один срам, точно гимназист мальчишка!» – повторял он себе тогда, по пути в Нижний.

И вдруг там, на ярмарке, в театре, – играли «Грозу», с Ермоловой в роли Катерины, – сидит он в креслах, во втором ряду, навел случайно бинокль на ложи бенуара – она, с какими-то двумя дамами, – он признал их за богатых купчих, – и мужчиной пожилым, уж наверно купеческого звания.

Он просто обмер. Бинокля-то не может отвести от нее. В белом матовом платье, в волосах живой цветок и полуоткрытая шея. Опустил наконец бинокль и все смотрит на нее. А с подмосток ему слышится страстный шепот актрисы, в сцене третьего акта, в овраге волжского побережья, и ему представляется, что это она ему так говорит.

Поклониться он не посмел, весь скованный стоял в антракте. Но, видно, она сама заметила его рост и фигуру, узнала, вся зарделась, поклониться тоже не поклонилась, но в глазах зажглась такая радость, что он опрометью кинулся в фойе, уверенный, что она придет туда.

Неделю прожил он в Нижнем. Какие вечера проводили в саду, на Откосе!.. Но когда надо было расстаться, она ему еще не принадлежала.

Пошла переписка. Зимой он тайно приезжал сюда, и они видались урывками. С мужем она так и не хотела его знако-

мить.

И вот во второй раз попадает он сюда по ее зову. В ее последних письмах, в ее депеше, найденной в Нижнем, страсть так и трепещет...

## VII

Тени пошли, длинные и тусклые, в садике, около памятника. Поздний закат внизу, за самой кручей нагорного берега, расплзался в огромную рыбу с узким носом розовато-палевого колера.

В воздухе пахло стручьими желтых акаций, пыльных и малорослых, посаженных вдоль решеток сквера.

Теркин пришел первый. Никого он не встретил на улице из господ. Даже издали не было слышно треска извозчичьих дрожек.

На одной из скамеек против паровых пристаней и большой паровой мельницы, на том берегу реки, он сидел вполоборота, чтобы издали узнать ее: так ему видна была вся главная дорожка от входа, загороженного зеленым столбом с подвижным бревенчатым крестом.

Он знал, что она придет, даже если муж ее и в городе. Она писала в последний раз до присылки депеши, что муж, может быть, поедет в Москву. В депеше, ждавшей Теркина в Нижнем, ничего об этом не говорилось.

Она придет. Она должна была ждать минуты свидания с

тем же чувством, как и он. Но он допускал, что Серафима отдается своему влечению цельнее, чем он. И рискует больше. Как бы она ни жила с мужем, хорошо или дурно, все-таки она барыня, на виду у всего города, молоденькая бабочка, всего по двадцать первому году. Одним таким свиданием она может себя выдать, в лоск испортить себе положение. И тогда ей пришлось бы поневоле убежать с ним.

Хотел ли он этого? Добивался ли во время их встреч и на письмах?.. Нет! Он ничего такого не испугается, но и не подбивает се. Если это страсть действительно «роковая» – жить им вместе. Жить так жить, без обмана, не втроем, а вдвоем.

И сегодня, сидя вот тут, у памятника на вышке, за несколько минут до ее прихода, он не только не знаком с «господином следователем», но и представления ни какого не имеет о его наружности; даже карточки мужа она ему никогда не показывала.

За это он ей благодарен. Значит, в ней есть прямота. Противно ей ввести его к себе в дом и под личиною держать при себе в звании тайного любовника. При редких наездах ничего бы и не всплыло наружу. Тогда стало бы гораздо свободнее. Вот такая встреча в саду показалась бы совсем простой встречей. Да и надобности не было бы сходиться здесь по уговору. Просто явился к ним, когда мужа нет, да и предложил пройти на набережную.

Ей не по душе обман. И он не любит его, почему и не по-



смягал на замужних женщин, даже в таких случаях, когда все обошлось бы в наилучшем виде: с женами подчиненных или мужей, что сами рады бы... Таких, по нынешним временам, везде много развелось.

Влекло его к ней и то, что она второй год не принадлежала ему. Он не хотел себе дать полного отчета в том, какая именно борьба идет между ними и кто прямее, но теперь ему кажется, что – она. Ведь он ни разу, ни устно, ни письменно, не сказал ей:

«Жизнь моя!.. Иди ко мне!.. Разведись. Будем муж и жена!»

И когда он оставался наедине со своей совестью, он не хотел лгать самому себе. К браку с нею его не тянуло. Почему? Он сам не мог ответить. Вовсе не оттого, что он боялся за свою холостую свободу. А точно в пылкое влечение к этой женщине входила струя какого-то затаенного сомнения: в ней ли найдет он полный отклик своей сильной потребности в беззаветной и чистой любви?

В этой связи полной чистоты не будет, даже если они и обвенчаются. На венчание она сама вряд ли будет подбивать его. У нее нет никакой веры в таинство брака. Она ему это сказала в первый же их разговор, за ужином увеселительного сада.

В душе Теркина стремительно чередовались эти мысли и вопросы. Каждая новая минута, – он то и дело поворачивал голову в сторону зеленого столбика, – наполняла его боль-

ше и больше молодым чувством любовной тревоги, щекотала его мужское неизбежное тщеславие, – он и не скрывал этого от себя, – давала ему особенный вкус к жизни, делала его смелее и добрее.

Зимой он на свидании с ней в гостинице повел было себя как всякий самолюбивый ухаживатель, начал упрекать ее в том, что она нарочно тянет их отношения, не верит ему, издевается над ним, как над мальчуганом, все то говорил, чем мужчины прикрывают свое себялюбие и свою чувственность у нас, в чужих краях, во всем свете, в деревенской хате и в чертогах.

Она, однако, не сдалась. Ее тогдашние возгласы он помнит:

– Вася!.. Не гневайся! Душой я твоя, но пока с мужем живу – не буду от него блудить!

И это раскольничье слово «блудить» покорило его. В нем было что-то низкое для нее, для всего ее облика. Ведь она училась, читала, хорошо играла на фортепьянах, выражалась до тех пор образно и метко, но без вульгарных оборотов и слов. А тут вдруг «блудить».

Он уехал почти возмущенный. Ее письма утишили эту хищническую бурю. Сначала он причислял ее к тем ехидным бабенкам, что не отдаются любимому человеку не потому, чтобы были так чисты и прямы душой, а из особого рода зазорной гордости, – он таких знал.

«Никто-де не скажет, что я пала... Хоть и люблю, и гово-

рю это, – клейма на себя не наложу, и любимый человек не добьется своего, не сделает меня рабыней».

Но ее письма дышали совсем другим. Она не таилась от него... Беззаветно предавалась она ему, ничего не скрывала, тяготилась постылым мужем, с каждым днем распознавала в нем «дрянную натурашку», ждала чего-то, какой-нибудь «новой гадости», – так она выражалась, – чтобы уйти от него, и тогда она это сделает без боязни и колебаний.

И к весне, когда близилась возможность новых свиданий, опять он решительно встал на ее сторону, распознал в себе «зверя», стряхнул с себя всякий задор мужскою тщеславия. Он желал любить ее так же честно, как и она.

Ему захотелось, чтобы его страсть овладевала им безраздельно, не давала ему времени думать, разбирать, сомневаться в чем-нибудь, поблажать расхолаживающим сомнениям.

Когда он четверть часа тому назад шел сюда, в этот садик, у него в груди занималось точно от быстрых глотков игристого вина, и то становилось вдруг жарко голове, то холодело на висках. Это ощущение давало ему верную ноту того, что его влечет к Серафиме, влечет и душевно, без чувственных образов. Он не мечтал о ее поцелуях, – да и как они будут целоваться в публичном месте, – но жаждал общения с ней, ждал того света, который должен взвиться, точно змейка электрического огня, и озарить его, ударить его невидимым током вместе со взрывом страсти двух живых существ.

Одевался он долго и с тревогой, точно он идет на смотр...

Все было обдуманно: цвет галстука, покрой жилета, чтобы было к лицу. Он знал, что ей нравятся его низкие поярковые шляпы. Без этой заботы о своем туалете нет ведь молодой любви, и без этого страха, как бы что-нибудь не показалось ей безвкусным, крикливым, дурного тона. Она сама одевается превосходно, с таким вкусом, что он даже изумлялся, где и у кого она этому научилась в провинции.

Ведь и она в ту же пору заботливо прихорашивала себя, думая о том, как бы ему сильнее понравиться:

Есть у него и еще один признак «без обмана» – это вздрагивание нервов при виде любимой женщины. Никаким усилием воли нельзя воздержаться от такого ощущения. В первую тайную встречу в Нижнем на Откосе, в десятом часу, на дорожке, в густой тени лип, он еще не испытывал этого удара под коленями.

Здесь, зимой, когда она, постучавшись, вошла в полутемноту передней, и он распознал ее фигуру, колени задрожали, прежде чем он прикоснулся к ее руке.

«А вдруг не задрожат?» – против воли подумал Теркин и тотчас же рассердился на себя за такой вопрос.

Вправо от входа глаза его схватили что-то черное, стройное, быструю походку, большую шляпу. Он вскочил и чуть не упал – так сильно было ощущение, в которое он верил как в признак без обмана. Радость заколыхалась в нем, и глаза стали мгновенно влажны... У него не достало сил кинуться к ней навстречу.

## VIII

Начало заметно смеркаться. Звезды засветились неровными искрами. В садике не было никого, кроме пары, пересевшей на дружную скамью над самым обрывом.

Они держали друг друга за руку. Теркин смотрел на Се-рафиму снизу вверх; он нагнулся, чтобы глазам его удобнее было проникать под щиток ее черной шляпы, покрытой бантами и черными же перьями.

Она за полгода стала еще краше, немного пополнила в лице и стане. Сквозь смугло-бледноватую кожу румянец разливался ровно, с янтарным отблеском. И такой же, как у него, пышный рот раскрывался еще привлекательнее, оточенный пушком; губы стали потемнее, и белизна острых и крупных зубов придавала ей что-то восточное. Шея налилась и руки. В гренадиновом платье с прозрачными рукавами, она накинула на плечи кружевную короткую мантильку, и воротник подпирал ей сзади затылок живописно и значительно. Никто бы не сказал, глядя на ее туалет и манеру носить его, что она губернская барынька из купеческой раскольничьей семьи.

Ему всего дороже были в ее облике глаза, откуда блестели два брильянта, и смелое очертание носа, тонкого, с маленькой припухлостью кончика, в которой сказывался также восточный, немного татарский тип ее лица.

– Уехал, значит, на целую неделю? – спросил Теркин то-

ном человека, которому не верится в собственную удачу.

– Теперь всего день остался... Может, завтра придет – писал уж, что все уладилось, как он желал...

– Вернется товарищем прокурора?

– Хорош прокурор!

Возглас ее замер в прозрачной тишине засвежившего воздуха.

– Хорош! – повторила она страстным шепотом, нагнулась к нему лицом и сжала сильнее его руку. Вася! так он мне противен... Голоса – и того не могу выносить: шепелявит, по-барски мямлит. – Она сделала гримасу. – И такого человека, лентяя, картежника, совершенную пустушку, считают отличным чиновником, важные дела ему поручали, в товарищи прокурора пролез под носом у других следователей. Один чуть не двадцать лет на службе в уезде...

Они говорили о муже ее, и им обоим было неприятно это. Но избежать такого разговора они не могли.

Когда они встретились и сели на скамью, один поцелуй и несколько любовных слов – вот и все, чем они обменялись... Их стесняло то, что они на виду у всех, хотя никто еще не зашел в садик. Теркин хотел сейчас же сказать ей, зачем она не приехала к нему в гостиницу, но вспомнил, что она просила его в письме на том не настаивать.

О муже речь шла не более десяти минут. Серафима передавала то, чего он не знал еще по ее письмам в таких подробностях. Рудич – игрок, и из ее приданого уже почти ничего

не осталось. Правда, он дал ей вексель, но что с него получишь?..

Она не договорила: «Ничего не получишь, если даже и уйдешь от него».

Не так мечтал Теркин об этой тайной беседе на набережной в сумерках июльской ночи. Что ему за дело до господину Рудича?.. Мот он или скопидом, гуняв или молодец – ему хотелось бы забыть о его существовании. Но Серафима, выдавая ему личность мужа, показывала этим самым, на каком градусе находится она от окончательного разрыва. Ее слова дышали решимостью покончить с такой постылой жизнью. Она вся отдавалась ему и хотела сначала и его и себя убедить, как честных людей, что в ней не блажь говорит, не распутство, а бесповоротное чувство, что личность мужа не заслуживает никакого сожаления.

Мог ли он, Теркин, быть судьей?

Он ей верил; факты налицо. Рудич – мот и эгоист, брюзга, важнюшка, барич, на каждом шагу «щуняет ее», – она так нарочно и выразилась сейчас, по-мужицки, – ее «вульгарным происхождением», ни чуточки ее не жалеет, пропадает по целым ночам, делает истории из-за каждого рубля на хозяйство, зная, что проиграл не один десяток тысяч ее собственных денег.

И все-таки он не мог и не желал быть судьей... Его начинало раздражать то, что время идет и они тратят его на перебирание всех этих дрызг.

– Ну его к Богу! – на вытерпел он. – Твоя добрая воля, Сима, поступить, как он того заслуживает, твой супруг и повелитель; не желаю я, чтобы ты так билась! Положи себе предел, – дольше терпеть постыдно!

– Еще бы! – громко выговорила она и, не оглянувшись назад, обняла его за шею и поцеловала долгим беззвучным поцелуем.

Голова его затуманилась.

– Все, все я сделаю!.. – шептала она ему на ухо, не выпуская его руки. – Обо мне что сокрушаться!.. Тебе бы только была во всем удача.

Она вдруг опустила голову и заговорила гораздо тише, более жидким звуком, тоном девушки, немного отрывочно, с передышками.

– Отец совсем плох... Доктор боится – ему до осени не дотянуть. Я у них теперь чаще бываю, чем в прошлом и позапрошлом году.

– Когда он заболел? – перебил ее Теркин.

– Второй год уж... Сердце, ожирение, что ли, одышка, целыми ночами не спит... Водянка начинается... Жалко на него смотреть...

– А мать как?

– Она еще молодцом. Ты бы и не сказал, что ей за пятьдесят... Разумеется, и она мается ночи напролет около него.

– С тобой он как?

– Ласков... Простил давно. Муженька моего он сразу раз-



гадал и видит, какие у нас лады... Я ему ничего не говорю про то, что мои деньги Рудич проиграл. Ты знаешь, Вася, в нашем быту первое дело – капитал. Он меня обвинит и будет прав. Еще добро бы, я сразу души не чаяла в Рудиче и все ему отдала, – а то ведь я его как следует никогда не любила... нужды нет, что чуть не убежала из родительского дома.

Серафима немного помолчала.

– Я к тому это рассказываю – тебе надо теперь почаще наезжать, если сподручно, поблизости находиться. Отец может отойти вдруг... задохнуться. Вася! ты меня не осуждай!..

– За что, голубка? – вырвалось у него звонко.

– Да вот, что я хочу с тобой переговорить о делах... Видишь, нашей сестре нельзя быть без обеспечения. – Она тихо рассмеялась. – Я знаю, интеллигенты разные сейчас за Островского схватятся? Это, мол, как та вдова-купчиха, что за красавчика вышла... помнишь?.. Как бишь называется пьеса?

– Кажется: «Не сошлись характерами».

– Да, да. Там она рассуждает: «Что я буду без капитала?.. Дура, мол!..» Я вот и не дура, и не безграмотная, а горьким опытом дошла до того же в каких–нибудь два года... От моего приданого один пшик остался! Тряпки да домашнее обзаведение!

Глаза ее все темнели, блеск пропал; она сидела с опущенной головой, и щеки казались совсем матовыми.

– Ты боишься, что тебя родители обидят?

Тотчас после этого вопроса Теркин испытал новую неловкость: ему сделалось почти противно, что он втягивается в такой разговор, что он за сотни верст от того, о чем мечтал, что его деловая натура подчиняла себе темперамент увлеченного мужчины.

Серафимы он не осуждал: все это она говорит гораздо более из любви к нему, чем из себялюбия. Она иносказательно хочет дать ему понять, что на его материальную поддержку она не рассчитывает, что свою жизнь с ним она желает начать как свободная и обеспеченная женщина. В этом он не сомневался, хотя где-то, в маленькой складке его души, точно заскребло жуткое сомнение: не наскочил ли он на женскую натуру, где чувственное влечение прикрывает только рассудочность, а может, и хищничество. «А сам-то я разве не из таких же?» – строго спросил он себя и взглядом показал ей, что слушает ее с полным сочувствием.

– Боюсь я вот чего, Вася, – она продолжала еще тише, – дела-то отцовы позамялись в последние годы. Я сама думала, да и в городе долго толковали, что у него большой капитал, кроме мельницы, где они живут.

Теркин кивнул головой, слушая ее; он знал, что мельница ее отца, Ефима Спиридоныча Беспалова, за городом, по ту сторону речки, впадающей в Волгу, и даже проезжал мимо еще в прошлом году. Мельница была водяная, довольно старая, с жилым помещением, на его оценочный глазомер – не могла стоить больше двадцати, много тридцати тысяч.

– А тебе сдается?..

– Мать уже намекала мне, что после отца не окажется больших денег. Завещание он вряд ли написал... Старого закона люди завещаний не охотники составлять. На словах скажет или из рук в руки отдаст. Мать меня любит больше всех... Ведь и ей жить нужно... Ежели и половину мне отдаст... не знаю, что это составит?

Серафима задумалась.

– Вася! ты на меня как сейчас взглянул – скажешь: я интересанка!.. Клянусь тебе, денег я не люблю, даже какое-то презрение к ним чувствую; они хуже газетной бумаги, на мой взгляд... Но ты пойми меня: мать – умная женщина, да и я не наивность, не институтка. Только в совете нам не откажи, когда нужно будет... больше я ни о чем не прошу.

– О чем просить!.. Только черкни или дай депешу – и я тут, как лист перед травой.

Сдержанный смех вырвался из его широкой груди. Он взял ее за талию и ближе притянул к себе.

– Как лист перед травой, – медленно повторила она. – Вася! ты полюбил меня, верю... Но знай одно, – я это говорю перед тем, как быть твоей... Не можете вы так любить, как мы любим, когда судьба укажет нам на человека... Нет! Не можете!

На последних словах ее голос дрогнул. Теркин промолчал.

## IX

Совсем стемнело. С реки доходил раскатистый, унылый гул редких пароходных свистков; фонари на мачтах выделялись яркими цветными точками. Заволжье лежало бурой пеленой на низком горизонте. В двух местах развели костры, и красное расплывчатое пламя мерцало на пологие ночи.

Ветерок играл кружевом на шляпке Серафимы. Она прижалась к плечу Теркина и говорила медленнее, как бы боясь показать все, что у нее на душе.

– Ты как вообще смотришь на таких девиц?

Они теперь опять вернулись к ее семейным делам. На ее слова о любви мужчины и женщины он не возражал, а только поглядел на нее долго-долго, и она не стала продолжать в том же духе. Теперь она спрашивала его по поводу ее двоюродной сестры, Калерии, бросившей их дом года два перед тем, чтобы готовиться в Петербурге в фельдшерицы.

Как я смотрю? – переспросил ее Теркин. – Да признаться тебе, не очень я одобряю всех этих стриженных.

– Она, положим, не стриженная, – поправила Серафима, – а волосы длинные носит, все хочет в ангельском чине быть, – прибавила она, и в голосе слышалось что-то злобное.

– Все равно... Прежние-то, лет пятнадцать тому назад, когда я еще в школе был и всякая дурь в голову лезла... те, по крайности, хоть смелы были, напролом шли, а частенько

и собственной шкурой отвечали. А нынешние-то в те же барышни норовят, воображают о себе чрезвычайно и ни на какое толковое дело не пригодны.

Глаза ее радостно блеснули в темноте.

– Вот я и думала, Вася, что ты так именно на всех этих господах смотришь. Калерия с детства все на себя напускала... То в божественность ударится – хотела даже в скит поступить, да скитов-то не оказалось и на самом Иргизе. То вообразила себе, что у ней талант – стихи начала писать... Кажется, посылала в Москву, в редакцию; да там, должно быть, вышутили ее жестоко в ответном письме – и с нее это слетело. Тогда она заговорила о высоком призвании женщины в современном обществе. Евангелием зачитывалась, начала рваться отсюда учиться, врачевать недуги человечества, только, – злобный смех прервал ее слова, – для врачевания-то надо диплом иметь, а она, даром что стихи писала, а грамматики порядочно не прошла, пишет «убеждение» б/е – е, д/е – ять, стало быть, в медички ей нечего было и мечтать. Она в фельдшерицы с грехом пополам попала, там, при Красном Кресте, что ли.

– Так, так...

Теркин слушал внимательно, и в голове у него беспрестанно мелькал вопрос: «зачем Серафима рассказывает ему так подробно об этой Калерии?» Он хотел бы схватить ее и увлечь к себе, забыть про то, кто она, чья жена, чьих родителей, какие у нее заботы... Одну минуту он даже усомнился:

полно, так ли она страстно привязалась к нему, если способна говорить о домашних делах, зная, что он здесь только до рассвета и она опять его долго не увидит?..

Вся она вздрагивала, как только он сжимал ее талию или тихо прикасался губами к похолодевшей щеке. От нее шло это трепетанье и сообщалось ему... Говорит же она про Калерию неспроста, клонит все к тому же. Она не может ничего утаить от него. Она показывает, что отныне он – ее сообщник во всем и руководитель. Ей надо излиться вполне и знать теперь же: разделяет ли он ее взгляды и чувства к этой Калерии?

– Видишь ли, Вася, – продолжала она совсем тихо, – папеньке брат оставил ее на попечение. И капитал был... неважный... Дядя Прокофий Спиридоныч... всегда был такой прожектер, и много у него денег ушло на глупости.

– Однако она все-таки наследовала...

– Как тебе сказать... И да, и нет. Завещания никакого не оставил дядя. И обороты главные, по хлебной торговле, у них были общие. Часто отец его выручал. Я думаю, значилось, быть может, за ним несколько тысчонок, не больше.

– Не больше? – переспросил Теркин, все еще не видя ясно, куда она клонит.

– Ни в каком случае! Это и мать говорит, а она отроду не выдумывала. Не знаю, солгала ли на своем веку в одном каком важном деле, хоть и не принимала никогда присяги. Отец-то Калерию баловал... куда больше меня. И все ее эти

выдумки и поступки не то что одобрял... а не ограничивал. Всегда он одно и то же повторял: «Мой первый долг – Калерию обеспечить и ее капиталец приумножить».

– Что ж, это – по-честному.

– Кто говорит! – перебила Серафима. – Только как же теперь, – умри отец без завещания, – определить, сколько ей следует и сколько нам?..

Протянулось молчание. Теркин незаметно для себя вошел в то, что ему говорила Серафима. Теперь он хорошо понимал, о чем ее забота и какого мнения она ждет от него.

– Дело чистое, – выговорил он, немного отведя от нее глаза, – коли завещания не будет и отец на словах не распорядится – вам надо полюбовно разделить. Вы ее, во всяком случае, обидеть не захотите...

Когда он произносил эти слова, за него думал еще кто-то. Ему вспомнилось, что тот делец, Усатин, к кому он ехал на низовья Волги сделать заем или найти денег через него, для покрытия двух третей платы за пароход «Батрак», быть может, и не найдет ни у себя, ни вокруг себя такой суммы, хоть она и не Бог знает какая. – А во сколько, – спросил он Серафиму, перебивая самого себя, – по твоим соображениям, мог он приумножить капитал Калерии?

– Это трудно сказать... Он насчет дел своих всегда скрытен был. Да и с тех пор, как болеет, не очень-то от него узнаешь правду... Даже и маменьке ничего не говорит. Скажет – когда совсем смерть придет.

«Однако как же это она про смерть отца так говорит? – подумалось ему. – Как будто очень уж жестко...»

Ему не хотелось обвинять ее. Он знал, что в купеческих семьях, все равно что в крестьянстве, нежностей больших не водится. А тут, вдобавок, особенный случай. Она выскочила замуж так стремительно, потому что ей дома было тошно. Суровый отец; разница в образовании; они с матерью остались раскольниками; она набралась других мыслей, даже и на таинства стала глядеть как на простые обряды. По-своему она может и теперь любит отца. Умри он – и она будет убиваться. И мать она любит – это чувствуется в каждом ее слове.

– Смущаться тебе нечего, Сима, – успокоенным тоном сказал Теркин и повернул к ней лицо. – Ни тебя, ни двоюродной твоей сестры отец не обидит. И вы с матерью в полном праве порадеть о ваших кровных достатках. Та госпожа – отрезанный ломоть. Дом и капитал держались отцом твоим, а не братом... Всего бы лучше матери узнать у старика, какие именно деньги остались после дяди, и сообразно с этим и распорядиться.

– Ты так говоришь, Вася? – вскричала она еще радостнее. – Спасибо тебе, родной!

Ее руки обвились вокруг его шеи. Влажные нервные губы прильнули к его губам.

И он еще сильнее почувал, что эта женщина вся принадлежит ему.



Держа его голову в своих руках, Серафима спросила его:

– А ты мне не скажешь, Вася, надолго ли ты туда, в Царицын? Ведь ты едешь к тому господину?

По его письмам она знала, что он сделается пайщиком товарищества и надеется еще к концу макарьевской ярмарки приобрести пароход.

– С неделю это возьмет, Сима.

– И сколько тебе не хватает денег? – горячо спросила она.

– Что об этом толковать?!

Он не любил вводить женщин в свои расчеты, считал это недостойным стоящего мужчины.

– Почему же ты не хочешь? – порывисто спросила она. – Думаешь, я тебе в этом не помощница?.. Нет, Вася, я хочу все делить с тобой. Не в сладостях одних любовь сидит. Если я тебе полчаса назад сказала, что без обеспечения нельзя женщине... верь мне... сколько бы у меня ни оказалось впоследствии денег, я не для себя одной. Чего же тебе от меня скрытничать!

– Да я и не думаю, – мягко выговорил Теркин. – Тысяч всего двадцати не хватает. Остальное мне поверят!.. Зарабатываем духом!

– Двадцать тысяч, – глухо и вдумчиво произнесла Серафима. – Спасибо, что сказал.

Она стала его целовать много-много. Теркин отвел ее обеими руками за плечи и сказал прерывисто:

– Сима! Довольно!.. Так нельзя. Пожалей меня!..

– Прости, жизнь моя, прости!

– Проводи меня.

Теркин встал, и она тотчас же поднялась.

Оба пошли оттуда быстро и молча. Он чувствовал, что Серафима войдет к нему. Был уже одиннадцатый час. Везде стояла тишина, и только из увеселительного сада, где они когда-то встретились, донесся раскат музыки.

Серафима у крыльца гостиницы припала головой к его плечу, и у нее вырвался один возглас:

– Вася!..

## X

Пароход «Бирюч» опять пробирался по сомнительному плёсу, хотя и шел к низовьям Волги и уже миновал две-три больших стоянки.

Рано утром, на заре, он тронулся с последней ночевки, где принял несколько пассажиров.

В числе их был и Теркин. Он спал до пяти часов и, когда стало уже вечереть, вышел на палубу.

Проходили мимо гористых берегов, покрытых лесом почти вровень с водой. Теркин сел у кормы, как раз в том месте, где русло сузилось и от лесистых краев нагорного берега пошли тени. – Василию Ивановичу! – окликнул его сверху жирным, добродушным звуком капитан Кузьмичев. Как почивали?

– Превосходно! – ответил Теркин и два раза кивнул ему головой.

Капитан прохаживался по правому кожуху и курил.

– Вот опять к нам угодили. Весьма рад.

– И я также, – ответил ему Теркин в тон.

Ему в самом деле было приятно, что он совершенно неожиданно попал на «Бирюч». Ему казалось только странным, почему этот пароход так поздно пришел в тот губернский город, где он сегодня чем свет сел на него.

– Вы, нешто, где застряли? – крикнул он снизу вверх капитану.

– И весьма!..

– Где же?

– У села Работок. С колесом вот с этим беда приключилась. Целую неделю валандались. Срочный груз должны были паузить.

– Дрянная посудина! – заметил хозяйским тоном Теркин.

– Мне самому, Василий Иванович, она оскомину набила.

Кузьмичев присел на корточки на край кожуха, свесив голову, и полусшепотом пустил:

– К вам проситься буду...

– Милости прошу, – ответил Теркин полусхотливо, но тотчас же про себя прибавил: «тебя я не прочь взять, ты ловкий и душевный парень; только надо тебя будет маленько подтягивать».

– Спасибо на добром слове!

Глаза Кузьмичева весело заиграли; он, всегда красный, еще покраснел и молодецкато поднялся на ноги.

– Вы до Царицына с нами? – спросил он еще возбужденнее.

– До Царицына.

– А «Батрак» ваш, поди, совсем готов, ждет только, как его в купель опустят... За чем дело стало?

Теркин без слов показал ему, что есть заминка в деньгах, постукав правой кистью о ладонь левой.

– Хе-хе! – раздался веселый смех капитана. – Вы это живой рукой оборудуете.

В его словах не было лести. Он действительно считал Теркина умнейшим и даровитейшим малым, верил, что он далеко пойдет... «Ежели и плутовать будет, – говорил он о нем приятелям, – то в меру, сохранит в душе хоть махонькую искорку»...

Тон капитана пришелся Теркину по сердцу. И весь этот интимный разговор прошел без ближайших свидетелей. Около никто не сидел, и чтобы не очень было слышно, Теркин придвинулся к самому кожуху.

– Всякого успеха! – крикнул капитан, подошел к перилам рубки и что-то тихо сказал лоцману.

Теркин остался один на этой половине кормового борта. Ехало мало народу, и от товаров палуба совсем очистилась: которые сдали в Нижнем, а которые должны были выгрузить в селе Работках, где с «Бирючем» стряслась беда.

Разговор о «Батраке» и о его поездке за деньгами вернул его мгновенно к тому, что было там, в губернском городе, у памятника, и у него, в гостинице.

Когда он вышел из каюты и сел у кормы, он ни о чем не думал, ничего не вспоминал; на него нашло особого рода спокойствие, с полным отсутствием дум. Воображение и чувства точно заснули.

Разговор с Кузьмичевым вызвал разом все, с чем он сел сегодня в четвертом часу утра на пароход «Бирюч».

Он полон был Серафимой, и это его почти пугало... Она ему нравилась, тянула к себе; обладать ею он мечтал целый год и с каждым днем все страстнее, но он не воображал, чтобы в ней он нашел столько прелести, огня, смелого порыва, обаяния.

Он не понимал даже, как мог он оторваться от нее и попасть на пароход. Да и она, – скажи он слово, осталась бы до позднего часа, и тогда ее разрыв с мужем произошел бы сегодня же. Ведь нынче вечером должен приехать из Москвы Рудич. Но она ушла в допустимый час – часа в два. В такой час она могла, в глазах прислуги, вернуться из сада или гостей.

Теркин без всяких расспросов верил, что у нее до встречи с ним не было никого, а мужа она не любила, стало быть, не могла испытывать никакого упоения от его ласк. Она слишком еще молода. Не успела она приучиться к чувственной лжи. И нельзя надевать на себя личину с такой натурой.

Да, он почти пугался того, как эта женщина «захлестнула» его.

Его торжество как мужчины полное. Стоит ему дать ей депешу из ближайшего города, и она убежит.

И сегодня, прощаясь с ним у крыльца гостиницы в полусвете занимавшегося утра, она говорила прерывающимся шепотом, пополам с неслышанными им по звуку рыданиями.

– Вася! Я готова уехать с тобой. На том же пароходе, так вот, как я есть... в одном платье... Но не будешь ли ты сам упрекать меня потом за то, как я обошлась с мужем? Я ему скажу, что люблю другого и не хочу больше жить с ним. Надо его дожидаться... Для тебя я это делаю...

И она не лгала. Он не мог себе представить, чтобы страсть женщины, с которой он счетом встречался четыре раза в жизни, достигла такого предела.

В себе он не чувствовал еще ни охоты, ни сил как-нибудь оглядеться, подумать о последствиях. Связь уже держала его точно в клещах, но эти клещи были полны неизведанной сладости. И долго ли он будет так захвачен – он не знал и не хотел себя допрашивать.

Под навесом, между кожухами, на фоне пролета, где помещается машина и куда заходили лучи вечернего солнца, отделилась мужская фигура.

Пассажир лет за пятьдесят, с ожерельем седеющей бороды, – остальное все было выбрито, – в белом картузе и камлотовой коричневой шинели. Лицо его землистого цвета как

бы свело изнутри, так что рот пошел весь складками, и под нижней губой лежала очень заметная морщина. Он прищуривался против солнца из-под длинного козырька картуза, обшитого также белым ластиком. Глаза, без ресниц, слезились, – желтоватые, пронизательные и с воспаленными веками. Из-под фуражки виднелись темно-русые волосы, еще без седины, и полоска лысины вдоль ободка ее.

Шинель держалась на его плечах внакидку, застегнутая, и под галстуком блеснул ободок креста, с лентой какого-то ордена.

Весь он отзывался провинцией, смотрел запоздалым губернским чиновником.

Постоял он несколько минут, глядя взад парохода на уходившие гористые берега, и вдруг кашлянул протяжно, в нос, и совершенно на особый лад.

Теркин был как бы разбужен этим необычайным звуком и быстро поднял голову.

Пассажир в камлотовой шинели стоял близко от него, и профиль под тенью козырька первый был схвачен Теркиным.

«Кто это? – чуть не вслух выговорил он. – Фрошка?..»

Точно желая убедиться в том, что он не ошибается, Теркин даже протер глаза и подался вперед всем корпусом.

Камлотовая шинель повернулась вполоборота.

«Он!..» – вскричал про себя Теркин и весь заглодел.

В один миг все, чем он был сейчас переполнен, отлетело, и вслед за тем краска разлилась по его щекам.

Пассажир еще раз кашлянул, сплюнул, запахнувшись в шинель, пошел ускоренным шагом к рубке и скрылся в дверях ее.

«Фрошка, Фрошка! С орденом на шее! Он! Он!» – повторял Теркин и так взволновался, что встал и начал ходить по палубе.

## XI

В господине с орденом на шее он признал «Фрошку»: так они звали в гимназии надзирателя и учителя, Фрументия Лукича Перновского. Из-за него он вылетел из гимназии, двенадцать лет тому назад.

Внезапное появление «лютого врага» захватило Теркина всего. История его исключения запрыгала в его мозгу в образах и картинах с начала до конца.

От волнения он должен был даже присесть опять на скамейку, подальше, у самой кормы. Он поборол в себе желание пойти сейчас в каюту убедиться, что это действительно Перновский, заговорить с ним.

Это не уйдет.

Он был тогда в шестом классе и собирался в университет через полтора года. Отцу его, Ивану Прокофьичу, приходилось уж больно жутко от односельчан. Пошли на него наветы и форменные доносы, из-за которых он, два года спустя, угодил на поселение. Дела тоже приходили в расстройство. Ма-



ленькое спичечное заведение отца еле– еле держалось. Надо было искать уроков. От платы он был давно освобожден, как хороший ученик, ни в чем еще не попадавшийся.

Начальство, особенно наставники, не очень-то его долюбливали, проговаривались, что крестьянским детям нечего лезть в студенты, что, мол, это только плодить в обществе «неблагонамеренных честолюбцев». Такие фразы доходили до учеников из заседаний педагогических советов, – неизвестно, какими каналами, но доходили.

При гимназии состоял пансион, учрежденный на дворянские деньги. Детей разночинцев туда не принимали – исключение делали для некоторых семей в городе из именитых купцов. Дворяне жили в смежном здании, приходили в классы в курточках, за что немало над ними потешались, и потом уже стали носить блузы.

В своем классе Василий Теркин считался «битк/ой» за смелость, физическую силу, речистость, отличную память и товарищеский дух. Что бы ни затевалось сообща – он всегда был во главе.

Из «дворянчиков» у него в низших классах водились приятели. К ним его тянуло сложное чувство. Ему любо было знатья с ними, сознавая свое превосходство, даром что он приемыш крестьянина, бывшего крепостного, и даже «подкидыш», значит, незаконный сын какой-нибудь солдатки или того хуже.

Раз, – он уже перешел в четвертый класс, – один второ-

классник подбежал к нему и кинул в лицо:

– Теркин! ты...

Ругательное слово криливо раздалось по всему классу. Теркин схватил его за шиворот и в полуоткрытую дверь вышвырнул в коридор, где тот чуть не расшибся в кровь, упав на чугунные плиты. Но тот не посмел бежать жаловаться – его избил бы товарищи; они все стали на сторону Теркина, хотя и знали давно, кто он, какого происхождения...

С той поры он и сам перестал скрывать, что он «приемыш»: крестьянского рода он никогда не стыдился. В классе он был настоящий, тайный «старшой», хотя старшим считался, в глазах начальства, другой ученик, и товарищи поговаривали, что он ведет «кондуитный список» для инспектора и часто заходит к живущим на квартирах без родителей вовсе не за тем, чтобы покурить или чайку выпить, а чтобы все высмотреть и разузнать. За это все его в насмешку прозвали «тутор» – слово, начинавшее тогда входить в моду; оно пришло из Москвы и десятки лет не было известно гимнастам; считалось всегда кутейническим, семинарским.

В старших классах учителями-наставниками были неизвестно какого происхождения Виттих и Перновский, вот этот самый «Фрошка», из духовного звания, он же состоял и в надзирателях в дворянском пансионе. С Виттихом класс еще ладил, нимало не боялся, слишком скоро раскусил его. Виттих сам заговаривал с учениками и в классе, и на улице; только про него давно толковали, что он «переметная су-

ма» – в глаза лебезит, «голубчиком» называет, а директору все доносит и в совете, при обсуждении отметок за поведение, наговаривает больше всех остальных.

В пансионе водилось между учениками двух старших классов, что им надзиратели и даже учителя взаймы деньги давали, – правда, без процентов. Из пансиона перешло это и в гимназию, к ученикам из мелкочиновничьих детей и разночинцев.

Сначала дворянские дети из уездов начали просить, когда из деревни запаздывала присылка карманных денег.

– Поеду на вакации! Клянусь Богом, привезу, дайте зелененькую!

Кто был помягче – давали, да и риску большого не предвидели. С вакаций воспитанник приедет наверно при деньгах, можно было и родителям написать. До этого, однако, никто себя не доводил.

Потом и приходящие гимназисты, из разночинцев, стали занимать. У Виттиха можно было раздобыться скорее, чем у других, около двадцатого числа. Все почти учителя давали взаймы. Щедрее был учитель математики. У него Теркин шел первым и в университет готовил себя по физико-математическому факультету, чтобы потом перейти в технологический или в путейцы.

Только одному учителю нельзя было и заикнуться о «перехвате» денег – Перновскому. Весь класс его ненавидел, и Перновский точно услаждался этой ненавистью. Прежде, по

рассказам тех, кто кончил курс десять лет раньше, таких учителей совсем и не водилось. В них ученики зачуяли что-то фанатическое и беспощадное. Перновский с первого же года, – его перевели из-за Москвы, – показал, каков он и чего от него ждать...

Уже и тогда Перновский смотрел таким же старообразным и высохшим, а ему не было больше тридцати трех-четырёх лет; только на щеках у него показывалась часто подозрительная краснота с кровяными жилками...

Из пансионеров Теркин дружил всего больше с «Петькой» Зверевым, из богатеньких помещичьих детей. Отец его служил предводителем в дальнем заволжском уезде. Зверев был долговязый рыжий веснушчатый малый, картавый и смешливый, с дворянскими замашками. Но перед Теркиным он пасовал, считал его первой головой в гимназии; к переходу в пятый класс, когда науки стали «доезжать» его, с ним репетировал Теркин за хорошую плату.

Они оба слегка покучивали – не то чтобы пьянство или другое что: общая страсть к бильярду, а бильярд неразлучен с посещением трактиров.

Их обоих наследил Перновский и хотя поймать не поймал, но в следующем же заседании совета заявил, что воспитанник дворянского пансиона Петр Зверев и ученик гимназии Василий Теркин посещают трактиры.

Теркина Перновский особенно донимал: никогда не ставил ему «пяти», говорил и в совете, и в классе, что у кого хо-

рошие способности, тот обязан вдесятеро больше работать, а не хватать все на лету. С усмешкой своего злобного рта он процеживал с кафедры:

– Университетское образование – не для всех, господа. Только избранные должны подниматься до высших ступеней.

А всем отлично было известно, что сам он – сын дьячка; и эти «рацеи» вместе с «пакостными» отметками делали иной раз то, что весь класс был к концу его урока в настроении, близком к школьному бунту.

Теркину он начал было говорить «ты», желая, видно, показать ему, что тот, как мужицкий сын, должен выносить такое обращение безропотно. Пошли к инспектору, – даже не допустили Теркина, – и сказали, что они этого за своего товарища выносить не могут.

Инспектор попросил «аспида» не говорить Теркину «ты». После того Перновский каждый раз, как вызывать его, только тыкал пальцем по направлению к первой партии и кидал:

– Теркин!.. К доске!

Отвечать у доски считалось почти унижительным.

## XII

Заняли они с Зверевым у Виттиха перед зимними каникулами – один пять рублей, другой – десять.

Сильно захотелось Теркину повидаться со своими; уроки

как-то не задавались в ту зиму, просить отца о присылке денег он не хотел, да и хорошо знал, что не из чего.

Взял он десять рублей, съездил, сvez старухе, названной матери, фунтик чаю; вернулся оттуда без всякого подарка, кроме разной домашней еды. Уроки опять нашлись, но расквитаться с долгом ему нельзя было тотчас же после Нового года. Он извинился перед Виттихом. Тот ничего, балагурил, сказал даже:

– Вы-то бедный, а вот ваш товарищ, Зверев, – тому непорочно быть неисправным. О своем долге он молчит.

Зверев мог бы, конечно, расплатиться. Он привез с собою больше тридцати рублей, да проиграл на бильярде. Теркин ему немного попенял.

– За мной не пропадет. Немчура небось знает, что я не нищий.

И вдруг узнают они, что на совете, где обсуждали полугодовые баллы за поведение, Теркин и Зверев получили всего три с плюсом; и постарался об этом добро бы Перновский, а то Виттих.

Он сказал при директоре и инспекторе:

– И Теркин, и Зверев с дурными склонностями – слова своего не держат. Ни тот, ни другой не отдадут мне долга вот уже который месяц.

Целую неделю следили они за ним. Звереву, жившему в пансионе, было удобнее подглядывать, куда Виттих пойдет.

И выследили. Они его выждали за углом, – это было в су-

мерки, – и в узком темном коридорчике напали, со словами:

– Ябедничать!

– Полноте, господа! Полноте! Ваша судьба теперь в моих руках: стоит мне подняться к директору – и вы погибли!

Теркин ничего на это не сказал.

– Вот что, господа, – заговорил Виттих громким шепотом. – Вы, во всяком случае, погибли. Хотите пойти вот на что: что сейчас вышло – умрет между нами. Я буду молчать – молчите и вы!

В полутемноте Теркин не мог отчетливо видеть лиц Виттиха и Зверева, но ему показалось, что его приятель первый пошел на это, прежде чем спросил:

– Вася! как ты скажешь?

Что было ему сказать? Из-за него быть выгнанным, а то и того хуже – решительно не стоит.

– Поклясться-то поклянется, – выговорил он, – а выдать может, под шумок, разлюбезным манером.

– Ладно! Посмотрим! – сказал задорно Зверев, а сам был рад-радешенек, что история кончилась так, а не иначе.

Они оба были уверены, что ни одна душа ничего не видала и не слыхала. В классе Виттих вел себя осторожно и стал как будто даже мирволить им: спрашивал реже и отметки пошли щедрее. Как надзиратель в пансионе обходился с Зверевым по-прежнему, балагурил, расспрашивал про его деревню, родных, даже про бильярдную игру.

И так шло месяца два. Друг друга они успокаивали: Вит-

тиху прямой расчет молчать. Откройся история, хотя бы и не через него, их выключат, да и ему хода не будет, в инспекторы не попадет.

Вообще он сделался добрее, и класс его полюбил, сравнивал с «изувером» Перновским.

Виттих и Перновский не терпели один другого. Из-за количества уроков они беспрестанно подставляли друг другу ножку. Перновский читал в старшем отделении. На первые два года по его предмету бывал всегда особый преподаватель, всего чаще инспектор или директор. А тут Виттих захватил себе ловко и незаметно и эти часы; Перновский еще ядовитее возненавидел его, хотя снаружи они как будто и ладили.

В начале поста дядьку, старого унтера Силантия, за продолжительные провинности уволили. В день его ухода из пансиона он, сильно выпивши, пошел прощаться с воспитанниками и с учителями. Начал он с наставников – их было трое; у всех был, кроме Виттиха. И, прощаясь с Перновским, говорил ему:

– Вы, Фрументий Лукич, язвительный человек. И ко мне всегда были не в пример строги. А я вот пришел прощаться с вами; к господину Виттиху, хоть тот и подобнее, я не пойду.

И тут же Силантий рассказал спьяна, что он собственными ушами слышал, какой между воспитанниками и Виттихом состоялся уговор.

Силантий хоть и говорил, что Виттих добрее, но он на



него всего больше был зол и, зная его нрав, подозревал, что из-за «оговоров» Виттиха его разочли.

Для Перновского это было слишком на руку, да он и помимо того не упустил бы никогда ничего подобного без разоблачения.

Он доложил директору и предупредил, по-товарищески, своего соперника. Директор хотел сначала замять дело, но через того же Перновского узнал, что и в классах и в дортуарах об этом уже пошли толки.

– Ну, Вася, мы пропали!

На этот возглас приятеля Теркин, не колеблясь ни секунды, ответил:

– Теперь надо осрамить Перновского при всех. Давай бросать жребий.

Сделали они нарезку на одной из «семиток» и бросили их в фуражку, встряхнули раза два, и уговор был – в один миг выхватить монету.

С нарезкой вынул Зверев и побледнел, но притворился, что он «битк/а», и вскричал:

– Я так я!..

Но не выдержал и чуть не расплакался.

– Страшно? – спросил его Теркин.

– Страшно, Вася...

Зверев схватил его за руки, хотел поцеловать и разрюмился окончательно.

– Тебе все равно отвечать. Коли исключат тебя – вот тебе

крест, мамаша тебя не оставит!..

– Ну, ладно! Только смотри, Петька: я себя не продаю ни за какие благостыни... Будь что будет – не пропаду. Но смотри, ежели отец придет в разорение и мне нечем будет кормить его и старуху мать и ты или твои родители на попятный двор пойдете, отрещиваться станете – мол, знать не знаем, – ты от меня не уйдешь живой!

И так грозно он это сказал, что Зверев начал креститься и клясться. Ему даже противно стало.

– Ладно. Завтра же! Фроша меня вызовет к доске наверняка.

### ХШ

На второй урок пришел Перновский и первым же вызвал Теркина к доске.

Землистые щеки Перновского, его усмешка и выражение глаз, остановившихся на нем, заставили его покраснеть. У него даже заволокло зрение, и он в два скачка очутился у кафедры...

Звуки ругательного слова гулко раздалось в воздухе... Учитель вскочил, схватился одной рукой за угол кафедры, а другой оттолкнул Теркина...

Началось дело. Сидение в карцере длилось больше двух недель. Допрашивали, делали очные ставки, добивались того, чтобы он, кроме Зверева, – тот уже попался по истории

с Виттихом, – выдал еще участников заговора, грозили ему, если он не укажет на них, водворить его на родину и заставить волостной суд наказывать его розгами, как наказывают взрослых мужиков. Но он отрезал им всего один раз:

– Я один надумал. Ни Зверева, ни кого другого я в это не впутывал.

Зверева он по второму делу все-таки не выгородил: ясно было, что и тот хотел отомстить Перновскому.

Отцу Теркина, Ивану Прокофьеву, не давали знать и не вызывали его больше недели. Потом ему написал один из товарищей сына.

Старик приехал, больной, без денег, кинулся к начальству, начал было, по своей пылкой натуре, ходить по городу и кричать о неправде.

И с приемышем своим ему не позволяли видаться в первые дни.

Теркин заболел не притворно, а в самом деле, и его положили в лазарет при пансионе, в особой комнате, куда остальных, кто лежал из воспитанников, не пускали.

У отца он, когда тот пришел к нему, стал горячо просить прощение.

– О вас с мамынькой, – он выговаривал по-деревенски, когда был со своими, – не подумал, тятенька, простите! Ученье мое теперь пропало. Да я сам-то не пропал еще. И во мне вы оба найдете подпору!.. Верьте!..

И когда он эти слова говорил Ивану Прокофьичу, то со-

всем и не подумал о клятвах Зверева насчет денежной поддержки его старикам. Не очень-то он и впоследствии надеялся на слова Зверева, да так оно и вышло на деле.

Иван Прокофьич, прощаясь с приемышем, сказал ему: – Вася!.. Ты хоть не кровный мой сын, а весь в меня! Мать сильно сокрушалась, лежала разбитая, целые дни разливалась-плакала. Это Теркина еще больше мозжило, и как только уехал домой отец, ему начало делаться хуже. Хоть он все время был на ногах, но доктор определил воспаление легкого.

Бред начался у него. Он слег и добрую неделю то и дело терял сознание. Его перестали вообще беспокоить.

Зверева просто исключили, без права принимать в ту же гимназию; хлопотали отец и губернский предводитель. Да и не хотелось начальству, чтобы разнеслась история с Виттихом. Виттиха, однако, уволили через два месяца, а Перновский сам подал прошение об отпуске и перевелся куда-то далеко, за Урал.

После кризиса Теркин стал поправляться, но его «закоренелость», его бодрый непреклонный дух и смелость подались. Он совсем по-другому начал себя чувствовать. Впереди – точно яма. Вся жизнь загублена. С ним церемониться не будут, исполнят то, что «аспид» советовал директору: по исключении из гимназии передать губернскому начальству и отдать на суд в волость, и там, для острастки и ему, и «смутьяну» Ивану Прокофьеву, отпустить ему «сто лоза-

нов», благо он считал себя богатырем.

С каждым днем своего выздоровления все сильнее убеждался он в том, что так именно и будет. Сначала высекут в волостной избе, продержат в холодной, а потом приговор постановят: сослать его на поселение.

Ему это представлялось ярко, в образах. Он видел рожи всех врагов Ивана Прокофьева и вожаков и горланов из голытьбы, слышал их голоса на сходке. Давно они лютою злобою дышат на его отца, не разумея в своей тупости и подлости, что он один на всем селе истинный радетель за правду и справедливость. Да им какое до этого дело!.. Такого случая унижить и донять Ивана Прокофьева сход не упустит, а в судьях сидят его отъявленные «вороги»: Павел Рассукин да Поликарп Стежкин. И голова – их человек, плут, подлая душонка, Степан Малмыжский. Тот на всякое гнусное дело пойдет, только бы ему выслужиться перед начальством.

Не за себя его страшило все это, а больше за стариков. Их это убьет. Иван Прокофьев не стерпит, поднимет гвалт, проштрафится, его самого могут сослать. Старуха умрет с горя, в нищете.

Потом и за себя ему делалось страшно и тяжело до нестерпимого отчаяния. Целые ночи напролет он метался один на своей лазаретной койке.

Ведь у него теперь никаких прав нет!.. Будут его «пороть». Это слово слышит он по ночам – точно кто произносит над его ухом. Мужик! Бесправный! Ссылный по приговору од-

носельчан! Вся судьба в корень загублена. А в груди трепещет жажда жизни, чувствуешь обиду и позор. Уходит навсегда дорога к удаче, к науке, ко всему, на что он считал уже себя способным и призванным.

На пятый день таких мук его на рассвете пронзила мысль.

«Лучше с собой покончить!»

Ее он не испугался. Как ни велик будет для его стариков удар – самоубийство приемного сына, – но все-таки он не сравнится с тем, через что они могут пройти, если его накажут в волости и сошлют...

Да и большой храбрости не нужно, чтобы с собою покончить.

Мысль начала входить в его мозг, как входит штопор в пробку, стойко, упорно, пока не довела до бесповоротного приговора воли.

Но револьвера негде достать. Веревку легче, но как? Подкупить сторожа? При нем состоял особый унтер, суровый и полуглухой. С ним надо кричать. Из товарищей к нему никого не пускали.

Голова работала днем и ночью. Жажда покончить с собою все росла и переходила в ежеминутную заботу. Выздоровление шло от этого туго: опять показалось кровохарканье, температура поднялась, ночью случался бред. Он страшно поухудел; но ему было все равно, – только бы уйти «от жизни».

## XIV

При лазарете состоял фельдшер, по фамилии Терентьев, из питомцев воспитательного дома. О его происхождении Теркин давно знал, и это их сблизило. Ведь и его отнесла бы мать в воспитательный, родился он не в селе, а в Москве или в Петербурге.

Терентьев ухаживал за ним и жалел его.

И доктор, когда болезнь Теркина выяснилась, требовал от начальства гимназии, чтобы Теркина оставили в покое, не запугивали его и не держали бы как арестанта.

Терентьев давал Теркину книжки, видя, что он впадает в уныние, по целым дням лежит или ходит молча. В госпитале домашняя аптечка помещалась рядом, в проходной комнате.

С лекарствами этой аптечки Теркин хорошо ознакомился. Тут были все невинные средства, но он разглядел в углу и порядочную склянку с опиумом.

Частенько шкафчик оставался без ключа. Да фельдшер и не мог иметь никаких подозрений. Не станет же больной воровать спирт и разбавлять его водой – он не пьющий, да и вообще, по его мнению, «натура благородная и пылкая».

Не трудно было Теркину отлить половину опиума в пузырек и поставить склянку в угол так, чтобы она не бросалась в глаза.

Вечером того дня доктор заехал часу в девятом, посмот-

рел температуру, справился об аппетите и прописал микстуру против бессонницы.

Уходя, он сказал ему, выслав фельдшера:

– Послушайте, Теркин... не кривя душой, я могу вас продержать здесь до Пасхи. Но не дольше. Может быть, если вы торжественно повинились...

– Ни за что!

Доктор, кажется, испугался выражения его лица и поспешил прибавить:

– Как знаете. Только здоровье-то надо восстановить. Что бы с вами ни случилось, это ваш единственный капитал.

В девять ушел фельдшер; сторож ночевал рядом, в передней. В четверть десятого Теркин сразу выпил все, что было в пузырьке. Думал он написать два письма: одно домой, старикам, другое – товарищам; кончил тем, что не написал никому. Чего тут объясняться? Да и не дошли бы ни до стариков, ни до товарищей письма, какие стоило оставлять после своей добровольной смерти.

Он ждал ее храбро, рука у него не дрогнула, когда выливал в рот густую жидкость. Чуть не поперхнулся, но проглотил все.

И терпел, пока была возможность... А все-таки не отравился. Начались припадки; сторож побежал за фельдшером; тот тотчас же распознал, в чем дело, но не донес. Даже доктора просил от себя – затушить дело, не доводить до директора.



Доктор согласился, только заметил Теркину:

– Не следовало бы нас подводить, господин Теркин.

Больше ничего не прибавил; приказал фельдшеру наблюдать за больным как можно внимательнее; высказал даже с глазу на глаз опасение, не начинается ли у Теркина какой-нибудь болезненный процесс в мозгу.

Терентьев этого не думал, но он воспользовался словами доктора.

– Знаете что, Василий Иванович, – заговорил он раз под вечер, сидя на краю койки больного. – Вам не уйти с вашим характером от большого наказания... Вы это чувствуете... Недаром вы на свою жизнь посягали. Одно средство, – продолжал он, – выиграть время и, быть может, совсем оправдаться – это... это...

Он не сразу выговорил.

– Что такое? – спросил Теркин, не ожидая ничего стоящего.

– Могут ваше состояние признать ненормальным... понимаете? У нашего Павла Сергеевича, – так звали доктора, – есть некоторые сомнения на этот счет.

Фельдшер пристально и долго на него смотрел. В глазах было желание помочь бедняге, разумеется, так, чтобы тот его не выдал.

Ничего ему не сказал на это Теркин. Слова Терентьева запали ему в душу.

Еще две ночи без сна, – на него и хлорал уже плохо дей-

ствовал, – и весь он запылал новой неудержимой злобой ко всему, что привело его к попытке самоубийства и казалось впереди розги волостного правления, может, и ссылку административным путем.

Подвернулся лазаретный унтер, стал за что-то ворчать. Он бросился на него, и если бы не прибежавший фельдшер, смял бы старика.

С того дня и Терентьев уже искренно подозревал, что он находится в «ирритации», близкой к припадкам бурного сумасшествия. Доктор склонялся к тому же мнению.

Болезнь уходила; Теркин ел и спал лучше, но с каждым днем он казался страннее, говорил ни с чем «несуразные» вещи, – так докладывал о нем унтер и не на шутку побаивался его.

Даже по прошествии десяти с лишком лет Теркин не мог дать себе ясного отчета в том, чего в нем было больше – притворства или настоящей психопатии? По крайней мере, в первые дни после того, как он бросился на лазаретного сторожа, и доктор с Терентьевым начали верить в его умственное расстройство; быть может, одна треть душевного недомогания и была, но долю притворства он не станет и теперь отрицать. В нем сидела тогда одна страстная мысль:

«Все равно погибать!.. Так лучше уже, раз не привелось покончить с собою в лазарете, отдалить минуту расправы, если удастся попасть в сумасшедший дом. Там или он покончит с собою, или ему удастся, по прошествии года, уйти от

позорящего наказания. Просто оставят его в покое и выпустят на волю, как неопасного душевнобольного».

Ему довольно легко удавалось проделывать разные «штуки». Он и сам не ожидал, что окажутся в нем такие таланты по этой части; ничего особенно скандального он не выкидывал, но целый день говорил вслух, пел или упорно молчал и смотрел в одну точку... Терентьев уже окончательно решил, что его «юный благоприятель» – совсем «швах».

Доктор практически не занимался психиатрией, но так же, как и фельдшер, читал много «новых книжек» и, по доброте и гуманности своей, признавал для такого пылкого субъекта, как Теркин, достаточно мотивов, чтобы молодой душевный организм был глубоко потрясен.

Он не настаивал на формальном освидетельствовании и перевел Теркина в земскую больницу, где состоял ординатором по другому, терапевтическому отделению.

Ординатор, заведовавший палатами умалишенных, заинтересовался Теркиным. Это был фанатик своей науки, склонный видеть душевное расстройство во всяком нервном индивиде. Он возмущался тем, что больница на его отделении содержалась скаречно, грязно, по-старинному, и как он ни бился – не мог ее без средств и без помощников поставить на другую ногу. И прислуга привыкла обходиться с больными грубо. Теркин сейчас же испытал это на себе. Его повели в ванную. Он, должно быть, нашел нужным «показать себя» и толкнул одного из дядек. Те его побили. Он пришел в

неистовство, и на него надели «рубашку», прежде чем доктор явился на зов дежурного фельдшера.

Его поместили хоть и не в темную, но в номер без мебели, с одним тюфяком на полу, в каких содержатся «буйные», и начали наблюдать над ним через дырочку в двери.

Лежание на грязном тюфяке, без белья, и снование взад и вперед по узкой и мрачной конуре так его измучили, что он изменил свою систему, попросил прощения у доктора и обещал быть тихоньким.

Свое слово он сдержал, и ему не нужно было особенно усердствовать по части притворства. Психиатр уверовал в то, что имеет дело с характерной формой «спорадического аффекта», которая может перейти в манию, может и поддаваться лечению. Он говорил везде, в клубе, у знакомых, у товарищей по практике, что мальчик Теркин был уже подвержен припадкам, когда на протяжении нескольких месяцев два раза набуянил.

Так протянулось еще два месяца. Вдруг психиатра назначают директором образцового дома умалишенных в одной из соседних губерний. Приехал Иван Прокофьев и стал умолять доктора перевести и его Васю туда же. С отцом Теркин мрачно молчал, но ему удалось написать и передать ему записочку в три слова: «Папенька, все обойдется».

## XV

Жарким летом водворили его в образцовом сумасшедшем доме.

Обширная усадьба, несколько деревянных барачков, два-три больших каменных корпуса, паровая машина стучит целый день, освещение электрическое, в кухне все стряпают на пару, даже жаркое выходит готовым из парового шкафа; во-круг поля есть запашка, рига, скотный двор, кузница. В каждом отделении – мужском и женском – мастерские. Буйные особо, и у них садики, где их держат в хорошую погоду почти целый день. Ему предложил директор выбрать какое-нибудь ремесло. Он взял кузнечное.

С детства его влекло к кузнецам, «ковалям», как говаривали в его селе Кладенце и в окружной местности, да и физической силы у него было достаточно.

Директор не сразу согласился. Подержали его сперва на испытании в другой мастерской, столярной, сказали ему: – Здесь полегче работа, да и поинтереснее, а народ все тихий.

В первые дни Теркин не верил своим глазам: ни мрачного номера с вонючим тюфяком, ни решеток, ни зверских дядек; ходи, где дозволено, по двору, по саду, работай в поле, на гумне или в мастерской. Он боялся заглядывать в отделение буйных, и в то же время его тянуло туда.

Забор садика женщин шел вдоль межи и неглубокого рва.

По ту сторону начиналась запашка. Раз он приложился глазом к щели... Стоял яркий знойный день. Солнце так и обливало весь четырехугольник садика. Только там не было ни одного деревца. Впоследствии он узнал, что женщины выдергивали деревца с корнями. Начальство побилось-побилось, да так и бросило.

Картина на первый взгляд самая обыкновенная. Бродят женщины, иные в ситцевых распашных капотах, а то просто в длинных рубахах, простоволосые или покрытые платками; некоторые о босу ногу сидят и на земле или валяются, поют, бормочут. Но когда он, не отрывая глаза от щели в заборе, стал вглядываться в этих женщин, еще незнакомый ему ужас безумия заползал ему внутрь, и губы его явственно вздрагивали.

Прямо к нему лицом лежала на разрытой земле, в рваной рубахе, баба лет за сорок, ожирелая, с распущенными седящими волосами, босая, очень грязная. Лежала она наполовину ничком, левой рукой ковыряла в земле и выла.

Этого вытья он не забудет до смертного часа, ни землистого лица безумной бабы, ни блеска глаз, уходивших с выражением боли и злобы в ту сторону, откуда он глядел в расщелину забора.

И другая, вправо, около угла, – тоже в рубашке, простоволосая и босая, – прислонилась к забору, уперлась лбом о бревно и колыхалась всем телом, изредка испуская звуки – не то плач, не то смех. Это было на расстоянии одного арши-

на от того места, где он стоял.

Впервые пронизала его мысль, грозная и ясная, точно смертный приговор:

«И ты можешь таким же быть, особенно здесь!»

Была минута, когда он готов был побежать к директору, упасть перед ним на колени и закричать:

– Спасите!.. Я лжец, обманщик, я только притворяюсь душевнобольным! Выдайте меня начальству! Пускай оно делает со мною, что хочет!

Ведь здесь он либо действительно помутится, либо кончит самоубийством, украдет веревку или расшибет себе голову о наковальню, когда ему позволят заняться кузнечным делом.

Но другая, такая же почти строгая и ясная мысль обдала его холодом:

«Беги, кайся! Так тебе и поверили! Мало здесь подневольных жильцов, доказывающих, что они в здравом уме и твердой памяти! Ты повинисься, а твою повинную господа ученые психиатры примут за новый приступ безумия».

Ничего не мог он возразить веского против такого довода.

Он сам видел, что возможно и без особенной ловкости ввести в обман докторов. Разубедить же их будет гораздо мудренее. Если директор догадывался, что в нем на две трети, а то и вполне действует притворство, – надо выдержать, помириться по малой мере с полугодовым сроком, исподволь сбрасывать с себя притворное тихое безумие, помочь директору, если тот желает заблуждаться из доброты и жа-

лости к нему. Протянется целый год – и тогда один факт, что он высидел так долго в сумасшедшем доме, покроет все его проступки. Исключить исключат, но без волчьего паспорта.

Позднее он перестал бояться своих товарок по заключению; только к буйным мужчинам никогда не заглядывал.

Тихие женщины даже интересовали его. С самыми курьезными он водил дружбу, насколько возможно было под надзором. За ним перестали пристально следить со второго же месяца после того, как его пустили в кузницу.

До сих пор живьем прыгают перед ним две фигуры. Одна то и дело бродила по роще, где тихие сидели и в жар некоторые шили или читали. Она не могла уже ни работать, ни читать. На голове носила она соломенную шляпу высоким конусом, с широкими полями, и розовую ситцевую блузу. Выдавала себя за княжну Тараканову.

– Я не потонула, – повторяла она, – князь Орлов хотел меня загубить, но он же и погиб от любви ко мне.

И воображала, что все изнывали от любовной страсти к ней, хотя и скрывали это всячески.

Другая, в дворянской общей палате, тихая, чопорная, из старых дев, разорившаяся по проискам родственников. Обо всем она говорила довольно толково и всегда отборными фразами; но стоило только какому–нибудь стороннему посетителю зайти в палату, она останавливала его и жаловалась на то, что ее вещи продавали сегодня утром в соборе.

– В соборе? – изумленно переспрашивал ее посетитель.



– Да-с, за ранней обедней, мою гипюровую мантилью и шубку продавали с аукционного торга.

– Вы ведь не были там?

– Нет-с; но мне прибежали доложить, и мантилью всю искромсали, бахрома общипана, из шубки мех повыдерган.

Уходил посетитель – она становилась рассудительна и даже хорошо умела гадать, помнила, что каждая карта обозначает; могла раскладывать и гранпасьянс.

В столярной мастерской его поставили за один верстак с молодым еще сельским «батюшкой».

Облик священника поразил и привлек его сходством с одною фигурою на картине Иванова – Теркин видел хорошие ее фотографии.

Звали его отец Вениамин. Он начал с религиозных галлюцинаций, слышал ночью голоса, то райские, то дьявольские; проходил и через манию преследования.

Когда Теркин встал против него за верстак, отец Вениамин был уже на пути к излечению, – так думали директор и ординатор, – но держал он себя все-таки странно: усиленно молчал, часто улыбался, отвечая на собственные мысли, говорил чересчур тихо для мастерской, где стоял всегда шум от пил, рубанков, деревянных колотушек, прибивания гвоздей железными молотками. Он точно чего-то боялся и с своим новым товарищем по верстаку разговаривал односложно, в виде маленьких вопросов, и то когда было меньше народу в столярной. В глазах его Теркин не замечал ничего враж-

дебного себе; напротив, больной взглядывал на него иногда с улыбкой, показывал ему, как обходиться с инструментами, называл их всегда отрывисто и быстро.

– Это шерх/ебель, – скажет он вдруг и ткнет пальцем, длинным и прозрачным, в рубанок особой фирмы. – Вон тот зынцубель.

Раз прибавил:

– И кто это надавал таких имен! Неблагозвучно!

Целыми днями Теркин наблюдал его про себя.

Перед ним неизменно, в течение нескольких недель, стоял образец настоящего душевнобольного, тихого, способного выздороветь. Он не говорил и не делал ничего дикого или смешного; но чем больше изучал его Теркин, тем отчетливее выделялись перед ним мины, звуки, взгляды, движения, каких «не сочинишь» по собственному произволу. Он мог усвоить их себе. Все это ему пригодится. Но его не оставляла боязнь – вместе с игрой лица и манерой держать себя и самому не впадать в психопатию.

Нет-нет и поднимется в нем совесть, и он готов покаяться отцу Вениамину в своем притворстве. Тот действительно был страдалец, а он – обманщик. Его удерживало неприязненное чувство к «долгополой породе» еще с детства, когда он босиком бегал по улицам и издали кидал всякие обидные прозвища дьячкам и пономарям двух церквей села Кладенца.

Кое-что, однако, отлиняло на него, от работы за одним

верстаком. И он стал говорить отрывисто и часто усмехаться без всякого повода. Он знал, что это ему не повредит.

## XVI

В кузнице его поставили за одну наковальню с Капитоном, неизлечимым больным, из отставных солдат, бывшим всю свою жизнь кузнецом, сначала в деревне, потом в уланском полку.

Капитона доктора считали совсем безобидным, любили его за веселый нрав и послушание.

Большого роста, еще не старый, с обличьем солдата, в бородке, под гребенку остриженный, он то и дело смеялся и рассуждал за работой; в свободные от работы часы ходил подбоченьясь развалистой поступью, туда и сюда, в поля, на гумно, в другие мастерские, вызывался молотить, или веять, или косить, смотря в какую пору. Он же исправлял и всякие починки по тележной части.

Его узкие темные глазки, всегда прищуренные от света, слезились и подмигивали. Капитон никогда не носил шапки, даже зимой, и постоянно кожаный фартук поверх синей холщовой блузы.

С Теркиным у него с первого же дня пошли лады.

– Тебя как звать?

Капитон только что его учил: ловчее колотить по раскаленному куску железа; они «наваривали» сломавшуюся те-

лежную ось.

– Василий.

– А по батюшке, значит?

– Иваныч.

– Так вот я тебе что скажу, Иваныч: ты меня слушайся, не перечь, и выйдет из тебя кузнец заправский.

В том, что Капитон говорил по своему главному «руко-меслу», Теркин ничего не мог подметить безумного. Но как он это говорил – другое дело. Скажет одну фразу дельно и даже с тонким пониманием работы, и сейчас же, как только ушел в сторону, и начнется возбужденная болтовня, всегда одного и того же характера.

Капитон был фантазер на хозяйственные темы.

Все бы он тут переделал по-своему. Он не бранил порядков, какие заведены по полевым работам и мастерским, но устроил бы это по-другому.

И вот в таких-то фантазиях и сказывался его «пунктик». Совсем нелепых, диких вещей, если их брать отдельно, у него не выходило; но все его мечтания принимали огромные размеры, и всего чаще трудно было догадаться, о чем, собственно, он толкует, тем более что Капитон беспрестанно вплетал воспоминания из полковой жизни по городам и селам, в лагерях, на маневрах, разговаривал вслух с своими товарищами и начальниками, точно будто они стояли тут перед ним.

И работа с Капитоном могла оказаться Теркину на руку.

Через два-три месяца он отлично овладел обеими формами душевного расстройства: и молчаливым, как у отца Вениамина, и болтливо-возбужденным, как у отставного унтер-офицера Капитона Мусатова. Он держался первой формы: она была удобнее и вернее. Директор вряд ли подозревал его: обращался с ним ласково, предлагал даже перевести в привилегированное отделение и бросить тяжелое кузнечное дело.

– Мне так хорошо, спасибо, – отрывисто благодарил его каждый раз Теркин и больше ничего не говорил.

До него доходило через дядек, что директор его хвалит за трудолюбие, за нежелание поступить на положение привилегированных больных, читать книжки, ничего не делать, жаловаться и всячески надоедать.

Его и не тянуло к книжкам. Они ему напомнили бы только ненавистную школу. И разговоров с образованными больными он избегал, хотя многие лебезили, выспрашивали его, кланчили папиросочку, приставали с разными своими глупостями, ругали докторов.

На нескольких он дал окрик, и его сторонились.

Так протекло около полугода. С наступлением зимы жить стало теснее; приходилось сидеть частенько в камерах. Кузнечная работа сократилась наполовину. Попросил и он «книжки почитать». Надежда высидеть благополучно больше года и выйти на волю без волчьего паспорта все крепла в нем.

Своим старикам он писал каждый месяц по несколько строк, успокаивал их, но воздерживался от всего, что могло показаться подозрительным, слишком умным и складным для душевнобольного.

После Нового года старший ординатор обменялся местом с врачом, приехавшим из Петербурга.

Теркин, как только тот в первый раз пришел к ним в камеру и задал ему два-три вопроса, почуял, что это – будущий враг.

Его потрясло и то, что психиатр, по фамилии Несветов, напоминал учителя Перновского и тоном и даже лицом. И он оказался «из кутейников».

Предчувствие не обмануло. Несветов узнал историю юноши и выбрал его предметом своих упорных наблюдений.

По несколько раз на неделе он начал подвергать его настоящим допросам.

Теркин увидел, что Несветов не верит в его психическую болезнь и хочет ловить его на противоречиях научного характера.

Но какие это противоречия? Он не мог знать. Книжек по психиатрии ему не доводилось читать, а здесь их ему и по-давно не дадут. В них он, разумеется, нашел бы, что с чем вяжется и каких проявлений держаться, если остановишься на одном каком-нибудь типе умопомешательства.

Когда Несветов взбесит его ехидным вопросом, он пускал в ход возбуждение, болтал всякий вздор, вроде своего прия-

теля Капитона; доходил раз до попытки на большую «ирригацию». Но на другой день проницательный психиатр сказал ему:

– Теркин! вы недостаточно искусно притворяетесь. У вас то из одной оперы, то совсем из другой... Лучше было бы сознаться по доброй воле; а то не нынче завтра вас освидетельствуют поостроже.

Он это сказал с глазу на глаз и директору вряд ли докладывал в таком именно смысле. Опасность росла с каждым днем. Стал он замечать, что и директор иначе с ним держится и совсем не те вопросы задает, как прежде.

Злобное чувство, сродни тому, что жило в нем и тогда еще к Перновскому, подсказало ему доказать психиатру свое безумие.

Ударить его чем ни попало сзади по мозжечку так, чтобы психиатр сам попал в сумасшедший дом... Что ему за это будет? Он – невменяем; иначе зачем же его держать здесь? Ну, подержат в секрете, и все обойдется; просидит он лишний год, зато никто уже не будет сомневаться, здоров он или болен... Это лучше, чем подбить другого, хоть бы того же Капитона. И тому новый доктор не нравился.

Но врач был прозорлив. И он почуял в свою очередь, какие чувства возымел к нему Теркин, и стал донельзя осторожен.

Одно время и совсем его как бы не замечал.

Директор к посту уехал в командировку за границу осмат-

ривать образцовые дома и лечебницы; вернуться должен был уже к Троице. Несветов заступил его место.

Когда директор прощался с больными, он Теркину сказал, глядя на него пристально:

– Вашим физическим здоровьем я доволен. Может быть, и вообще вам достаточно сидеть у нас...

«Понимай, мол, как знаешь!»

Несколько ночей ломал себе Теркин голову: не начать ли самому проситься на выписку? Но он боялся, что Несветов подставит ему ногу.

Через неделю, не больше, Несветов пригласил местного крупного чиновника по медицинской части, подвел его к Теркину и стал задавать самые коварные вопросы.

Отвечать на них здраво Теркин не решился и повторил опять один из своих приемов: то молчал, то возбужденно болтал.

Доктора переглянулись, и в конце месяца его освидетельствовали. Несветов дал от себя подробный отзыв, что он считал Теркина притворяющимся с самого поступления в сумасшедший дом.

Он ссылался и на мнение директора. Другой ординатор подтвердил это.

На освидетельствовании Теркин держался ловко – целый год ученья не пропал даром. Но обличителю удалось убедить членов присутствия: его признали притворно больным и выдали опять на руки начальству.



От «волчьего паспорта» Теркин не ушел. Его выслали в село по этапу и выдали волостным властям, закоренелым «ворогам» его приемного отца, тогда совсем больного, впавшего в бедность, разоренного непомерными поборами с его домишка и заведения, шедшего в убыток.

И все испытанное прежде стусевалось перед тем, через что прошел он на родине, в селе Кладенце.

## XVII

Ни отца, ни матери к нему не допустили, продержали больше недели в холодной на хлебе и на воде и повели в правление сечь.

Никогда его не наказывали розгами ни дома, ни в гимназии. И каждый раз, как он вспомнит всю сцену этой экзекуции, кровь бросится ему в голову и в висках забьются жилы.

Пустая горница в старом графском «Приказе», с лавками по стенам, два окна против двери, икона в правом углу. Серенький холодный денек. Горница не протоплена, и в ней он вздрагивает и видит на полу два пучка розог.

Тут старшина, сельский староста, двое судей, писарь, два десятника – они будут его наказывать.

Старшина, пройдоха и взяточник Степан Малмыжский – мелкий прасол, угодник начальства, сумевший уверить «горлопанов», что им только и держатся оба сельских общества, на которые разделено село Кладенец. Как ярко врезалась в

память Теркина рыжая веснушчатая рожа Малмыжского и его «спинжак» и картуз на вате, сережка в левом ухе, трепанная двуцветная бородка... Кажется, каждый волосок в этой бородке он мог бы перечесть. Стоит ему закрыть глаза – и сейчас же старшина перед ним как живой.

Двое судей в верблюжьих кафтанах. Оба – пьянчуги, из самых отчаянных горлопанов, на отца его науськивали мир; десятки раз дело доходило до драки; один – черный, высокий, худой; другой – с брюшком, в «гречюшнике»: так называют по-ихнему высокую крестьянскую шляпу. Фамилии их и имена всегда ему памятливы; разбуди его ночью и спроси: как звали судей, когда его привели наказывать? – он выговорит духом: Павел Рассукин и Поликарп Стежкин.

Они сидели около старшины, на правой скамье от двери.

Сельского старосту он не так отчетливо помнит. Он считался «пустельгой»; перед тем он только что был выбран. Но дом его Теркин до сих пор помнит над обрывом, в конце того порядка, что идет от монастырской ограды. Звали его Егор Туляков. Жив он или умер – он не знает; остальные, наверно, еще живы.

Жив и писарь Силоамский. Тоже из кутейников!.. Он был самым лютым ненавистником его отца. Тот без счету раз на сходках ловил эту «семинарскую выжигу» в мошеннических проделках и подвохах, в искажении текста приговоров и числа выборных голосов, во всяких каверзах и обманах. Но писарь держался прочно; без него старшина, полуграмотный,

не мог шагу ступить, а судьи были вовсе неграмотные.

И наружность Силоамского, каким его увидел, войдя в горницу, мог бы Теркин нарисовать в мельчайших подробностях.

Среднего роста, сутулый, с перекошенным левым плечом, бритое и прыщавое лицо, белобрысые усики, воспаленные глаза и гнилые зубы, волосы длинные, за уши. И на нем был «спинжак», только другого цвета, а поперх чуйка, накинутая на плечи, вязаный шарф и большие сапоги. Он постоянно откашливался, плевал и курил папиросу. Под левой мышкой держал он тетрадь в переплете.

– Ну-с, ваше степенство, – обратился к нему первый писарь, – не благоугодно ли вам будет разоблачиться?

Старшина и судьи переглянулись.

Язвительный тон писаря и его хриплый голос обдали Теркина холодом и жаром. Розги лежали перед ним. Если б он мог, он схватил бы за горло негодяя, который издевался над ним перед казнью.

Руки его стягивал кушак. Два десятника плотно налегли на него с обеих сторон.

– Господин старшина! – произнес он твердо. – С писарем вашим я не желаю разговаривать. Но от вас я вправе требовать ответа: по какому праву вы подвергаете меня такому наказанию?

– Права захотел! Вишь, какой шустрый! – зубоскалили оба судьи.

Старшина выговорил с усмешкой:

– А вот ты, милый друг, почувешь, по какому праву, когда тебя хорошенько отполосуют.

– Развязать? – спросил писаря один из десятников.

– И так побудет, – отозвался старшина, – а то еще драться полезет.

– От большой учености! – издевался писарь. Всякую премудрость проходил.

Десятники начали стаскивать с него пальто и расстегивать все, что нужно было.

Была минута, – он еще стоял, – когда ноги его дрогнули и похолодели. В глазах стало темнеть. Позор наказания обдал его гораздо большим ужасом, чем мысль потерять разум в сумасшедшем доме. Это он прекрасно сознавал.

– Что кочевряжишься! – крикнул ему кто-то. Ложись!.. Ты думаешь: в барчуки попал, так тебя и пальцем не тронь?.. Небось! Будешь знать, паря, как н/абольшим дерзить да потом блажь на себя облыжно напускать.

Он уже лежал на вонючей рогожке.

В воздухе свистнул размах розги. Он закрыл глаза и закусил губы до крови, чтобы не крикнуть.

И пролежал все время молча, судорожно переводя дыхание; слезы потекли у него из глаз под самый конец.

Не успел он одеться – уже с развязанными руками – в горницу вбежал отец его.

– Злодеи! Душегубы!..

Негодующие крики Ивана Прокофьева слышны ему до сих пор. И внешность отца осталась в его сердце, какую она была в ту минуту: широкое серое пальто, черный галстук, под самый подбородок, пуховая смятая шляпа, огромный рост, возбужденное неправильное лицо, выпуклый лоб с пробором низких волос, нос луковкой, огромные глаза, борода полуседая двумя мочалками.

Дело чуть не дошло до рукопашной. Отца скрутили тут же и повели в темную. И его опять посадили: в общем гвалте он замахнулся на одного из судей, когда тот так и лез на Ивана Прокофьева и взял было его за шиворот.

Их каждого особо продержали еще суток двое.

Сидя опять в темной, он ревел от злости и негодования, впадал в припадки настоящей ярости. Ничем уже нельзя было смыть позорного клейма.

Его «отодрали» розгами, как последнего пропойцу или воришку. Тогда ему не пришло ни разу в голову, что в той же горнице секли без счета самых тихих и безобидных мужиков только за то, что они вовремя не уплатили мирских поборов. Он на всю свою жизнь получил отвращение к этому «миру». Все, что он в журналах и газетах читал сочувственного крестьянской самоуправе, вылетело разом и перешло в страстное стремление – уйти из податного сословия во что бы то ни стало, правдой или неправдой; оградить себя службой или деньгами от нового позора.

Вместе с отцом отвели их домой. Старуха Домна Архи-

повна повисла ему на шею и лишилась чувств. Она и всегда была хилая и в молодости считалась «кликушей».

Первым словом отца было:

– Ну, Вася! Не могу я тебя похвалить за то, что ты больше года личину на себе носил, – это, брат, хуже всего остального. Ведь вороги-то мои хотели донять меня тем, что над тобой Шемякин суд справили!

Пришлось бы им совсем плохо, если б не вступился за них новый член по крестьянскому присутствию. Отца на время оставили в покое, а его отпустили на сторону.

Задержи его тогда мир, не выдай ему паспорта – он бы бежал.

Через год достал он на дальней железной дороге место и быстро пошел в гору. Один из подрядчиков взял его к себе в подручные с процентом сверх жалованья.

Тем временем отца сослали по приговору на поселение, как «смутьяна», возмущающего против властей, когда он всю свою жизнь стоял за строжайшее исполнение закона.

Только через три года удалось ему вернуть его с поселения, с опухшими ногами, с водянкой в груди.

Продали старики свой давно выкупленный домишко с ветхим сараем, где было когда-то спичечное заведение. Он перевез их в город. Через полгода похоронил отца. Старуха поскрипела еще года два. Он ей выстроил избушку около того кладбища, где лежит «смутьян»...

## XVIII

– Задумались, Василий Иванович?

Теркина разбудил от дум, всколыхнувших все его прошлое, возглас капитана Кузьмичева.

Тот стоял над ним, широко расставив ноги, в том же картузе с ремешком, больших сапогах и коричневой визитке.

– Да... Вышла у меня здесь курьезная встреча!

– А чайшку грешного не благоугодно?

На это Теркин ничего не ответил. Он, кажется, и не слышал приглашения капитана.

Они сделали несколько шагов к корме.

– Андрей Фомич! – начал Теркин и оглянулся. Вы заметили пассажира в камлотовой шинели? Чинушом смотрит?

– С орденом на шее?

– Да, да!

– Как же не заметить!

– Он где сел?

– В Ярославле, кажется. И какое, я вам скажу, животное! Между Василем и Казанью я его чуть не высадил на берег, в десятом часу вечера. У нас там тоже заминочка вышла. Посидели на перекате, так, малость... с четверть часа, не больше. Так как бы вы думали?.. Этот чинуш начал вдруг вмешиваться и ко мне с требованиями предъявляться. Как, мол, вы так оплошно действуете?.. Я заявление сделаю в газетах.

Ах, мол, ты такой-сякой! Я на него и прикрикнул маленько. Он не унялся. Сейчас чином величаться стал. Статский советник он, видите ли; изволит проследовать в Сибирь!..

– Он! Он! – перебил Теркин рассказ капитана.

– Вы нешто его знаете?

– А как бы вы думали, кто эта камлотовая шинель?

Капитану было известно кое-что из прошедшего Теркина. Об ученических годах они не так давно говорили. И Теркин рассказывал ему свою школьную историю; только вряд ли помнил тот фамилию «аспида». Они оба учились в ту эпоху, когда между классом и учителями такого типа, как Перновский, росла взаимная глухая неприязнь, доводившая до взрывов. О прежних годах, когда учителя дружили с учениками, они только слышали от тех, кто ранее их на много лет кончали курс.

Кузьмичев не догадывался, однако.

– Тот самый Перновский, из-за которого меня выгнали.

Вы помните?

О том, что его наказывали розгами в волости, Теркин никогда и никому не признавался.

– Быть не может!

– Я не могу ошибиться. Да он и мало изменился.

Они повернули к рубке.

– И у вас, поди, всю внутреннюю перевернуло от одного взгляда на этого субъекта?

– Поверите ли, – отозвался Теркин, сдерживая звук голо-



са, – ведь больше десяти лет минуло с той поры – и так меня всего захватило!.. Вот проходил и просидел на палубе часа два. Уж солнце садиться стало. А я ничего и не заметил, где шли, какими местами.

– Так, так, – говорил ласково капитан и глядел игривыми глазками на Теркина. – Понимаю вас, Василий Иванович...

– Теперь такой господин для меня – мразь и больше ничего!.. Но надо же было этой физии очутиться предо мной вон там в ту минуту, когда я был в самом таком настроении.

Теркин не досказал. О любви своей он не начал бы изливаться даже и такому хорошему малому, как Кузьмичев.

С какой стати? Во-первых, капитан в скором времени может попасть в его подчиненные, а во-вторых, Теркин давно держался правила – о сердечных делах не болтать лишнего. Он считал это большой «пошлостью».

Солнце совсем уже село за луговой берег. Теркин не ошибся: два часа пролетели незаметно в образах прошлого.

– Где же он? – спросил капитан, оглядываясь в обе стороны.

– Наверно, чай пьет.

– Не хотите ли спуститься в общую каюту? Мне занятно было бы при вас, Василий Иванович, посшибить с него форсу... Пройтись в комическом роде...

– Пойдемте!

В громком возгласе Теркина вырвался наплыв еще не загнувшегося чувства. Он не мог отказать себе в удовольствии

устроить встречу Перновского с своим бывшим питомцем.

Может быть, в другое время и не на пароходе, а где-нибудь в театре, в вагоне, у знакомых, он бы и оставил в покое «аспида». Но к давней обиде, разбереженной встречей с ним, прибавилась еще и досада на то, что фигура в камлотовой шинели вышибла его из сладко-мечтательного настроения.

Спускался он в каюту, и по всему телу у него пошли особого рода мурашки – мурашки задора, приготовления к чему-то такому, где он отведет душу, испробует свой нрав! Он знал, что в нем есть доля злобности, и не стыдился ее.

В каюте стоял двойственный полусвет. Круглые оконца пропускали его с одной стороны, другая была теневая, от высоких холмов. Пароход шел близко к берегу.

Направо и налево тянулись узкие обеденные столы. За левым сидели два купца и офицер и пили пиво. На дальнем углу правого стола действительно пил чай пассажир с крестом на шее.

Шинель он положил на табурет и снял картуз. Голова оказалась лысая; передние волосы он слева направо примазывал к лысине на старинный фасон, с низким пробором над левым ухом.

Теркин и капитан вошли, остановились и обменялись взглядами.

– Экземпляр! – шепотом сказал капитан и крикнул в дверку буфета: – Илья!.. Снаряди-ка нам чаю порцию. Со сливками, и сухарей, коли есть, а то так булку.

– Слушаю-с, Андрей Фомич, – откликнулся лакей из буфета.

– Туда пройти? – спросил полупшепотом капитан и показал рукой на тот угол, где разместился Перновский.

Теркин протеснился между столами и диванами и сел в аршин расстояния от Перновского: капитан – против него, у одной из колонок, поддерживающих потолок каюты.

Оба они обнажили головы. Без шляпы Теркин сейчас же делался моложе года на два, на три. У капитана маковка редела.

Кажется, Перновскому не очень понравилось, что они сели близко от него. Он посмотрел на них вкось, оттянул нижнюю губу к одному углу и прошелся фуляровым платком по вспотевшей лысине.

Пил он чай основательно, уже больше получаса; спрашивал и второй чайник горячей воды. Из собственной фляжки он подливал что-то темное в стакан, должно быть, ром.

На его сухом, но плечистом туловище подержанный дорожный сюртук сидел мешковато. Грудь прикрывала не первой чистоты рубашка, и крест спускался ниже, чем его обыкновенно носят.

Лакей подал чай, заказанный Кузьмичевым.

– Прикажете мне заварить, Василий Иванович? – громко спросил капитан.

– Пожалуйста.

Ответ Теркина заставил Перновского обернуть голову в

его сторону и оглядеть статного, красивого пассажира. На капитана он не желал смотреть: злился на него второй день после столкновения между Василем и Казанью. Он хотел даже пересесть на другой пароход, да жаль было потерять плату за проезд.

Капитан закурил крепчайшую «пушку». От дыма Перновский заметно поморщивался.

За другим столом разговор шел вяло. Слышно было, как Кузьмичев дует на блюдечко и прихлебывает чай, попеременно с клубами дыма.

Вдруг отчетливо и довольно громко раздался вопрос Теркина, нагнувшегося вправо к своему соседу:

– А вы, никак, не узнаете меня, Фрументий Лукич?

Педагог мешал ложкой сахар и тотчас перестал, как только услышал свое имя и отчество.

На лице его появилась недоумевающая гримаса.

– Никак нет-с, – ответил он и поглядел на капитана.

Этот взгляд значил: «не думаю, чтобы твой приятель ст/оил моего знакомства».

– Я – Теркин!

Перновский промолчал и стал прихлебывать чай. Он узнал ученика, позволившего себе дерзость при всем классе, но не хотел в этом сознаваться.

– Запомнили? – спросил капитан и засмеялся, откинув голову. – Будто?.. Сколько это лет было тому, Василий Иванович?

– Да лет больше десяти!

– Ну и что же? – выговорил наконец Перновский и опять отер лысину платком.

– Ничего!.. Весьма рад был встрече с моим преподавателем, – сказал Теркин.

Лицо педагога пошло пятнами.

## XIX

Купцы с офицером поднялись на палубу. В каюте остались только двое приятелей и Перновский.

Теркин уже придвинулся к своему бывшему учителю, глядел ему прямо в глаза и говорил с расстановкой:

– Вы что же это, Фрументий Лукич, как словно меня и признать не хотите? Ведь то, чт/о случилось в гимназии с лишком десять лет назад, былем поросло. Мало ли что случается в жизни!.. Нельзя же так долго серчать...

И он взглядом, брошенным на капитана, передал ему педагога.

– Господин статский советник и на меня, кажется, в большой претензии? – заговорил Кузьмичев. – Сердце у него неотходчиво. А вы, Василий Иваныч, рассудите: ежели бы каждый пассажир, хотя бы и в чинах, начал распорядиться за капитана, мы бы вместо фарватера-то скрозь бы побежали, ха-ха!

Раскатистый смех Кузьмичева всколыхнул его широкую

грудь. Теркин улыбнулся только глазами и повернул голову опять к Перновскому.

– Нешто это не судьба, Фрументий Лукич, что мы с вами вдруг через десять лет с лишним – и на одном суденышке? Куда изволите следовать? К месту служения своего?

– До Саратова едет их высокородие, – смешливо заметил капитан.

Лицо Перновского становилось совсем красным, влажное от чая и душевного волнения. Глаза бегали с одной стороны на другую; чуть заметные брови он то подымал, то сдвигал на переносице. Злобность всплыла в нем и держала его точно в тисках, вместе с предчувствием скандала. Он видел, что попался в руки «теплых ребят», что они неспроста обсели его и повели разговор в таком тоне.

Окрик капитана, доставшийся ему два дня перед тем, угроза высадить «за буйство», все еще колом стояли у него в груди, и он боялся, как бы ему не выйти из себя, не нарваться на серьезную неприятность. Капитан способен был высадить его на берег, а потом поди судись с ним!

Будь в каюте другие пассажиры, он дал бы им сейчас отпор, какого они заслуживали; кроме лакея, в буфете никого не оставалось, а сумерки все сгущались и помогали обоим «наглецам», – так он уже называл их про себя, – продолжать свое вышучиванье.

Взглядом своих веселых и умных глазок капитан опять передал педагога Теркину.

– И где же вы изволите теперь начальствовать, Фрументий Лукич?

Слова были отменно вежливы, но тон показывал, куда пробирается тот «мужицкий приемыш», который нанес ему когда-то оскорбление.

– А вы, господин Теркин, куда изволите ехать и в каком звании состоите?

– Я вам за Василия Иваныча отвечу, – подхватил Кузьмичев. – Он в наше товарищество пайщиков поступает. Собственный пароходик у него будет, «Батрак», вдвое почище да и побольше вот этой посуды. Видите, ваш ученик времени не терял, даром что он из крестьянских детей.

– На здоровье!.. – выговорил Перновский.

Ему страстно захотелось кинуть «наглецу» что-нибудь порожнее. Он слышал о притворном умопомешательстве Теркина, но не знал про то, что его высекли в селе.

И в ту же самую минуту Теркина схватила за сердце боязнь, как бы «аспид» не прошелся насчет этого. У него достанет злобы, да и всякий бы на его месте воспользовался таким фактом, чтобы дать отпор и заставить прекратить приставанье, затеянное, как он мог предполагать, не кем иным, как Теркиным.

Но страх его сейчас же отлетел. Вид Перновского, звук голоса, вся посадка разжигали его. Пускай тот намекнет на розги. Это ему развяжет руки. Выпей он стакан-другой вина – и он сам бы рассказал и при Кузьмичеве, через что прошел

он в селе Кладенце.

– Господин Перновский, – начал Кузьмичев и дотронулся до плеча педагога. – Встречу вашу с Василием Ивановичем надо sprыснуть... Илья, – крикнул он к оконцу буфета, – подай живее бутылку игристого, донского! Польшинковского, от Чеботарева!

– Сию минуту! – откликнулся лакей высоким тенорком.

– Позвольте мне... Я хочу на палубу!

Перновский привстал и отстранил ладонь Кузьмичева.

– Нет, Фрументий Лукич, посидите!

– Однако, господа!..

Приход лакея с бутылкой и стаканчиками не дал Перновскому закончить. Он успел только надеть свой белый картуз на потную голову.

– Вот так! – крикнул капитан, когда р/озлил пенистое вино. – Вспомните студенческие годы!

– Да я совсем не желаю пить!

Обтянутые щеки Перновского бледнели. В глазах вспыхивал злобный огонек.

– Желаете или нет, а пейте!

– За ваше драгоценное!

Теркин прикоснулся своим стаканом к стакану Перновского.

Они не готовились пробираться «искариота», заранее не обдумывали этой сцены. Все вышло само собою, резче, с б/ольшим школьничеством, чем бы желал Теркин. Он отдавался



настроению, а капитан переживал с ним ту же потребность отместки за все свои мытарства.

Теркин еще ближе пододвинулся к Перновскому.

– Вы нам лучше вот что скажите, Фрументий Лукич: неужели в вас до сих пор сидит все тот же человек, как и пятнадцать лет тому назад? Мир Божий ширится кругом. Всем надо жить и давать жить другим...

– Не знаю-с! – перебил Перновский. – И не желаю, господин Теркин, отвечать вам на такие... ни с чем не сообразные слова. Надо бы иному разночинцу проживать до сего дня в местах не столь отдаленных за всякое озорство, а он еще похваляется своим закоренелым...

– Эге! – перебил капитан. – Вы, дяденька, кажется, сердать изволите!.. Это непорядок!

– Оставьте, Андрей Фомич! Дайте мне отозваться на этот спич.

Теркин взял повыше плеча руку Перновского.

– Вам, коли судьба со мною столкнула, надо бы потише быть! Не одну свою обиду я на вас вымещаю, вместе вот с капитаном, а обиду многих горюнов. Вот чт/о вам надо было напомнить. А теперь можете проследовать в свою каюту!

Лицо Теркина делалось все нервнее и голос глуше. Перновский хотел было что-то крикнуть, но звук остановился у него в горле. Он вскочил стремительно, захватил свою шинель и выбежал вон.

## XX

В тесной каюте, с одним местом для спанья, в темноте, лежал Перновский с небольшим час после сцены в общей каюте.

Его поводило. Он лежал навзничь, голова закатывалась назад по дорожной подушке. Камлотовая шинель валялась в ногах.

Рядом на доске, служившей столом, под круглым оконцем, что-то блестело.

Это был большой графин с водкой. Он приказал подать его из буфета второго класса вскоре после того, как спустился к себе.

Ему случалось пить редко, особенно в последнее время, но раза два в год он запирался у себя в квартире, сказывался больным. Иногда пил только по ночам неделю-другую, — утром уходил на службу, — и в эти периоды особенно ехидствовал.

И теперь он не воздержался. Не спроси он водки, его бы хватил удар.

— Мерзавцы! — глухо раздалось в каюте под шум колес и брызг, долетавших в окна. — Мерзавцы!

Другого слова у него не выходило. Правая рука протянулась к графину. Он налил полную рюмку, ничего не разлил на стол и, приподнявшись немного на постели, проглотил и

сплюнул.

С каждым десятком минутами, вместе с усиленным бие-нием вен на висках, росла в нем ярость, бессильная и уду-шающая.

Что мог он сделать с этими «мерзавцами»? Пока он на па-роходе, он – в подчинении капитану. Не пойдет же он жало-ваться пассажирам! Кому? Купчишкам или мужичью? Они его же на смех поднимут. Да и на что жаловаться?.. Свиде-телей не было того, как и что этот «наглец» Теркин стал го-ворить ему – ему, Фрументию Перновскому!

Оба они издевались над ним самым нахальным манером. Оставайся те пассажиры, что пили пиво за другим столом, и дай он раньше, еще при них «достождолжный» отпор обоим наглецам, и Теркин, и разбойник капитан рассказали бы его историю, наверно, наверно!

А теперь терпи, лежи, кусай от злости губы или угол ко-жаной подушки! Если желаешь, можешь раньше высадиться на привал, теряй стоимость проезда.

Как он ни был расчетлив, но начинал склоняться к реше-нию: на рассвете покинуть этот проклятый пароход.

Но ведь это будет позорное бегство! Значит, он проглотил за «здорово живешь» такой ряд оскорблений? И от кого? От мужика, от подкидыша! От пароходного капитана, из быв-ших ссыльных, – ему говорил один пассажир, какое прошед-шее у Кузьмичева.

«Что делать, что делать?» – мучительно допытывался он

у себя самого, и рука его каждые пять минут искала графина и рюмки, наливала и опрокидывала в разгоряченное и жаждащее горло.

Графин был опорожнен. В голове зашумело; в темноте каюты предметы стали выделяться яснее и получать странные очертания, и как будто края всех этих предметов с красным отливом.

Рука искала графина, но в нем уже не было ни капли.

Он опять приподнялся, взгляделся в то, что лежит, и протянул руку к фляжке в кожаном футляре, к той, что брал с собою, когда пил чай.

Там был ром. Вдрагивающими пальцами отвинтил он металлическую крышку, приставил к губам горлышко, одним духом выпил все и бухнулся на постель.

Сон не шел. В груди жгло. Голова отказывалась уже работать, дальше перебирать, что ему делать и как отметить двум «мерзавцам». Подать на них жалобу или просто отправить кому следует донесение.

Эта мысль всплыла было в мозгу, но он выбранил себя. Он хотел сам расправиться с ними. Вызвать обоих! Да, вызвать на поединок в первом же городе, где можно достать пистолет. А если они уклонятся – застрелить их.

«Как собак! Как собак!» – шептали его губы в темноте.

Мозг воспаленно работал помимо его приказа. Перед ним встали «рожи» его обоих оскорбителей, выглянули из сумрака и не хотели уходить; красное, белобрысое, мигающее,

насмешливое лицо капитана и другое, белое, красивое, но злобное, страшное, с огоньком в выразительных глазах, полных отваги, дерзости, накопившейся мести.

Перновский вскочил, пошатнулся, не упал на постель, а двинулся к двери, нашел ручку и поднялся наверх.

Его влекло к ним. Он должен был рассказать обоих: всего больше того, мужичьего...

Позорящее мужицкое прозвище незаконных людей загорелось на губах Перновского. И он повторял его, пока поднимался по узкой лестнице, слегка спотыкаясь. Это прозвище разжигало его ярость, теперь сосредоточенную, почти безумную.

Носовая палуба уже спала. На кормовой сидело и ходило несколько человек. Безлунная, очень звездная ночь ласкала лица пассажиров мягким ветерком. Под шум колес не слышно было никаких разговоров.

Наверху рубки у правых перил ширилась коренастая фигура капитана.

Перновский остановился в дверях рубки. Все кругом его ходило ходуном, но ярость сверлила мозг и держала на ногах. Он знал, кого ищет.

Сделал он два-три шага по кормовой палубе и столкнулся лицом к лицу с Теркиным. Эта удача поддала ему жару.

– А-а! – почти заревел он.

И прозвище, брошенное когда-то Теркину товарищем, раздалось по палубе.

Пассажиры, привлеченные неистовым звуком, увидели, как господин в белом картузе полез с кулаками на высокого пассажира в венгерской шапочке и коротком пиджаке.

Теркин не потерялся. Он схватил обе руки Перновского и отбросил его на какой-то тюк.

Капитан в одну минуту сбежал вниз и успел встать между Теркиным и поднявшимся на ноги Перновским.

– И ты, разбойник!.. Каторжный! У-у!..

С новым напором отчаянной отваги кинулся Перновский и на Кузьмичева, но тот смял его мгновенно и свистнул.

Два матроса подбежали и скрутили ему руки.

– Господа! – обратился Кузьмичев к пассажирам, и голос его возбужденно и весело полился по ночному воздуху. – Каков господин? Воля ваша, я его высажу! – Еще бы!.. Так и надо! – раздалось из кучи, собравшейся тотчас.

Кузьмичев спросил вполголоса Теркина:

– Одобряете, Василий Иванович?

Злобное чувство Теркина давно уже улеглось.

Он все-таки не удержался и сказал Перновскому, продолжавшему бушевать:

– Фрументий Лукич! Видно, правда была, что вы тайно запивали?

Перновский бился и выбрасывал бранные слова уже без всякой связи: язык переставал служить ему.

– Просто скрутить – пускай проспится!

– Нет-с! – крикнул начальническим звуком Кузьмичев. –

Ежели, господа, каждый пассажир будет на капитана с кулаками лезть, так ему впору самому высадиться.

Все примолкли. Каждый почуял, что он не шутит.

Теркин отошел к борту и оттуда, не принимая участия в том, чт/о происходило дальше, сел на скамью и смотрел.

Пароход проходил между крутым берегом и лесистым островом. На острове виднелся большой костер. Стояли, кажется, две избенки.

– Держите лево! – скомандовал капитан, пока матросы повели Перновского на носовую палубу.

Его чемодан и ручной багаж склади в одну кучу. Никто из пассажиров не протестовал.

«Не густо ли пустил Андрей Фомич?» – подумал было Теркин, но его наполнило весело чувство отместки.

«И какой! Полежи на острове, отрезвись на лоне природы, – думал он, глядя бороду, – а там строчи на нас после что хочешь!»

Шлюпку спустили на воду. В нее сели трое матросов и положили Перновского. Публика молча смотрела, как лодка причаливала к берегу острова.

– Однако!.. – вдруг проговорил кто-то. – За это и нахлобучка может быть!

– Я в ответе! – крикнул Кузьмичев, стоя над левым козлом.

## XXI

После отъезда Теркина Серафима отправилась к отцу.

– Починили мост? – спросила она своего кучера, когда они подъезжали к речке.

Еще третьего дня пролетка чуть не завязла правым передним колесом в щель провалившейся доски.

– Не видать чтой-то, Серафима Ефимовна.

Кучер Захар, молодой малый, с серьгой в ухе, чистоплотный и франтоватый, – он брил себе затылок через день, – обернул к ней свое загорелое широкое лицо с темной бородкой и улыбнулся.

– Проезжай шагом!

Замедленный ход лошади вызвал в Серафиме желание прислониться к задку крытой пролетки; верх ее был полуопущен.

Она сидела под зонтиком из черного кружева и была вся в черном, в том самом туалете, как и в тот вечер свидания с Теркиным у памятника, пред его отъездом. Ее миндалевидные глаза обошли медленно кругом.

Мост старый, с пошатнувшимися перилами, довольно широкий, приходился наискосок от темного деревянного здания, по ту сторону речки, влево от плотины, где она была запружена.

Фасад с галерейками закрывал от взгляда тех, кто шел или



ехал по мосту, бок мельницы, где действовал водяной привод. Справа, из-за угла здания, виднелись сажени березовых дров, старое кулье, вороха рогож, разная хозяйственная рухлядь.

С реки шел розовый отблеск заката. Позади высил ся город, мягко освещенный, с полосами и большими пятнами зелени по извилинам оврагов. Белые и красные каменные церкви ярко выделялись в воздухе, и кресты горели искрами.

Серафима посмотрела вправо, где за рекой на набережной, в полверсте от города, высилась кирпичная глыба с двумя дымовыми трубами.

Это была паровая мельница, построенная лет пять назад. Она отняла у отца ее две трети «давальцев». На ней мололи тот хлеб, что хранился в длинном ряде побурелых амбаров, шедших вдоль берега реки, только ниже, у самой воды. Сваи, обнаженные после половодья, смотрели, частоколом, и поверх его эти бурые ящики, все одной и той же формы, точно висели в воздухе.

От той вальцовки и покачнулись дела Ефима Галактионича. Вряд ли после него останется что-нибудь, кроме дома с мельницей да кое-каких деньжонок.

Дочь его и не хотела бы думать об этом, да не может. Ей довольно противно сторожить смерть отца. Она не считает себя ни злой, ни бездушной. Но отец так мучится, что для него кончина – избавление.

С той минуты, как она вернулась ночью домой от Терки-

на, в нее еще глубже проникло влечение к деньгам Калерии – «казанской сироты», напустившей на себя святость. Ведь той ничего не нужно, кроме своей святости... Зачем «сестре милосердия» капитал?

Когда пролетка, привскочив легонько на последнем бревне моста, въехала на противоположный берег речки, Серафима задала себе именно этот вопрос.

По разрыхленной песчаной дороге, – мостовой тут не было, – они подъехали к крылечку, приходившемуся под наружной галерейкой, без навеса.

С него неширокая лестница вела сначала на галерейку, потом с площадки в чистые комнаты хозяев, занимавших весь перед ветхого здания.

На крыльце Серафима поправила вуалетку и сказала кучеру:

– Захар, ты приезжай за мною, когда всенощная отойдет... Или, лучше, когда барина в клуб свезешь.

– Слушаю-с, Серафима Ефимовна.

Сережка в ухе кучера ярко блеснула при повороте пролетки.

Молодая женщина легко взбежала на площадку, но там остановилась и как бы прислушивалась.

Беззвучно и жарко было на этой площадке, где пахло теплыми старыми бревнами наружной стены. Только подальше за дощатой дверью, приходившейся посредине галерейки, жужжал шмель.

Она знала, что мать не спит. Если и приляжет, то гораздо раньше, часу во втором, а теперь уже восьмой.

Мать не видала она больше суток. В эти сорок часов и решилась судьба ее. Ей уже не уйти от своей страсти... «Вася» взял ее всю. Только при муже или на людях она еще сдерживает себя, а чуть осталась одна – все в ней затрепещет, в голове – пожар, безумные слова толпятся на губах, хочется целовать мантилью, шляпку, в которой она была там, наверху, у памятника.

И вот сейчас, когда она остановилась в трех шагах от двери в помещение родителей, ее точно что дернуло, и краска вспыхнула на матово-розовых щеках, глаза отуманились.

Она любила и немножко боялась матери, хотя та всегда ее прикрывала перед отцом во всем, за что была бы буря. Если бы не мать, она до сей поры изнывала бы под отцовским надзором вот в этом бревенчатом доме, в опрятных низковатых комнатах, безмолвных и для нее до нестерпимости тоскливых.

Но мать – не слабая, рыхлая насадка. В ней не меньше характера, чем в отце, только она умнее и податливее на всякую мысль, чувство, шутку, проблеск жизни. Ей бы не в мешанках родиться, а в самом тонком барстве. И от нее ничего не укроешь. Посмотрит тебе в глаза – и все поймет. Вот этого-то взгляда и пугалась теперь Серафима.

Как она жила до сих пор, мать знала, по крайней мере знала то, как она живет с мужем, «каков он есть человек», виде-

ла, что сердце дочери не нашло в таком муже ничего, кроме сухости, чванства, бездушных повадок картежника.

Про их встречи с Теркиным она как будто догадывалась. Серафима рассказала ей про их первую встречу в саду, не все, конечно. С тех пор она нет-нет да и почувствует на себе взгляд матери, взгляд этих небольших серых впалых и проныцательных глаз, и сейчас должна взять себя в руки, чтобы не проговориться о переписке, о тайных свиданиях.

Но все это было только начало. А теперь? Как она взглянет прямо в лицо матери?.. Ведь у нее любовник...

«Любовник!» – произнесла Серафима про себя и стала холодеть. Вдруг как она не выдержит?.. Нет, теперь, до смерти отца – ни под каким видом!..

Ее нервно вздрагивающая рука в длинной перчатке взялась за скобку.

Дверь была одностворчатая, обитая зеленой, местами облупившейся, клеенкой.

Она оказалась запертой изнутри. Это удивило Серафиму.

Она заглянула в окно передней, выходявшее на галерею. В передней никого не было.

Родители ее держали прежде, кроме стряпухи, дворника, кучера, еще работницу и чистую горничную. Теперь у них только две женщины. Лошадей они давно перевели.

Она постучала в окно раз-другой.

Отперли ей не сразу.

– Ах! барышня!

Так Аксинья, пожилая женщина в головке и кацавейке, до сих пор зовет ее.

– Что это?.. Почему вы заперлись? – торопливо и вполголоса спросила Серафима.

– Извините, барышня, – Аксинья говорила так же тихо, – боялась я... Потому ночь целую не спамши... Ефим Галактионыч мучились шибко. Я и прикурнула.

– А теперь как папенька?

– К вечерням им полегче стало, забылись... Доктор два раза был.

– Мамаша почивает?

– Уж не могу вам сказать... Сама-то я спала... Вряд ли почивают. Они всегда на ногах.

– Если мамаша отдыхает, не буди ее... Я посижу в гостиной... Пойди, узнай.

Она нарочно услала Аксинью в дальнюю комнату, где мать ее спала с тех пор, как она стала себя помнить, чтобы ей самой не входить прямо к Матрене Ниловне. В гостиной она больше овладеет собою. Ее внезапное волнение тем временем пройдет.

Аксинья отворила ей дверь в большую низковатую комнату с тремя окнами. Свет сквозь полосатые шторы ровно обливал ее. Воздух стоял в ней спертый. Окна боялись отпирать. Хорошая рядская мебель в чехлах занимала две стены в жесткой симметрии: диван, стол, два кресла. В простенках узкие бронзовые зеркала. На стенах олеографии в рамах. Чи-

стота отзывалась раскольничьим домом. Крашеный пол так и блестел. По нем от одной двери к другой шли белые половики. На окнах цветы и бутылки с красным уксусом.

Как только Аксинья скрылась за дверью во внутренние комнаты, Серафима пододвинулась к одному из зеркал, потянула вуалетку, чтобы ее лицо ушло под тюль до рта, и вглядывалась в свои глаза и щеки – не могут ли они ее выдать?

## XXII

Мать подошла к ней так тихо, что она встрепенулась, когда та окликнула ее:

– Здравствуй, Симочка!

Серафима перелистывала номера старой «Нивы», лежавшие на столе около лампы еще с той поры, когда она ходила в гимназию.

– Ах, маменька! Здравствуйте!

Они поцеловались три раза, как всегда, по-купечески.

Небольшого роста, широкая в плечах, молодежавого выразительного лица, Матрена Ниловна ходила в платке, по старому обычаю. На этот раз платок был легкий крепоновый, темно-лиловый, повязанный распущенными концами вниз по плечам и заколотый аккуратно булавками у самого подбородка. Под платком виднелась темная кацавейка, ее неизменное одеяние, и такая же темная шерстяная юбка, короткая, так что видны были замшевые туфли и чистые шерстя-

ные чулки домашнего вязанья.

Матрена Ниловна не передала дочери своей наружности. Волос из-под надвинутого на лоб платка не было видно, но они у нее оставались по-прежнему русые, цвета орехового дерева, густые, гладкие и без седины. Брови, такого же цвета, двумя густыми кистями лежали над выпуклостями глазных орбит. Проницательные и впалые глаза, серые, тенистые, с крапинками на зрачках, особенно молодили ее. В крупном свежем рту сохранились зубы, твердые и белые, подбородок слегка двоился.

– Чт/о папенька?

Серафима проговорила это тише, чем обыкновенно говорила в гостинной.

Они еще стояли посредине комнаты.

– Да что, Симочка... Столь плох, столь плох!.. Сегодня больно на заре маялся, сердешный. Я хотела было за тобой посылать... Заливает ему грудь-то... ни лежать, ни сидеть... Теперь вот забылся... И я пошла отдохнуть...

– Простите, маменька, я вас разбудила.

– Не спала я... Какой тут сон!..

Кистью правой руки Матрена Ниловна истово перекрестила рот; она не могла сдержать нервной зевоты. – Спасибо, Симочка, заехала... Муженек-то вернулся небось?

Серафима знала, что Матрена Ниловна в таких же чувствах к Рудичу, как и она сама.

– Вчера приехал.

- С чем? С пустушкой или повысили?
- К осени обещали товарища прокурора.
- Жалованья-то больше нешто?
- Нет, меньше.
- Ну, так чему же тут радоваться?
- Ход теперь другой будет.
- Все едино! В клубе на зеленом сукне спустит.

Полные губы Матрены Ниловны повела косвенная усмешка. Серые бойкие глаза остановились на дочери, но не особенно пристально. Их затуманивали душевная горечь и большое утомление.

Серафима все-таки опустила ресницы, хотя уже не боялась выдать себя. Разговор сам пошел в такую сторону, что ей нечего было направлять его.

Они присели на диван. Матрена Ниловна прикоснулась правой рукой к плечу дочери. В свою «Симочку» она до сих пор была влюблена, только не проявляла этого в нежных словах и ласках. Но Серафима знала отлично, что мать всегда будет на ее стороне, а чего она не может оправдать, например, ее «неверие», то и на это Матрена Ниловна махнула рукой.

– Свой разум есть, – говаривала она. – Сколь это ни прискорбно мне... Уповаю на милость Божию... Он, Батюшка, просветит ее и помилует.

Она не поблажала ей ни в чем, что было против ее правил, выговаривала, но всегда, точно старшая сестра или, много,



тетка, как бы рассуждала вслух. Не хотела она и подливать масла в их супружеские нелады. Если она и сейчас так высказалась насчет своего зятя, то потому, что у них давно уже установился этот тон. В сердце Матрены Ниловны не закрывалась ранка горечи против того «лодыря», который сманил у них со стариком единственную их дочь, красавицу и умницу. Не случись этого «Божьего попущения», Симочка, конечно, попала бы за какого-нибудь миллионера по хлебной или другой торговле. Мало ли их по Волге? Есть и такие, что учились в Казани в студентах, а коренного дела своего не бросают.

Боязнь выдать себя совсем отлетела от Серафимы. Роковое слово «любовник» уже не прыгало у нее в голове. Мать простит ей, когда надо будет признаться.

И так ей стало легко, почти весело... Она даже застыдилась. Отец умирает через комнату, а она в таких чувствах!

– По тебе стосковался, – все так же тихо продолжала Матрена Ниловна, – задыхается, индо посоловеет весь, а чуть маленько отлегло, сейчас спросит: «Симочка не побывает ли?»

Наклонившись к лицу дочери, она прибавила чуть слышно:

– За эти месяцы вот как он разнемогся, тебя стал жалеть... не в пример прежнего. И ровно ему перед тобой совестно, что оставляет дела не в прежнем виде... Вчерашнего числа этак поглядел на меня, у самого слез полны глаза, и говорит: «Смотри, Матрена, хоть и малый достаток Серафиме после

меня придется, не давай ты его на съедение муженьку... Дом твой, на твое имя записан... А остальное что – в руки передам. Сторожи только, как бы во сне дух не вылетел»...

Дочь слушала, низко опустив голову. Ей хотелось спросить:

«Папенька, значит, завещания не оставит?»

Но вопрос не шел с губ. Не завещание беспокоило ее, а вопрос о деньгах ее двоюродной сестры Калерии.

– Коли папеньку самого раздумье разбирает, отчего же он не распорядится? – так же тихо, как мать, спросила она.

– Утречком, говорит, коли отпустит хоть чуточку, достань мне шкатунку красного дерева и подай.

Они помолчали.

– Стало быть, – выговорила Серафима слишком как-то спокойно, – в этой шкатулке и капитал Калерии?

Их взгляды встретились. Лицо Матрены Ниловны потемнело, и она тотчас же отвела голову в сторону.

Калерия и ее мозжила. Ничего она не могла по совести иметь против этой девушки. Разве то, что та еще подростком от старой веры сама отошла, а Матрена Ниловна тайно оставалась верна закону, в котором родилась, больше, чем Ефим Галактионыч. Не совладала она с ревностью матери. Калерия росла «потихоней» и «святошей» и точно всем своим нравом и обликом хотела сказать:

«Смотрите на нас с Симочкой. Я – праведница, и меня Господь Бог за это възыщет; а та – грешница, только и думает,

что о суетном и мирском, предана всем плотским вожделениям».

Где же ей взять наружностью против Симочки! А все-таки, когда она здесь жила перед тем, как в Петербурге в «стриженные» сбежала, ст/оящие молодые люди почитали ее больше, чем Симочку, хоть она и по учению-то шла всегда позади.

Не хотела Матрена Ниловна помириться и с тем, что «святоше» достанутся, быть может, большие деньги, – она не знала, сколько именно, – а Симочке какой-нибудь пустяк. Ее душу неприязнь к Калерии колыхала, точно какой тайный недуг. Она только сдерживалась и с глазу на глаз с дочерью и наедине с самой собою.

Все это было как будто и грешно, а греха она и боялась и не любила по совести. Но ежеминутно она сознавала и то, что не выдержит напора жалости к дочери и ревнивого чувства к Калерии. Если представится случай поступить явно к выгоде Симочки, – она не устоит.

– Зачем же откладывать? – заговорила немного погромче Серафима и бросила долгий взгляд в сторону двери, где через комнату лежал отец. – Ежели папенька проснется да посвежее будет... вы бы ему напомнили. А то... не ровен час. Он сам же боится.

Говорить дальше в таком же смысле Серафиме тяжело было. Она переменяла положение своего гибкого и роскошного тела. Щеки у нее горели.

– Как жарко!

Этот возглас был для нее большим облегчением.

– Ты бы шляпку-то сняла, – заметила Матрена Ниловна. –

Вон она какая у тебя, прости Господи, ровно улей какой.

И мать тихо засмеялась.

Пока Серафима вынимала длинные булавки из волос и клала шляпку на стол, Матрена Ниловна, оправив концы платка, как бы про себя выговорила:

– Известное дело, зачем откладывать. Каков-то он, голубчик, проснется?..

Ей уже представлялась «шкатулка» из красного дерева с медными бляшками и наугольниками с секретным ящиком старинной работы... Там лежит капитал Калерии. И сдается ей, что Ефим Галактионыч поручит ей распоряжение этими деньгами.

Дрожь повела ей плечи, а в комнате было не меньше двадцати градусов.

Дверь из передней приотворили. Показалась «головка» Аксиньи.

– Матушка, – долгим шепотом протянула она, Ефим Галактионыч, никак, проснулись. Слышала я, кашлянули.

– Хорошо, – хозяйским тоном ответила Матрена Ниловна. – Скажи им: Серафима, мол, Ефимовна приехали.

Мать и дочь поглядели одна на другую и встали с дивана.

## XXIII

В конце девятого часа Серафима ехала домой.

Пролетка медленно поднималась по «дамбе», – так называют мощеную дорогу от набережной в город.

Фонари только что начали зажигать. Небо висело густое и низкое, полное звезд.

На одну звезду с изумрудным блеском вдумчиво смотрела Серафима.

Все обошлось хорошо, лучше, чем она могла желать.

Отца она видела в темноте его чуланчика. Он лежал целый день в угловой каморке без окон, где кровать приткнута к стене, и между ее краем и стеклянной дверью меньше полуаршина расстояния. Мать сколько раз упрашивала его перебираться в комнату, где они когда-то спали вместе, но он не соглашался.

В каморке было так темно, что она не могла отчетливо разглядеть отцовского лица, заметила только, что оно раздулось; грудь была обнажена сверху; косой ворот рубашки откинут.

Отец полусидел в постели, прислонившись к высоко взбитым подушкам. Показалось ей, что борода еще поседела, и глаза смотрели на нее гораздо мягче обыкновенного.

Небывалое волнение охватило ее, когда она наклонилась к нему и взяла руку, уже налитую водой, холодную. Перед

ней полумертвец, а она боится, как бы он не проник ей в душу, каким-нибудь одним вопросом не распознал: с какими затаенными мыслями стоят они с матерью у его кровати.

– Дочка, – перехваченными звуками говорил ей отец, – ты на меня не ропщи!

– Папенька! Что вы! – смогла она ответить и против воли заплакала.

– Не моя вина, милая... Времена не те... все пошло на умаление.

– Чего тут, Ефим Галактионыч! – вмешалась мать. – Н/ешто она что?.. Уж ты не расстраивай себя... без нужды. Полегче тебе с/едни, вот бы и сказал нам, какое твое желание.

Мать не договорила. Она слышала ее голос сбоку и немного сзади от себя.

«Догадается! – подумала Серафима. – Как бы не испортить всего!»

Но отец сам потребовал шкатулку. Она помогла матери достать ее из-под столика в проходной комнатке, отделявшей гостиную от каморки, где лежал отец.

Шкатулка показалась ей чрезвычайно легкой, должно быть, от возбуждения. Они обе держали ее перед отцом.

Он дрожащими и налитыми пальцами достал ключ с цепочки, висевшей у него на груди, и долго не мог отпереть. Наконец пружина музыкально прозвенела, и крышку он откинул с их помощью.

– Вот видите, – говорил он уже совсем замирающим го-

лосом, – тут... Пальцем надавите в правом углу, и отскочит планочка.

У него еще достало сил показать, как следовало надавить.

– Что там найдете... больше ничего и нет... Нигде не ищите, в другом месте... И по-Божески, по-Божески...

Отец начал метаться. Чтобы запереть шкатулку, пришлось снять с его шеи цепочку, где, кроме ключа, висел большой оловянный крест и ладанка.

Она думала – он кончается. Мать поспешно убрала шкатулку и прибежала на ее зов.

– За доктором послать-ин, Ефим Галактионыч? – спросила мать, сдерживая рыдания.

И Серафима готова была разрыдаться.

Если бы у отца хватило телесных сил сказать ей еще раз: «Смотри, дочка, не обижай Калерии, не бери греха на душу!» – она упала бы на колени и во всем призналась бы.

Но отец ослаб. Они обе страшно испугались: думали, сейчас отойдет. Пометался он с минуту, потом ему стало легче; он наклонился и чуть слышно выговорил:

– Подь сюда, Серафима.

Она опустилась на колени. Отец благословил ее и поцеловал в голову.

– Прощай, дочка, – еле слышно прошептал он. Живи по-Божески... Муженек не задался... Терпеть надо... По-честному...

Она тихо плакала; но в ней уже ничто не влекло ее к при-

знанию. Да и как бы она покаялась?.. Зачем?.. Чтобы потрясти отца, убить его на месте?

Слезы облегчили ее. Мать тоже тихо плакала.

– Ну, подите!

В гостиной они обнялись и, отойдя к печке в дальний угол, пошептались.

– Пришлите за мной... ежели ночью... папенька отходить будет.

– Зачем? – сказала Матрена Ниловна. – Он благословил тебя. Теперь уж не встать ему, сердешному...

О «пакете» они больше не говорили, но между ними и без слов что-то было условлено.

«Васе деньги нужны до зарезу, а достал ли он у того ба-рина?»

Серафима спросила себя и сейчас же подумала о близкой смерти отца. Неужели ей совсем не жалко потерять его? Опять обвинила она себя в бездушии. Но что же ей делать: чувство у нее такое, что она его уже похоронила и едет с похорон домой. Где же взять другого настроения? Или новых слез? Она поплакала там, у кровати отца, и на коленки становилась.

Жутко ей перед матерью за «любовника», но теперь она больше не станет смущаться: узнает мать или нет – ей от судьбы своей не уйти. И с Рудичем она жить будет только до той минуты, когда им с матерью достанется то, что лежит в потаенном ящике отцовской шкатулки.



Есть у ней предчувствие, что Вася денег у того барина не добудет. Завтра или послезавтра должна прийти к ней депеша, адресованная «до востребования». Каждое утро она будет сама ходить на телеграф.

С тех пор, как вернулся из Москвы муж, она за собою следит. Но ей не нужно особенно себя сдерживать. Он для нее точно какой-то постоялец. Ни злобы, ни раздражения, ни желания показать, как она к нему относится... Только бы он не вздумал нежничать.

И третьего дня, и сегодня она жаловалась на головную боль, нарочно лежала перед обедом. Она не будет больше «принадлежать» Северу Львовичу ни под каким видом.

Про себя она зовет мужа «Север Львович», и это имя «Север» кажется ей сегодня смешным. Да и весь-то он – такое ничтожество... Теперь муж ничего не может над ней, ровно ничего. Еще много две недели, она опять подумала о смерти отца – и ее след простыл.

И нисколько ей не страшно скрыться отсюда. «Скандалы!» – закричат все в городе. Быть на линии прокурорши и жить домом, считаться самой красивой молодой дамой – и вдруг бежать... С кем? Про ее связь вряд ли кто знает. Может быть, догадывается одна приятельница... Сочтут за тайную нигилистку. Нарочно, мол, влюбила в себя судебного чиновника, выведала от него какие-нибудь тайны и убежала за границу. Про то, как она живет с ним, конечно, говорят в городе, знают, что он игрок, но думают, должно быть, что она

до сих пор влюблена в него; жалеют, пожалуй, или называют «дурой». Она в последнюю зиму мало выезжала, была всего на двух-трех вечерах в клубе, ухаживателей не поощряла, по целым неделям сидела одна. Да и какая охота приглашать кого-нибудь? Север Львович начнет каждый раз умничать, гримасы строить, колкости говорить, показывать, какой он джентльмен и какая она «мужичка» и «моветонка». В первый год она еще терпела, а с тех пор, как встретила Теркина, не желала выносить этих «фасонов».

И с той самой поры она считает себя гораздо честнее. Нужды нет, что она вела больше года тайные сношения с чужим мужчиной, а теперь отдалась ему, все—таки она честнее. У нее есть для кого жить. Всю свою душу отдала она Васе, верит в него, готова пойти на что угодно, только бы он шел в гору. Эта любовь заменяла ей все... Ни колебаний, ни страха, ни вопросов, ни сомнений!..

И вдруг она запела вполголоса на самом крутом подъеме дамбы: О, люби меня без размышлений, Без тоски, без думы роковой!

Давно она выучила этот романс, на слова Майкова, еще в гимназии. Сейчас же заметалась перед ней вся обстановка того ужина с цыганами, где она впервые увидела Васю.

Ее родной город, в ту минуту пустой и дремотный, приучил ее с детства к разговорам о чувствах и любовных историях... В нем, в его летних гуляньях, в жизни большой реки, в военных стоянках, в пикниках зимой, в оперетке, — бы-

ло что-то тайно-гулливое. В здешних женщинах рано сказывается характер, независимость речи и замашек. Как она сама грубила всем, лет с двенадцати!.. Сколько было у нее маленьких романов с гимназистами!.. Каких «делов» наслышалась она в тот же возраст, вроде убийства одного известного кутилы офицером в притоне... И она знала – где именно.

Вот она какая была «гадкая девчонка», хоть и не хуже других.

А теперь она вся трепетала и рвалась к тому, кто взял ее на жизнь и смерть. И выходило, что она теперь как будто честнее!

## XXIV

Долго пришлось Серафиме ждать возвращения мужа из клуба. Захар поехал за ним к двенадцати.

Целый час просидела она за пианино. На нее нашла неудержимая потребность петь.

Но сначала она разделась, поспешно побросала все на пол и на свою кровать. Горничная с маслястым лицом бродила как сонная муха.

Она дала на нее окрик:

– Положи капот и ступай!.. Ты мне надоела, Феня!

Спальня была угловая комната в четыре окна. Два из них выходили на палисадник. Дом – деревянный, новый, с крыльцом – стоял на спуске в котловину, с тихой улицей по до-

роге к кладбищу.

Большая тишина обволакивала его ночью. Изредка трещотка ночного сторожа засвербит справа, и звук надоедливо простоит в воздухе с минуту, и потом опять мертвая тишина. Даже гул паровозных свистков не доходит до них.

Когда Серафима надела капот – голубой с кружевом, еще из своего приданого – и подошла к трюмо, чтобы распустить косу, она, при свете одной свечи, стоявшей на ночном столике между двумя кроватями, глядела на отражение спальни в зеркале и на свою светлую, рослую фигуру, с обнаженной шеей и полуоткрытыми руками.

В этой спальне прошла ее замужняя жизнь. Все в ней было ее, данное за ней из родительского дома. Обе ореховые кровати, купленные на ярмарке в Нижнем у московского мебельщика Соловьева с «Устретенки», как произносила ее мать; вот это трюмо оттуда же; ковер, кисейные шторы, отделка мебели из «морозовского» кретона, с восточными разводами... И два золоченых стульчика в углу около пьедестала... К пьедесталу она не присаживалась с тех пор, как вышла замуж.

Тут, в этом супружеском покое, она стала умнеть. С каждым месяцем обнажалась перед ней личность ее «благоверного». Не долго тщеславие брало в ней верх над способностью оценки. Да и не очень-то она преклонялась, даже когда выскочила за него замуж, пред его «белой костью». Мужчины по теперешним временам все равны перед неглупой и красивой молодой женщиной. Не то что она – все-таки дочь

почтенных людей, по местному купечеству, гимназистка с медалью, – какая-нибудь дрянь, потаскушка, глядишь, влюбит в себя первого в городе богача или человека в чинах, дворянина с титулом и помыкает им, как собачонкой. Мало разве она знает таких историй?

И ничего-то в ее жизни с Севером Львовичем не было душевного, такого, что ее делало бы чище, строже к себе, добрее к людям, что закрепляло бы в сердце связь с человеком, если не страстно любимым, то хотя с таким, которого считаешь выше себя.

Она стала портиться. В девушках у нее были порывы, всякие благородные мысли, жалость, способность откликаться на горе, на беду. И было время – она втайне завидовала этой самой Калерии. И ее днями влекло куда-нибудь, где есть большое дело, на которое стоит положить всю себя, коли нужно, и пострадать.

С мужем все это выело у нее, ровно червяк какой сточил. Не полюби она Васи – что бы из нее вышло?

«Гуляющая бабенка!» – почти вслух выговорили ее губы в ту минуту, когда правой рукой Серафима приподняла тяжелую косу, взяв ее у корней волос, и сильным движением перекинула ее через плечо, чтобы освежить лицо.

Со свечой в руках прошла она потом вдоль всех трех комнат, узковатой столовой и гостиной, такой же угловой, как спальня, но больше на целое окно.

Не жаль ей этого домика, хотя в нем, благодаря ее при-

смотрю, все еще свежо и нарядно. Опрятность принесла она с собою из родительского дома. В кабинете у мужа, по ту сторону передней, только слава, что «шикарно», – подумала она ходячим словом их губернского города, а ни к чему прикоснуться нельзя: пыль, все кое-как поставлено и положено. Но Север Львович не терпит, чтобы перетирали его вещи, дотрагивались до них... Он называет это: «разночинская чистоплотность».

Нет, не жаль ей ничего в этом домике. Жаль одного только – годов, проведенных без любви, в постылом сожителстве.

«Хуже всякой адвокатской содержанки!» – гневно подумала она, поставила свечу на пианино, подняла крышку и несколько раз прошлась по гостиной взад и вперед. «Разумеется, хуже содержанки!» – повторила она. Содержанку любят для нее самой, тратятся на нее, хоть и не уважают ее, зато из-за нее обманывают жен, попадают часто в уголовщину, режутся, отравляются... А она?.. Только и есть утешение, что Север Львович не завелся еще никем на стороне. Оттого, конечно, что у него, как у игрока, все другие страсти выело. Да и случая не представлялось. Его никто не любит; он везде держит себя чванно, с язвой, все как-то ежится, когда разговаривает с губернскими дамами, всем своим тоном показывает, что он – настоящий барин, правовед, сенаторский сын и принужден жить в трущобе, среди разночинцев и их самок – его любимое слово. И какая в этом сладость, что он ее ни на кого не променял, даже если б она и любила его?..

Она до сих пор ему не противна. Есть у него дома женщина, ничего ему не ст/оит, ее деньги все ушли на него же. Шутка! Без малого тридцать тысяч!

Эта цифра зажглась в ее голове, как огненная точка. Все нужно как раз столько. Даже меньше! Будь у нее в ящике или в банке такие деньги, она ушла бы с ним, вот сейчас уложилась бы, послала бы Феню за извозчиком и прямо бы на пароход или на железную дорогу, с ночным поездом.

Почему не встретила она Васи четыре года назад? И свободна была, и деньги были, и любовь бы настоящая, бесповоротная погнала ее под венец, а не самолюбивая блажь девчонки, удостоенной ухаживания барича– правоведа.

Щеки Серафимы пылали. Ей стало нестерпимо противно на самое себя. Бранные слова готовы были соскочить с ее разгоряченных красных губ.

И так же нестерпимо жалко сделалось Васи. Он, бедный, должен теперь биться из-за двадцати тысяч. Скорее всего, что не достанет... Или впутается в долг за жидовские проценты.

Она села у пианино порывисто, чтобы освободить себя от наплыва горечи, и взяла несколько сильных аккордов.

Что было, то прошло! Он ее любит... Она ему принадлежит! Чего же больше? Еще неделя, две – и не будет ее в этих постылых комнатах.

Она запела вдруг тот цыганский романс, который помог им сойтись с первой же встречи: «Коль счастлив я с тобой

бываю»... Это она за него поет, за Васю... И слов ей не нужно: слова глупые и старомодные, довольно одной мелодии.

Много-много раз повторила она один мотив... Потом запела другой романс на те слова, что она начала вслух проносить, когда ее пролетка поднималась наверх дамбы: О, люби меня без размышлений, Без тоски, без думы роковой!

Она вспомнила не одни эти два стиха, а и дальше все куплеты. Как только кончился один куплет, в голове сейчас выскакивали первые слова следующего, точно кто ей их подсказывал. Она даже удивилась... Спроси ее, знает ли она это стихотворение Майкова, она ответила бы, что дальше двух первых стихов вряд ли пойдет...

Когда в горле сказалась усталость, Серафима посмотрела на часы в столовой – было половина двенадцатого, и опять она заходила уже вдоль всех трех комнат... Две стояли в темноте.

После возбуждения, улегшегося за пианино, голова заработала спокойнее ввиду последних решительных вопросов.

Зачем бежать? Почему не сказать мужу прямо: «Не хочу с тобой жить, люблю другого и ухожу к нему?» Так будет прямее и выгоднее. Все станут на ее сторону, когда узнают, что он проиграл ее состояние. Да и не малое удовольствие – кинуть ему прямо в лицо свой приговор. «А потом довести до развода и обвенчаться с Васей... Нынче такой исход самое обыкновенное дело. Не Бог знает что и стоит, каких–нибудь три, много четыре тысячи!» – подумала Серафима.



«Как бы не так! Отпустит он по доброй воле! Даст он развод! И чтобы на себя вину взять – ни за что! В нем крючкотворец сидит, законник, сыщик, „представитель общественной совести“, как он величает себя. Да и не хочет она „почестному“, – ей припомнились слова отца, – уходить от него. Он этого не стоит... Пускай ни о чем не догадывается в своем самодовольстве и чванном самообожании. На тебе: любила два года, ездила на свидания в Нижний, здесь видалась у тебя под носом и ушла, осрамила тебя больше, чем самое себя»...

Серафима начала громко шептать.

И ни разу ей не представился вопрос: «а поймает и вызовет по этапу?»

## XXV

Пробило и двенадцать. Она не слыхала боя часов.

Не раздеваясь прилегла она на кушетку в гостиной и задремала. На пианино догорала свеча.

Обыкновенно она ложилась часу в первом и не ждала мужа. Он возвращался в два, в три. И сегодня Захар будет его ждать, пожалуй, до рассвета. Если Север Львович проигрался, он разденется у себя в кабинете, на цыпочках войдет в спальню и ляжет на свою постель так тихо, что она почти никогда не проснется. Но чуть только ему повезло – он входит шумно, непременно разбудит ее, начнет хвалиться выигры-

шем, возбужденно забрасывать ее вопросами, выговаривать ей, что она сонная...

Серафима сначала задремала, потом крепко заснула. Ее разбудил звонок в передней.

Она раскрыла глаза и сразу не могла распознать, где лежит и какой час дня. В два окна, выходящие на двор, вливался уже отблеск утренней зари; окна по уличному фасаду были закрыты ставнями. В гостиной стоял двойственный свет.

С кушетки ей видна была дверь в сени. Позвонили еще раз. Заспанная Феня отворила наконец. Север Львович вошел и крикнул горничной:

– Сколько раз надо звонить?

«Проигрался», – сказала Серафима про себя.

Сон совсем отлетел, и она сообразила, что уже светает.

Она, еще не поднимаясь с кушетки, продолжала издали смотреть на мужа, пока Феня стаскивала с него светло-гороховое очень короткое пальто, на шелковой полосатой подкладке. Шляпу, светлую же, он также отдал горничной.

На лицо его падало довольно свету из окна передней, – лицо моложаво-обрюзглое, овальное, бритое, кроме длинных и тонких усов; что-то актерское было в этом лице, в глазах с опухлыми веками, в прямом коротком носе, в гримасе рта. Он один во всем городе вставлял в левый глаз монокль. Темно-русые волосы заметно редели на голове.

Такой же моложавый, сухой и малорослый стан в двубортной синей расстегнутой визитке, из-под которой выглядывал

белый жилет. На ногах красно-желтые башмаки, тоже единственные в городе.

Ему на вид казалось за тридцать.

«Проигрался!» – решила еще раз Серафима и, не притворяясь спящей, лежала в той же полусогнутой позе.

– Вы здесь?.. С какой стати, а?

Голос его слегка в нос и вздрагивающий неприятно прошелся по ее нервам.

– Надеюсь, меня не ждали?

Опять этот ненавистный отрывистый говор затрещал, точно ломающаяся сухая скорлупа гороховых стручьев.

Муж приучал жену к хорошему тону, был с ней на «вы» и только в самых интимных разговорах переходил на «ты». Она привыкла называть его «Север Львович» и «ты» не говорила ему больше года, с поездки своей на ярмарку.

– Так, заснула...

Серафима сладко потянулась и свои белые обнаженные руки закинула за спину. Одна нога в атласной черной туфле с цветным бантом свесилась с кушетки. Муж ее возбужденно прошелся по гостиной и щелкнул несколько раз языком. С этой противной для нее привычкой она не могла помириться.

– Который час? – лениво и глухо спросила она.

– Не знаю... видите, светает.

И он засмеялся коротким и высоким смехом, чего с ним никогда не бывало.

«Должно быть, здорово обчистили его!» – выговорила она про себя.

– Неужели все время в клубе?

И этот вопрос вышел у нее лениво и небрежно.

– Сначала... да. А потом... у этого приезжего инженера.

– Какого?

«Очень мне нужно знать!» – добавила она мысленно:

– Ах, Боже мой. Я вам говорил. Несвисецкий... Запржецкий. Полячишко!.. Шулер!..

Он сдержал свое раздражение, откинул борт визитки на один бок, засунул большой палец за выемку жилета и стал, нервно закинув голову.

– Несомненный шулер... Иэтаких мерзавцев в клуб пускают!

– Вы зачем же с ним сиделись?

– Разве это написано на лбу?.. Игра вдвоем.

– В пикет?

– Нет, в палки.

– Колоду подменил?

«И зачем я с ним разговариваю? – подумала она. Какое мне дело? Чем больше продулся, тем лучше».

Когда она говорила, мысленно у ней выскакивали резкие, неизящные слова.

– В клубе... нет, это невысказано! – Он заходил, все еще с большим пальцем в выемке жилета. – Нет, у себя, в номере...

– Ловко! – вырвалось у нее таким бесцеремонным звуком,

что Рудич вскинул на нее свой монокль. Значит, к нему от-  
правились?..

– Нельзя было... Ты понимаешь. Я был в таком проигры-  
ше.

Он незаметно для себя стал говорить ей «ты».

– На сколько же?

– На очень значительную сумму. На очень!..

– Совестно выговорить небось?

Такого тона Север Львович еще не слышал от жены.

В другое время он остановил бы ее одним каким-нибудь  
движением перекошенного рта, а тут он только выкинул мо-  
нокль из орбиты глаза и быстро присел на кушетку, так быст-  
ро, что она должна была подвинуться.

– Серафима, ты понимаешь... теперь для меня, в такую  
минуту... на днях должна прийти бумага о моем назначе-  
нии...

– И вы еще больше спустили?

Сквозь свои пушистые ресницы, с веками, немного по-  
красневшими от сна, она продолжала разглядывать мужа.  
Неужели эта дрянь могла командовать ею и она по доброй  
воле подчинилась его фанатерии и допустила себя обобрать  
до нитки?.. Ей это казалось просто невозможным. И вся-то  
его фигура и актерское одутлое лицо так мизерны, смешны.  
Просто взять его за плечи и вытолкнуть на улицу – б/ольше-  
го он не заслуживал. Никаких уколов совести не чувствова-  
ла она перед ним, даже не вспомнила ни на одно мгновение,

что она – неверная жена, что этот человек вправе требовать от нее супружеской верности.

Он провел белой барской ладонью по своей лысеющей голове и почесал затылок.

– Словом... мой друг... это экстраординарный проигрыш. Я мог бы, как... представитель, ты понимаешь... судебной власти... арестовать этого негодяя. Но нужны доказательства...

– Не дурно было бы! – перебила она. – Сам же играл до петухов у шулера и сам же арестовать его явился... Ха-ха!

Такого смеха жены Рудич еще никогда не слыхивал.

– Ты пойми, – он взял ее за руки и примостился к ней ближе, – ты должна войти в мое положение...

– Да сколько спустили-то?

– Сколько, сколько!..

– Тысячу или больше?

– Тысячу!.. Как бы не так! Подымай выше!..

Он сам соскочил с своего обычного тона.

– Ну, и что ж?

Этот возглас Серафимы заставил его взять ее за талию, прилечь головой к ее плечу и прошептать:

– Спаси меня!.. Серафима! Спаси меня!.. Попроси у твоего отца. Подействуй на мать. Ты это сделаешь. Ты это сделаешь!..

Его губы потянулись к ней.

– Никогда!.. – выговорила резко и твердо Серафима и от-

толкнула его обеими руками.

– Ты с ума сошла!

Он чуть было не упал.

– Отправляйтесь спать!

И когда он опять протянул к ней обе руки со слащавой гримасой брезгливого рта, она отдалила его коленями и одним движением поднялась.

У дверей столовой она обернулась, стала во весь рост и властно прокричала:

– Не смейте ко мне показываться в спальню! Слышите!..

Ни спасать вас, ни жить с вами не желаю! И страшать меня не извольте. Хоть сейчас пулю в лоб... на здоровье! Но ко мне ни ногой! Слышите!

Она пробежала через столовую в спальню, захлопнула дверь и звонко повернула ключ.

И когда она от стремительности почти упала на край своей кровати, то ей показалось, что она дала окрик прислуге или какому-нибудь провинившемуся мальчишке, которого запрут в темную и высекут...

## XXVI

Теркин шел по тропе мимо земляных подвалов, где хранился керосин, к конторе, стоявшей подальше, у самой «балки», на спуске к берегу.

Солнце пекло.

Он был весь одет в парусину; впереди его шагала молодой сухощавый брюнет в светлой ластиковой блузе, шелковом картузе и больших сапогах; это и был главный техник на химическом заводе Усатина, того «благоприятеля», у которого Теркин надеялся сделать заем.

Сегодня утром он не застал его в усадьбе. Усатин уехал в город за двадцать верст, и его ждали к обеду. Он должен был вернуться прямо в контору.

Туда они и шли с Дубенским, – так звали техника с завода из-за Волги. Тот также приехал по делу. И у него была «большая спешка» видеть Арсения Кирилыча.

Усатин наезжал один в эту приволжскую усадьбу, где когда-то сосредоточил торг керосином. Семейство его проживало с конца зимы где-то за границей.

Теркина принял нарядчик. Он еще помнит его с того времени, когда сам служил у Арсения Кирилыча; его звали Верстаков: ловкий, немножко вороватый малый, употреблявшийся больше для разъездов, уже пожилой.

Верстаков ему обрадовался и повел его сейчас же наверх, где помещаются комнаты для гостей.

– Надолго к нам, Василий Иванович? – спросил он его тоном дворового.

Прежде он держался с ним почти как равный с равным.

На его вопросы о хозяине, его делах, новых предприятиях и планах Верстаков отвечал отрывочно, с особенным поворотом головы в сторону, видимо с умышленной сдержанно-



стью.

Но Теркин не хотел допытываться; только у него что-то внутри защемило. Как будто в уклончивых ответах Верстакова он почуял, что Усатин не может быть настолько при деньгах, чтобы дать ему двадцать тысяч, хотя бы и под залог его «Батрака», а крайний срок взноса много через десять дней, да и то еще с «недохваткой». Остальное ему поверят под вексель до будущей навигации.

Там же в усадьбе дожидался Усатина и его техник или «делектур», как называл его Верстаков. Они друг другу отрекомендовались за чаем.

Дубенского он сразу определил: наверно из «технологического», с большим гонором, идей самых передовых, – может, уже побыл где-нибудь в местах «отдаленных», – нервный, на все должен смотреть ужасно серьезно, а хозяйское дело считать гораздо ниже дела «меньшей братии».

Так выходило по соображениям Теркина из повадки и наружности техника: лицо подвижное, подслеповат, волосы длинные, бородка плохо растет, говорит жидким тенором, отрывисто, руками то обдергивает блузу, то примется за бородку. О приятном тоне, об уменье попасть в ноту с чужим человеком он заботится всего меньше.

За чаем Теркин узнал от него, что Усатин должен тотчас же отправиться в Москву, может быть, не успеет даже переночевать.

– Вам по какому делу? – спросил Дубенский, тревожно

поглядел на него и, не дождавшись ответа, добавил быстро: – Я ведь так спросил... понимаете... Может... какое сведение нужно... по заводу?

– Нет, я по другим статьям, – ответил Теркин с усмешкой.

Малый ему скорее нравился, но прямо ему говорить: «я, мол, заем приехал произвести», – он не считал уместным. Лучше было повести разговор так, чтобы сам «интеллигент» распоясался.

– Расширили дело на заводе? – осведомился он добродушно небрежным тоном, как человек, которому обстоятельства Усатина давно известны. – Ведь Арсений Кирилыч хотел, помнится мне, соседнюю лесную дачу заполучить и еще корпус вывести для разных специальных производств?

– Нет, дача не куплена... и все по-старому... даже посокращено дело...

Техник тыкал папиросой в пепельницу, говоря это.

– Что ж? Охладел патрон или сбыт не тот против прежнего?

– Разные причины... понимаете... в другую сторону были направлены главные интересы. Арсений Кирилыч – человек, как вам известно, увлекающийся.

Еще бы!

Да и конкуренция усилилась. Прежде в этом районе едва ли не один всего завод был, а нынче... расплодилось. И подвоз... по новым чугункам...

– Так, так!

Слушая техника, Теркин из-за самовара вглядывался в него.

«Ведь тебя, паря, – по-мужицки думал он, – что-нибудь мозжит... также нетерпящее... в чем твоя подоплека замешана... И тебе предстоит крупный разговор с патроном...»

Ему стало его вдруг жаль, точно он его давно знает, хотя он мог бы быть недоволен и помехой лишнего человека, и тем, что этот «делектур» расстроен. Конечно, дело, по которому он приехал, денежное и неприятное.

Стало быть, есть разные заминки в оборотах Арсения Кирилыча... Почему же он сам-то так верит, что у него легко перехватит крупноватый куш? Ведь не наобум же он действовал?... Не малый младенец. Не свистун какой-нибудь!

Не дальше как по весне он виделся с Усатиным в Москве, в «Славянском Базаре», говорил ему о своем «Батраке», намекал весьма прозрачно на то, что в конце лета обратится к нему.

И тот ему ответил, похлопав по плечу:

– Весьма рад буду, Теркин, поддержать вас... Напомните мне месяца за два... письмом.

Он и напомнил. Правда, ответа не получил, но это его тогда не смутило. А весной, когда они встретились в Москве, Усатин «оборудовал» новое акционерное дело по нефтяной части и говорил о нем с захлебыванием, приводил цифры, без хвастовства упоминал о дивиденде в двадцать три процента, шутя предлагал ему несколько акций «на разживу», и

Теркин ему, так же шутя, сказал на прощанье:

– Мне теперь, Арсений Кирилыч, всякий грош дорог. Дайте срок, ежели Волга-матушка не подкузьмит на первых же рейсах – и поделитесь тогда малой толикой ваших акций.

Что говорить, человек он «рисковый», всегда разбрасывался, новую идею выдумает и кинется вперед на всех парах, но сметки он и знаний – огромных, кредитом пользовался по всей Волге громадным; самые прожженные кулаки верили ему на слово. «Усатин себя заложит, да отдаст в срок»: такая прибаутка сложилась про него давным-давно.

К тому же Арсений Кирилыч сам когда-то пострадал, посидел малую толику за свое «направление». Он не в дельцы себя готовил, а по ученой части; ходил в народ, хотел всю свою душу на него положить и в скором времени попался. Это его на другую дорогу повернуло. Через пять-десять лет он уже гремел по Волге, ворочал оборотами в сотни тысяч. А все в нем старая-то закваска не высыхала: к молодежи льнул, ход давал тем, кто, как Теркин, с волчьим паспортом выгнан был откуда–нибудь, платил за бедных учащихся, поддерживал в двух земствах все, что делалось толкового на пользу трудового люда.

Усатин приласкал Теркина, приставил к ответственному делу, а когда представилась служба крупнее и доходнее, опять по железнодорожной части, он сам ему все схлопотал и, отпуская, наставил:

– Смотрите, Теркин! Под вашей командой перебивает ты-

сяча рабочих. Не давайте, насколько можете, эксплуатировать их, гноить под дождем, в шалашах, кормить вонючей солониной и ржавой судачиной да жидовски обсчитывать!

Тогда Теркину даже не очень нравилось, что Усатин так носится с мужиками, с рабочими, часто прощает там, где следовало строго взыскать. Но его уважение к Арсению Кирилычу все-таки росло с годами – и к его высокой честности, и к «башке» его, полной всяких замыслов, один другого удачнее.

Правда, начали до него доходить слухи, что Усатин «зарывается»... Кое-кто называл его и «прожектором», предсказывали «крах» и даже про его акционерное общество стали поговаривать как-то странно. Не дальше, как на днях, в Нижнем на ярмарке, у Никиты Егорова в трактире, привелось ему прислушаться к одному разговору за соседним столом...

Может быть, Усатин и зарвался. Только скорее он в трубу вылетит, чем изменит своим правилам. Слишком он для этого горд... Такие люди не гнутся, а ломаются, даром что Арсений Кирилыч на вид мягкий и покладистый.

## XXVII

Подходя к конторе, Дубенский обернулся и, защищаясь ладонью от палящего солнца, спросил:

– Не хотите ли в садике посидеть? Там и тень есть.

– И весьма... Может, ждать Арсения Кирилыча долгонько

придется, – возбужденно отозвался Теркин.

Они уже были у забора.

– К полудню должен быть.

Техник отворил дверку в палисадник и впустил первого Теркина. Контора – бревенчатый новый флигель с зеленой крышей – задним фасом выходила в палисадник. Против крылечка стояла купа тополей. По обеим сторонам лесенки пустили раскидистую зелень кусты сирени и бузины.

– Да вот на лесенке посидим, – сказал Теркин. Тут всего прохладнее. Здоровая же нынче жара! Как думаете, градусов чуть не тридцать на припеке?

– Около того... Не угодно ли?

Техник протянул ему свою папиросницу.

– Много благодарен... Как вас по имени-отчеству?

– Петр Иванов...

С лица Дубенского не сходило выражение ущемленности. Теркину еще больше захотелось вызвать его на искренний разговор; да, кажется, это и не трудно было.

– В Москву депешей, что ли, требуют Арсения Кирилыча? – спросил он умышленно небрежным тоном и выпустил дым папиросы вбок, не глядя на Дубенского, севшего ниже его одной ступенькой.

– Три телеграммы пришли... Одна даже на мое имя... Поэтому я и знаю... Первые две получены с нарочным вчера еще.

– Да ведь Арсений Кирилыч в городе?..

– От нас станция ближе... Оттуда прямо посылают...

– Значит, приспичило?

Дубенский взглянул на него с наморщенным лбом и выговорил слегка дрогнувшим звуком:

– Все по обществу... этому.

– По какому? По нефтяному делу?

– Именно.

– В правлении, поди, чего натворили? Кассир сбежал, али что? По нынешнему времени это самый обыкновенный сюрприз.

– Нет... видите ли...

Техник снял картуз и отер платком пот с высокого, уже морщинистого лба.

– Да вы, Петр Иванович, не думайте, пожалуйста, что я у вас выпытываю. Ни Боже мой!.. В деловые секреты внедряться не хочу... Но вам уже известно, что я у Арсения Кирилыча служил, много ему обязан, безусловно его почитаю. Следственно, к его интересам не могу быть равнодушен.

Глаза Теркина загорелись, и он, обернувшись к технику всем лицом, говорил теплыми нотами.

Тот накрылся, сделал громкую передышку и вытянул ноги.

– Вы ничего не читали в газетах? – неуверенно и опять с приподнятой бровью спросил он.

– Да я больше недели и газеты-то в руках не держал. Все на пароходах путаюсь, вверх и вниз.

– Тогда, конечно...

«Не речист ты, милый друг», – подумал Теркин.

– А нешто что-нибудь такое есть? Травля какая... Набат забили?

– Именно, именно... И так неожиданно. Подняли тревогу... Письма... Обличения... Угрозы...

– Угрозы? Чем же страшат и по какому поводу?

– Это... сложно... долго рассказывать... разумеется, в каждом акционерном предприятии, – щеки Дубенского начали краснеть, и глаза забегали, – какую цель задаются? На что действуют?... На буржуазную алчность. Дивиденд! Вот приманка!

– А то как же?

Вопрос Теркина прозвучал веско и серьезно.

– Да разве трудовым людям, – еще нервнее спросил Дубенский, – вот таким хоть бы, как вы и я, следует откармливать буржуев?

«Ну да, ну да, – думал Теркин, – ты из таких. Не уходился еще...»

– Не давать хорошего дивиденда, – выговорил он спокойно, – так и акции не поднимутся в цене, и предприятие лопнет. Это – буки-аз – ба.

– Конечно, конечно! Буки-аз – ба... Но есть предел... Можно... вы понимаете... можно, по необходимости, подчиняться условиям капиталистического хозяйства.

– Какого? – переспросил Теркин.



– Капиталистического... понимаете... буржуйного... Но если перепустить меру и... как бы сказать... спекулировать на усиленные приманки – это не обходится без... понимаете?..

«Без шахер-махерства», – добавил про себя Теркин.

– Понимаю, – протянул он вслух и сдунул пепел с папиросы.

– Ну, вот, – оживленнее и смелее продолжал Дубенский, – и надо, стало быть, усиленно пускать в ход все, что привлекает буржуя.

«Эк заладил, – перебил про себя Теркин, – буржуй да буржуй!»

– Это вы буржуем-то вообще состоятельных людей зовете? – спросил он с улыбочкой.

– Представителей капиталистического хозяйства...

– Да позвольте, Петр Иванович, вы все изволите употреблять это выражение: капиталистическое хозяйство... И в журналах оно мне кое-когда попадается. Да какое же хозяйство без капитала?

Он хорошо понимал, куда клонит Дубенский, и сам не прочь был потолковать о том, как бы надо было людям трудовым и новым заводить, что можно, сообща. Но его этот техник начал раздражать более, чем он сам ожидал. Такое «умничанье» считал он неуместным и двойственным в человеке, пошедшем по деловой части. Что хочется ему поскорее начать хозяйствовать – это естественно... Или общество

устроить почестнее, так, чтобы каждый пайщик пользовался доходом сообразно своей работе, как, например, в том пароходном товариществе, куда он сам вступает... А ведь этот Дубенский не в ту сторону гнет... Он, наверное, сочувствует затеям вроде крестьянских артелей из интеллигентов.

И Теркину вспомнился тут его разговор на пароходе с тем писателем, Борисом Петровичем. Он ему прямо сказал тогда, что считает такие затеи вредными. Там, в крестьянском быту, еще скорее можно вести такое артельное хозяйство, коли желаешь, сдуру или от великого ума, впрягать себя в хомут землеша, а на заводе, на фабрике, в большом промысловом и торговом деле...

Дубенский не сразу ему ответил.

– Не в том вопрос... – начал он еще нервнее. – Без капитала нельзя. Но на кого работать?.. Вот что-с!.. У Арсения Кирилыча были совсем другие идеи... Он хотел делать рабочих участниками... вы понимаете?

– Понимаю!.. Это в виде процента, что ли?

– Именно.

– Против этого я не буду говорить... но опять не сразу же... Надо спервоначалу поставить дело на прочный фундамент...

– А вышло по-другому, – голос Дубенского упал, – совсем по-другому. Понадобились... я вам сказал... приемы... делчества... понимаете? И в этих случаях можно очутиться в сообщниках, не желая этого...

«Вот оно что! – подумал Теркин. – Видно, и тебя впутал хозяин-то!»

– О чем же, собственно, в газетах гвалт подняли? – спросил он строже и даже нахмурился.

– Мне, право... весьма неприятно излагать вам это... Конечно, тут есть какая-нибудь интрига...

– Подвох!.. Со стороны меньшинства? Или действительно проруха какая?

– Есть... к сожалению... и кое-что похожее на правду.

– Да неужто Арсению Кирилычу серьезные гадости предстоят? Преследование?

«Неладно, неладно», – прибавил Теркин про себя, и ему стало вдруг ясно, что он уедет отсюда с пустыми руками.

– Арсения Кирилыча вызывают безотлагательно. Надо сейчас же принять меры.

– Он – ума палата... В разных передрыгах бывал... Да к тому же, как я его разумею, ничего бесчестного, неблагоприятного он на душу свою не возьмет... Не такой человек.

«А почему ты знаешь?» – поправил он самого себя.

И ему захотелось, забывая про неудачу своей поездки к Усатину, поглядеть на то, как Усатин поведет себя и во что именно завязил он одну ногу... а может, и обе.

– Очень, очень... все это прискорбно!

Возглас Дубенского отзывался большой горечью.

Теркин сбоку оглядел его и подумал:

«Какой ты техник, директор?.. Тебе бы лучше книжки со-

чинять или общежития на евангельский манер устраивать».

– Да ведь вы – служащий... ваше дело сторона. Коли вы перед акционерами прямо не ответственные? – спросил Теркин, нагнувшись к Дубенскому.

– В настоящую минуту... весьма трудно ответить вам... вы понимаете... весьма трудно.

## XXVIII

Загудевший вдали колокольчик прервал Дубенского.

– Это Арсений Кирилыч? – спросил Теркин.

– Он, он!

Оба встали и вернулись к наружному крыльцу с навесом и двумя лавками.

Там уже дожидалось несколько человек мелких служащих, все в летних картузах и таких же больших сапогах, как и Дубенский.

– Арсений Кирилыч едут, – доложил один из них технику и снял картуз.

Тот поблагодарил его наклонением головы.

– Он наверно в конторе побудет, – сказал Дубенский Теркину, пропуская его вперед.

Справа из сеней была просторная комната в четыре окна, отделанная как конторы в хороших сельских экономиях: серенькие обои, несколько карт и расписаний по стенам, шкапы с картонами, письменный стол, накрытый клеенкой, гну-

тая венская мебель.

Но и в ней стояла духота, хотя все окна были настежь.

– Здесь посидим или пойдем на крылечко? – спросил Теркин, не выносивший духоты.

Можно было еще кое-что повыведавать у Дубенского. Но он не любил никаких подходов. Пожалуй, есть и какая-нибудь нешуточная загвоздка... Быть может, и ничего серьезного для кредита усатинской фирмы нет, а этот нервный интеллигент волнуется из-за личной своей щепетильности, разрешает вопрос слишком тревожной совести.

Но... газеты? Обличительный набат?.. Положим, у нас клевета и диффамация самый ходкий товар, и на всякое чиханье не наздравствуешься... Однако не стали бы из-за одних газетных уток слать три депеши сряду.

Дубенский так был поглощен предстоящим объяснением с Усатиным, что не слышал вопроса Теркина и заходил взад и вперед по конторе.

Вопроса своего Теркин не повторил и присел к окну, ближайшему от крыльца.

Через две-три минуты показалась коляска вроде тарантаса на рессорах, слева из-за длинного амбара, стоявшего поодаль, по дороге из уездного города.

Сажены за тридцать острые глаза Теркина схватили фигуру Усатина. Он ехал один, с откинутым верхом и фартуком, в облаке темноватой степной пыли. Лошади, все в мыле, темно-бурой масти, отлично съезженные, широко раскинулись

своим фронтом. Коренник под темно-красной дугой с двумя колокольчиками иноходью раскачивался на крупных рысях; пристяжные, посветлее «рубашкой», скакали головами врозь, с длинными гривами, все в бляхах и ремнях, с концами, волочившимися по земле. Молодой кучер был в бархатной безрукавке и низкой ямской шапке с пером.

«Ожирел, Бог с ним, Арсений Кирилыч, – подумал Теркин, продолжая оглядывать его. – Трехпудовый купчина... Барское обличье совсем потерял».

И в самом деле, Усатин даже в последние три месяца, – они виделись весной, – сделался еще тучнее. Тело его занимало все сиденье просторного фаэтона, грузное и большое, в чесучовой паре; голова ушла в плечи, круглая и широкая; двойной подбородок свесился на рубашку; борода точно вылезла, такая же русая, как и прежде, без заметной на расстоянии седины; только острые темно-серые глазки прорезали жир щек и точечками искрились из-под крутых бровных орбит, совсем почти без бровей. Рот сохранял свою свежесть и сочность, с маленькими зубами. На все лицо ложилась тень от соломенной шляпы с вуалем на английский манер.

«Важно катит! – подумал Теркин, засмотревшись охотницы на тройку, и почувствовал приятное, чисто русское ощущение лихости и молодечества. – Важно!.. Кабы на таких же полных рысях и во всем прочем!»

И ему захотелось верить, что такой человек, как Арсений Кирилыч, не свихнется; что все эти газетные слухи просто

«враки», и только такой «головастик», как Дубенский, может мучиться из-за подобных пустяков.

За несколько шагов до крыльца храп лошадей слышался явственно, и пыль, вздымаясь высокими клубами, совсем закрыла фигуру Усатина, когда он подъезжал к конторе.

Оба они, и Теркин, и Дубенский, вышли на крыльцо.

Усатин грузно вылезал, опираясь на руку одного из слушающих. Первого увидел он Теркина.

– А!.. Василий Иванович!.. Вы как?..

Оклик, сделанный молодым, немного шепелявым голосом, показал Теркину, что Усатин забыл про их разговор в Москве и про то письмо, которое он писал ему на днях, извещающая о своем приезде... Быть может, не получил его...

Они поздоровались.

– Мы вот с господином Дубенским рассудили перехватить вас, Арсений Кириллыч, по дороге в усадьбу. Пожалуй, отсюда прямо на чугунку укатите... Вас ждут депеши. С моим личным делом я повременю... А письма моего вы разве не получили?

– Какого письма?

– Из Ярославля я вам писал на той неделе?..

– Нет... Вы куда же адресовали?

– Да сюда, в усадьбу.

– Я больше недели мыкаюсь...

И, видя, что Дубенский с нервным лицом переминается с ноги на ногу, Усатин быстро повернулся в его сторону и не

договорил.

– Петр Иваныч?.. У вас, стало, что-нибудь экстренное?

– Три депеши, Арсений Кирилыч. Одна была на мое имя.

Вот они.

Дубенский вынул из кармана три телеграммы и с дрожью в пальцах подал их.

– Из Москвы? – спросил Усатин.

Теркину показалось, что голос его дрогнул.

И, не раскрывая телеграмм, он обратился, все еще у крыльца, к служащим:

– Вам тоже к спеху?

– Как же, Арсений Кирилыч... – отвечал за всех стоявший впереди худой высокий малый, с длинной желтой бородой. – Насчет теперь...

Белой пухлой рукой Усатин сделал движение.

– Хорошо!.. Господа, я сейчас к вам... Только отпущу их... Пожалуйте в комнаты.

Теркин и Дубенский вернулись в контору, где Дубенский опять начал ходить взад и вперед.

– Послушайте... Петр Иваныч, – окликнул его Теркин, стоя у двери.

– Что вам? – рассеянно отозвался Дубенский.

– Коли вам надо сейчас же объясниться с Арсением Кирилычем, я могу и в садик пойти.

– Нет... Зачем же... Вероятно, он сейчас поедет в усадьбу...



– Да ведь я вижу, Петр Иванович... вы сам не свой... Право, я лучше в садик выйду.

Теркин взялся за ручку двери, и только что он отворил ее – столкнулся на пороге с Усатиным.

– А вы куда? – звонко спросил тот, входя в контору и сняв шляпу.

Череп его совсем полысел, и только кругом в уровень ушей шла полоса русых, плотно остриженных волос с легкой проседью.

Депеш он еще не читал и держал их в другой руке.

– До вас у Петра Ивановича неотложное дело... Я на воздухе побуду.

– Да разве так приспичило, Дубенский?

– Вы депеши еще не прочли? – спросил техник с ударением.

– Сейчас, сейчас...

Теркину захотелось остаться посмотреть, изменится ли Усатин в лице, когда прочтет депешу.

Первую, уже распечатанную, пришедшую на имя Дубенского, Усатин раскрыл и пробежал.

– А! вот что! – глухо вырвалось у него. – Предполагаю, какого содержания остальные две... Господа... Едем. Я вскрыю эти депеши у себя в кабинете.

– Быть может, – начал Дубенский, – вам отсюда придется ехать на станцию.

– Нет, друг мой... я и без того измучился. Если нужно, я

поеду завтра... да и то... Я знаю тех... московских. Сейчас голову потеряют.

Глаза его перебежали от Дубенского к Теркину... Лысина была влажная. Нос, несколько вздернутый и тонкий – на таком широком и пухлом лице, – сохранял свое прежнее характерное выражение.

– Едемте, господа... И первым делом выкупаемся.

Еще раз пробежал он депешу и наморщил лоб.

Но двух остальных он так и не вскрыл.

«Малодушие закралось, – подумал Теркин, – чует что-нибудь очень невкусное...»

Но вера в этого человека еще не дрогнула в нем. И желание отвести ему беду зашевелилось в его душе.

## XXIX

В гостиной, с дверью, отворенной на обширную террасу, было свежее, чем на воздухе. Спущенные шторы не пропускали яркого света, а вся терраса стояла под парусинным навесом.

Теркин оглядывал комнату – большую, неуютную, немножко заброшенную. Мебель покрывали чехлы. Хозяйского глаза не чувствовалось. Правда, семейство Усатина за границей. Но все-таки было что-то в этой гостиной, точно предвещавшее крах.

Усатин, когда они приехали, провел Дубенского в каби-

нет. Голоса их не доносились в гостиную, да Теркин и не думал прислушиваться... Объяснение затянулось. Он закурил уже третью папиросу.

Дверь из кабинета выходила тоже на террасу, за углом.

Заслышался наконец гул разговора. По террасе шли Усатин и Дубенский. Они остановились в глубине ее, против того кресла, где сидел Теркин.

Теркин ерошил волосы и двигался боком, заслоненный обширным туловищем Усатина. И на лице Арсения Кирилыча Теркин тотчас же распознал признаки волнения. Щеки нервно краснели, в губах и ноздрях пробегали струйки нервозности, только глаза блестели по-прежнему.

– Как знаете! Я вас не желаю насильно удерживать, – дошли до слуха Теркина слова Арсения Кирилыча, – но не следовало, милый мой, так рано труса праздновать!..

Он обернулся в сторону открытой настежь двери и увидел Теркина.

– Значит, вы сейчас обратно? – резче спросил он вслед за тем Дубенского.

Тот что-то пробормотал и торопливо протянул руку, сделал два шага по террасе назад, потом повернул и прошел гостиной, чтобы проститься с Теркиным.

– Перетолковали? – спросил Теркин.

– Да-с... Я еду... сейчас... Очень жаль, что не удалось...

Дубенский не договорил, стиснул руку Теркина и быстро зашагал к двери в переднюю. Волосы его были в беспорядке,

все лицо влажное.

– Ну, будьте здоровы!

Свое пожелание Теркин пустил ему вслед стоя.

– А!.. – окликнул его сзади Усатин. – Вот это чудесно! Какая прохлада! Мы здесь и закусим... В столовой наверно духота... Только еще рано... Мы посидим, потолкуем... Не угодно ли на диван?

Он взял Теркина за плечо и повел его к низкому дивану у одной из внутренних стен.

– Вот сюда... Позвольте раскурить о вашу папиросу.

Они расселись... Усатин закурил и раскинулся по спинке дивана.

– У-ф!.. – выпустил он воздух звонкой нотой.

– Вам, Арсений Кирилыч, наверно, не до меня и не до моих дел, – начал Теркин искренно и скромно. – Что-то у вас такое стряслось...

– Вы знаете? Из газет?

Вопрос Усатина зазвучал резко.

– Нет, от господина Дубенского... я кое-что...

– Тосподин Дубенский, – прервал уже раздражительнее Усатин, – как я ему сейчас на прощанье сказал, слишком скоро труса празднует.

Он ударил себя по ляжке и переменял положение своего грузного тела.

– Удивительное дело!.. Кажется, я всем таким господам, как милейший Петр Иваныч, давал и даю ход. Без моей под-

держки ему бы не выбраться из мизерии поднадзорного прозябания.

– А господин Дубенский из нелегальных был?

– Помилуйте!.. И как еще!.. Теперь он директор значительного завода. Пять тысяч жалованья и процент. Во мне было достаточно времени увериться. Я никого из работающих со мною не подведу.

– Вы-то!

Это восклицание вылетело у Теркина задушевной нотой.

– Только со мной идти надо вперед смело, не бояться риска, временных заклепок, подвохов, газетной брехни, всяких дешевых обличений, даже прокурорского надзора... на случай доносов...

– А нешто до этого дошло, Арсений Кирилыч? вполголоса спросил Теркин, слегка нагнувшись к Усатину.

– Дошло ли?!

Усатин прищурился на Теркина и мотнул головой.

– Донос, наверно, сделан на днях... В обеих депешах говорится про это.

И, как бы спохватившись, он перебил себя восклицанием:

– Я знаю и чувствую, откуда это идет. За все свое прошлое приходится отвечать теперь, Теркин... Ведь вашего отца, сколько я помню, его односельчане доконали?

В Сибирь сослали, – подсказал Теркин.

За что?

Смутьян, вишь, был... Правду всем в глаза говорил.

– А я весь свой век ворочал делами и в гору шел, не изменяя тому, что во мне заложили лучшие годы, проведенные в университете. Вот мне и не хотят простить, что я шестидесятыми годами отзываюсь, что я враг всякой татарской надувастики и рутины... И поползли клопы из всех щелей, – клопы, которым мы двадцать лет назад пикнуть не давали. А по нынешнему времени они ко двору.

– Верно, верно, Арсений Кирилыч.

– Такие клопы – мерзкая гадина, и надо ее истреблять персидским порошком, а не трусить... Вы, наверное, в газетах уже читали...

– Ей-ей, не читал, Арсений Кирилыч. Я уже говорил господину Дубенскому, что больше недели листка в глаза не видал.

– Тем лучше!.. Гнусная интрига, направленная против меня. Я вам за завтраком расскажу в общих чертах... Разумеется, если все, кто у меня служит, будет так же щепетилен и слаб душою, как господин Дубенский, не мудрено под каждое дело подкопаться.

Видно было, что на техника он в сильных сердцах и должен излить сначала все, что у него накипело внутри.

– Помилуйте! – закричал он и подвинулся к Теркину. – Вы заведуете технической частью в акционерном деле, вы прямо не замешаны, не значитесь ни членом правления, ни касиром, и вдруг, оттого, что дело связано, между прочим, и с производством, по которому мы давали свою экспертизу, вы

сейчас – караул! И готовы стать на сторону тех, кто строчит доносы и бьет набат в заведомо шантажных газетчонках!.. Все это, чтобы выгородить свое цивическое целомудрие, ха, ха!..

Усатин быстро поднялся и заходил по гостиной.

В первый раз видел Теркин такую раздраженность в своем бывшем хозяине.

Но он с ним был согласен, хотя и не знал, из-за чего Дубенский «выгораживал» себя на случай истории по акционерному обществу. Усатин, наверно, расскажет ему, в чем дело, не теперь, так позднее. Несомненно, однако ж, что минута для займа двадцати тысяч неподходящая, и лучше будет первому не заводить об этом речи.

– Теркин! – заговорил опять Усатин, подойдя плотно к дивану. – Вы у меня переночуете?

– С удовольствием, Арсений Кирилыч.

– Перед завтраком мы съездим выкупаться... Вы мне писали... по делу... я ведь, батюшка, не нашел вашего письма. Теперь я вспомнил наш разговор в «Славянском Базаре»... Вам кредит нужен?

– Точно так.

– Приблизительно на какую сумму?

Глаза Усатина заиграли. В их что-то промелькнуло, какое-то мгновенное соображение.

– Тысяч на двадцать.

– Эх, милый мой! И зачем вы у меня тогда не попросили

прямо в Москве?.. Я бы тогда и сорок дал... – Хотел сам извернуться. – Да вы мне напомните, в чем дело.

Теркин кратко и деловито рассказал ему про своего «Батрака».

– Так!.. Ну, тут можно и без залога обойтись... Дайте мне срок, какую-нибудь неделю, все наладить в Москве, тогда мы и это уладим.

– Ой ли? Арсений Кирилыч! – радостно вскрикнул Теркин и поднялся.

Глаза Усатина продолжали играть. Он что-то обдумывал.

– Поедемте купаться на реку... а там поедим и еще обширно перетолкуем.

### XXX

До рассвета не мог заснуть Теркин наверху, в той комнате, которую отвел ему нарядчик Верстаков.

Такого душевного переполоха давно не случилось с ним.

Только к концу раннего обеда, когда Арсений Кирилыч велел подать домашней водянки и старого коньяку, стало ему вдомек, к чему подбирается его бывший хозяин.

– Вы сами знаете, Теркин, – начал Усатин другим тоном, спокойнее и задушевнее, – крупные дела не делаются без некоторых компромиссов.

Не сразу уразумел он, на чем произошла «заминка» в новом акционерном предприятии, пущенном в ход Арсени-



ем Кирилычем. Как он ни прикрывал того, что стряслось в Москве, своей диалектикой, но «уголовщиной» запахло.

Появились разоблачения подставных акционеров и дутого дивиденда, растраты основного капитала и фиктивной цены акций, захваченных на две трети Усатиным и его подручными. Можно было весьма серьезно опасаться вмешательства администрации и даже прокурорского надзора.

И как Усатин ни замазывал сути дела, как ни старался выставить все это «каверзой», с которой легко справиться, Теркин распознал, что тот не на шутку смущен и должен будет прибегнуть к каким-нибудь экстренным мерам, разумеется, окольными путями.

Прежде чем Усатин заговорил о «маленькой услуге» он уже подумал:

«Будет меня пытаться и предложит нелегальную сделку».

– Риск пустой, – сказал Усатин, подбадривая его своими маслянистыми глазками. – А вы мне покажете, Теркин, что добро помните... И я вам даю слово – в одну неделю уладить ваше дело по уплате за пароход... на самых льготных для вас условиях.

Конечно, если верить в звезду Арсения Кирилыча и рискнуть, то можно даже примоститься к делу, буде оно пойдет опять полным ходом, заставить заплатить за себя двадцать тысяч, которых даром никто не даст... Но придется за это впутать себя в целую «махинацию», взять с Усатина дутых векселей на сотню тысяч и явиться подставным владельцем

не одного десятка акций.

И Усатин не сделает этого, не заручившись документами, покрывающими его фиктивный долг, такими же дутыми. Кто говорит! Это сплошь и рядом делается во всяких банках, обществах, ликвидациих и администрациях.

Уходя спать, Теркин сказал Усатину:

– Утро вечера мудренее, Арсений Кирилыч, позвольте мне все обсудить... Слишком уж внезапно все это налетело на меня.

На что тот сказал ему:

– Только завтра за чаем вы мне ответите: да или нет. Мне надо взять поезд в час дня, и в случае вашего согласия мы двинемся вместе в Москву.

До рассвета он провозился в постели, перебирал на всякие лады: может он или нет пойти на такое дело, и кончил тем, что решил уклониться, хотя бы задержка в отыскании двадцати тысяч испортила все его расчеты.

Это решение не успокоило его... Он начал добираться до глубины своих побуждений.

Из благородного ли оно источника вытекло?.. Честность ли это?.. Или просто сметка, боязнь влопаться в уголовное дело?..

Кажется, больше второе, чем первое. И такая оценка своей совести огорчила его чрезвычайно... Даже пот выступил у него на лбу.

«Стало быть, – пытал он себя, – будь я уверен, что все

останется шито-крыто, иди предприятие Усатина ни шатко ни валко, не поднимай никто тревоги в газетах, я бы, пожалуй, рискнул помочь ему в его делеческих комбинациях, предъявил бы, когда нужно, дутые документы и явился бы на общее собрание с чужими акциями?»

И на этот вопрос он не мог почему-то ответить себе:

«Нет, ни под каким видом!»

Арсения Кирилыча он любил, готов был оказать для него услугу... Так почему же он отказывается теперь, когда тому грозит прямая беда?..

На это он отвечал сначала, что Усатин «покачнулся», а с этим и его вера в него... Значит, он уж не прежний Арсений Кирилыч. Тот ни под каким видом не стал бы подстроивать такую «механику».

А кто его знает?.. Может, он и прежде способен был на то же самое, да только пыль в глаза пускал, всех проводил, в том числе и его, простофилю.

«Нужды нет, – оправдывал себя Теркин, – если он и проводил меня, я-то сам честно верил в него, считал себя куда рыхлее в вопросах совести, а теперь я вижу, что он на то идет, на что, быть может, я сам не пошел бы в таких же тисках».

«Почем ты знаешь?» – вдруг спросил он самого себя, и в груди у него сразу защемило... Уверенности у него не было, не мог он ручаться за себя. Да и кто может?.. Какой делец, любитель риска, идущий в гору, с пылкой головой, с обшир-

ными замыслами?

Как может он оградить самого себя, раз он в делах да еще без капитала, с плохим кредитом, от того, что не вылетит в трубу и не попадет в лапы прокурорского надзора?..

С каждым пятью минутами он все больше и больше запутывался, после того, как пришел к твердому выводу: на посулы Усатина не идти.

– Этакая ерунда! – произнес он вслух, скинул с себя одеяло и встал.

Дольше он не желал теревить себя, но в душе все-таки оставалось неясным: заговорила ли в нем честность или только жуткое чувство уголовной опасности, нежелание впутаться в темное дело, где можно очутиться и в дураках?

Он поднял штору, открыл окно и поглядел на даль, в сторону берега, где круто обрывался овраг. Все было залито розовым золотом восхода... С реки пахло мягкой прохладой.

Тотчас же, не умываясь, он присел к столу, достал из своего дорожного мешка бумаги и конверт и быстро написал письмо Арсению Кирилычу, где прямо говорил, что ему трудно будет отказываться и он просит не пенять на него за то, что уехал, не простившись, на пароходную пристань.

Одевшись, он сошел тихонько вниз и разбудил Верстакова, который спал в комнате возле передней.

Верстаков, когда узнал, что он хочет уехать через час и нужно ему запрячь лошадь, почему-то не удивился, а, выйдя на крыльцо, шепотом начал расспрашивать про «историю».

Всем своим видом и тоном нарядчик показывал Теркину, что боится за Арсения Кирилыча чрезвычайно, и сам стал проговариваться о разных «недохватках» и «прорехах» и по заводу, и по нефтяному делу.

– Батюшка, Василий Иванович, – просительно кончил он, придя за вещами Теркина в его комнату, – позвольте на вас надеяться. Признаться вам по совести, ежели дело крякнет – пропадет и мое жалованье за целых семь месяцев.

– Неужто не получал? – спросил удивленно Теркин.

– Ей-же-ей!.. Вам я довольно известен... На что гожусь и на что нет... Вы теперича сами хозяйствовать собираетесь... не оставьте вашими милостями!

Этого нарядчика, еще не старого, юркого, прошедшего хорошую школу, он знал, считал его не без плутоватости, но если бы ему он понадобился, отчего же и не взять?

«Чего тут? – поправил он себя. – Ты сначала кредит-то себе добудь да судохозяином сделайся!»

– Хорошо! – ответил он вслух и пристально поглядел на сухую жилистую фигуру и морщинистое лицо Верстакова, ловко и без шума снарядившего его в дорогу.

– Чаю не угодно? Значит, Арсения Кирилыча не будить?

– Ни под каким видом. Только письмо ему подать. А чаю я напьюсь на пароходе.

У крыльца стояла долгуша в одну лошадь. Верстаков вызвался и проводить его до станции, да Теркин отклонил это.

«Немножко как будто смахивает на бегство, – подумал он

про себя по пути к пристани. – И от чего я бегу? От уголовщины или от дела с дурным запахом?»

И на этот вопрос он не ответил.

## XXXI

– Позвольте вам сказать... Капитан не приказывает быть около руля.

С этими словами матрос обратился к Теркину, стоявшему около левого кожуха на пароходе «Сильвестр».

– Почему так? – спросил он и нахмурился. – Везде пассажиры первого класса имеют право быть наверху.

– Вон там не возбраняется.

Матрос указал на верхнюю палубу, обширную, без холщового навеса. Она составляла крышу американской рубки, с семейными каютами.

И он прибавил:

– Наше дело подневольное. Капитан гневаются.

Теркин не хотел поднимать истории. Он мог отправиться к капитану и сказать, кто он. Надо тогда выставляться, называть свою фамилию, а ему было это неудобно в ту минуту.

– Ну, ладно, – выговорил он и вернулся на верхнюю палубу, где посредине шел двойной ряд скамеек, белых, как и весь пароход.

Ему не хотелось выставляться. Он был не один. С ним ехала Серафима. Дня за три перед тем они сели на этот пароход

ночью. Она ушла от мужа, как только похоронили ее отца, оставила письмо, муж играл в клубе, – и взяла с собою один чемодан и сумку.

Третий день идут они кверху. Пароход «Сильвестр» – плохой ходок. Завтра утром должны быть в Нижнем. Завечерело, и ночь надвигалась хмурая, без звезд, но еще не стемнело совсем.

Во все эти дни Теркин не мог овладеть собою.

Вот и теперь, ходя по верхней палубе, он и возбужден, и подавлен. Ему жутко за Серафиму, не хочется ни подо что подводить ее. Нарочно он выбрал такой пароход: на нем все мелкие купцы, да простой народ, татары. Пассажиров первого класса почти нет. Занял он две каюты, одна против другой. Серафима хотела поместиться в одной, с двумя койками; он не согласился. Он просил ее днем показываться на палубе с опаской. Она находила такую осторожность «трусостью» и повторяла, что желает даже «скандала», – это только поскорее развяжет ее навсегда.

Уже на второй день поутру начало уходить от Теркина то блаженное состояние, когда в груди тает радостное чувство; он даже спросил себя раз:

«Неужли выше этого счастья и не будет?»

Однако женщина владела им как никогда. Это – связь, больше того, – сообщничество. «Мужняя жена» бежала с ним. В его жизнь клином вошло что-то такое, чего прежде не было. Он чуял, что Серафима хоть и не приберет его к

рукам, – она слишком сама уходила в страсть к нему, – но станет с каждым днем тянуть его в разные стороны. Нельзя даже предвидеть, куда именно. И непременно отразится на нем ее существо, взгляды, пристрастия, увлечения, растяжимость «бабьей совести», – он именно так выражался, – суетность во всех видах.

Досадно было ему думать об этом и расхолаживать себя «подлыми» вопросами, сравнениями.

Взгляд его упал на группу пассажиров, вправо от того места, где он ходил, и сейчас в голове его, точно по чьему приказу, выскочил вопрос:

«А нешто не то же самое всякая плотская страсть?»

Спинами к нему сидели на одной из скамеек, разделявших пополам палубу, женщина и двое мужчин, молодых парней, смахивающих на мелких приказчиков или лавочников.

На женщину он обратил внимание еще вчера, когда они пошли от Казани, и догадался, кто она, с кем и куда едет.

Ей было уже за тридцать. Сразу восточный наряд, – голову ее покрывал бархатный колпак с каким-то мешком, откинутым набок, – показывал, что она татарка. Шелковая короткая безрукавка ловко сидела на ней. Лицо подрумяненное, с насурмленными бровями, хитрое и худощавое, могло еще нравиться.

Теркин признал в ней «хозяйку», ездившую с ярмарки домой, в Казань, за новым «товаром».

И товар этот, в лице двух девушек, одной толстой, грубого



лица и стана, другой – почти ребенка, показывался изредка на носовой палубе. Они были одеты в шапки и длинные шелковые рубахи с оборками и множеством дешевых бус на шее.

Ему и вчера сделалось неприятно, что они с Серафимой попали на этот пароход. Их первые ночи проходили в таком соседстве. Надо терпеть до Нижнего. При хозяйке, не отказывавшейся от заигрывания с мужчинами, состоял хромой татарин, еще мальчишка, прислужник и скрипач, обычная подробность татарских притонов.

Эта досадная случайность грязнила их любовь.

До Теркина долетал смех обоих мужчин и отрывочные звуки голоса татарки, говорившей довольно чисто по-русски. Она держала себя с некоторым достоинством, не хохотала нахально, а только отшучивалась.

Лакей принес пива. Началось угощение, но без пьянства. Поднялся наверх по трапу и татарин скрипач и, ковыляя, подошел к группе.

«Еще этого не хватало! – с сердцем подумал Теркин. – Кабацкая музыка будет. И того хуже!»

Уж, конечно, на его «Батраке» ничего подобного не может случиться. Таких «хозяек» с девицами и музыкантами он формально запретит принимать капитану и кассирам на пристанях, хотя бы на других пароходах товарищества и делалось то же самое.

Не будь необходимости проехать до Нижнего тихонько, не называя себя, избегая всякого повода выставляться, он

бы и теперь заставил капитана «прибрать всю эту нечисть» внутрь, приказать татаркам сидеть в каютах, чт/о обыкновенно и делается на пароходах получше, с б/ольшим порядком.

«Нешто не все равно? – повторил он свой вопрос. – Ведь и тут то же влечение!»

Он не мог отделаться от этой мысли, ушел на самую корму, сел на якорь. Но и туда долетали гоготание мужчин, угощавших татарку, и звуки ее низкого, неприятного голоса. Некоторые слова своего промысла произносила она по-русски, с бессознательным цинизмом.

Голова Теркина заработала помимо его воли, и все новые едкие вопросы выскакивали в ней точно назло ему...

Может ли быть полное счастье, когда оно связано с утайкой и вот с такими случайностями? Наверно, здесь, на этом самом пароходе, если бы прислуга, матросы, эта «хозяйка» и ее кавалеры знали, что Серафима не жена его да еще убежала с ним, они бы стали называть ее одним из цинических слов, вылетевших сейчас из тонкого, слегка скошенного рта татарки.

И так все пойдет, пока Серафима не обвенчается с ним. А когда это будет? Она не заикнулась о браке ни до побега, ни после. Таинство для нее ничего не значит. Пока не стоит она и за уважение, за почет, помирится из любви к нему со всяким положением. Да, пока... а потом?

Он впервые убеждался в том, что для него обычай не потерял своей силы. Неловкость положения непременно будет

давить его. К почету, к уважению он чувствителен. За нее и за себя он еще немало страдает.

Муж Серафимы – теперь товарищ прокурора. По доброй воле он не пойдет на развод, не возьмет на себя вины, или надо припасти крупную сумму для «отступного».

Да и не чувствовал он себя в брачном настроении. Брак – не то. Брак – дело святое даже и для тех, у кого, как у него, нет крепких верований.

Чего он ждал и ждал со страхом – это вопроса: «положим, она тебя безумно любит, но разве ты застрахован от ее дальнейших увлечений?» И этот вопрос пришел вот сейчас, все под раздражающий кутеж двух мещан в коротких пиджаках и светлых картузах.

В таком настроении он не хотел спускаться к Серафиме вниз, пить чай, но ему было бы также неприятно, если бы она, соскучившись сидеть одна, пришла сюда на верхнюю палубу.

Одно только сладко щекотало: чувство полной победы, сознание, что такая умная, красивая, нарядная, речистая женщина бросила для него, мужичьего сына, своего мужа, каков бы он ни был, – барина, правоведа, на хорошей дороге. «А такие, с протекцией, забираются высоко», – думал он.

## XXXII

В каюте Серафимы стемнело. Она ждала Теркина к чаю и

немного вздремнула, прислонившись к двум подушкам. Одну из них предложил ей Теркин. У нее взята была с собою всего одна подушка. Когда она собралась на пароход, пришлось оставить остальные дома, вместе со множеством другого добра: мебели, белья столового и спального, зимнего платья, даже серебра, всяких ящичков и туалетных вещей, принадлежавших ей, а не Рудичу, купленных на ее деньги.

Но полчаса перед тем она проснулась и обвела своими прекрасными, с алмазным отблеском глазами голые и белесоватые стены каюты, сумку, лежавшую в углу, матрац и пикейное одеяло, добытые откуда-то Теркиным, и ей не стало жаль своей хорошей обстановки и всего брошенного добра.

Вытребовать все это от Севера Львовича не удастся, да она и не хочет. Пускай продаст и проиграет. Она ему написала, что он может распорядиться всем, как ему угодно.

Что ей в этом добре? Вася с ней! Она начала с ним новую жизнь.

– Вася, Вася! – повторяли бесслышно ее губы.

Ей неприятно только то, что он просит ее поменьше показываться на палубе. Конечно, это показывает, как он на нее смотрит! Но чего ей бояться и что терять? Если бы она не ставила выше всего его любви, жизни с ним, она, жена товарища прокурора, у всех на виду и в почете, не ушла бы так скандально.

Для нее нет ни скандала, ни неприятностей, ни страхов, ни сожалений, ничего!..

Мужчины, видно, из другого теста сделаны, хотя бы и такие пылкие и смелые, как ее Вася. У них слишком много всяких дел, всюду их тянет, не дает им окунуться с головой в страсть...

Она остановила себя. Ни в чем не желает она обвинять его. Он ее любит. Верит она и в то, что еще ни одна женщина его так не «захлестнула».

Это его выражение; оно ей нравится, как вообще всякие меткие народные слова. Они – одного поля ягода. В их жилах течет крестьянская кровь. Оба разночинцы. И это звание их не коробит. Если ему хотелось выйти в люди, добиться звания почетного гражданина, то только затем, чтобы оградить свое достоинство. «Разве можно у нас не быть чем-нибудь, говорила она себе, – если не хочешь рисковать, что тебя всякий становой оборвет, а то так и засадит в темную? Впрочем, – продолжала она рассуждать, ведь не дальше, как на прошлой неделе, она сама слышала, что на ярмарке телесно наказали такого же почетного гражданина. Возьмут, да и пропишут».

Все там, внутри, – она не могла определить, где именно: в груди или в мозгу, – говорило ей, что ее судьба бесповоротно связана с Васей. Если ей суждено «пойматься» на этой любви, то она все в нее уложит до последней капли своих сил, страсти, ума, жизненности.

Нет для нее с того часа, как она пошла на первое свидание с Васей, разницы между своим и его добром. И сладко ей это

полное отсутствие чувства собственности.

Половина приданого пошла так же на мужа; но там деньги ухлопаны в его игрецкое беспутство, потому что она сразу не умела себя поставить, глупа была, подчинялась ему из тщеславия. И скоро начала жалеть, делать ему сцены, и до и после первой встречи с Васей.

Какая сила деньги – она теперь хорошо знала. В ее теперешнем положении свой капитал, хотя бы и маленький, ох, как пригодится! Ведь она никаких прав не имеет на Васю. Он может ее выгнать, когда ему вздумается. У матери остались, правда, дом с мельницей, но она отдала их в аренду... не Бог знает какую. Тысячу рублей, вряд ли больше. Матери и самой надо прожить.

И все-таки она не может крепко держаться ни за какие деньги, ни за большие, ни за малые.

Сейчас отдаст она Васе все до последней копейки... Это для нее самой один из самых верных оселков того, что он для нее.

Ее тяготит та сумма, которую она везет с собою в дорожном мешке.

В лице Серафима ощутила внезапную теплоту, как только ее мысль перешла на эту «сумму».

Перед ней опять немая сцена. Вот мать ее вынимает из шкатулки, той самой шкатулки, что отец перед смертью велел подать к нему на кровать, большой пакет. На нем написано рукой отца с ошибками правописания: «Племяннице

моей, Калерии, все находящееся в сем конверте оставляю в полную собственность. Сумма сия, в билетах и сериях, а которая и в закладных листах, достается на ее долю, потому как приумножена на ее деньги. И прошу я племянницу мою Калерию: тетку не оставить и дочь мою Серафиму таким же манером, ежели, паче чаяния, они придут в денежное расстройство».

Все это крупными буквами было написано на свободной от печатей стороне пакета, в какие вкладываются деловые бумаги.

Они обе переглянулись; мать сломала печать и выговорила шепотом:

– Ну, Господи, благослови!

Помнится, даже перекрестилась своим раскольничьим крестом, с заносом руки вправо и влево на самый угол плеча.

Печать была крупная и не сразу подалась. В конверте оказалась подкладка из толстой марли.

Заперлись они в спальне матери. Сели обе на край постели, вытряхнули из пакета все ценные бумаги. Много их выпало разных форматов и цвета: розовый, зеленый, голубой, желтоватый колер ободков заиграл у нее в глазах, и тогда первая ее мысль была:

«У Васи будут деньги на пароход, если он и не раздобудет у того барина».

Купоны нигде почти не были отрезаны, кроме серий. Стали они считать, считала она, а мать только тяжело переводила

ла дух и повторяла изредка: «Ну, ну!» Перечли два раза. Она все записала на бумажку. Вышло, без купонов, тридцать одна тысяча триста рублей.

Мать отдала их ей все и сказала:

– Симочка!.. Мы перед Калерией немного провинимся, ежели из этих денег что удержим. Воровать мы у ней не будем. Зачем ей этакой капитал?.. Она все равно что Христова невеста... Пушай мы с тобой про то знаем. Когда нужно, окажем ей пособие.

В уме она к словам матери добавила:

«Двадцать тысяч Васе пригодятся. А десять мы придержим. На что Калерии больше тысячи рублей?.. На глупости какие?.. Стриженным раздавать?..»

От матери она хоронила свое решение – совсем убежать – до самой последней минуты.

Накануне она сказала ей, уезжая домой:

– Мамаша, ежели мне невоготу будет выносить мое постылое житье с Рудичем, вы не подымайте тревоги. Вам будет известно, где я. Здесь вы жить не хотите. Вот поедете к родным. Коли там вам придется по душе, наймете домик и перевезете свое добро. А разлетится к вам Рудич – вы сумеете его осадить.

В сумке увезла она капитал Калерии, но ничего еще не говорила об этом Васе. Он тоже молчит про то, с каким ответом уехал от Усатина. Что-то ей подсказывало, что ни с чем.

Сегодня она должна довести до того, чтобы он взял се-



бе двадцать тысяч. Будет он допытываться, чьи это именно деньги – она скажет; а нет – так и не надо говорить. Мог и отец оставить ей с матерью.

Она еще раз и долго поглядела на мешок, потом поднялась и взяла его со стула в углу, положила на столик, под окном, спустила штору, зажгла свечу и стала ждать его так нетерпеливо, что хотела даже подняться на палубу.

Ночь совсем уже понадвинулась над пароходом.

### XXXIII

Чай они пили в каюте Теркина, напротив через узкий коридорчик.

Был уже десятый час в исходе. На таком же узком откидном столике у окна чайный прибор расползся беспорядочно.

Серафима сидела на кровати, облокотясь о кожаную подушку, Теркин – на стуле, против окна. Штора была спущена. Горела одна свеча. В каюте было душно.

Разговор пошел не совсем так, как она желала. Теркин все еще не рассказал ей подробно, с чем он возвращался от Усатина. В Нижнем они решили сейчас же переехать на чугунок, с пристани, и с вечерним скорым поездом дальше, в Москву, где она и останется, а он съездит еще раз в Нижний.

– У меня, – заговорил он, закуривая папиросу, там, по Яузе, в сторону от дороги к Троице, намечено местечко. Ты московские-то урочища мало знаешь, Сима?

– Совсем не знаю. Даже в Сокольниках не была. Мы ездили в Москву зимой.

– Чудесное есть местечко... около Свиблова. На лодке можно спуститься по Яузе... Берега-то все в зелени. Мне один человек уступит свою дачку... Ему как раз надо ехать на несколько недель в Землю Войска Донского.

– Найдем!.. По мне, пожалуй, хоть и под Нижним. Есть прекрасные места, туда по Оке, за Соляными амбарами.

– Нет, этого не нужно, Сима!.. Особливо во время ярмарки. Никакого нет резону там оставаться.

Он немножко нахмурил брови, но тотчас же его большие глаза, со слезой, улыбнулись, и он протянул ей руку.

– Ты уж доверься мне, – выговорил он, оглядывая ее и потом подхватил ее руку, она хотела что-то достать на столике, – и несколько раз поцеловал.

От этой ласки она трепетно прильнула к нему головой и тихо, чуть слышно сказала:

– Вася! как же ты... там в Сормове покончил?.. Ведь дело-то не ждет... Пароход твой, чай, давно готов?

– Готов, – небрежно выговорил Теркин.

– Сядь сюда... поближе ко мне!

Она усадила его рядом с собою, сама пододвинулась к подушке и оставила обе руки в его руках.

– Вот так. А то я тебя совсем не чувствую...

Он негромко рассмеялся и взял ее за талию.

– Должно быть, тот барин... там на низу... не при деньгах?

Теркин помолчал.

– Зачем нам с тобой, Сима, о делах перебирать!.. Это еще успеется. Какая тебе в этом сладость?..

– Нет!.. Ты напрасно, Вася! – Она выпрямила стан и поглядела на него вбок. – Все, что ты и твои заботы, планы – это и моя жизнь. Больше у меня нет никакой, да и не будет!

Ее голос, низковатый и слегка вздрагивающий, проникал в него и грел. Так может звучать только беззаветная любовь.

И чего ему скрытничать?.. Ведь это – самолюбие мужчины, не что другое... Не хочется сказать прямо: «Да, я потерпел осечку и денег у меня нет, и вряд ли я их добуду в течение августа».

У него всегда второе душевное движение лучше первого. И в эту минуту и во скольких случаях жизни он так вот и ловил себя и поправлял.

– Что ж! – вымолвил он, потрянув головой. Лгать не хочу. Усатин теперь и сам так запутался, что дай Бог от уголовщины уйти.

– Как так?

Он рассказал ей просто, что видел и слышал от Дубенского и самую Усатина.

– Покачнулся, значит? – спросила она и опустила голову.

– Этого мало, Сима. Покачнулся не в одних делах... а в правилах своих. Это уж не прежний Усатин. Мне прямо посул сделал, чтобы я его прикрыл... дутым документом.

Он с большим оживлением рассказал и про «подход» Уса-

тина..

– Разумеется... ты отказался. Нешто ты пойдешь на это?..

Другие пойдут, а не ты.

Губы ее прикоснулись к его лбу.

И она подумала в ту же минуту:

«Не примет он наших денег. Будет доискиваться, не украли ли мы их у Калерии?»

Это ее смутило, но она не дала смущению овладеть собою и снова прижалась к нему.

– Вася!.. Беда не велика... Деньги найдутся.

Он поглядел на нее быстро и отвел глаза.

Ему бы следовало сейчас же спросить: «Откуда же ты их добудешь?» – но он ушел от такого вопроса. Отец Серафимы умер десять дней назад. Она третьего дня убежала от мужа. Про завещание отца, про наследство, про деньги Калерии он хорошо помнил разговор у памятника; она пока ничего ему еще не говорила, или, лучше, он сам как бы умышленно не заводил о них речи.

То была в нем деликатность. Он так объяснял это. Но теперь приходилось сделать два-три вопроса, от которых не следовало бы отвергиваться, если поступать по строгой честности.

– Видишь... – продолжала Серафима тихо, но тревожнее, чем бы нужно. – После отца осталось... больше, чем мы с мамашей думали... И никакого завещания он не оставил.

– Не оставил? – переспросил Теркин и вскинул на нее гла-

за.

– Ей-же-ей!.. Никакого! – почти вскрикнула она и схватила его за руку. – Никакого завещания... Он при мне, еще тогда, как ты уехал к Усатину, велел подать шкатулку и рассказал...

Она как будто запнулась.

«А деньги Калерии?» – подсказал себе Теркин.

– Однако... выражал свою волю... устно или... оставил для передачи... твоей двоюродной сестре?..

– Вася! – еще порывистее перебила его Серафима и положила горячую голову на его левое плечо. Зачем ей деньги?.. Я уж тебе говорила, какая она... И опять же отец и к ней обращается.

– Значит, есть завещание?

– Нет, я тебе покажу... просто на пакете написано... И прямо говорится, чтобы она поделилась и с матерью, и со мною.

– Однако... капитал оставлен прямо ей... Стало, ее деньги были в оборотах отца, и он, как честный человек, не пожелал брать греха на душу.

– Вася! Милый! Зачем так ставить дело?.. Маменька и я вольны распорядиться этими деньгами, как нам совесть наша скажет... Мы не ограбим Калерии. Да она первая, коли на то пошло, даст нам займы.

– Это дело десятое, Сима!

И он почувствовал, что подается.

– Но я так, из рук в руки от тебя, одной тысячи не прииму, пока ты к ней не обратишься... Да и то мне тяжело будет одолжаться из такого источника.

– Это почему?

На ресницах ее заблестели две крупные слезинки.

– Тебе стыдно... Ты гнушаешься. Источник нехорош!.. Спасибо!..

Она готова была разрыдаться.

– Сима! Разве я в таком смысле?.. Ты не понимаешь меня! Его сильные руки обнимали ее... Она под его ласками утихла сразу.

– Нет!.. Позволь!.. Позволь!

Серафима вскочила, взяла дорожный мешок, торопливо отперла ключиком и достала оттуда пакет.

Теркин следил за ней глазами. Он не мог подавить в себе вопроса: какая сумма лежала там?

– Вот, милый, смотри... и подпись отца.

– Я читать не стану... Уволь... Я верю тебе.

Ее руки, вздрагивая, начали вынимать из пакета ценные бумаги.

«Стало, они печать-то сломали?» – спросил мысленно Теркин, но не выговорил вопроса вслух.

Вся койка на том месте, где Серафима сейчас сидела, покрылась сериями, билетами и закладными листами.

– Тут с лишком на тридцать тысяч... Вася! Ты видишь... во всяком случае, останется еще, ежели и взять сейчас два-

дцать.

И, не давая ему говорить, она вынула две сумки из замши.  
– Милый!.. Сделай ты мне одолжение... Уложим все это в сумки, разделим поровну и наденем на грудь. Мало ли что может случиться в дороге... Этого-то ты мне не можешь отказать.

Она все так же порывисто накинула ему на шею одну из сумочек и стала складывать билеты.

Теркин глубоко вздохнул.

### XXXIV

Сильнейший толчок разбудил его и заставил привскочить. Он спал крепко. Прошло более двух часов, как он вернулся от Серафимы с замшевым мешком на груди.

В первые три-четыре секунды он не мог определить, что это такое за толчок. Рука его потянулась к столику за спичками.

В каюте было совсем темно.

Но сейчас же догадался он, что стряслась беда.

На палубе и по всему корпусу парохода возрастающий шум; где-то затрещало; крики и беготня; режущее шипение паров.

«Тонем!» – мгновенно решил он, встал на ноги, успел зачесть свечу и натянуть на себя пиджак. Он спал в жилете и одетый, прикрываясь пледом. Под подушкой лежал его бу-

мажник. Он сунул его в боковой карман и ощупал замшевую сумку.

«Здесь!» – радостно подумал он и, ничего не захватив с собою, рванулся из своей каюты.

Он уже переживал минуты настоящей опасности и знал, что не теряется. В голове его сейчас же становилось ясно и возбужденно, как от большого приема хины.

Надо спасти себя, Серафиму и деньги, а на все прочее добро махнуть рукой... С ним был чемодан и мешок... С нею также.

Он уже сообразил, – на это пошло пять секунд, что удар нанесен каким-нибудь встречным пароходом, что ударило в носовую часть и наверно проломило ее. Каюты пассажиров второго класса наверно уже затоплены. Может взорвать и паровик.

– Серафима Ефимовна! Серафима Ефимовна!..

Он стучал в дверку ее каюты и тряс ее за ручку.

– Ты, Вася? – спросонья откликнулась она.

– Тонем! Выбегайте! Коли раздеты, все равно!..

Он поглядел влево, где была дверь на палубы. Тот край парохода еще не затонул.

В их коридорчике пассажиров, кажется, не было.

На палубе гам возрастал. Пронеслись над ним слова в рупор: – Что ж вы, разбойники! Наутек? Спасай пассажиров! Черти! Слышите аль нет?..

Теркин соображал так же ясно и возбужденно, – а руками



продолжал трясти ручку двери, – что пароход, налетевший на них, уходит, пользуясь темнотой ночи, и так у него закипело от этой подлости, что он чуть не выскочил на палубу.

Серафима отомкнула задвижку. Она была полуодета, с расстегнутым лифом пеньюара.

– Что такое?

В полутемноте он не мог разглядеть ее лица, но голос не выдавал большого переполоха.

– Спасаться надо, Сима! Вот что...

– Тонем?

– Наскочил пароход!..

Она начала хватать платье, мешок.

– Ничего с собой не брать! – почти грозно крикнул он и потянул ее за руку. – Мешок на тебе... тот... замшевый?

– На мне, – ответила она перехваченным звуком, но он почувствовал, что она в обморок не упадет и будет его слушать.

– Как же, Вася, весь багаж погибнет?

Он даже ничего не ответил и потащил ее за собой.

В его голове уже всплыла совершенно отчетливо фигура спасательного обруча с названием парохода, который он вчера видел на корме. Всего один такой обруч и значился на «Сильвестре».

Первым движением Теркина было броситься к корме и схватить обруч... Он сделал это в темноте, держась другой рукой за руку Серафимы.

На верхней рубке капитан, спросонья выскочивший в од-

ном белье из своей каюты, его помощник, рулевые – метались, кричали в рупор, ругались с пассажирами.

Вода хлынула через пролом в каюты второго класса и затопила правую часть палубы, проникла и в машинный трюм.

В темноте народ бегал, ахал, бранился скверными словами; татарки ревели; какой-то купец вопил благим матом:

– Голубчики! Православные!.. Отпустите душу на покаяние! Тысячи не пожалею!

– Катер! – крикнул сиплым надорванным звуком капитан.

О нем в первые минуты все забыли, но Теркин вспомнил. Накануне он, ходя наверху, подумал: «Еще слава Тебе, Господи, что один катер имеется; на иных пароходах и того нет!»

И все, как ополоумевшее стадо, бросились к катеру, подтянутому у одного из бортов кормовой части.

Одними из первых подбежали к нему Теркин и Серафима.

Теркин впоследствии не мог бы рассказать, как этот катер был спущен на воду среди гвалта, давки и безурядицы; он помнил только то, что ему кого-то пришлось нечаянно столкнуть в воду, – кажется, это был татарчонок музыкант. В руках его очутился топор, которым он отрубил канат, и, обхватив Серафиму за талию, он хотел протискаться к рулю, чтоб править самому.

Пароход, проломивший им нос, утекал предательски. Капитан, вместо того, чтобы воспользоваться минутой и на всех парах подойти как можно ближе к плоскому берегу, продолжал ругать в рупор утекавший пароход, который на-

конец остановился, но саженьях в тридцати.

Вся правая половина была уже затоплена. И катер не мог отчалить сразу: запутался за какой-то канат. В него все еще прыгал народ, обезумевший от страха, но многие падали мимо, в воду.

Теркин не помнил и того, когда именно, сейчас же или минуты через три-четыре, катер накренило и половина спасавшихся попала в воду.

С этой минуты все у него осталось в памяти до мелочей.

– Вася!.. Я здесь!.. – раздалось около него.

Его руки точно каким-то чудом охватили стан Серафимы. Она вся вздрагивала, держась за его плечо, приподнялась в воде и крикнула:

– Плыдем!..

Спасательный снаряд был еще на нем. Оба они умели плавать; он даже славился еще в гимназии тем, что мог доплыть без усталости до середины Волги.

– На тебе мешок? – спросил он, овладев собой окончательно.

– На мне!..

Платье мешало им, прилипло к телу, тянуло на дно, но их подхватила обоих разом могучая страсть к жизни; они оба почуяли в себе такую же могучую молодость и смелость.

Позади раздавались крики утопавших, Теркин их не слышал. Ни на одно мгновение не заговорило в нем желание броситься к тем, кто погибал, кто не умел плавать. Он спасал

Серафиму, себя и оба замшевых мешка. Подруга его плыла рядом; он снял с себя обруч и накинул на нее. В обоих чувство жизни было слишком цепко. Они должны были спастись и через три минуты находились уже вне опасности. До берега оставалось десяток-другой сажений.

– Вася!.. Милый!.. – повторяла Серафима, набираясь дыхания.

Ее руки и ноги усиленно работали, голова поднималась над уровнем воды, и распутившиеся волосы покрывали ей почти все лицо. Они были уже в нескольких аршинах от берега. Их ноги начали задевать за песок.

Можно было идти вброд.

– Милый!.. Ты со мной!.. И деньги не пропали... Твои теперь деньги!.. Слышишь, твои!..

Она глубоко вздохнула, и враз они стали на ноги. Но вода была им по пояс.

Сзади слышались крики и удары весел о воду.

## XXXV

Густое облако разорвалось вдоль, и через узкую скважину выглянул месяц.

Впереди, невдалеке от низменного берега, чуть-чуть отделялись от сумрачного беззвездного неба стены обгорелого собора с провалившимся куполом. Ниже шли остатки монастырской ограды. Теркин и Серафима, все мокрые и еще

тяжело дышащие, шли на красный огонек костра. Там они обсушатся.

– Робинзоны? А? Сима? – спросил на ходу Теркин.

Серафима рассмеялась. Все это было так ново. Могли погибнуть и не погибли. Деньги целы и невредимы. И костер точно для них кто-то разложил. Давно ей не было так весело. Ни одной минуты не пожалела она о всех своих туалетах, белье, вещах. Теперь это все затоплено. Пускай! Дело наживное.

– Да, Вася!.. Ты – Робинзон! Я – Пятница! – выговорила она и вздрогнула.

– Что, лихорадит? – спросил он заботливо.

– Побежим!

Они пустились бежать. Спасательный обруч она бросила, как только вышла на берег. И Теркина начинала пробирать дрожь. Платье прилипло еще плотнее, чем в воде. В боковом кармане визитки он чувствовал толстый бумажник, в нем лежали взятые на дорогу деньги и нужные документы. И к груди, производя ощущение чесотки, прилипла замшевая большая сумка с половиной всей суммы, спасенной ими обоими.

Пробежались они с четверть версты.

Вот они и у костра. Его пламя вблизи лизало яркими языками рогожные стенки шалаша. Около костра, спинами, сидело двое.

– Бог помочь, ребята! – крикнул Теркин.

Сидевшие у костра обернулись.

Один – старичок, крошечного роста, сморщенный, беззубый, в низкой шляпенке, отозвался жидким голоском:

– Откуда Бог несет?

Другой был паренек лет семнадцати, в рваном полушубке, но в сапогах. Его круглое белое лицо, еще безбородое, краснело от пламени костра. Он что-то палочкой переворачивал по краям костра, где уже лежала зола.

– Присесть можно? – спросил Теркин. – А, православные?

– Нешт/о!.. Садись...

– Вы, никак, рыбаки? – спросил он старика.

– Займаемся по малости.

Теркин посадил Серафиму. Свою визитку он сбросил и повесил ее на угол шалаша.

Оба они, все еще веселые и возбужденные, начали греться. От них пошел пар. Рыбаки оглядывали их: старик – исподлобья, парень – во все глаза; он даже перестал переворачивать то, что лежало под золой.

– Небось картошку печете? – спросил Теркин, угадав то, что делает парень.

– Нешто, – прошамкал старик. – А вы откуда будете?

– Потонули, дедушка. С парохода! – звонко ответила Серафима и рассмеялась.

Она сидела боком к костру, вытянув ноги. Туфли удержались на ее ногах; она их сняла и поставила на золу.

– Ишь ты! – вымолвил старик.

Теркин начал рассказывать, как на них налетел пароход и

они пошли ко дну, как спаслись вплавь.

– Пресвятая Богородица!

Старик перекрестился.

– Значит, как есть?.. Все потравили, ваше степенство? – спросил паренек.

Теркин понял, что тот принимал его за купца.

– Как есть, – повторил он. – А картошка-то, малый, у тебя, поди, готова? Вот барыню-то угостил бы!..

– С нашим удовольствием, – добродушно ответил парень.

Через полчаса Серафима спала в шалаше, под визиткой Теркина, высохшей у костра. Он сам сидел, прикрывшись рогожей, и поддерживал огонь.

Мужиков не было видно. Парня он услап в город Макарьев. Развалины его монастыря и ярмарочные здания виднелись отсюда. Город лежит позади, и его не видно было. Теркин узнал от рыбаков, что в городе «настоящей гостиницы» нет, а только постоялые двory. Даже свежей булки трудно достать иначе, как в базарные дни, когда их привозят из-за Волги, из Лыскова, где живет и «все начальство». Но паренек оказался шустрый. Теркин дал ему мелочи, – карманные его деньги, точно чудом, не выпали из панталон, и наказал: найти ямщика с тарантасиком или с тележкой почище, и приехать сюда, и захватить, коли не добудет попоны или ковра, хоть две рогожки, прикрыть барыню. Парень, – его звали «Митюнька», обещал все это доставить «в наилучшем виде» и к рассвету.

Старичок пошел к лодке улаживать снасть. И ему Теркин сунул в руку двугривенный.

С теплом большая истома стала разбирать его у костра. Но он боролся с дремотой. Заснуть на берегу в глухом месте было рискованно. Кто знает, тот же беззубый мужичок мог вернуться и уложить их обоих топором.

Да и паренек, кто его знает, мог привести с собою из города пару молодцов, тоже не с пустыми руками.

Курить было нечего. Папиросница осталась в каюте. На душе у него младенчески тихо и ясно. Он даже не особенно рад своему спасению. Ему теперь кажется, что он должен был во всяком случае спастись. Такой пловец, как он!.. Удар пришелся по носовой части, каюта не была сразу затоплена.

Да, но Серафима?.. Его находчивости обязана она тем, что лежит теперь в шалаше и спит детским сном.

Спокойно, самоуверенно мысли о превосходстве мужчины проникали в его голову, Где же женщине против мужчины!.. Ехала бы она одна? И деньги потеряла бы. Наверно!.. Без платья, без копейки, без паспорта... Должна была бы вернуться к мужу, если б осталась в живых.

«Без паспорта, – мысленно повторил он. – А по какому виду будет она теперь проживать? Ну, на даче можно неделю, другую протянуть. Дать синенькую местному уряднику – и оставят тебя в покое. Но потом?»

Ему неприятно, что такие житейские вопросы («каверзные», – выговорил он про себя) забрались в него. Он не мог



отдаться одной радости от сознания, что она жива, спасена им, лежит вон в шалаше, что ее судьба связана с его судьбой, и никому не принадлежит она, кроме него.

Дремота опять подкралась к нему, и «каверзные» вопросы уходили...

Ему представились, всплыли внезапно, как всегда в полубабытве, обе «рожи» мужиков: круглые щеки «Митюньки», с козырьком фуражки, переломленным посередине лба, и морщинистое маленькое лицо старика, в низкой шляпенке, с курчавыми седеющими волосами, в верблюжьем зипуне.

Они – мужики настоящие, заволжские. И ему приятно, что к ним он не почувствовал жуткого недоверия, не съезжилось его сердце, как всегда бывает с ним от прикосновения простого народа, особенно на Волге. Эти же рыбаки дали им с Серафимой обогреться, накормили картошкой. Митюнька побежал в город, добудет лошадей.

«Все мужики!» – тихо, улыбаясь, выговорил Теркин, щуря глаза на огонь.

И ему вспомнилась сказка Салтыкова о двух генералах, попавших на необитаемый остров.

«Ну, нет, я бы нашелся, – уверенно подумал он. Во мне не барская, а крестьянская кровь небось!.. Избу срубим, коль на то пошло!»

Глаза его начали слипаться. Дрова потрескивали.

## XXXVI

Извозчичья пролетка остановилась, не доезжая Воскресенских ворот, у правого тротуара, идущего вдоль Исторического музея, в Москве.

Теркин выскочил первый и высадил Серафиму.

Только вчера «обмундировались» они, как шутя отзывался Теркин. Он купил почти все готовое на Тверской и в пассажах. Серафима обшивалась дольше, но и на нее пошло всего три дня; два платья были уже доставлены от портнихи, остальное она купила в магазинах. Ни ей, ни ему не хотелось транжирить, но все-таки у них вышло больше шестисот рублей.

– Вот эта? – спросила Серафима и указала свободной рукой на часовню.

День стоял очень жаркий, небывалый в половине августа. Свету было столько на площадке перед Иверской, что пучки восковых свеч внутри часовни еле мерцали из темноты.

– Эта самая, – ответил Теркин.

Серафима никогда не бывала тут или если и проезжала мимо, то не останавливалась. Она всего раз и была в Москве, и то зимой.

Тогда она в «это» не входила. Родители не наказывали ей ставить свечу, и мать, и отец даже в единоверии «церковным» святыням не усердствовали.

И Теркин сегодня утром, – они стояли на Мясницкой в номерах, – немало удивился, когда Серафима сказала ему:  
– Прежде всего заедем к Иверской.

Правда, они собрались осмотреть Кремль, Грановитую палату и дворец, пройти назад Александровским садом и завтракать у Тестова, но об Иверской, для того, чтобы прикладываться к иконе, речи не было.

В Теркине в последние годы совсем заглохли призывы верующего. Больше пяти лет он не бывал у исповеди. Его чувство отворачивалось от всего церковного. Духовенства он не любил и не скрывал этого; терпеть не мог встретить рясу и поповскую шапку или шляпу с широкими полями.

Когда, в первый вечер их знакомства, Серафима дала ему понять, что она ни к православию, ни к расколу себя не причисляет, это его не покорило. Напротив!

Сегодня приглашение поклониться Иверской удивило его, но не раздражило.

«Что ж, – подумал он тотчас же, – дело женское! Столько передряг пережила, бедная!.. От мужа ушла, чуть не погибла на пароходе, могла остаться без гроша... Все добро затонуло. Вот старые-то дрожжи и забродили... Все-таки в благочестивом доме воспитана»...

Ему даже это как будто понравилось под конец. Натура Серафимы выяснялась перед ним: вся из порыва, когда говорила ее страсть, но в остальном скорее рассудочная, без твердых правил, без идеала. В любимой женщине он хотел

бы все это развить. На какой же почве это установить? На хороших книжках? На мышлении? Он и сам не чувствует в себе такого грунта. Не было у него довольно досуга, чтобы путем чтения или бесед с «умственным» народом выработать себе кодекс взглядов или верований.

Так он ведь мужчина; у него всегда будет какой ни на есть «царь в голове», а женщина, почти каждая, вся из одних порывов и уколов страсти.

На паперти часовни в два ряда выстроились монахини. Богомольцы всходили на площадку и тут же клали земные поклоны. Серафима никогда еще в жизнь свою не подходила к такому месту, известному на всю Россию. Она не любила прикладываться когда мать брала ее в единоверческую церковь, и вряд ли сама поставила хоть одну свечу.

Ему не хотелось допытываться, почему она захотела быть у Иверской. Ведь не из одного же любопытства!..

На паперти она не делала поклонов и даже не перекрестилась, но проникла в часовню и там опустилась на колени.

Теркин оставался у паперти.

Молча поднялись они к Никольским воротам под руку.

В Кремле пробыли они больше часа, осмотрели соборы, походили и по Грановитой палате; во дворец их не пустили.

В двенадцатом часу возвращались они пешком по главной аллее Кремлевского сада. Им обоим хотелось есть. Кремль оставил в них ощущение чего-то крупного, такого, что не нуждается ни в похвалах, ни в обсуждении. Вся внутрен-

ность Успенского собора стояла еще у Серафимы перед глазами: громадный, уходящий вверх иконостас, колонны, тусклый блеск позолоты, куда ни кинешь взгляд, что-то «индийское», определила она, когда вышла на площадь к Красному крыльцу. Грановитая палата ее немного утомила и не прибавила ничего нового к тому, с чем она выходила из Успенского собора.

– Так мы «под машину»? – спросил ее Теркин.

Они уже миновали темный проход под мостом, ведущий от Троицких восточных ворот к башне «Кутафье», направляясь к Тестову.

Он прижимал локтем ее руку и заглядывал ей под шляпу, такую же темную, с большими полями, как и та, что погибла со всем остальным добром на пароходе «Сильвестр».

У него на душе осталось от Кремля усиленное чувство того, что он «русак». Оно всегда сидело у него в глубине, а тут всплыло так же сильно, как и от картин Поволжья. Никогда не жилось ему так смело, как в это утро. Под рукой его билось сердце женщины, отдавшей ему красоту, молодость, честь, всю будущность. И не смущало его то, что он среди бела дня идет об руку с беглой мужней женой. Кто бы ни встретился с ними, он не побоится ни за себя, ни за беглянку.

Вот сейчас будут они сидеть в трактире, в общей зале, слушать «машину», есть расстегаи на миру: смотри, кто хочет.

– Под машину! – задорно повторила Серафима и остановила его перед большими воротами. – Погляди, Вася, какая

эта Москва характерная! Прелесть!

И так им обоим сделалось молодо, что они готовы были пуститься назад по липовой аллее в горелки.

Снизу от экзерциргауза грузно скакал с форејтером зеленый вагон конки, грохотал и звенел, так же задорно и ухарски, как и они оба чувствовали себя в ту минуту.

– А позавтракаем, – подхватил Теркин, – сейчас сядем на конку и в Сокольники. Видишь, вон станция.

Завтрак их «под машиной» затянулся до третьего часа. Было все так же жарко, когда они, пройдя подъезд, остановились у станции поджидать вагона к Сухаревке и дальше до Сокольников.

На Теркине был светлый пиджак нараспашку. В правом боковом кармане лежал бумажник с несколькими нужными письмами, одной распиской, книжкой паровозных рейсов его «Товарищества» и рублей до четырехсот деньгами.

Еще у Тестова Серафима заметила ему:

– Вася, смотри, как у тебя бумажник отдулся.

– Ничего! – небрежно заметил он. – Я еще не помню, чтобы меня обокрали. А я ли не ездal!..

Подполз вагон снизу. Дожидалось несколько человек.

Только что Теркин вошел в вагон и Серафима за ним следом, как их спереди и сзади стеснили в узком проходе вагона: спереди напирал приземистый мужчина в чуйке и картузе, вроде лавочника; сзади оттеснили Серафиму двое молодых парней, смахивающих на рабочих.

– Что вы толкаетесь!.. С ума сошли! – крикнул Теркин.

Чуйка пролезла мимо него на заднюю площадку.

– Садись! Место есть! – сказал Теркин Серафиме и почему-то инстинктивно схватился за боковой карман. Бумажник его выхватили.

– Держи!.. Жулики! Бумажник! – крикнул он тотчас же и бросился из вагона.

Вышла суматоха. Многие видели, как два парня побежали на Тверскую. Чуйка исчезла, должно быть, юркнула в ворота дома Московского трактира.

– Городовой! – крикнул Теркин, не растерявшись.

Городового близко не оказалось.

## XXXVII

– Вот не угодно ли просмотреть фотографии известных карманщиков?

Офицер положил перед Теркиным на подоконник большой, уже потрепанный альбом и лениво пошел в другую комнату.

Теркин присел на стул и откинул крышку альбома. Позади его у стола, где сидел другой полицейский офицер, шло разбирательство. Хриплый мужской голос раздавался попережку с женским, молодым, жирным и высоким.

– Ах, как не стыдно так говорить! – жалобно протянул женский голос.

– А то как же? – зло перебил мужской. – Известно, платье ты заложила... Небось где оно нашлось? В портерной?

– Иван Дорофеич! Бога вы не боитесь!.. У вас девушки и без того точно колодницы какие! Господи!

Раздалось всхлипывание.

– Мели еще! Паскуда!

– Пойдите, любезнейший! – проговорил голос полицейского.

Не оглядываясь, Теркин понял, кто тут тягался перед «поручиком», – содержатель «дешевого» дома с своей «девушкой», откуда-нибудь из Пильникова или от Яузского моста. Он слышал про эти места, но сам никогда там не бывал.

Разбирательство мешало ему уйти в рассматривание фотографий московских карманников. Да он и не надеялся найти портрет жулика, что выхватил у него бумажник два дня назад.

Лицо и телесный склад того, видом лавочника, который толкал его спереди, достаточно врезались ему в память: рябинки по щекам, борода с проседью, круглые ноздри; кажется, в одном ухе сережка. Но он ли выхватил у него бумажник или один из тех парней, что напирали сзади? А тех он не мог бы распознать, не кривя душой; помнит только лиловую рубаху навывпуск одного из них, и только.

Да и вообще он ни крошечки не верит в успех дознания и поисков. Он даже не очень охотно давал показание в участке, где продиктовал текст заявления, появившегося на другой



день в газетах. А сегодня, когда он подал новое письменное заявление начальнику сыскной полиции, вон в той большой комнате, ему хотелось сказать:

«Извините за беспокойство. Ведь из этого ничего не выйдет».

Начальник задал ему два-три вопроса строгим голосом, с унылым взглядом человека, которому такая «пустяковина», как кража из пиджака четырехсот рублей, нисколько не занимательна.

И потом, когда он говорил с офицером, пригласившим его ознакомиться с альбомом известных карманников и других воров, ему еще яснее стало, что «ничего из этого не выйдет».

– У вас и документы были в бумажнике? – спросил его офицер. – Паспорт?

– Паспорта не было; но два-три письма деловых... И расписка одна...

– Денежная?

– Да, денежная.

Офицер усмехнулся и посмотрел вбок.

– Видите... У здешних жуликов бывает иногда такая повадка. Деньги они прикарманят, а ежели бумаги, паспорта и другое что – в почтовый ящик опустят, который поближе.

– Честность, значит, есть... своего рода джентльменство.

– Как видите.

– А на этот раз они не рассудили так поступить?

– Почтовое ведомство нам препроводит... коли что най-

дется в ящиках.

Все это говорилось тоном совершенного равнодушия. Теркин глядел на офицера и думал, какая ему, должно быть, тоска на этой постылой службе... Воспитывался он, наверно, в юнкерском училище, вышел в драгуны, по службе не повезло, куда же идти?.. В полицию. Смыслил он в лошадях, в хорошей езде, книжки почитывал, барышень умел смешить, ну, в картишки... А тут надо интересоваться нравами и повадками «господ жуликов», принимать к сердцу всякую обывательскую неприятность, постоянно работать головой, изощрять свою память и наблюдательность. Тосчища!

Альбом, развернутый перед Теркиным на подоконнике, держался не в особенном порядке. Нижние карточки плохо сидели в своих отверстиях, не шли сплошными рядами, а с промежутками. Но все-таки было много всякого народа: мужчин, женщин, скверно и франтовато одетых, бородатых и совсем безбородых, с скопческими лицами, смуглых и белобрысых. И фамилии показывали, что тут стеклись воры и карманники с разных русских окраин: мелькали польские, немецкие, еврейские, хохлацкие фамилии.

На одной фамилии Теркин остановился.

– Кашица, – прочел он вслух.

Такой фамилии он еще никогда не слышал.

Карманник Кашица снят был в шапке и в чуйке с мерлушковым воротником. И, взглядываясь в него, Теркин подумал: «А ведь тот был в этом роде».

Сходство с жуликом, толкавшим ею в вагон конки, показалось ему довольно близким: как будто есть и рябины, и бородка такого же рисунка; в глазах что-то, оставившее след в памяти.

Больше минуты вглядывался он в лицо Кашицы... И похож и не похож!..

– Ну, что?.. Не признали никого? – раздался сзади молодой басистый голос поручика.

Теркин обернулся.

– С одним как будто есть сходство. И фамилия у него такая курьезная, – Кашица.

– Очень может быть... коли он на свободе... Это узнать не трудно.

Теркин встал.

– Нет, поручик, положительно утверждать не могу... Если бы дошло до судебного разбирательства не присягну...

– Уж это ваше дело!..

Теркину пришла мысль о сыщике.

– Всего бы лучше... – сказал он вполголоса, – на сыщика руку наложить. Хороший процент ему...

– Без сыщика и не обойдется... – уклончиво ответил офицер и спросил, поворачиваясь на каблуках: – Адрес ваш изволили оставить?

– Как же!

Он дал адрес меблированных комнат, откуда сегодня же они должны были переехать за город.

Потянуло поскорее уйти из душных низких комнат сыскного отделения, разом «поставить крест» на своей потере, хотя, ввиду близких больших платежей, деньги на карманные расходы были бы весьма и весьма не лишние.

Воздух этих комнат, пропитанный запахом канцелярской пыли, сургуча и сапожной кожи, хватал его за горло. Он много видал видов, но редко попадал в такие места, как полицейские участки, съезжие дома, «кутузки». В настоящей тюрьме или остроге и совсем не бывал, даже в качестве посетителя.

Гадливое чувство поднималось в нем... Все тут пахло развратом, грязью самой мелкой плутоватости и кровью зверских убийств. Лица сновавших полицейских, унтеров, каких-то подозрительных штатских в темной и большой передней наполнили его брезгливой тревогой и вместе острым сознанием того, как он в душе своей и по всему характеру жизни и дел далек от этого трущобного царства.

На крыльце садика, куда выходил фасад здания, Теркин, только что надевший шляпу в сенях, опять снял ее, как делают невольны, выходя из духоты на свежий воздух.

Но на дворе было едва ли не жарче, чем в комнатах сыскного отделения.

Он остановился и поглядел на переулок сквозь решетку забора... Там стояли два извозчика... Из-за соседних домов искрился крест какой-то близкой церкви.

Вдруг его что-то пронзило. Ощущение было ему давно известно. Несколько лет, когда он просыпался, первой его

мыслью являлись внутренние слова: «тебя секли в волостном»... И краска вспыхивала на щеках... Иногда это заменялось картиной сумасшедшего дома и уколом совести в форме слов: «ты носил личину».

И тут совершенно так же, с внезапным приливом к щекам, он услышал внутри себя вопрос:

«А ты чем лучше карманника Кашицы?»

Вопрос переплелся тотчас же с вереницей устыжающих мыслей: о деньгах Калерии, о платеже за пароход.

Ведь он уже пошел на сообщничество с Серафимой. На груди его замшевая сумка и в ней деньги, нужные для того, чтобы спустить на воду пароход «Батрак».

## XXXVIII

Пастух заиграл на длинной берестовой трубе.

Под этот звук проснулся Теркин...

Он лежал в мезонине дачи, переделанной из крестьянской избы. Сзади, из балконной двери на галерейку, в отверстие внутренней подвижной ставни проходил луч зари. Справа окно было только завешено коленкоровой шторой. Свет уже наполнял низкую и довольно просторную комнату, где, кроме железной кровати, стояли умывальник и шкаф для платья да два стула.

Особая деревенская тишина обволакивала его. Звук трубы делал ее еще ощутительнее. Пастух играл совсем так, как

бывало в селе Кладенце, когда надо было выгонять корову.

Он лежал с полужакрытыми глазами и прислушивался. Давно ему не приводилось просыпаться так рано на деревенском просторе. Думать, соображать, отдаваться заботам дня, заглядывать в будущее – не хотелось.

Внизу почивает Сима. Там спальня тесная, в одно окно и с такой же узкой железной кроватью. Он мог бы ночевать внизу. Но на этом он не без умысла не настаивал, что, кажется, ей не очень понравилось.

Но он находил, что так лучше. Прислуга может принимать их за мужа и жену, но все-таки пристойнее не давать повода к лишним разговорам.

Да и не это одно. Зачем сразу повторять супружескую жизнь... «перины, подушки», – как он выражался в этих случаях.

Так он думал вчера, когда они улаживали свое дачное житье, а теперь его полудремота переходила от ощущений утра к чувству тихого довольства и ласки, обращенной на подругу.

Перестал играть пастух. Протянулось несколько минут. Из-за реки долетело бляенье. Где-то калитка скрипнула на ржавых петлях. Дергач задергал в низине. И еле-еле схватывало ухо звуковое трепетание жаворонка.

Рубиновый отсвет пропал. Мягкий сноп света залил комнату.

– Нечего валяться! – выговорил вслух Теркин и сбросил

с себя пикейное одеяло.

Все внизу спало глубоким сном: Серафима, горничная, кухарка, даже кухонный мужик, взятый из местных крестьян.

Теркин наскоро умылся и, накинув на себя пальто прямо поверх рубашки и в туфлях, спустился на цыпочках по узкой лесенке, которая вела на заднее крыльцо.

Емко втянул он в себя воздух на холодке зардевшегося утра.

Особенной свежестью росы еще отзывался этот воздух. Ночи стали уже холодные, и вниз по лощине, куда Теркин повернул по дороге в овражек, белая пелена покрывала озимые всходы. И по деревьям овражка ползли разрывчатые куски жидкого тумана.

Как ему жаль было ружья и собаки! Они остались там, на Волге, в посаде, где у него постоянная квартира, поблизости парходной верфи. Там же и все остальное добро. На «Сильвестре» погибла часть платья, туалетные вещи, разные бумаги. Но все-таки у него было такое чувство, точно он начинает жить сизнова, по выходе из школы, с самым легким багажом без кола, без двора.

Да «кола и двора» у него и до сих пор как следует нет. Из крестьянского общества он давно уволился. Домишко Ивана Прокофьяча после смерти старухи отдал в аренду, потом продал.

А захотелось ему в эту минуту, когда он спускался к

овражку, владеть землей, да не здесь, а на Волге, с усадьбой на горе, с парком, чтобы в лесу была не одна сотня десятин, и рыбная ловля, и пчельник, и заливные луга, свой конский завод.

И вспомнилось ему, как он еще мальчуганом гостил с отцом в промысловом селе «Заводное», вверх по Волге в соседней губернии, на луговом берегу, и как он забирался на колокольню одной из двух церквей и по целым часам глядел на барскую усадьбу с парком, который спускался вниз к самой реке. Все внутри его пылало жаждой обладать таким угодьем, сделаться богатеем и купить у господ всю их «дачу» вместе с дремучими лесами. Он не знал этих господ, а не любил их. И тогда в доме уже никто не жил. Цветник и парк стояли в забросе. У него сердце болело за все это приволье.

И вот теперь перед ним открывается даль владельческого обладания. Через два-три дня он поедет в Нижний вносить за «Батрака» двадцать тысяч и спускать пароход на воду, делать свой первый рейс вверх по Волге. Он проедет мимо того села Кладенца, где его секли, и мимо той усадьбы, где строевые леса стоят в глубине.

Глаза Теркина мечтательно глядели вдоль лощины, откуда белая пелена уже исчезла под теплом утренних лучей. Он стал припоминать свои детские ощущения, когда он лазил на колокольню села Заводное. Тогда такая усадьба казалась ему чем-то сказочным, вроде тех сокровищ и чертогов, что вставали перед ним, еще перед поступлением в гимназию,



над разрозненной частью «Тысячи и одной ночи».

А теперь это было если неосуществимо сегодня-завтра, то возможно, вероятно, если «Батрак» принесет с собой удачу. Пароход, участие в «Товариществе» – это только ступеньки, средство расширить «район». К лесу тянет его... И тянет не так, как гнусного скупщика, который рубит и корчует, хищнически истребляет вековые кряжи соснового бора, полного чудесной русской мощи и поэзии.

Нет! Не о том мечтает он, Василий Теркин, а как раз об охране родных богатств. Если бы судьбе угодно было, чтобы такие уголья, как лесная дача при усадьбе «Заводное», попали в его руки, – он положил бы на нее всю душу, завел бы рациональное хозяйство с правильными порубками. Может быть, и совсем бы не рубил десятки лет и сделал бы из этого дремучего бора «заказник». Будут у него дети, и детям бы завещал его, как неприкосновенную, неотчуждаемую собственность, как майорат, – так у бар водится, которые ограждают свой род от обеднения.

Быстрой легкой походкой поднялся он из овражка, где черный лесок расползся по подъемам, и вышел проселком на самый верх волока.

Оттуда виднелись красная крыша и резко штукатуренные стены какой-то фабрики. Он уже слышал звон фабричного колокола, когда сходил от себя сверху.

Вот чего он не будет заводить. Хоть бы у него денег куры не клевали. Фабричное дело! Мастеровщина! Заводская го-

лытьба, пьяная, ярыжная, франтоватая, развратная, оторванная от сохи и топора.

Он не обмазывает медом «мужичка»; он, еще две недели назад, в разговоре с Борисом Петровичем, доказал, что крестьянству надо сначала копейку сколотить, а потом уже о спасении души думать. Но разве мужик скопит ее фабричной лямкой? Три человека на сотню выбьются, да и то самые плутоватые; остальные, как он выразился тогда, – «осатанеют».

Это самое слово употребил он мысленно, и сейчас перед ним всплыло нервное и доброе лицо любимого писателя; он вспомнил и то, что ему тогда хотелось поискреннее исповедаться Борису Петровичу.

А теперь пошел бы он по доброй воле на такую исповедь, вот по дороге в тот лес, на полном досуге?

Он мотнул на особый лад головой и произнес вслух:  
– Мало ли что!

«Батрак» ждет там, на Волге, в Сормове. Сегодня же он выдаст вексель Серафиме. Это ее дело – ведаться с той, со святошей, с Калерией.

Самый этот звук «Калерия» был для него неприятен.

То ли дело Серафима! Красавица, свежа, как распустившийся розан, умница, смелая и преданная всем существом своим и без всяких глупых причуд. Она верит ему. Когда ей понадобится капитал, она знает, что он добудет его.

## XXXIX

Извивами между кудрявых веселых берегов протекает Яуза. Лодка лениво и плавно повернула за выдавшийся мысок, где у самого обрыва разросся клен, и корни, наполовину обнаженные, гляделись в чуть заметное вздрагиванье проточной воды.

На руле сидела Серафима, на веслах – Теркин. Они ездили кататься вниз по Яузе, к парку, куда владелец пускает публику и где устроена театральная зала.

Вечер медлил надвигаться. Розовато-желтоватый край неба высился над кустами и деревьями прибрежья. Тепло еще не уходило. Стояли двадцатые числа августа.

Работая веслами, без шляпы, в том самом пиджаке, откуда у него выхватили в Москве бумажник, Теркин любовался Серафимой, сидевшей сбоку, с тонкой веревкой, накинутой вокруг ее стана, в светлой фланелевой рубашке с отложным матросским воротником. На ней тоже не было шляпки. Волоса на лбу немного разметались, грудь, высокая, драпированная складками мягкой рубашки, тихо колыхалась. Засученные по локоть руки двигались медленно, туда и сюда, и белизна их блестела минутами от этих движений. И в лице она немного порозовела. Пышный полуоткрытый рот выступал ярче обыкновенного на фоне твердых щек, покрытых янтарным пушком.

– Благодать! – тихо выговорил Теркин.

Он приподнял весла над водой, и капли западали в воду.

И тотчас же он воззрился влево, в одно крутое место берега, где виднелись темные мужские фигуры. Там, кажется, разведен был и огонек.

Еще вчера кухонный мужик рассказывал ему, что на Яузе, как раз там, где они теперь катались, московские жулики собираются к ночи, делят добычу, ночуют, кутят. Позднее и пошаливают, коли удастся напасть на запоздавшего дачника, особенно барыню.

– Про вашу покражу, – сказал ему мужик, – наверно они превосходно все знают.

Об этом именно вспомнил Теркин.

– Сима! – погромче окликнул он. – Держи-ка полее, вон к тому обрыву.

И он ей рассказал про свой разговор с кухонным мужиком.

Она рассмеялась и выпрямила стан.

– Что ж, Вася, ты хочешь знакомство с ними свести?

– Почему нет? Небось! Не ограбят! Да у меня ж ничего и нет. Разве пиджак снимут. Мы подведем, я спрыгну. Попрошу огонька. А ты взад и вперед покатайся. Когда я крикну: ау! – подплывай. Ты ведь умеешь грести? Справишься?

– Еще бы! – уверенно и весело откликнулась Серафима и ловко стала направлять нос лодки к крутому обрыву, где виднелась утоптанная в траве узкая тропа, шедшая вниз, к

воде.

По этой тропе и вскарабкался Теркин. Стало немного темнеть.

Одним скачком попал он наверх, на плешинку, под купой деревьев, где разведен был огонь и что-то варилось в котелке. Пониже, на обрыве, примостился на корточках молодой малый, испитой, в рубахе с косым воротом и опорках на босу ногу. Он курил и держал удочку больше, кажется, для виду. У костра лежала, подобрав ноги в сапогах, баба, вроде городской кухарки; лица ее не видно было из-под надвинутого на лоб ситцевого платка. Двое уже пожилых мужчин, с обликом настоящих карманников, валялись тут же.

– Огоньку можно? – звонко спросил Теркин у того, что удил.

– Сделайте ваше одолжение.

Ни он, ни товарищи его не выказали удивления и только переглянулись между собою. Женщина не поднялась с места и даже повернула голову в другую сторону.

– Кашицу варите? – спросил той же звонкой и ласковой нотой Теркин и, закулив папиросу, подошел к костру.

– Суп-потафё! – хрипло и насмешливо ответил один из валявшихся, в холстинном грязном картузе и непомерно широких штанах, какие носят полотеры.

– А что, братцы, – заговорил Теркин, не покидая ласкового тона. – Вы ведь все знаете друг друга (оба лежавшие у костра приподнялись немного): вот у меня на днях выхвати-

ли бумажник, у Воскресенских ворот, на конке... денег четыреста рублей. Их теперь, известное дело, и след простыл. Мне бы бумаги вернуть... письма нужные и одну расписку... Они ведь все равно господам рыцарям тумана ни на что не пригодятся.

– Как вы сказали? – переспросил хриплый. – Рыцарям?..

– Тумана... Такая книжка есть. Целое сообщество... господ артистов по вашему промыслу, в городе Лондоне.

– Ишь ты! – пустил глухой нотой карманник в картузе.

Теркин не сомневался, что все они не просто шатуны, а профессиональные воры.

– Так вот, братцы, – продолжал он еще веселее и добродушнее. – Ваши товарищи иногда паспорта и бумаги возвращают, опускают в почтовый ящик. Об этом мне в сыском отделении говорили. И со мной бы так можно обойтись. Ежели за это награду пожелаете... я не откажу... А затем прощайте!

Он сбежал вниз и крикнул:

– Ау!

Лодка была в двух аршинах. Серафима одним ударом весел врезалась носом в то место, где кончалась тропа, и Теркин вскочил.

Они молчали минуты с две, на обратном пути вверх по реке.

Потом он передал ей разговор с «жуликами», и она сказала с лаской в глазах:

– Школьник ты, Вася! Молоденький какой! Моложе меня! Даром, что на десять лет старше!

Но когда они причаливали к доскам пристани, около купальни, и сквозь густо темневшую стену лип чьего-то сада он увидел главку старинной церкви, построенной в виде шатра, Теркин, совершенно так же, как на крыльце сыскного отделения, почувствовал, как его пронзила мысль:

«А ты чем лучше их?»

Это даже рассердило его; он хотел бы подавить, если бы можно было, быстрый прилив краски к щекам, которого, однако, Серафима не заметила.

– Присядем вон туда, на скамью. Немножко отдохнем.

Она указала ему рукой на скамью, стоявшую в нескольких саженях от берега, около низкого частокола. Над скамьей нагнули свои ветви две старые березы. Стволы их были совсем изрезаны.

Теркин провел ее под руки, но не сел рядом с ней, а стал разбирать нарезки одной из берез.

– Вася! – окликнула она его. – Сядь, милый!

Он сел.

– Что ты вдруг смолк?.. А?.. Точно тебя холодной водой облили.

– Ничего. С какой стати?..

Он выговорил это возбужденно и заглянул ей в лицо.

– Нет! Я знаю... что тебя мозжит!.. Вот завтра ты в Нижний собрался. Пароход на воду спускать. И вместо того что-

бы на всех парах идти, ты опять теребишь себя. Глупости какие!

Это «глупости какие» вышло у нее так мило, что он не воздержался и взял ее за талию.

– Известно, глупости! Со мной нечего хитрить, Вася. Я не приму векселя.

– Ну, этого я не допущу! – почти гневно выговорил он, поднялся и заходил перед ее глазами.

– Сядь, сядь! Не бурли! Что это в самом деле, Васенька! Такой дивный вечер, тепло, звездочки вон загораются. На душе точно ангелы поют, а ты со своими глупостями... За чем мне твой вексель? Рассуди ты по-купчески... А еще деловым человеком считаешь себя! Выдал ты мне документ. И прогорел. Какой же нам от этого профит будет? А?..

– А умру я? Утону? Или на железной дороге вагон разобьет?

– Так что ж?

– У тебя заручка есть.

– Какая? Вася! Побойся Бога! Хочешь непременно в покойники записываться... Гадость какая! Ну, умрешь. Я предъявлю вексель. Что же останется, коли пароход у тебя на одну треть в кредите? Завод небось прежде всех других кредиторов пойдет?

– Вон какой делец выискался! – шутливо вскричал он, но тотчас же переменял тон, сел опять рядом с нею, взял ее руку и сказал тихо, но сильно: – Без документа я денег этих не



возьму. Сказано – сделано!

Они помолчали.

– Ах вы, мужчины! Законники! Точно дети малые! Как знаешь! Только чтобы до твоего отъезда ни одного слова больше об этих деньгах. Слышишь?

Поцелуй звонко разнесся в засвеживших сумерках.

– Дурачок ты, Вася! Нужды нет, что мы не венчаны с тобой! Но нас судьба веревочкой перевязала, слышишь? Муж да жена – одна сатана! Знаешь поговорку?

– Знаю, – ответил он и опустил голову.

## XL

– Молись Богу! – раздалась команда.

Молодой раскатистый голос пронесся по всему пароходу «Батрак».

Капитан Подпасков, из морских шкиперов, весь в синем, нервный, небольшого роста, с усами, без бороды – снял свою фуражку, обшитую галуном, и перекрестился.

Рядом с ним, впереди рулевого колеса, стоял и Теркин, взявшись за медные перила.

И он снял поярковую низкую шляпу и перекрестился вслед за капитаном.

Все матросы выстроились на нижней палубе, – сзади шла верхняя, над рубкой семейных кают, – в синих рубахах и шляпах, с красными кушаками, обхватывая овал носовой ча-

сти. И позади их линии в два ряда лежали арбузы ожерельем нежно-зеленого цвета – груз какого-то торговца.

Все пассажиры носовой палубы обнажили головы.

Теркин, не надевая шляпы, кивнул раза два на пристань, где в проходе у барьера, только что заставленного рабочими, столпились провожавшие «Батрака» в его первый рейс, вверх по Волге: два пайщика, свободные капитаны, конторщики, матросы, полицейские офицеры, несколько дам, все приехавшие проводить пассажиров.

– Путь добрый, Василий Иванович! – послал громче других стоявший впереди капитан Кузьмичев.

Его большая кудельно-рыжая голова высилась над другими и могучие плечи, стянутые неизменной коричневой визиткой.

– Смелым Бог владеет! – крикнул ему в ответ Теркин и махнул фуражкой.

Кузьмичев рассчитывал, кажется, попасть на его «Батрак», но Теркин не пригласил его, и когда тот сегодня утром, перед молебном и завтраком, сказал ему:

– Василий Иванович! ведь тот аспид, которого мы спустили с «Бирюча», судом меня преследует...

Он ему уклончиво ответил:

– Ничего не возьмет!

И не сказал ему:

«Не бойтесь! Если будут теснения, переходите ко мне».

В ту минуту, когда он крикнул: «Смелым Бог владеет»,

он забыл про историю с Перновским и думал только о себе, о движении вперед по горе жизни, где на самом верху горела золотом и самоцветными камнями царь-птица личной удачи.

Солнце било его прямо в темя полуденным лучом; он оставался без шляпы, когда после команды капитана «Батрак» стал плавно заворачивать вправо, пробираясь между другими пароходами, стоявшими у Сафроньевской пристани, против площади Нижнебазарной улицы.

Он любовался своим «Батраком». Весь белый, с короткими трубами для отвода пара, – отдушины были по-заграничному вызолочены, – с четырьмя спасательными катерами, с полосатым тиком, покрывавшим верхнюю палубу белой рубки, легкий на ходу, нарядный и чистый, весь разукрашенный флагами, «Батрак» стал сразу лучшим судном товарищества. И сразу же в эти последние дни августа привалило к нему столько груза и пассажиров, что сегодня, полчаса до отхода, хозяин его дал приказание больше не грузить, боясь сесть за Сормовом, на том перекате, где он сам сидел на «Бирюче».

Над ним слева высился горный берег Нижнего. Зелень обрывов уходила в синее небо без малейшего облачка; на полгоре краснела затейливая пестрая глыба Строгановской церкви, а дальше ютились домики Гребешка; торчал обрубок Муравьевской башни, и монастырь резко белел колокольнями, искрился крестами глав.

Еще дальше расползлась ярмарка; точно серый многолап-

чатый паук раскинулась она по двум рукавам Оки и плела свою паутину из такого же серого товара на фоне желто-серых песков, тянувшихся в обе стороны. И куда ни обращался взгляд, везде, на двух великих русских реках, обмелевших и тягостно сдавленных перекатами, теснились носы и кормы судов, ждущих ходу вниз и вверх, с товаром и промысловым людом, пришедшим на них же сюда, к Макарию, праздновать ежегодную тризну перед идолами кулацкой наживы и мужицкой страды.

Уши у него заложило от радостного волнения; он не слышал ежеминутного гудения пароходных свистков и только все смотрел вперед, на плес реки, чувствуя всем существом, что стоит на верху рубки своего парохода и пускает его в первый рейс, полным груза и платных пассажиров, идет против течения с подмывательной силой и смелостью, не боится ни перекатов, ни полного безводья, ни конкуренции, никакой незадачи!..

Губы его стали шевелиться и что-то выговаривать.

Из самых ранних ячеек памяти внезапно выскочили стихи – и какие! – немецкие, чт/о его и удивило, и порадовало. По-немецки он учился, как и все его товарищи, через пень-колоду. В пятом классе немец заставил их всех учить наизусть одну из баллад Шиллера.

– «Er stand auf seines Daches Zinnen», – выговорил Теркин уже громко под ритмический грохот машины.

– «Er stand auf seines Daches Zinnen», – повторил он, и

память подсказала ему дальше: Und schaute mit ergo: zten Sinnen Auf das beherrschte Samos hin!

И он ярче, чем в отроческие годы, вызвал перед собой картину эллинской жизни. Такое же победное солнце... Властитель стоит на плоской крыше с зубцами, облитой светом, и любуется всеми своими «восхищенными чувствами» покоренным островом. Самос – его! Самос у него под ногами... Смирный пьедестал его величия и мощи!..

Древнегреческий город с целым островом – и один из бесчисленных волжских пароходов, которому красная цена шестьдесят тысяч рублей!

«Василий Иванов!.. Не хватили ли, батюшка, через край?» – остановил он себя с молодой усмешкой и тут только заметил, что все время стоял без шляпы; «Батрак» уже миновал Сибирскую пристань.

«А кто его знает, каков он был, этот Самос? – думал он дальше, и струя веселого, чисто волжского задора разливалась по нем. – Ведь это только у поэтов выходит все великолепно и блистательно, а на самом-то деле, на наш аршин, оказывается мизерно. И храмы-то их знаменитые меньше хорошей часовни. Пожалуй, и Самос – тот же Кладенец, когда он был стольным городом. И Поликрат не выше старшины Степана Малмыжского?»

Село Кладенец, его родина, всплыло перед его внутренним зрением так отчетливо, как никогда. Имя Степана Малмыжского вызвало тотчас незабываемую сцену наказания

розгами в волостном правлении.

Еще засветло подойдет он на «Батраке» к Кладенцу... Что-то будут гуторить теперешние заправилы схода – такие же, поди, плуты, как Малмыжский, коли увидят его, «Ваську Теркина», подкидыша, вот на этом самом месте, перед рулевым колесом, хозяином и заправилой такой «посудины»?

Чувство пренебрежительного превосходства не допустило его больше до низких ощущений стародавней обиды за себя и за своего названного отца... Издали снимет он шляпу и поклонится его памяти, глядя на погост около земляного вала, где не удалось лечь Ивану Прокофьичу. Косточки его, хоть и в другом месте, радостно встрепенутся. Его Вася, штрафной школьник, позорно наказанный его «ворогами», идет по Волге на всех парах...

И тут только его возбужденная мысль обратилась к той, кто выручил его, на чьи деньги он спустил «Батрака» на воду. Там, около Москвы, любящая, обаятельная женщина, умница и до гроба верная помощница, рвется к нему. В Нижний он уговорил ее не ездить. Теперь ей уже доставили депешу, пущенную после молебна и завтрака.

В депеше он повторил ее любимую поговорку:

«Муж да жена – одна сатана».

– Верно!.. Одна сатана! – выговорил он всей грудью и крикнул капитану: – Давайте полный ход!

# Часть вторая

## I

Электрический свет красной точкой замигал в матовом шаре над деревянной галереей, против театра нижегородской ярмарки.

Сумерки еще не пали.

Влево полоса зари хоронила свой крайний конец за старым собором, правее ее заслоняла мечеть, посылающая кверху удлиненный минарет.

С целой партией подгулявших подгородных мужиков и баб Теркин поднимался по ступенькам и жмурил глаза, внезапно облитый мигающим сизо-белым светом.

Он вспомнил, что Серафима просила его привезти ей дватри оренбургских платка: один большой, рублей на десять, да два поменьше, рубля по четыре, по пяти. Сейчас был он в пассаже «Главного дома». Там тоже должны торговать мешанки из Оренбурга – «тетеньки», как он привык их звать, наезжая к Макарию; но у него совсем из головы вылетела просьба Серафимы. Там он затерялся в сплошной толпе, двигавшейся взад и вперед по обеим половинам монументальной галереи. Главный дом был только что отстроен и от-

крыт. Теркин, приехавший накануне в Нижний, попал на ярмарку к вечеру, часу в шестом. Он долго любовался зданием со стороны фасада.

Ему понравилась сразу эта «махинища», – он так мысленно выразился, – с ее павильонами, золоченой решеткой крыши, облицовкой и окраской. Что-то показалось ему в ней «индийско-венедианское», богатое и массивное, отвечающее идее восточно-европейского торгова.

В галерее ему пришлось жутко от празднично приодетого «мужичья». Он за этот год, – прошло ровно столько со спуска парохода «Батрак», – стал еще брезгливее по части простого люда, находил, что «чумазого» слишком распустили, что он всюду «прет» со своим «неумытым рылом». Эти выражения высказывали у него и в разговорах.

Так он и не докончил обзора галереи Главного дома, со всех сторон стесненный густой волной народа, глазеющего на своды, крышу, верхние проходы, – на одном из них играл хор музыки, – на крикливо выставленный товар, на все, что ему казалось диковинкой. Некоторые мужики и бабы шли с разинутыми ртами.

Теркин даже выбранился, когда вышел на площадку перед бульваром, где стоял кружком военный оркестр. В пассаже Главного дома его давила и нестерпимая жара, несмотря на его размеры, от дыхания толпы, не в одну тысячу, и от лампочек, хотя и электрических, уже зажженных в начале восьмого.



С бульвара повернул он вправо, прошел по мосту через канаву и направился к театру. Только тогда вспомнил он про поручение Серафимы и сообразил, что в деревянной галерее, на той же канаве, он, наверно, найдет «тетенек», купит у них платки, потом зайдет в одну из цирюлен, испокон века ютящихся на канаве, около театра, где-нибудь перекусит, – он очень рано обедал, – и пойдет в театр смотреть Ермолову в «Марии Стюарт».

Те, кто его встречали года два, даже с год назад, нашли бы перемены, нерезкие, по характерные на более пристальный взгляд.

Кроме общей полноты, и лицо раздалось, веки стали краснее, в глазах сложился род усмешки, то ласковой, то плутоватой, полной сознания своей силы и удачи; та же усмешка сообщилась и рту. Прическу он носил ту же; одевался еще франтоватее. На нем поверх летней светлой пары накинуто было светлое же пальто на полосатой шелковой подкладке.

Недаром глаза и рот его самодовольно усмехались. В один год он уже так расширил круг своих оборотов, что «Батрак», вполне оплаченный, был теперь только подспорьем. На низовьях Волги удалось ему войти в сношения с владельцами рыбных ловель и заарендовать с начала навигации целых два парохода на Каспийском море и начать свой собственный торг с Персией. Дело пошло чрезвычайно бойко, благодаря его связям с Москвой, с хозяевами «амбаров» города, изрядному кредиту, главное – сметке. Он сам не знал прежде, что

в нем сидела такая чисто «купецкая» способность по части сбыта товаров и создания новых рынков. Об нем уже заговорили и в самых важных амбарах старого Гостиного двора.

В деревянной галерее Теркин нашел почти такую же толкотню, как и в пассаже Главного дома. Там стояла еще сильнейшая духота. И такая же сплошная мужицко–мещанская публика толкалась около лавок и шкапчиков и туго двигалась по среднему руслу от входа до выхода.

Издали слева, над третьей или четвертой лавкой, заметил он вязаные цветные платки, висевшие у самого прилавка, вместе с детскими мантильками и капорами из белого и серого пуха – кустарный промысел города Нижнего.

Тут должен быть вод и оренбургским «тетенькам», торгующим часто вместе с нижегородскими вязальщицами вещей из пуха.

Протискавшись к прилавку, Теркин нашел целых двух тетенок с оренбургскими платками. Одна была еще молодая, картавая, худая и с визгливым голосом.

Он редко торговался, с тех пор, как у него стали водиться деньги; но с последней зимы, когда дела его так расширились, он делался незаметно прижимистее даже в мелочах.

– Платочек вам? – завизжала тетенька и поспешно отерла влажный и морщинистый лоб.

Она запросила шестнадцать рублей за большой платок, с целую шаль. Теркин нашел эту цену непомерной и упорно начал торговаться, хотя ему захотелось вон из душной гале-

реи, где температура поднялась наверно до тридцати градусов.

Они поладили на двадцати двух рублях с полтиной за все три платка. Пакет вышел довольно объемистый, и Теркин сообразил, что лучше будет его оставить в трактире, куда он пойдет закусить из цирюльни, а после театра – поужинать и взять пакет у буфетчика.

В цирюльне ему пришлось немного подождать. Одного гостя брили, другого завивали: хозяин, – сухощавый пожилой блондин, и его молодец – с наружностью истого московского парикмахера, откуда– нибудь с Вшивой Горки, в лимонно-желтом галстуке с челкой, примазанной фиксауаром к низкому лбу.

Теркин присел на пыльный диван, держа в руках пучок разноцветных афиш. Он уже знал, что в театре идет «Мария Стюарт», с Ермоловой в главной роли, но захотел посмотреть имена других актеров и актрис.

Театральная афиша была не цветная, а белая, огромная, напечатанная по-провинциальному, с разными типографскими украшениями.

После «Марии Стюарт» шло «Ночное».

Он взглянул на фамилии игравших в этой пьесе. Их было всего трое: два актера и одна актриса.

«Большова!» – выговорил про себя Теркин.

И тотчас же, отложив афишу, он провел ладонью по волосам и задумчиво поглядел в полуоткрытую дверь на кирпич-

но-красное тяжелое здание театра.

«Большова! – повторил он и прибавил: – А ведь это она! Разумеется!»

И что-то заставило его встать и пройтись по цирюльне.

– Долго еще ждать? – громко спросил он, ни к кому не обращаясь.

– Сию минуту! – откликнулся хозяин. – Только пудры немножко.

Имя «Большова» запрыгало у него в голове.

Давно ли это было? Лет пять назад. Приехал он в Саратов. Тогда он увлекался театром: куда бы ни попадал, не пропускал ни одного спектакля, ни драмы, ни оперетки. До того времени у него не бывало любовных историй в театральном мире. В труппе он нашел водевильную актрису с голоском, с «ангельским» лицом мальчика. Про нее рассказывали, что она барышня хорошей фамилии, чуть не княжна какая-то; ушла на сцену против воли родителей; пока ведет себя строго, совсем еще молоденькая, не больше как лет семнадцати. Крепко она ему полюбилась. Ночей не спал; сколько прогущал актеров, чтобы только с ней познакомиться. И знакомство это вышло такое милое, душевное. Еще одна, много две недели, и наверно они бы объяснились. Его удерживало то, что она несомненно девушка, совсем порядочная: так заверяли его и приятели– актеры.

Вдруг она заболевает корью. А его патрон, железнодорожный подрядчик, услал в Екатеринбург депешей.

– Любезнейший, – спросил он хозяина цирюльни, садясь в кресло перед зеркалом, – вы знаете, где тут актрисы живут?.. Наверно, в номерах поблизости?

– А вам кого, господин? – солидно осведомился парикмахер.

– Госпожу Большову.

– Надо спросить вон в той гостинице... наискосок, вправо от театра.

## II

У подъезда номеров, обитого тиком, в доме, полном лаков, стоял швейцар в серой поддевке и картузе, довольно грязный, с масляным, нахальным лицом.

– Артистка Большова? – спросил его Теркин, протягивая руку к двери, забранной медными прутьями.

– Здесь, пожалуйста!

Швейцар ухмыльнулся.

– В котором номере?

– Я вас провожу. Во втором этаже.

Они поднялись по чугунной лестнице.

– Сюда, в угол пожалуйста, – пригласил швейцар. – Вот в этом самом, двадцать восьмом номере. Ключ тут. Да я и не видал еще их. В театр им рано...

Уходя, швейцар остановился и прибавил:

– За беспокойство, ваше сиятельство!

Теркин дал ему на водку, но повторил, покачав головой:  
– За беспокойство! Теплый вы здесь народ!

Он постучал в дверь и только что взялся за ручку, его остановил вопрос:

«А Серафиме ты скажешь про этот визит?»

«Отчего же не сказать!» – ответил он весело и смело отворил дверь.

Изнутри его никто не окликнул.

«Как бишь ее зовут?» – подумал он и сразу вспомнил: Надежда Федоровна.

В темной передней висело под простыней много всякого платья.

– Кто там? – спросил женский голос, точно спросонок.

Голоса Теркин не узнал: он был контральтовый и немного хриповатый.

– Надежда Федоровна у себя? – громко выговорил Теркин и остановился перед занавеской, висевшей в отверстии перегородки.

– У себя, у себя!.. Кто это?.. Подождите минуточку!

Послышался скрип мебели и стук туфель-шлепальцев. Вероятно, она лежала и теперь оправляется перед зеркалом.

– Можно? – спросил он так же весело, проникая в первую половину номера, отделенную от спальни перегородкой.

– Можно, можно!.. Ах, Боже мой! Да кто это?

Актриса выставила сперва одну голову в скважинку портьер, спущенных с обеих сторон.

Курчавая голова, полные щеки, большие серые глаза, ласковые и удивленные, и рот с крупными и совсем белыми зубами – все всплыло перед Теркиным точно в рамке портрета.

– Надежда Федоровна! Неужто не узнали?

– Ах, Боже мой!.. Вася Теркин!.. Да?..

Половина портьеры распахнулась, и она выскочила в батистовом пеньюаре, с помятой прической. Она показалась ему выше ростом и втрое полнее. Белая шея и пухлые руки промелькнули перед ним, и он еще невзвиделся, как эти пухлые руки очутились на его плечах.

– Голубчик! Как я рада! Похорошел ужасно!

Руки спустились и взяли его за локти. И свое полное возбужденное лицо, все еще с «ангельским» оттенком, она близко-близко подставила к нему, поднявшись на цыпочки.

– Поцелуемся на радостях! Мы ведь старые-старые друзья!..

Легкая хрипота в ее голосе не пропадала, но тон был милый, задушевный и простой, слишком даже простой, на оценку Теркина.

Они поцеловались три раза, по-крестьянски.

И вдруг она, высвободив одну руку, провела ею по своим губам, как делают бабы и деревенские девки, когда напьются квасу или проглотят стаканчик водки.

– Скусно! – выговорила она по-волжски и дурачливо покривила носом. – Господи! Он сконфузился... Что, мол, из Большой стало. Была великосветская ingenue... а тут вдруг

мужик мужиком. Эх, голубчик! С тех пор много воды утекло. Моя специальность – бабы да девки. Вот сегодня в «Ночном» увидите меня, так ахнете. Это я у вас на Волге навострилась, от Астрахани до Рыбинска включительно. Ну, садитесь, гость будете!..

Она усадила его рядом с собою на диван, держала руку в его руке, оглядывала его с гримасами и смешливо поводила носом.

– Красавец мужчина!.. Нечего и говорить! Не устоишь... Никак не устоишь!

Ее курчавая голова, короткий носик, ласковые глаза мелькали перед ним и настраивали на игривый тон; только он все еще спрашивал себя:

«Неужели это та самая барышня хорошей фамилии?»

– Да, – выговорил он, наклоняясь к ней, – немало воды утекло. Вон вы какая гладкая стали!

– Расплылась? – быстро спросила она серьезнее. – Подурнела?

– Уж сейчас и подурнела!

– А ведь вы, милый человек, по мне страдали... ась? Помните? У нас тогда совсем было дело на мази. И почему оборвали вдруг?

– Забыли?

– Ей-Богу! Точно отрезало!

Он напомнил ей, как она заболела, а его по делам услали в Екатеринбург. – Верно, верно. Потом я об вас часто вспоми-



нала... честно/й человек! Видите, сейчас вас узнала, вспомнила и фамилию, – а память у меня прескверная становится. Как же вы ко мне-то попали? Это очень, очень мило! Паймальчик! За это можно вас поцеловать.

Ее сочные губы чмокнули его в щеку, и правая рука легла на его плечо.

«Актерка, как есть актерка!» – подумал Теркин.

Он видел, что прежняя Большова умерла. Это уже гуляющая бабенка. Скитанье по провинциальным театрам выело в ней все, с чем она пошла на сцену. Его подмывала в ней смесь распушенности с добродушным юмором. И наружность ее нравилась, но не так, как пять лет назад, – по-другому, на обыкновенный, чувственный лад.

Через пять минут они сидели еще ближе друг к другу. Ее рука продолжала лежать на его плече. Она ему рассказывала про свое житье. Ангажементы у нее всегда есть. Последние два сезона она «служила» в Ростове, где нашла хлебного торговца, глупого и «во хмелю благообразного». Он ее отпустил на ярмарку и сам приедет к концу, денег дает достаточно и даже поговаривает о «законе», но она сама не желает.

– Да что это мы все всухомятку? – вскричала Большова. – У меня и горло пересохло. Позвоните-ка, голубчик.

Пришедшему коридорному она приказала подать сельтерской воды и коньяку.

– Старого! Слышите? Брандахлыста мы пить не будем. В номере было душно, и Теркину хотелось пить.

Когда принесли все, Большова налила себе коньяку в стакан больше чем на треть и выпила духом.

Теркин поглядел на нее.

– Вы вот как? – спросил он.

– Да, голубчик; с волками жить – по-волчьи выть... Вы плохой питух?

– Плохой.

– А я...

Она запнулась и налила себе еще коньяку и немножко воды.

– Употребляете? – спросил Теркин.

Струйка жалости к бывшему предмету его увлечения проползла и тотчас же перешла в нездоровое любопытство: ему хотелось знать, насколько она пала.

Глаза ее начали на особый манер соловеть, и очень быстро. Он догадался, что она выпила на «старые дрожжи», и он понял ее странную возбужденность с первой минуты их свидания.

– Вы что на меня смотрите так? – говорила она, наливая себе опять коньяку. – Рисоваться перед вами не хочу: вы – пай-мальчик... вспомнили обо мне. Вы видите... я ведь пьяница.

Она выговорила это медленно, точно смакуя слова, с масляными глазами, спокойно, почти весело.

– Ну, уж и пьяница!

– Кабы ты, – она незаметно перешла на ты, кабы ты был

человек серьезный по этой части, ты бы увидал, через какую я школу прошла там, в Ростове.

– Что вы, что вы!.. Милая, вы это так... дурачитесь...

– Нет, голубчик, не дурачусь. Должно быть, это... как нынче в умных книжках пишут... атавизм... папенька держался горечи, даром что был тонкий барин и в Париже умер. Выпьем... а?.. Это даже нехорошо: смотреть, как я осушаю бутылку, а самому только констатировать факт.

Она налила ему и заставила выпить без сельтерской воды.

На спиртное он был довольно крепок; коньяк все-таки делал свое... Он сам удивлялся тому, что его не коробит. Большова выпила уже с добрый стакан. Ее порок точно туманил ему голову...

### Ш

«Марию Стюарт» уже играли, когда Теркин предъявлял свой билет капельдинеру, одетому в красную ливрею, спустился к оркестру и сел в одно из кресел первого ряда.

Зала, глубокая и в несколько ярусов, стояла полуосвещенной. Мужские темные фигуры преобладали, Голоса актеров отдавались глухо.

До появления героини Теркин озирался и невнимательно слушал то, что говорилось на сцене. Его тотчас же начало раздражать нетвердое, плохое чтение тяжелых белых стихов актрисой, игравшей няньку королевы, напыщенно— де-

ревянные манеры актера, по-провинциальному одетого английским сановником.

Но когда раздалась низкие грудные звуки Марии Стюарт, он встрепенулся и до конца акта просидел не меняя позы, не отрывая от глаз бинокля. Тон артистки, лирическая горечь женщины, живущей больше памятью о том, кто она была, чем надеждами, захватывал его и вливал ему в душу что-то такое, в чем он нуждался как в горьком и освежающем лекарстве.

Женщина и ее трагические акценты вызвали образ той, кого судьба послала ему в подруги.

А разве в нем такая же страсть, как в ней?.. Но больше получаса назад он целовался с хмелеющей бабенкой, которая сама призналась, что она «пьяница». И если у них не дошло дело до конца, то не потому, чтобы ему стало вдруг противно, тошно...

Она сама потрепала его по щеке и сказала:

– Красавец мужчина!.. Знаю, что следовало бы нам закончить это рандеву честь честью, да стоит ли, голубчик? Право, лучше будет так, всухую, в память об *ingenue* саратовской труппы, о чистенькой барышне, жертве увлечения театральным искусством.

Стало быть, у нее зазрение-то явилось, а не у него, даром что она была уже в винных парах и про своего ростовского купца говорила прямо как про безобразника, с которого брала деньги.

Она же ему сказала:

– Тебе пора, поди, уж играют первый акт. А я немножко всхрапну и к одиннадцати буду свежа как роза.

И ему это не очень-то понравилось... Зверь-то в нем проснулся несомненно и под уколom каких впечатлений? Память о влюбленности в милую девушку должна бы сделать ему отвратительным всякое сближение с пьющей и павшей бабенкой. Выходило, видно, наоборот.

Он ни разу не вспомнил о Серафиме, вплоть до ухода, когда Большова, провожая его в переднюю, спросила:

– Что это у тебя за пакет? Подарочек везешь? Кому?.. Про любовные дела вашего степенства я и не расспросила. А надо бы. Покажи, покажи.

Она развернула и увидела оренбургские платки.

– Целых три!.. Вот у тебя сколько предметов!.. Или все одной султанше?

Он отшутился в том же вкусе, и ему захотелось подарить ей один из платков.

– Который по вкусу придется? Не угодно ли вот этот, самый крупный?

В желании сделать ей подарок сказалось что-то купецкое: посидела, мол, со мной, поамурилась, угостила – н/а вот тебе гостинцу.

– Вот эту косыночку, коли милость ваша будет, попросила она бабьим «цокающим» говором, выбрала один из платков поменьше и потянулась благодарить его поцелуем.

– Может, после спектакля встретимся? – спросил он опять, тоже не без умысла.

– Приходи... в заведение... против театра, где Илька Огай поет... Там есть и кабин/е-партикуль/е. Поужинаем... А коли поздно тебе покажется, и не надо.

Весь этот разговор душил его теперь. Он думал об ужине с нею, не боялся того, что она совсем будет «готовая», даже и после того как платки напомнили ему, для кого он их покупал и какая красавица ждет его дома, шлет ему чуть ли не каждый день депеши, тоскует по нем.

Весь антракт просидел Теркин в кресле, перебирая свое поведение.

На душе стало так скверно, что он жаждал видеть и слышать Марию Стюарт, только бы уйти от целой вереницы вопросов о своем чувстве к Серафиме. Ведь всего год прошел, как они живут вместе, всего один год!

Игра артистки трогала и волновала его и в следующих актах. Он даже прослезился в одной сцене. Но в антракте между четвертым и пятым действиями в сенях, где он прохаживался, глядя через двери подъезда в теплую августовскую ночь, чувство его обратилось от себя и своего поведения к женщине, к героине трагедии и ее сопернице, вообще к сути женского «естества».

Ну да, он сам недалеко ушел от первого гулящего купчика; да, в нем та же закваска, и Серафима, если бы все видела и слышала, имела бы право бросить его. Но в этом ли все де-

лю? Разве женщина, в каком угодно положении, не раба своего влечения к мужчине? Вот вам королева, узница, в двух шагах от смерти; и что в ней яростно заклокотало, когда она стала кидать в лицо Елизавете, – а от той зависело, помиловать или казнить ее, – ядовитые обвинения?.. Что? Да все то же! Женское естество. Присутствие любимого человека вызвало нестерпимую обиду, уязвившую не королеву, а мужелюбивую, стареющую бабенку... Ведь ей тогда было сильно за сорок, если не все пятьдесят.

В его ушах еще звучали полные силы и гневного трепета акценты артистки. Он схватил вот эти слова своей цепкой памятью, за которую в гимназии получал столько пятерок: Прикосновенье незаконной дочери Трон Англии позорит и мрачит, И весь народ британский благородный Фигляркою лукавою обманут!

Не могут они подняться ни до чего выше своей слабости к мужчине, – все равно, какой он: герой или пошляк, праведник или беглый каторжный.

И ему стало ясно, чего не хватает в его связи с Серафимой. Убеждения, что она отдалась ему не как «красавцу мужчине», – он вспомнил прибаутки Большой, – а «человеку». Не он, так другой занял бы его место, немножко раньше, немножко позднее, если взять в расчет, что муж ей набил оскомину и ограбил ее.

В ней он еще не почуял ничего такого, что согревало бы его, влекло к себе душевной красотой. Его она любит. Но

помимо его, кого и чт/о еще?..

Впервые эти вопросы встали перед ним так отчетливо. Он не хотел оправдывать себя ни в том, что вышло и могло еще выйти у Большой, ни в том, что успех дельца и любостяжателя выедаёт из него все другие, менее хищные побуждения. И если б он сам вдруг переменялся, стал бы жить и поступать только «по–божески», разве Серафима поддержала бы его? В ней-то самой нашел ли бы он отклик такому перелому? Она не мешала бы ему – и только... Чтобы не потерять его, свою «цацу», своего Васю, как пьянчужка актриска все отдаст, только бы ее не лишали рюмки коньяку...

В пятом акте Теркин уже не мог отдаться судьбе Марии Стюарт. Ему хотелось уйти тотчас после главной пьесы, чтобы не смотреть на «Ночное» и не иметь предлога ужинать с Большой.

Искренно выбранил он себя и за «свинство» и за глупую склонность к душевному «ковырянию». Лучше бы было насладиться до конца игрой артистки.

В зале еще гулко разносились вызовы; но он уже спешил к вешалке, где оставил вместе с пальто и пакет с двумя платками.

– Теркин! Здравствуйте!

Его окликнули сзади. Он обернулся и увидел Усатина, которому капельдинер тоже подавал пальто.

– Мое почтение! Весьма рад! – выговорил он не сухо и не особенно радушно.



– Вы куда отсюда? Ужинать?

– Не прочь.

– И прекрасно!.. Поедемте в заведение Наумова. Потолкуем... Давненько не видались!

– Потолкуем, – повторил Теркин и почувствовал, что ему не совсем ловко с Усатиным.

## IV

– Все Москва! Куда ни взглянешь!

Усатин повел жестом правой руки, указывая на белую залу, в два света, довольно пустую, несмотря на час ужина.

– Да, скопировано с Гурьинского заведения, подтвердил Теркин.

Они закусывали за одним из столиков у окна.

Низковатая большая эстрада стояла с инструментами к левому углу. Певицы разбрелись по соседним комнатам. Две-три сидели за столом и пили чай. Мужчины хора еще не показывались.

– Москва все себе заграбастала, – продолжал возбужденнее Усатин, отправляя в рот ложку свежей икры. – И ярмарка вовсе не всемирный, а чисто московский торг, отделение Никольской с ее переулками. И к чему такие трактирищи с глупой обстановкой? Хор из Яра, говорили мне, за семь тысяч ангажирован. На чем они выручают? Видите – народу нет, а уж первый час ночи. Дерут анафемски.

Он взял карту вин.

– Не угодно ли полюбоваться?.. Губонинское белое вино – три с полтиной бутылка. Это поощрение отечественных промыслов и охранительная торговая политика!

Теркин слушал его, опустив немного голову. Ему было не совсем ловко. Дорогой, на извозчике, тот расспрашивал про дела, поздравил Теркина с успехом; про себя ничего еще не говорил. «История» по акционерному обществу до уголовного разбирательства не дошла, но кредит его сильно пошатнула. С прошлого года они нигде не сталкивались, ни в Москве, ни на Волге. Слышал Теркин от кого-то, что Усатин опять выплыл и чуть ли не мастерит нового акционерного общества.

Не хотелось ему иметь перед Усатиным вид человека, который точно перед ним провинился. Правда, он уехал из усадьбы вроде как тайком; но мотив такого отъезда не трудно было понять: не желал пачкаться.

– Так вы теперь в больших делах? – начал Усатин, как бы перебивая самого себя. – И в один год. У кого же вы тогда раздобылись деньжатами, – помните, ко мне в усадьбу заезжали?

Глаза Усатина заискрились. Он отправил в рот еще ложку икры.

– Раздобылся, – ответил Теркин с усмешечкой и тут только рассердился на Усатина за такой простой вопрос.

– Деньги не больно большие были, – добавил он небрежно.

ным тоном. – И вы, Арсений Кирилыч, – теперь дело прошлое, – совесть мою тогда пытали. Должно быть, хотели поглядеть: поддамся я или нет?

Такой оборот разговора Теркин нашел очень ловким и внутренне похвалил себя. – Пытал?.. Ха-ха!.. Я вам, Теркин, предлагал самую простую вещь. Это делается во всех «обществах». Но такой ригоризм в вас мне понравился. Не знаю, долго ли вы с ним продержитесь. Если да, и богатым человеком будете – исполать вам. Только навряд, коли в вас сидит человек с деловым воображением, способный увлекаться идеями.

– Как вы, Арсений Кирилыч, – подсказал Теркин и поглядел на него исподлобья.

– Да, как я! Вы тогда, я думаю, сели на пароход да дорогой меня честили: «хотел, мол, под уголовщину подвести, жулик, волк в овечьей шкуре...» Что ж!.. Оно на то смахивало. Человеку вы уж не верили, тому прежнему Усатину, которому все Поволжье верило. И вот, видите, я на скамью подсудимых не попал. Если кто и поплатился, то я же.

– И значительно?

– Уж, конечно, половина моих личных средств ушла на то, чтобы ликвидировать с честью.

– Нешто вы прикончили «общество»?

– Нет, я его преобразовал, связал его с эксплуатацией моего завода и открыл другие источники.

– И Дубенский у вас находится по-прежнему?

Усатин слегка поморщился.

– Это – ригорист... почище вас. Мы с ним расстались. Я на него не в претензии за то, что он слишком неумеренно испугался уголовщины.

«Аферист ты! Игрок! Весь прогоришь и проворуешься окончательно. От прежнего Усатина мокренько не останется!» – говорил про себя Теркин, слушая своего собеседника.

– Вот не угодно ли обследовать этот невзрачный кусочек?

Усатин вынул из кармана что-то завернутое в бумагу.

– Что такое? – спросил Теркин.

– Разверните.

В бумаге оказался кусочек какого-то темноватого вещества.

– Это – мыло! Но из чего оно добывается? Вот в том-то вся и штука. Один бельгиец-техник предложил мне свой секрет. Нигде, кроме Америки да наших нефтяных мест, нельзя с этим кусочком мыла таких дел наделать!..

– Ой ли, Арсений Кирилыч?

– Я вам это говорю!

Усатин откинул голову; жирное его тело заколыхалось, лицо все пошло бликами, глаза заискрились.

«Попал на зарубку!» – подумал Теркин.

Половой подал заказанное ими блюдо – стерлядку по-американски. Хор запел какой-то вальс. Под пение Усатин заговорил еще оживленнее.

– Привилегия уже взята на Францию и Бельгию.

– Вот на этот самый комочек?

– Да, да, Теркин! На этот самый комочек. После ярмарки еду в Питер; там надо похлопотать, – и за границу за капиталами. Идея сразу оценена. В Париже денег не нам чета, хоть долгу у них и десятки миллиардов!

– И в податях недохватки. И виноградники филлоксера выдрала во скольких департаментах!

– Никакая филлоксера их не подведет! Деньжищ, сбережений все-таки больше, чем во всей остальной Европе, за исключением Англии.

– По теперешним чувствам господ французов к нам, русским, не мудрено заставить их тряхнуть мошной. Только сдастся мне, Арсений Кирилыч, вся их дружба и сладость по нашему адресу значит одно: «отшлепай ты вместе с нами немца». А когда мы у него Эльзас и Лотарингию обратно отберем, тогда и дружбу по шапке!

– Очень может быть, и не в этом дело. Доход с ренты у них падает; правительство не желает больше трех процентов платить. А мы им восемь-десять гарантируем.

– Или по меньшей мере посулим.

Смех Теркина вырвался у него невольно. Он не хотел подзадоривать Усатина или бесцеремонно с ним обходиться.

– Верьте мне, – говорил ему Усатин перед их уходом из трактира, положи локти на стол, весь распаленный своими новыми планами. – Верьте мне. Ежели у человека, пустившегося в дела, не разовьется личной страсти к созданию но-

вых и новых рынков, новых источников богатства, – словом, если он не артист в душе, он или фатально кончит совсем пошлым хищничеством, или забастует – так же пошло – и будет себе купончики обрезать.

– Позвольте, Арсений Кирилыч, – возразил Теркин, – будто нельзя посмотреть на свою делецкую карьеру как на средство послужить родине?

Он поднял голову и пристально поглядел на Усатина. Собственные слова не показались ему рисовкой. Ведь он души своей одному делечеству не продавал. Еще у него много жизни впереди. Когда будет ворочать миллионами, он покажет, что не для одного себя набивал он мошну.

– Родине!

Усатин пренебрежительно тряхнул своей лысой головой.

– Однако позвольте, – Теркин понизил голос, но продолжал с легким вздрагиванием голоса. – Вы изволили же в былые годы служить некоторым идеям. И я первый обязан вам тем, что вы меня поддержали... не как любостыжательный хозяин, а как человек с известным направлением...

– Направление! – остановил его Усатин. – Оно у меня вот где сидит. – Он резнул себя по затылку. – И когда эту самую родину изучишь хорошенько, придешь к тому выводу, что только забывая про всякие цивические затеи и можно двигать ею. И вам, Теркин, тот же совет даю. Не садитесь между двух стульев, не обманывайте самого себя, не мечтайте о том, чтобы подражать дельцам, какие во Франции были в

школе сансимонистов. Они мнили, что перестроят все общество во имя гуманности и братства, а кончили тем, что стали банковскими воротилами. Все это – или пустая блажь, или бессознательная, а то так и умышленная фальшь!..

Он опять вынул из кармана бумажку с кусочком мыла.

– Вот я распалился этим комочком без всякой филантропии и высших социальных идей, и целый край будет кормиться около этого комочка! Так-то-с, батюшка! А засим прощайте! Желая доброго успеха!.. И знайте, что без игрецкого задора – все окажется мертвечиной!

– Загадывать не стоит! – сказал, подымаясь от стола, Теркин.

– Будет у вас идея... настоящая, на которую капиталисты сейчас пойдут, как на удочку, – валяйте!.. Понадобится вам смекалка Усатина, – идите к нему... Он вас направит, даром что вы его под сумнением держали.

Внизу, на крыльце, они простились приятельски. Теркин пошел пешком к станции железной дороги, где стоял в номерах.

## V

На площадке перед рестораном Откоса, за столиками, сидела вечерняя публика, наехавшая снизу, с ярмарки, – почти все купцы. Виднелось и несколько шляпок. Из ресторана слышно было пение женского хора. По верхней дорожке, над

крутым обрывом, двигались в густых уже сумерках темные фигуры гуляющих, больше мужские.

Внизу Волга лежала плоским темноватым пластом, сдавленная песчаными перекатами. «Телячий Брод», ползущий вдаль до Печерского монастыря, суживал русло неправильной линией. Луговой берег реки уходил на десятки верст от села Бор, где белые церкви еще довольно ярко выплывали на буром фоне. Кое-где тускловато отливали, вроде небольших лужиц, выемки, не высохшие с половодья. Под самым Откосом слышалось унылое гудение пара сигнальных свистков. По воде, вверх и вниз, разбрелись баржи и расшивы, а пароходы с цветными фонарями стояли в несколько рядов, белея своими трубами и длинными рубками на американский манер.

Ночь собиралась звездная и безлунная, очень тихая, с последним отблеском зари. В сторону моста сгустились мачты и трубы, и дымка ходила над ярмарочным урочищем. Влево взгляд забирал только кругозор до Егорьевской башни кремля, замыкавшей наверху всю панораму.

На самой вышке, у обрыва за кустами, стоял Теркин.

Он только что приехал с ярмарки нарочно – на прощанье с Нижним посидеть на Откосе. Вид оттуда реки был ему неизменно дорог, а на этот раз его влекло и довольно жуткое душевное настроение, с каким он возвращался домой, туда в посад Чернуха, на низовьях, где они с Серафимой провели зиму.



В нем с того ярмарочного вечера, когда он побывал на «Марии Стюарт» и поужинал с Усатиным, закопошилось что-то новое и вместе очень старое. Сквозь довольство своими делами и въедавшиеся в него порывы самолюбия, любования своей удачей и сметкой, повадок приобретателя и хозяина, он распознавал и смутное недовольство многим, так что в него забралось тревожное желание разобраться и в чувстве к Серафиме, в ее натуре и убеждениях.

Ночь и речная даль навевали на него приятную унылость. Не было уже охоты «ковырять» в душе и расстраивать свой созерцательный «стих».

Вправо от того места, где он стоял, у самого обрыва на скамейке сидел кто-то.

Теркин поглядел туда, и взгляд его остановился на спине плотного мужчины, сидевшего к нему вполпрофиля. Эта спина, и волосы, и фуражка показались ему знакомыми.

«Кузьмичев?» – умственно спросил он, но не тотчас окликнул его.

«Он и есть!» – утвердительно ответил себе Теркин.

Капитана «Бирюча» он не видал в этот приезд и как будто избегал этой встречи. Ему еще с конца прошлой навигации было известно, что Кузьмичеву грозило дело по жалобе Перновского за самовольную высадку с парохода. Дошло до него и письмо Кузьмичева Великим постом, где тот обращался к нему, как к влиятельному пайщику их товарищества, рассказывал про изменившееся к нему отношение хо-

зьяина парохода, просил замолвить за него словечко, жаловался на необходимость являться к судебному следователю, намекал на то, – но очень сдержанно, – что Теркин, быть может, захочет дать свое свидетельское показание, а оно было бы ему «очень на руку».

Это письмо Теркин оставил без ответа. Сначала хотел ответить, через два дня уехал надолго в Астрахань и совсем забыл про него.

«Ведь я свински поступил!» – пронизала его мысль, когда он снова оглядел фигуру Кузьмичева.

– Андрей Фомич! – не громким, но звучным голосом назвал он капитана, подошел к нему сбоку и прикоснулся рукой к его плечу. – Вы это?

– А-а, Василий Иванович!

Кузьмичев быстро поднялся с места, снял картуз и не сразу пожал протянутую ему руку, охваченный неожиданностью появления Теркина.

– Созерцаете? – спросил тот, не выпуская его руки. – И я тоже... Вы, никак, пришли сверху?

– Точно так... Сегодня утром.

– Пустите-ка меня на скамеечку! – сказал Теркин.

Они оба присели.

– Надолго ли к нам? – спросил Кузьмичев.

Глаза он отвел в сторону. В его тоне Теркин слышал съезженность, какой прежде никогда не бывало.

«Считает меня пошляком, подумал он, – и, по-своему,

прав». – Я завтра в обратный путь. И весьма рад нашей встрече, Кузьмичев. Как это хорошо, что меня надоумило поехать на Откос!

Кузьмичев все еще не глядел на него.

– С «Батраком» мы, Василий Иванович, разминулись повыше Юрьевца... Ходок отличный, даже завидки берут, когда на такой скверной посудине, как «Бирюч», валандаешься.

Про себя он, видимо, не хотел заводить речь сразу.

– Кузьмичев! – окликнул Теркин на другой лад. Вы ведь на меня в сердцах?

– Я, Василий Иванович?

– А то нет?

– В сердцах... Это не верно сказано, а только...

– Стойте, я за вас доскажу... В прошлом году, помните, когда вы меня провожали при спуске «Батрака»... в ваше положение я недостаточно вошел... Знаете, в чаду хозяйского торжества... И на письмо ваше не ответил. В этом чистосердечно каюсь. Не то чтобы я струсил... а зарылся. Вот настоящее слово. И вы вправе считать меня... ну, да слово сами приберите.

– Вы уж слишком, Василий Иванович! – заговорил Кузьмичев, и тут только его обыкновенно смешливые глаза обратились к Теркину с более искренним приветом. – Канючить я не люблю, но положение мое из-за той глупой истории с Перновским так покачнулось, что просто и не знаю, как быть.

– Что вы!

– Ваших компаньонов вы редко видите. Мой патрон труса празднует и меня, можно сказать, ни чуточки не поддержал... И ежели бы у меня с ним не контракт, он бы меня еще прошлой осенью расчел и оставил бы на зиму без всякого продовольствия. Наше дело, сами знаете, какое. Конечно, другие летом копят на зиму, а я не умею, да к тому же у меня семья... Целых четыре души. Как-то совестно такие нищенские фразы употреблять: но это факт... В ноябре контракту срок, и принципал меня удерживать не станет. Да это еще бы сполагоря... А вот гадость... Подсудность эта гнусная. Положим, следователь парень хороший, он так ведет следствие, чтобы все на нет свести... Тот Иуда Искарriot... уже успел свою ябеду распусть... Из Питера сюда запрос насчет моего недавнего прошлого. Меня уже два раза «ко Иисусу» таскали – к генералу: здесь архаровцами-то генерал, а не полковник заведует. Того гляди, угодишь в отъезд по казенной надобности. И мой принципал уж, конечно, меня выдаст с головой, да и остальные не поддержат... Я был той веры, Василий Иванович, что только вы – человек другого покроя. Тем более что ваше, например, показание дало бы окраску всему происшествию. Матросы – мои подчиненные. Прокурорский надзор их заподозрит.

Речь его прервал короткий смешок, точно он хотел сдержать волнение; стыдно стало своего малодушия.

Теркин, слушая его, все время повторял себе:

«Да ведь кто же Перновского-то разъярил, кто был зачин-

щиком всей истории? Ты – и больше никто! Разве Кузьмичев один впутался бы? Тебе и надо поддержать его».

– Вот что я вам скажу, Кузьмичев, – искренней нотой начал он, кладя ему руку на колено. – Спасибо за то, что вы меня человеком другого покроя считаете... И я перед вами кругом виноват. Зарылся... Одно слово!.. Хорошо еще, что можно наладить дело. Угодно, чтобы я отъявился к следователю? Для этого охотно останусь на сутки.

– Вот бы чудесно!

Кузьмичев круто повернулся к Теркину и взял его руку своими обеими.

– Это давно была моя обязанность. Насчет места вам нечего смущаться. Только бы вам здесь пакости какой не смастерили административным путем... Дотянете до ноября, – милости просим ко мне.

Наплыв хороших, смелых чувств всколыхнул широкую грудь Теркина. Он подумал сейчас же о Серафиме. Как бы она одобрила его поведение? И не мог ответить за нее... Кто ее знает? Быть может, с тех пор он и «зарылся», как стал жить с нею...

Ему отраднее было в ту минуту уважать себя, сознавать способность на хороший поступок, чем выгораживать перед собственной совестью трусливое «себе на уме».

– Не знаю, право, Василий Иваныч, как и...

– Ничего!.. – прервал он Кузьмичева. – Знайте, Андрей Фомич, что Василий Теркин, сдастся мне, никогда не про-

меняет вот этого места (и он приложился пальцем к левой стороне груди) на медный пятак. Да и добро надо помнить! Вы меня понимали и тогда, когда я еще только выслуживался, не смешивали меня с делеческим людом... Андрей Фомич! Ведь в жизни есть не то что фатум, а совпадение случайностей... Вот встреча с вами здесь, на обрыве Откоса... А хотите знать: она-то мне и нужна была!

Порывисто вскочил Теркин.

– Спустимся вниз, в ресторан. Надо нам бутылочку распить...

Кузьмичев от волнения только крикнул по-волжски:

– Айда!

## VI

– Милый, милый!

Серафима целовала его порывисто, глядела ему в глаза, откидывала голову назад и опять принималась целовать.

Они сидели поздним утром на террасе, окруженной с двух сторон лесом... На столе кипел самовар. Теркин только что приехал с пристани. Серафима не ждала его в этот день. Неожданность радости так ее всколыхнула, что у нее совсем подкосились ноги, когда она выбежала на крыльцо, заведя экипаж.

– Сама-то давно ли вернулась? – спросил он после новых, более тихих ласк.

– Я уже три дня здесь, Вася! Так стосковалась, хотела в Нижний ехать, депешу тебе слать... радость моя!

Опять она стала душить его поцелуями, но спохватилась и поднялась с соломенного диванчика, где они сидели.

– Ведь ты голоден! Тебе к чаю надо еще чего-нибудь! Степанида!

Она заходила по террасе около стола. Теплый свет сквозь наружные маркизы ласкал ее гибкий стан, в полосатом батистовом пеньюаре, с открытыми рукавами. Волосы, заколотые крупной золотой булавкой на маковке, падали на спину волнистой густой прядью.

Теркин любовался ею.

Мысль его перескочила быстро к ярмарке, к номеру актрисы Большой, где они, каких-нибудь пять дней назад, тоже целовались... Он вспомнил все это и огорчился тем, что укол-то совести был не очень сильный. Его не бросило в жар, не явилось неудержимого порыва признаться в своем рыхлом, нечистоплотном поведении.

И на эту женщину, отдавшуюся ему так беззаветно, он глядел глазами чувственника. Вся она вызывала в нем не глубокую сердечную радость, а мужское хищное влечение.

Он тотчас же стал внутренне придирается к ней. Ее красота не смиряла его, а начала раздражать. Лицо загорелое, с янтарным румянцем, он вдруг нашел цыганским. Ее пеньюар, голые руки, раскинутые по спине волосы – делали ее слишком похожей на женщину, созданную только для любовных

утех.

Горничной Степаниде, тихой немолодой девушке, Серафима отдала приказание насчет закуски и сейчас же вернулась к нему и начала его тормошить.

– Васюничик мой!.. Пойдем туда, под сосны... Пока тебе подадут поесть... Возьми с собой стакан чаю... Там вон, сейчас за калиткой... На хвое как хорошо!..

Он принял ее слова за приглашение отдаться новым ласкам и не обрадовался этому, а съезился.

– Нет, – ответил он с неискренней усмешкой, побудем здесь... Эх тебе не сидится!

На террасе было очень хорошо. Ее отделял от опушки узкий цветничок. Несколько других дач, по одной стороне перелеска, в полуверсте дальше, прислонились в лощине к опушке этого леса, шедшего на сотни десятин. Он принадлежал казне, дачи были выстроены на свой счет двумя инженерами, доктором да адвокатом. Одного из инженеров перевели, – он уступил свою Теркину еще ранней весной. С тех пор Серафима жила здесь почти безвыездно, часто одна, когда он отлучался неделями. Зиму они проводили то здесь, то там: жили в Москве, в Нижнем, в Астрахани. Скитанье по гостиницам и меблированным комнатам менее ее тяготило, чем одинокое житье на этой даче, в нескольких верстах от богатого приволжского посада, где у нее не было никого знакомых. Ей сдавалось, что Теркин продолжает ежиться от их нелегального положения. Правда, он должен был разъезжать



по своим делам; но ему, видимо, не хотелось устроиться домом ни в Москве, ни в одном из приволжских губернских городов. Он, конечно, боялся за нее, а не за себя. Эта деликатность стесняла ее. Муж ее не преследовал, – кажется, забыл и думать о ее существовании. Его перевели куда-то за Москву. Их никто не беспокоил. Она жила по своему гимназическому диплому. Нигде – ни в Москве, ни в других городах – он не выдавал ее за жену, и это его стесняло.

Серафима недавно, перед тем как он собрался в Нижний, а она к своей матери, сказала ему в шутовском тоне:

– Вася! Ты все еще за меня смущаешься?.. Что я, Анна Каренина, что ли? Супруга сановника? Какое кому дело, венчаны мы или нет и что господин Рудич – мой муж?.. Коли ты в закон вступить пожелаешь, – когда разбогатеет, предложим ему отступного, вот и все!

Он тогда ничего ей не ответил, ни в шутку, ни серьезно; но теперь она ему как-то особенно резко казалась ничуть не похожей на жену всем своим видом и тоном. И он не мог освободиться от этих ненужных и расхолаживающих мыслей.

Вместе с Степанидой что-то принес для стола карлик, в серой паре из бумажной материи, очень маленький, с белокурой большой детской головой, безбородый, румяный, на коротких ножках, так что он переваливался с боку набок.

Ему было уже под тридцать. Звали его Парфен Чурилин. Теркину он понравился в Казани, в парикмахерской, и он его взял себе в услужение. Серафима его не любила и скрывала

это. Она дожидалась только случая, чтобы спустить «карлу». Кухарка уже донесла ей, что он тайно «заливает за галстук», только изловить его было трудно.

– Чурилин! Как изволите поживать? – обратился к нему Теркин, державшийся с ним всегда шуточного тона.

– Слава Богу, Василий Иванович. Благодарю покорно.

Голос у карлика был не пискливый, а низковатый и тусклый, точно он выходил из большого тела.

Чурилин поставил на стол прибор, причем его маковка пришла в уровень с бортом, приковылял к Теркину, еще раз поклонился ему, по-крестьянски мотнув низко своей огромной головой, и хотел приложиться к руке.

– Не надо! – выговорил Теркин и отдернул руку.

В преданность карлика он верил и чувствовал к нему нечто вроде ласковой заботы о собачке, которая с каждым днем все больше привязывается к хозяину.

– Ступай, неси судок, да не растеряй пробки!

Серафима намекала на то, что накануне у него выпала пробка из бутылочки с уксусом. Чурилин, и без того красный, еще гуще покраснел. Он был обидчив и помнил всякое замечание, еще сильнее – насмешку над его ростом. В работе хотел он всегда отличиться дельностью и все исполнял серьезно, всякую малость. И это Теркину в нем очень нравилось.

– Такой карпыш, – говаривал он, – а сколько сериозу! Для него все важно!

Степанида и Чурилин еще раз пришли и ушли. Теркин крикнул даже:

– Довольно! Нечего больше таскать!

Когда они остались вдвоем с Серафимой и она стала наливать ему чай и угощать разной домашней снедью, он ощутил опять неловкость после ее вопроса: «как веселился он у Макария?»

Он стал рассказывать довольно живо про театр, про «Марию Стюарт», про встречу с Усатиным и Кузьмичевым, но про встречу с Большой у молчал, и сделал это уже без всякого колебания.

«Стоит в этом каяться!» – окончательно успокоил он себя.

Разговор с Кузьмичевым он передал подробно; не скрыл и того, что был у судебного следователя по делу о Перновском.

Всю эту историю Серафима слышала в первый раз.

– Ты почему же мне никогда не говорил про это, Вася?.. – спросила она его спокойно, совсем не тоном упрека.

– Почему?.. Да не пришлось как-то!.. Право слово, Сима!.. Все это вышло как раз перед нашей встречей. До того ли мне было!

– Разве мы мало провели времени на «Сильвестре», перед тем как тонуть?..

Этот вопрос вышел у нее уже тревожнее.

– Или, быть может, не хотел тебя смущать, портить первых дней нашего тогдашнего житья... И то, пожалуй, что я не люблю вспоминать про историю моего исключения из гим-

назии...

Из этой истории Серафима знала далеко не все: ни его притворного сумасшествия, ни наказания розгами в селе Кладенце.

– Конечно, конечно!

Глаза ее потускнели. Она потянулась к нему лицом и поцеловала в лоб.

– Только вот что, Вася, – продолжала она потише и вдумчивее, – как бы тебе не впутаться в лишнюю неприятность... Кузьмичев один в ответе.

– Да ведь он и не выгораживает себя.

– Ну, так что ж?..

– Как же ты не хочешь понять, Сима (Теркин начал краснеть)! Я довел Перновского до зеленого змея – это первым делом; а вторым – я видел, как он полез на капитана с кулаками, и мое показание было очень важно... Мне сам следователь сказал, что теперь дело кончится пустяками.

– И ты Кузьмичеву пообещал место?

– Счел это порядочным поступком.

– Да не ты ли говорил как-то, что он хороший малый, но с ленцой?

– У меня будет исправен!

Она замолчала; он видел, что в ней женская «беспринципность» брала верх, и уже не впервые. В его дела она не вмешивалась, но каждый раз, как он вслух при ней обсуждал свои деловые поступки, она становилась на сторону «купец-

кого расчета» и не поддерживала в нем того Теркина, который не позволял ему сделаться бездушным «жохом».

– Эх, Сима! – вырвалось у него. – Растяжимая совесть у вашей сестры!.. Не хочешь понять меня!

– Понимаю! – порывисто крикнула она. – Вася!.. Ты всегда и во всем благороден! Прости!.. Мы – женщины – трусихи!.. За тебя же боюсь...

И она бросилась его целовать, не дала ему доесть куска. Он должен был отвести ее рукой и чуть не подавился.

## VII

– Закормила ты меня, Сима! Кажется, я злоупотребил этим варенцом...

Теркин бросил на стол салфетку и весь потянулся.

– Курить хочешь? Спички есть? Я сейчас принесу...

– Есть, есть!..

Откинувшись на спинку соломенного кресла, он прищурил глаза и ушел взглядом в чащу леса за частокол цветника.

– Экая здесь у нас благодать! – выговорил он тронутым звуком. – А? Сима!..

– Да, милый.

– Ты поддакиваешь, а сдается мне, без убеждения.

– Почему же?

– Не больно ты, Сима, охотница до лесных-то дебрей. Да и насиделась, бедная, в этом захолустье. А меня хлебом не

корми, только пусти в лес. Не знаю сам, право, что ближе моей душе: Волга или лес.

Он раскрыл глаза, – они глядели своими большими темными зрачками, – и ласкал ими стройные, крупные стволы сосен, выходявших из поросли чернолесья: орешника и кустов лесных мелких пород.

– Для этого надо родиться, – тихо ответила Серафима, но не начала жаловаться на скуку, хотя частенько скучала тут, на этой опушке, в его отсутствие.

Ему бы хотелось поговорить на свою любимую тему; он воздержался, зная, что Серафима не может войти в его душу по этой части, что она чужда его бескорыстной любви к родной реке и к лесному приволью, где бы он их не встречал. – Что же ты про матушку-то свою не скажешь мне ничего? Как живет-поживает? Чем занята? Она ведь, сколько я ее по твоим словам разумею, – натура цельная и деятельная.

– Да чт/о, Вася... – Серафима точно прервала себя и присела к нему поближе. – Мама ведь опять к старой вере повернула.

– Чего повертывать? Она и всегда была в ней.

– Они с отцом и со мною, – прибавила она, улыбнувшись, – в единоверии состояли. Ты знаешь?

– А теперь?

– Прежде они ведь беспоповской веры были... Вот старая-то закваска и сказала. От одиночества, что ли, или другое что... только она теперь с сухарниками держится.

– С кем? – переспросил Теркин.

– С сухарниками... Потеха! Это, видишь, такие же беспоповцы... Только у них беглых попов нет... Надоела возня с ними... Дорого стоят, полиция травит, и безобразие от них идет большое.

Теркин слушал с интересом и то и дело взглядывал на Се-  
рафиму. Она говорила с веселым выражением в глазах, и ее  
алый рот складывался в смешливую мину.

– Что же это значит – сухарники?.. Я в толк не возьму...

– погоди, Вася! Я тебе объясню... только все это со сто-  
роны – просто потеха!..

– Почему же потеха? – строже спросил он. – Каждый по-  
своему верит. Лучше это, чем никакого закону не знать и  
никакого предела для того зверя, который в нас сидит.

– Милый! Да ты послушай и говори потом... Разве это не  
жалко: мать – умная женщина, всегда была с царем в голове  
– и вдруг в такое изуверство удариться!

И, не давая ему возразить, она опять с насмешливой ми-  
ной заговорила быстро:

– Сухарники они вот почему. От какого-то старца – там  
где-то на Иргизе или где в другом месте, уж не знаю, – их  
начетчик получил мешочек с сухарями. Ими он причащал.  
Попов, мол, беглых не наберешься, и поверье, мол, такое –  
и сие во спасение...

– Что ж эти сухари-то обозначают?

– Запасные, видишь, дары... Как это называется

– А-а! И потом что?

– Вася! Ты точно сказку слушаешь... Ха-ха!

– Вовсе нет, Сима... Это очень занятно. Я всегда про раскол люблю узнавать.

– Охота!.. Так вот, видишь, старец-то, как помирать стал, и оставил мешочек начетчику, разумеется, мужику... фамилию я забыла... И начал этот мешок с сухариками переходить из рук в руки, от одного начетчика к другому, по завещанию. Разумеется, прежние— то кусочки, от агнца-то, давно перевелись, а только крошки запекали в просвиры и резали потом на новые кусочки и сушили.

– Вот оно что!

– И кому удавалось захватить этот самый мешочек, тот делался столбом благочестия и выше всякого наставника... Вот теперь там, у нас, мешочек хранится у одной старой хрычовки...

– Серафима! Почему же хрычовки?

– Да потому, что я ее знаю. Еще девочкой ее видала... Старушенция-то в девах пребывает... Зовут ее Глафира Властьевна. Простая мещанка; торговлишка была плохенькая, а теперь разжилась. И как бы ты думал... Все их согласие перед ней как перед идолом преклоняется... В молельне земные поклоны ей...

– И мать твоя также?

– И она!.. Ну как же не жалко и не обидно за нее?.. Я было пробовала стыдить ее, так она, кажется, в первый раз в жизни



так рассердилась... Просто вся затряслась... А ты послушай дальше, какие штуки эта баба-яга выделывает...

Серафима встала и начала ходить по террасе, заложив руки за спину. Теркин следил за ней глазами и оставался у стола.

– Что ж делать!.. – выговорил он с жестом головы. – Как ты сказала, Сима: старые дрожжи всплыли... Вероятно, и то, что она тайно считала переход в единоверие изменой и захотела загладить вину и за себя, и за мужа.

– Уж не знаю, Вася; но вот ты сейчас увидишь, до какого безобразия и шутовства это доходит... Как подойдет Великий пост и начнется говенье, у них на каждый день полагается тысячу поклонов...

– Тысячу! – вскричал Теркин.

– А ты как бы думал? И каких! Не так, как у никонианцев (она произнесла это слово, нахмутив нарочно брови), а как следует. Маменька называет: «с растяжением суставов». Понимаешь? ха-ха!..

– Понимаю. Для них это не смешно.

– Ведь она не молоденькая... Ты вот какой у меня богатырь... А положи-ка ты в день тысячу земных поклонов, перебери на лестовках-то, сколько полагается, бубенчиков...

– Каких таких?

– Зарубочек... Ты видал раскольничьи лестовки?

– Как же... У нас в Кладенце тоже ведь беспоповцы...

Чуть ли не по беглому священству.

– Кладут они поклоны... Совсем разомлеют, спину отобьют... Соберутся к исповеди... и причастия ждут... Наставник выйдет и говорит: «Глафира, мол, Власьевна которым соизволила выдать кусочки, а которым и не прогневайтесь...» И пойдут у них вопли и крики... А взбунтоваться-то не смеют против Глафиры Власьевны. Одно средство – ублажить ее, вымолить на коленях, чрез всякие унижения пройти, только бы она смиловалась...

– Неужели и мать твоя таким же манером?

– Она у ней и днюет, и ночует. И меня хотела вести туда, да я прямо отрезала ей: «уж вы меня, маменька, от этих благоглупостей освободите».

– Неужели так и сказала: «благоглупостей»?

– Так и сказала.

– Напрасно.

– Что это, Вася! Ты сегодня точно нарочно меня дразнишь! С какой стати!.. Ты, сколько я тебя понимаю, так далек от подобного дремучего изуверства...

– Это дело ее совести.

Теркин тоже встал, отошел к перилам и сел на них.

– Да ведь досадно и больно за мать!.. Помилуй, она теперь только и спит и видит, как бы ей от Глафиры мешочек достался, когда та умирать станет. Она уж начала ей подарки делать, начетчиков и уставщиков угощает, наверно и денег дает... Я побаиваюсь, чтобы они и совсем ее не обработали... На мельнице арендатор – тоже беспоповец и в молен-

ной у них один из заправил... Хотя ты бы когда заехал, вразумил ее!..

– Нет, Сима, – серьезно и веско сказал Теркин, – я в эти дела вмешиваться не буду. Мать твоя вольна действовать, как ей совесть указывает. По миру она не пойдет... У нас есть чем обеспечить ее на старости.

– И опять же, Вася, она и меня без всякой надобности смущает.

– Чем же? Ведь ты в их согласие не поступишь!

– Не этим, конечно... А насчет все той...

Она запнулась.

– Кого? – недоумевал Теркин.

– Да Калерькиной доли!..

Теркин поморщился.

– Зачем ты, Сима, так называешь Калерию Порфирьевну? Это для тебя слишком... как бы помягче выразиться... некрасиво.

– Ну, хорошо, хорошо! Ты ведь знаешь, что мать была на моей стороне и не допускала, чтобы то, что отец оставил, пошло только ей.

– А теперь, выходит, стала по-другому думать?

– Все из-за святости! Хочет в наследницы к Глафире попасть! Удостоиться быть хранительницей мешочка с сухарями!

– Сима! Так неладно... говорить о матери, которая в тебе души не чаяла. Я ее весьма и весьма понимаю. Она ушла те-

перь в себя, хочет очиститься от всякой греховной нечистоты, от всякого суетного стяжания. Сухарики или другое что, но это протест совести, и мы должны отнестись к нему с почетом. Тут не одно суеверие...

Глаза Серафимы сверкнули. Она остановилась прямо к нему лицом и вскинула по воздуху правой рукой.

– И все это не то! Она и на Калерию-то виды имеет. Надо, мол, ее ублажить, поделиться с ней по–божески, тронуть ее христианской добродетелью и привлечь к своей вере.

– Что ж, каждый фанатик так поступает и чувствует.

– Ты сам говоришь: фанатик!

– Фанатизм-то, умные люди писали, – верх убежденности,

Сима!

– Ах, полно!

Она подошла к нему, опустила на его плечо обе руки, поцеловала его в лоб и затуманилась.

– Да что ж ты так волнуешься? – спросил он довольно ласково.

– То, Вася, что я не хотела нашу встречу расстраивать... и думала отложить неприятный разговор до завтра. А к этому подошло...

– Какой еще разговор?

– Я здесь письмо нашла, когда вернулась. От нее.

– От кого?

– Да от Калерии же. Изволит извещать о своем приезде.

– Вот как!

Теркин поднялся и отошел к ступенькам террасы.

– Сима! – окликнул он. – Покажи мне это письмо, если там особых тайн нет.

– Изволь! Хоть сейчас! Лучше уж это поскорее с плеч спустить!

Она побежала в комнаты.

## VIII

Между краснеющими стволами двух сосен, у самой калитки, вделана была доска для сиденья. Теркина потянуло туда, в тень и благоухание.

Он быстро спустился с террасы, пересек цветник, вошел в лес и присел на доску. Серафима его увидит и прибежит сюда. Да тут и лучше будет говорить о делах – люди не услышат.

Это была его первая мысль, и она его ударила в краску.

Сейчас же недовольство, похожее на нытье зубов, поднялось у него на сердце. То, что и как ему говорила Серафима, по поводу этого письма Калерии, ее тон, выражение насчет матери – оставили в нем тошный осадок и напомнили уже не в первый раз тайное участие в ее поступке с двоюродной сестрой.

Чего же выгораживать себя? Он – ее сообщник. Она ему отдала две трети суммы, завещанной стариком Беспаловым своей племяннице. Положим, он выдал ей вексель, даже настоял на том, зимой; но он знал прекрасно, откуда эти день-

ги. Имел ли он право распорядиться ими? Ведь она ничего не писала Калерии. Целый почти год прошел с того времени, и он не спросил Серафимы, знает ли Калерия про смерть дяди, писала ли ей она или мать ее?

Какого же еще сообщничества?

Его глаза затуманенным взглядом остановились на фасаде дачи, построенной в виде терема, с петушками на острых крышах и башенкой, где он устроил себе кабинет. Ведь здесь они не живут, а скрываются. И дела его пошли бойко на утаенные деньги, и та, кого считают его женой, украдена им у законного мужа.

«Воровская жизнь!»

Эти два слова выскочили в его голове сами собой, как ясный отклик на тревогу совести.

«Да, воровская!» – повторил он уже от себя и не стал больше прибегать ни к каким «смазываниям» – так он называл всякие неискренние доводы в свое оправдание.

«Надо очиститься – и сразу!» – решил он без колебаний, и такое быстрое решение облегчило его, высвободило сразу из-под несносной тяжести.

В дверях террасы показалась Серафима. Она торопливо оглянулась вправо и влево, не нашла его, прищурилась, ища его глазами в цветнике.

Ее гибкий стан стал пышнее, волосы, закинутые на спину, давали ее красоте что-то и вызывающее, и чрезвычайно живописное. В другое время он сам бы бросился к ней целовать

ее в искристые чудные глаза.

В ту минуту он нисколько не любовался ею. Эта женщина несла с собою новую позорящую тревогу, неизбежность объяснения, где он должен будет говорить с нею как со своей сообщницей и, наверно, выслушает от нее много ненужного, резкого, увидит опять, в еще более ярком свете, растяжимую совесть женщины.

И едва ли не впервые сознал он, что красота еще не все, что чувственное влечение не владеет им всецело.

– Где ты? – окликнула Серафима со ступенек террасы.

– Здесь, на завалинке! В лесу!

– Отличное место!

Она скоро подошла, легко скользя подъемистыми ногами, в атласных туфлях, по мягкой хвое, поцеловала его в волосы.

– Подвинься! Будет места и на двоих.

Двоим было так тесно, что ее плечо плотно уперлось в его грудь.

Он опустил глаза и проговорил очень тихо:

– Нашла письмо?

– Вот оно.

Она держала письмо в левой руке, высвободила правую и развернула листок, в осьмушку, исписанный крупным, разгонистым, скорее мужским почерком.

– Хочешь, прочту? – спросила она.

– Зачем! Я сам.

Руки Калерии он до тех пор не видал. Разбирал он ее сво-

бодно. Серафима положила голову на его левое плечо и следила глазами вдоль строк, перечитывая письмо уже в четвертый раз.

– Видишь, Вася, от великих-то идей сестрица грамотности все-таки не добыла. Пишет «пуститься в путь» без мягкого знака в неопределенном наклонении.

– Ах, Сима!

Теркин мотнул головой.

«Этакая у женщин злоба!» – подумал он.

Замечание Серафимы было слишком уж невеликодушно. Придираться к ошибке, да еще к такой мелкой и в письме, где он с первых же строк распознавал отличного «человека»! Калерия писала просто, без всяких подходов и намеков, извещала о своей поездке на Волгу. Оказывалось из этого письма, что тетка написала ей о смерти старика Беспалова несколько месяцев позднее. Она, должно быть, со стороны слышала, что ей достались какие-то деньги, бывшие в делах у дяди после отца; но она на этом не останавливалась, как на главном содержании своего письма. Скорее, она мечтала о чем-то, завести что-то такое на родине, для чего надо бы раздобыться небольшим капиталом. Ей очень хотелось навестить и тетку, – той она писала в один день с Серафимой. Видно было, что ей известна история двоюродной сестры; и опять-таки никаких нескромностей не было в письме, ни фраз дешевого либеральничанья.

Теркин ожидал чего-нибудь слащавого, поучительного и



вместе с тем на евангельский манер – и этого не оказалось. Так могла писать только искренняя, добродушная женщина, далеко не безграмотная, хотя и не твердая в мягких знаках.

Он довольно долго читал все четыре страницы и на некоторых строках останавливался. За ним нетерпеливо следила Серафима.

– Значит, – выговорила она, поднимая голову с его плеча. – Калерия Порфирьевна пожелует сначала сюда, а потом последует к мамаше.

– Может, завтра будет в Посаде, коли выехала в тот самый день, как назначила себе.

– И вдруг здесь плюхнется гостить! – вырвалось у Серафимы.

Слово «плюхнется» заставило его поморщиться.

– Как же нам ее не принять? – спросил он серьезно, и по его глазам Серафима увидела, что он совсем не в таких чувствах, как она.

– Мне пускай, – только где же мы ее поместим?

– А наверху? Там ведь есть целая комната.

– Наверху – ты...

– Что ж из этого?

Взгляд его договорил: «неужели ты не понимаешь, как мне не нравится твое поведение?»

Теркин встал, отстранил ее слегка плечом и отошел к следующему стволу.

– Нешто это удар грома, что ли, приезд Калерии Пор-

фирьевны?.. К нему надо было готовиться. Да, судя по ее письму, она совсем не такая особа, чтобы бояться от нее каких-нибудь каверз.

– В тихом омуте...

– Полно, Серафима! Это наконец некрасиво! На что ты злишься? Девушка нас любит, ничего не требует, хочет, видимо, все уладить мирно и благородно... а мы, – я говорю: мы, так как и я тут замешан, – мы скрыли от нее законнейшее достояние и ни строчки ей не написали до сегодня. Надо и честь знать.

Пальцы правой руки его нервно начали отковыривать кору сосны.

Серафима тоже поднялась. Ее глаза заблестели. На щеках явилось по красноватому пятну около ушей.

– Так, по-твоему, выходит, – начала она глухо, как будто у нее перехватывало в горле, – мы обязаны ей в ножки хлопнуться, как только она вот на эту террасу войдет, и молить о помиловании?

– Повиниться надо, первым делом!

– Глупости какие!

– Не глупости, Серафима, не глупости! – голос его звучал строже. – Это дело нашей совести попросить у нее прощения; мать твоя, наверно, так и поступила; но тут я замешан. Я сознательно воспользовался деньгами, взял их у тебя, выдал документ не ей, не Калерии Порфирьевне, а тебе, точно ты их собственница по праву. Беру всю вину на себя... и деньги

эти отдам ей, а не тебе, – не прогневайся!

– Где ты их возьмешь? Есть ли они у тебя вот в настоящую минуту?.. Из десяти с лишком тысяч, чт/о у меня на руках остались, одной трети даже нет. – Додадим!

– Додашь три-четыре тысячи, а не двадцать!.. Что ты хохоришься, Вася! У тебя капитала нет, и все твои новые дела держатся пока одним кредитом!

– Мало ли что! Заложу «Батрака». Он у меня чистый... Предложу пока документ. Не бойся, тебя не выдам; прямо скажу ей, что ты, по доброте ко мне, ссудила меня. – Чужими деньгами!.. Не хочу я этого! Ни за что! Чтобы Калерия сочла тебя за какого-то темного афериста и меня же стала жалеть да на благочестивую жизнь сбивать?.. Ты не имеешь права так грязнить себя перед ней... И все из-за чего? Из какой-то нелепой гордости! Это фордыбаченье называется, а не честность! Мамаша тоже от себя подбавит. Разрюмится над Калерией, повинится ей, чтобы ей самой легче было свое скитское покаяние приносить... Потом у Калерии выманит тышчонку-другую на какую-нибудь богадельню для беспоповских старух, выживших из ума!.. В вас изуверство, а не любовь. Не умеете вы любить! Вот что!

Грудь ее пошла волнами, руки выделявали круги в воздухе, волосы совсем распустились по плечам.

– Сима! – сказал Теркин строго, стоя все еще у дерева. – Совести своей я тебе не продавал... Мой долг не только самому очиститься от всякого облыжного поступка, но и тебя

довести до сознания, что так не гоже, как покойный батюшка Иван Прокофьич говорил в этаких делах.

– Не бывать этому! Не бывать! Я не позволю тебе срамиться перед Калерькой!

Не желая разрыдаться перед ним, Серафима побежала к террасе и не заметила, как выронила из рук письмо Калерии.

Теркин увидел это, тихо подошел, поднял, сел опять на доску и стал вчитываться в письмо – и ни разу не взглянул вслед своей подруге.

## IX

На полпути лесом расплылась глинистая разъезженная дорога. Глубокие колеи шли по несколько в ряд. Справа и слева вились тропки между порослями рябины и орешника.

По одной из тропок Теркин шел часу в шестом вечера. Жар еще не спадал. День, хоть и в августе, задался знойный.

За ранним обедом они опять крупно поговорили с Серафимой. Она не сдавалась. Ее злобу к Калерии нашел он еще нелепее, замолчал к концу обеда, поднялся к себе наверх, где не мог заснуть, и ушел в лес по дороге в деревню Миرونку, куда он давно собирался. Узнал он в Нижнем, что там в усадьбе проводит лето жена одного из пайщиков его парходного товарищества.

Он очень бы рад просидеть там весь вечер, если застанет то семейство, и вернуться попозднее.

Стычка с Серафимой – по счету первая за весь год. Это даже удивило его. Значит, он сам сильно опошлел, и ей не в чем было уступать ему или противоречить. Не раздражение запало в нем, а тяжесть от раздумья. Он поступит так, как сказал еще утром. Никакой стачки, никакого «воровского» поступка он не допустит. В этом ли одном дело?

Сегодня он зачужал ясно свое душевное одиночество. Серафима – его любовница, но не подруга. Из двоих Теркиных, что борются в нем беспрестанно, она не поддержит того, который еще блюдет свою совесть.

В Серафиме начинал он распознавать яркий образец теперешней «распусты» (это слово он употребил не в первый раз сегодня, а выучился ему у одного инженера, когда ходил в нарядчиках). Он – крестьянский приемыш. Она – дочь таких же мужиков, пробравшихся в купечество, да еще раскольников. А что они из себя представляют? Их обоих кинула нынешняя жизнь в свалку и может закрутить так, что и на каторге очутишься.

Не уголовщины он боится. Он себя самого ищет; не хочет он изменять тому, что в него своим житьем вложил отец его по духу, Иван Прокофьев Теркин. Голос правды всегда поднимается в нем вместе с образом покойного. Его рослая и своеобразная фигура всплывает перед ним, и он точно слышит его речь с волжским оканьем, с раскатами его горячих обличений и сетований на мирскую неправду, на хищную «мразь», овладевающую всем. Себя самого разглядыв-

вать трудно. На живом существе, с которым связал себя, выходит яснее. Года достаточно было, чтобы распознать в Серафиме кровное дитя всеобщей русской «распусты». Она его страстно любит – и только. Эта любовь едва ли пересоздаст ее. Ни разу не начала она с ним говорить о своей душе, на чем держится ее жизнь, есть ли у нее какой-нибудь «закон» – глупый или умный, к какому исходу вести житейскую ладью, во что выработать себя – в женщину ли с правилами и упованиями или просто в бабенку, не знающую ничего, кроме своей утехи: будь то связь, кутеж, франтовство или другая какая блажь.

Да, она – кровное дитя распусты, разлившейся по нашим городам. Ее такую сделал теперешний губернский город, его кутежи, оперетка, клубы, чтение всякого грязного вздора, насмешки над честностью, строгими нравами, родительской властью, над всем, что нынче каждый карапузик гимназист называет «глупым идеализмом». Студенты – такого же сорта. От мужчин – офицеров, адвокатов, чиновников, помещиков девочка – подросток научается всяким гадостям, привыкает бесстыдно обращаться с ними, окружена беспрестанными скандалами, видит продажность замужних жен, слушает про то, как нынче сходятся и расходятся мужья и жены, выплачивают друг другу «отступное», выходят снова замуж, а то так и после развода возвращаются к прежней жене или мужу.

Развод! Серафима за целый год ни разу серьезно не разо-

брала с ним своего положения. Каков бы ни был ее муженек, но ведь она убежала от него; нельзя же им без сроку состоять в такой «воровской жизни», как он сегодня про себя выразился там, в лесу, перед калиткой палисадника. Она не хочет приставать к нему, впутывать его в счеты с мужем, показывает бескорыстие своей страсти. Положение-то от этого не меняется. Надо же его выяснить, и ему первому не след играть роль безнаказанного похитителя чужих жен.

Значит, надо прикрыть все браком?

Этого вопроса он не испугался. Он пошел бы на женитьбу, если б так следовало поступить. Зачем обманывать самого себя?.. И в брачной жизни Серафима останется такою же. Пока страсть владеет ею – она не уйдет от него; потом – он не поручится. Даже теперь, в разгаре влечения к нему, она не постыдилась высказать свое злобное себялюбие. Предайся он ей душой и телом – у него в два-три года вместо сердца будет медный пятак, и тогда они превратятся в закоренелых сообщников по всякой житейской пошлости и грязи.

От раздумья лицо Теркина бледнело. Он шел по лесной дорожке замедленным шагом. Не мог он отрешиться от надвигавшихся на него грозных итогов и не решался еще ни на какой бесповоротный приговор.

К красивой и пылкой женщине он еще не охладел как мужчина. Да и человеку в этой женщине он хотел бы сочувствовать всем сердцем. И не мог. Она его не согревала своей страстью. Точно он уперся сегодня об стену.

Часам к шести Теркин вышел на опушку. Перед ним на много десятин легла порубка и обнимала горизонт. За мелкими кустами и рядом срубленных пней желтело жнивье, поднимавшееся немного на пригорок.

Эта порубка вывела его сразу из раздумья. Ему стало жалко леса, как всегда и везде. Минуту спустя он сообразил, что, вероятно, эта порубка сделана правильно. Он даже слышал про это от своего кучера. Лес был казенный и шел на десятки верст наполовину хвойный, наполовину чернолесье, к тому краю, где он теперь шел.

Его отклонило в сторону заветной мечты; наложить руку на лесные уголья, там, в костромских краях. Ему вспомнилась тотчас же усадьба с парком, сходящим к Волге, на которую он глядел несколько часов жадными глазами с колокольни села, куда отец возил его.

Все это еще не ушло от него. Устья и верховья Волги будут служить его неизменной идее – бороться с гибелью великой русской реки.

И эти же бодрящие мысли вернули его опять к своей связи с Серафимой. Начинал он при ней мечтать вслух о том же, она слушала равнодушно или видала в этом только хищнический барыш, алчное купецкое чувство наживы или тщеславие.

Он миновал порубку и вышел на старую опушку леса. Тут проселок врезался между двумя жнивьями. Слева давно уже сжали рожь; направо, несколько подальше, сизыми волнами



протянулось несколько загонов ярового.

На одной полосе уже началось жнитво. Две бабы, в рубахах и повойниках, ныряли в овес, круто нагиная спины, и взмахивали в воздухе серпами.

Так они работали наверно с пятого часа утра. Одна из них связала сноп, положили его к остальной копне, выпрямила спину и напилась чего-то из горшка.

Солнце жаркого заката било ей прямо в лицо, потное и бурое от загара.

Опять жнитво с бабами отнесло его к детству в том селе Кладенце, которое ему давно опостылело.

«Вот она, страда!» – подумал он и остановился на перекрестке, откуда жницы виднелись только своими согнутыми спинами.

Жалость, давно заснувшая в нем, закралась в сердце, – жалость все к той же мужицкой доле, к непосильной работе, к нищенскому заработку. Земля тощая, урожай плохой, сжатые десятины ржи кажут редкую солому; овес, что бабы ставят в копны, низкий и не матерый.

Все та же тягота!

Его потянуло в деревню. Дороги он не знал как следует. Она должна лежать на берегу речки, левее, а внизу, по ту сторону моста, село и церковь. Так рассказывал ему кучер.

С перекрестка Теркин взял вправо, прошел с полверсты, стал оглядываться, не видать ли где гумен, или сада, или крыши помещичьего дома. Говорили ему, что перед дерев-

ней идет глубокий овраг с дубовым леском.

Ничего не было видно. Теркин прошел еще сажень со сто. На озимой пашне работал мужик. Стояла телега. Должно быть, он сеял и собирался уже шабашить.

Он начал его звать. Мужик, молодой парень в розовой рубахе и сапогах, не сразу услышал его, а скорее заметил, как он манит его рукой.

Мужик подбежал без шапки.

– Как пройти в Мироновку? – спросил Теркин.

Тот начал сильно вертеть ладонью правой руки, весь встряхивался и мычал.

Он набрел на глухонемого.

– Ну, ладно! Не надо! Извини! – выговорил Теркин, и ему стало как бы совестно за то, что он подзывал этого беднягу.

«А ведь она мучится! – подумал он тотчас после того. – И то сказать, мне не пристало нервничать, как барышне. Я должен быть выше этого!»

В Мироновку он так и не попал, а пошел назад, к порубке. Ходьбы было не больше часа. В восьмом часу к чаю он будет на даче. Глухонемой поглядел на него удивленными и добрыми глазами и вернулся к телеге.

## Х

– Куда Василий Иваныч пошел, в какую сторону?

Серафима спрашивала карлика Чурилина на крыльце, со

стороны ворот.

Тот шел из кухни, помещавшейся отдельно во флигельке.

– Не могу знать, Серафима Ефимовна.

Чурилин заслонил себе глаза детской своей ручкой и тотчас же начал краснеть. Он боялся барыни и ждал, что она вот-вот «забранится».

– Как же ты не знаешь? Кто-нибудь да видел.

– Степанида Матвеевна, может, видели?

– Нет, не видала... Кучер где?

– Кучера нет... повел лошадей на хутор – подковать, никак.

– Ах ты, Господи!

Через переднюю и гостиную Серафима выбежала на террасу, где они утром так целовались с Васей.

Он скрылся. Никто не видал, куда он пошел по дороге, к посадке или лесом.

Внутри у ней все то кипело, то замирало... Она в первый раз рыдала в спальне, уткнув голову в подушки, чтобы заглушить рыдания.

За обедом Вася не сказал ей ни одного ласкового слова. Протяни он ей руку, взгляни на нее помягче, и она, конечно бы, «растаяла».

Потом, когда она выплакалась, то подумала:

«Оно, пожалуй, и лучше, что за столом не вышло примирения».

Она не может уступить ему, не хочет, чтобы он выказал се-

бя перед той «хлыстовской богородицей», – она давно так зовет Калерию, – жуликом, вором, приносил ей такое же «скитское покаяние», о каком теперь сокрушается ее мать, Матрена Ниловна.

Но вот уже больше получаса, как она затосковала по Васе, поднималась к нему наверх, сбежала вниз и начала метаться по комнатам... Страх на нее напал... Мелькнула мысль, что он совсем уйдет, не вернется или что-нибудь над собою «сотворит».

На террасе она ходила от одних перил к другим, глядела подолгу в затемневшую чашу, не вытерпела и пошла через калитку в лес и сейчас же опустилась на доску между двумя соснами, где они утром жались друг к другу, где она положила свою голову на его плечо, когда он читал это «поганое» письмо от Калерии.

Опять начало сжимать ей горло. Сейчас заплачет.

«Нет, не надо! Не стоит он!»

Она сдержала себя, встала и тихими шагами пошла бродить по лесу, вскидывая глазами то вправо, то влево: не мелькнет ли где светлый костюм Василия Иваныча.

Страх за него, как бы он не сгинул, сменили обида и обвинение в чем-то вроде измены.

«Ну, положим, – говорила она мысленно, – мы с матерью удержали Калерьины деньги; но почему? Потому что мы считали это обидным для нас. Опять же я никогда не говорила ему, что Калерия из этого капитала не получит ни ко-

пейки!.. Поделись! Вот что!..»

На такой защите своего поведения Серафима запнулась.

«Я ее не уведомила о наследстве, – продолжала она перебирать, – да, не уведомила. Но дело тут не в этом. Ведь он-то небось сам знал все отлично: он небось принял от меня, положим, займы, двадцать тысяч, пароход на это пустил в ход и в год разжился?.. А теперь, нате-подите, из себя праведника представляет, хочет подавить меня своей чистотой!.. Надо было о праведном житье раньше думать, все равно что маменьке моей. Задним-то числом легко каяться!»

Эти доводы казались ей неотразимыми.

Как же не обидно после того, что он разом и называет себя ее «сообщником», и хочет выдать ее Калерии, а себя выгородить, чтобы она же перед ним умилилась, какой он божественный человек!

Из этого круга выводов Серафима не могла выйти. Она его любит, душу свою готова положить за него, но и он должен поддерживать ее, а не предавать... И кому? Калерье!

«Муж да жена – одна сатана», – вспомнила Серафима свою поговорку и весь разговор на даче под Москвой, когда она рассеяла все его тогдашние щепетильности и уредила взять у нее двадцать тысяч и ехать в Сормово спускать пароход «Батрак».

Кажется, благороднее было бы упереться тогда, оставить пароход зазимовать в Сормове и раздобыться деньгами на стороне.

Начало свежить, пошли длинные тени... Она все еще бродила между соснами. Опять тоска стала проползать ей в грудь. Куда идти ему навстречу?.. К Мироновке? Он, кажется, говорил что-то про владельцев усадьбы.

Невыносимо ей делалось так томиться. Она вошла в комнаты. Гостиная, как и остальные комнаты, осталась в дереве, с драпировками из бухарских бумажных одеял, просторная, с венской мебелью. Пианино было поставлено в углу между двумя жардиньерками.

Запах сосновых бревен освежал воздух. Серафима любила эту комнату рано утром и к вечеру.

Нервно открыла она крышку инструмента, опустилась на табурет и начала тихую, донельзя грустную фразу.

Это было начало тринадцатого ноктюна Фильда. Она знала его наизусть и очень давно, еще гимназисткой, когда ей давал уроки старичок пианист, считавшийся одним из последних учеников самого Фильда и застрявший в провинции. Тринадцатый ноктюн сделался для нее чем-то символическим. Бывало, когда муж разобидит ее своим барством и бездушием и уедет в клуб спускать ее приданные деньги, она сядет к роялю и, часто против воли, заиграет этот ноктюн.

Звуки плакали под вздрагивающими пальцами Серафимы... Как будто они ей самой пророчили черную беду-разрыв с Васей, другую, более тяжелую измену...

Она рада бы была прервать надрывающую мелодию, та-

кую простую, доступную всякой начинающей девочке, – и не могла. Звуки заплетались сами собою, заставляли ее плакать внутренне, но глаза были сухи. В груди ныло все сильнее.

– Барыня! – окликнула ее сзади из двери Степанида.

– Что тебе?

– Где накрывать прикажете к чаю? Тут или на балконе?

– На балконе!.. Только сделай это одна... без карлы.

И она осталась за пианино, дошла до конца ноктюрна и снова начала нестерпимо горькую фразу.

В дверях террасы вдруг стала мужская крупная фигура.

Первое ее движение было броситься к нему на шею. Что-то приковало ее к табуретке. Теркин подошел тихо и положил руку на верх пианино.

– Что это тебе вздумалось... такую заунывную вещь?

При нем она никогда этого ноктюрна не играла.

– Так, – ответила она чуть слышно, встала и закрыла тетрадь нот. – Ты в лесу гулял, Вася?

– Хотел в Мироновку, да заплутался.

Он рассказал ей случай с глухонемым мужиком.

– Хочешь чаю?

– Хочу.

За чаем они сидели довольно долго. Разговор шел о посторонних предметах. Он много курил, что с ним случалось очень редко; она тоже выкурила две папиросы.

Несколько раз у нее в груди точно что загоралось вроде искры, и она готова была припасть к нему на плечо, ждать

хоть одного взгляда. Он на нее ни разу не поглядел.

– Ты, я думаю, устал с дороги... да еще сделал верст двенадцать пешком.

– Да... я скоро на боковую!

– Наверху тебе все приготовлено, – выговорила она бесстрастно и встала.

В башенке он спал в очень теплые ночи, но постель стояла там всегда, и он там же раздевался. Он делал это «для людей», хотя прислуга считала их мужем и женой.

– Хорошо... Спасибо!.. И тебе, я думаю, пора бай-бай!..

Никогда он не прощался с ней простым пожатием руки.

Наверху в башне Теркин начал медленно раздеваться и свечи сразу не зажег. В два больших окна входило еще довольно свету. Было в исходе десятого часа.

В жилете прилег он на маленькую кушетку у окна, около шкапа с платьем, и глядел на черно-синюю стену опушки вдоль четырех дач, вытянувшихся в линию.

Ко сну не клонило. Его натура жаждала выхода. Он выбранил себя за малодушие. Надо было там внизу за чаем сказать веско и задушевно свое последнее слово и привести ее к сознательному желанию загладить их общую вину.

По лесенке проскрипели легкие и быстрые шаги.

– Вася!

Она уже обвилась вокруг него и целовала ему глаза, плечи, шею, руки.

– Как ты велишь, так и сделаю!.. Господи!.. Только не сра-



ми себя... Не начинай первый! Дай мне поговорить с ней!.. Радость моя!.. Не могу я так... Убей, но не мучь меня!

Он поцеловал ее в губы. Серафима почти лишилась чувств от безумной радости.

## XI

Из-под опущенных занавесок утро проникло в башенку, и луч солнца заиграл на стене.

Теркин проснулся и стал глядеть на зайчики света, бегавшие перед ним. Он взглянул и на часы, стоявшие на ночном столике. Часы показывали половину седьмого.

Первая его мысль, когда сон совсем слетел с него, была Калерия.

Третий день живет она у них, там, внизу, в угловой комнате. Приехала она под вечер, на другой день после их размолвки с Серафимой и примирения здесь, на том диванчике. Серафима умоляла его не «виниться первому»; он ее успокоивал, предоставил ей «уладить все».

После обеда явилась Калерия неожиданно, в тележке, прямо с пристани, с небольшим чемоданчиком, в белой коленкоровой шляпе и форменном платье «сестры», в пелеринке, даже без зонтика в руках, хотя солнце еще припекало.

Он не видал раньше ее фотографии; представлял себе не то «растрепанную девулю», не то «черничку». Чтение ее письма дало ему почуять что-то иное. И когда она точно

выплыла перед ним, – они сидели на террасе, – и высоким вздрагивающим голосом поздоровалась с ними, он ее всю сразу оценил. Ее наружность, костюм, тон, манеры дышали тем, что он уже вычитал в ее письме к Серафиме.

Та немного опешила, но тотчас же бойко и шумно заговорила, поцеловалась с нею, начала расспрашивать и угощать. Родственных нот он не слышал под всем этим.

Ею Серафима назвала Калерии прости «Вася», ничего к этому не прибавила. Калерия поглядела на него своими ясными глазами и пожала руку.

Вечер прошел в отрывочном разговоре. Калерия расспрашивала о покойном дяде, о тетке; о муже Серафимы не спросила: она его не знала. Серафима вышла замуж по ее отъезде в Петербург.

И вчера он только присутствовал при их разговорах, а сам молчал. Калерия много рассказывала про Петербург, свою школу, про общину, уход за больными, про разных профессоров, медиков, подруг, начальников и начальниц, и только за обедом вырвалось у нее восклицание:

– Хочется мне у нас на Волге хоть что-нибудь завести... в самых скромных размерах.

На денежные дела – ни малейшего намека.

После обеда он нарочно поехал на пристань, чтобы дать им возможность остаться наедине и перетолковать о наследстве.

Вернулся он к вечернему чаю, застал их в цветнике и не

мог догадаться, было ли между ними объяснение или нет.

Когда он уходил к себе наверх, Серафима шепнула ему:  
– Не волнуйся ты, Бога ради, все наладится!

Но она не прибавила, что Калерия уже знает «про все».

И у себя наверху он не мог заснуть до второго часа ночи, ходил долго взад и вперед по своей светелке, курил, медленно раздевался и в постели не смыкал глаз больше двух часов; они пошли спать около одиннадцати.

Серафима никогда ни одним словом не обмолвилась ему с самого их разговора на свидании у памятника, год тому назад, какой наружности Калерия.

Называла ее «хлыстовская богородица», но в каком смысле, он не знал.

И весь облик Калерии, с первой минуты ее появления, задел его, повеял чем-то и новым для него, и жутким. Ханжества или сухой божественности он не распознавал. Лицо, пожалуй, иконописное, не деревянно-истовое, а все какое-то прозрачное, с удивительно чистыми линиями. Глаза ясные-ясные, светло-серые, чисто русские, тихо всматриваются и ласкают: девичьи глаза, хоть и не такие роскошные, бриллиантовые, как у Серафимы.

И стан прекрасный, гибкий. Худощавость и высокий рост придают ей что-то воздушное.

Но это все – наружность. Ее разговор совсем особенный. Видно, что никаких у нее суетных помыслов; вся она – в тихом, прочном стремлении к добру, к немощам человека. Это

не рисовка.

Не будь тут Серафимы, он не выдержал бы, взял бы ее за руку, привлек бы к себе как сестру и излил бы ей всю душу сразу, без всяких подходов и оговорок.

Конечно, Серафима если в чем и призналась ей, то облыжно, с выгораживанием и его, и себя, так чтобы все было «шито-крыто» и кончилось, до поры до времени, платежом процентов с двадцати тысяч и возвращением Калерии тех денег, которых она не истратила.

И во сне-то он видел ее, Калерию, в длинном белом хитоне, со свечой в руках.

Лицо у нее точно озарено изнутри розовым светом, и волосы каштановые, с золотистым отливом, – такие, какие у нее в самом деле, – распущены по плечам.

Он вскочил с постели и начал торопливо умываться и одеваться. Вчерашняя ночная тревога не проходила.

Не хочет и не может он провести еще день без того, чтобы не поговорить с Калерией начистоту от всего сердца. Не должен он позволять Серафиме маклачить, улаживать дело, лгать и проводить эту чудесную девушку.

К чему это? Он все возьмет на себя. Да он и должен это сделать. Положим, ему известно было и раньше, до того дня, когда стал колебаться: брать ему или нет от Серафимы эти двадцать тысяч; ему известно было, что они с матерью покривили душой, не отослали сейчас же Калерии оставленного ей стариком капитала, не вызвали ее, не написали обо

всем. Но ведь любовь к нему Серафимы доделала остальное. Ему она предложила деньги. Они могли и пропасть, пароход мог сгореть или затонуть. Он был бы банкрот. Уж, конечно, она не стала бы взыскивать с него, да и документ-то он ей выдал только зимой, пять месяцев позднее спуска в воду «Батрака».

Серафима умоляла его «не виниться перед Калерией»...

Мало ли чт/о!.. Это – жалкая злоба, дьявольское самолюбие, бессмысленное высокомерие, щекотливость женщины, смертельно не желающей, чтобы ее Вася поступил как честный человек, потому только, что он ее возлюбленный и не смеет «унизить» себя перед ненавистной ей девушкой.

Ненавистной! Почему? Это просто закоренелость. Чем же она выше после того самой порочной женщины?.. Вчера он наблюдал ее. Ни одного искреннего звука не проронила она, ни в чем не выдала внутреннего, хорошего волнения, сознания своей вины перед Калерией.

Он раздвинул занавески и отворил окно.

Садик и лес пахнули на него запахом цветов и хвои. Утро стояло чудное, теплое, со свежестью лесных теней.

Внизу в зале часики пробили семь. Серафима, конечно, спит. Он мог бы тихонько спуститься и пройти к ней задним крыльцом.

Зачем пойдет он к ней?.. Целоваться? Не желает он, ни капельки не желает. Ему и вчера сделалось почти стыдно, когда Серафима при Калерии чмокнула его в губы. Чуть-чуть

не покраснел.

Переговорить с Серафимой о Калерии? Допросить ее: было ли у них вчера без него объяснение? Знать это ему страстно хотелось.

Серафима способна солгать, уверить его, что все обделано. Он не поручится за нее. В ней нет честности, вот такой, какую дышит та – «хлыстовская богородица».

Это пошлое прозвище – пошлое и нелепое – пришло ему на память так, как его произносила Серафима, с звуком ее голоса. Ему стало стыдно за нее и обидно за Калерию.

Из-за чего будет он подчиняться? Молчать? Когда вся душа вот уже второй день трепещет... Никто не может запретить ему во всем обвинить себя самого. Но допустит ли его Серафима до разговора с глазу на глаз с Калерией?

Вот еще вздор какой! Разве он так гнусно обабился?

Теркин выглянул в окно. Показалось ему, что между деревьями мелькнуло что-то белое.

«Серафима? – подумал он тотчас же и даже подался головой назад. – Не спится ей... Все та же злобная тревога и чувственная неугомонность».

Обыкновенно она вставала поздно, любила валяться в постели... А тут ее могла поднять боязнь, как бы Калерия не вышла раньше ее и не встретилась с ним.

Все-таки семь часов для нее слишком рано.

Опять между розовато-бурыми стволами сосен что-то проболело.

– Да это она! – вслух выговорил он и весь захолодел.

Она, Калерия, в кофте, без платка на голове, с распущенными волосами, так, как он видел ее во сне. Это даже суеверно поразило его.

Ходит с опущенной головой, чего-то ищет в траве.

Неужели грибов? Не похоже на нее.

Это она, она! Лучше минуты не найдешь. Но она в кофте и юбке! Хорошо ли захватить ее в таком виде? Девушку, как она?

Ничего!.. Она должна быть выше всего этого. Сколько она видела уже всяких больных, мужчин обнаженных... К ней ничего не пристанет.

«Окликну ее! – стремительно подумал он. – И погляжу, как она: стеснится или нет?»

– Калерия Порфирьевна! – пустил он, высунувшись из окна, громким шепотом.

Серафима не могла услышать: спальня выходила на другой фасад дома.

Звук дошел до Калерии. Она выпрямилась, подняла голову, увидела его, немножко, кажется, встрепенулась, но потом ласково поклонилась и никакого смущения не выказала.

– С добрым утром! – выговорила она, или, по крайней мере, ему послышались эти слова.

Стремительно сбежал он в цветник.

## ХII

Он стоял перед ней у тех самых сосен, где была вделана доска, и жал ее руку.

В другой она держала пучок трав и корешков.

– Простите, Бога ради, Калерия Порфирьевна: захотелось пожелать вам доброго утра.

Ее светлые глаза говорили:

«Что ж, я ничего, рада вас видеть».

– И вы меня извините, Василий Иванович. Мы здесь по-деревенски. Я и волосы не успела уладить, так меня потянуло в лес.

– Вы что ж это собирали?.. Я сначала подумал – грибы?

– Нет, так, травки разные, лекарственные... Там, по летам, около Питера приучилась.

Ее художавый стан стройно колыхался в широкой кофте, с прошивками и дешевыми кружевцами на рукавах и вокруг белой тонкой шеи с синими жилками. Такие же жилки сквозили на бледно-розовых прозрачных щеках без всякого загара. Чуть приметные точки веснушек залегли около переносицы. Нос немного изгибался к кончику, отнимая у лица строгость. Рот довольно большой, с бледноватыми губами. Зубы мелькали не очень белые, детские. Золотистые волосы заходили на щеки и делали выражение всей головы особенно пленительным.



Все ее целомудренное существо привлекало его еще сильнее, чем это было и вчера, и третьего дня, в тени и прохладе леса, на фоне зелени и зарумяненных солнцем могучих сосновых стволов.

– Рано встаете? – спросил он.

– И зимой, и летом в шестом часу... А здесь как хорошо!

– Угодно туда... подальше, еще правее?... Я вам тропку укажу.

– Пойдемте, пойдемте... Там и трав должно быть больше.

Он не посмел предложить ей руку. Его волнение росло. Бесстрастно хотелось открыться ей, и жутко делалось от приближения минуты, когда она услышит от него, что он – вот такой, не лучше тех жуликов, которые выхватили у него бумажник у Воскресенских ворот в Москве.

Шли они медленно. Калерия нет-нет да и нагнется, сорвет травку. Говорит она слабым высоким голосом, похожим на голос монашек. Расспрашивать зря она не любит, не считает уместным. Ей, девушке, неловко, должно быть, касаться их связи с Серафимой... И никакой горечи в ней нет насчет прежней ее жизни у родных... Не могла она не чувствовать, что ни тетка, ни двоюродная сестра не терпели ее никогда.

– Как Симочка похорошела! – промолвила она точно про себя. – Вы пара, Василий Иванович. Совет да любовь!

Он начал слегка краснеть.

– Вы нас осуждаете? – спросил он, прислонившись к дереву.

– За что, про что?

– Да вот за нашу жизнь.

– В каком смысле? Что вы, кажется, не венчаны? Значит, нельзя вам было. Господь не за один обряд милует... и то сказать! Знаете что, Василий Иванович, она перевела дух и подняла голову, глядя на круглую шапку высокой молодой сосны, – меня, быть может, ханжой считают, святошей, а иные и до сих пор – стриженной, ни во что не верующей... Вера у меня есть, и самая простая. Все виноваты и никто не виноват, вот как я скажу. Для одних одно, для других другое, любовь там, что ли... такая, пылкая, земная... А ежели они не загубили своей совести – все к одному и тому же придут, рано или поздно. Жалость надо иметь ко всему живому... Кто и воображает, что он не живет, а пиршествует, и тот человек мучится. Разве не так, Василий Иванович?

– Так, так!

Он глядел на нее, белую и стройную, в падающих золотистых волосах, и слезы подступали к глазам. В словах ее было прозрение в его душу, как будто она читала в ней.

– Калерия Порфирьевна! Матушка!..

Слезы душили его. Она взглянула на него немного испуганно.

Теркин как стоял, так и рухнулся перед ней на колени и зарыдал.

Она не растерялась, только пучок трав выпал у нее из левой руки.

– Что вы, голубчик, Василий Иванович?

Руки ее, с тонкими пальцами, красивые и гибкие, коснулись его плеч.

– Встаньте! Так не хорошо!.. Так только Богу кланяются.

Но в словах ее не слышалось никакого смущения женщины. Она не приняла этого ни на одну секунду за внезапный взрыв мужской страсти.

«Значит, он страдает, – сейчас же подумала она, душа у него болит!»

Теркин сдержал рыдания, схватил ее руку и поцеловал так порывисто, что она не успела отдернуть.

– Что вы! Господи! Разве я святая? Василий Иванович...

– Вы не знаете, – с трудом стал он говорить, – знаете, что о меня душит.

– Встаньте, пожалуйста!

Он встал и отер лицо платком. Ресницы были опущены. Ему сделалось так стыдно, как он и не ожидал.

– Ну, что такое, голубчик? Вот присядем туда, вон видите два пня, нарочно для нас припасли.

Она говорила весело и мягко, сама взяла его под руку и повела.

В груди у него трепетали «бабочки», так он называл знакомое ему с детства ощущение, когда что-нибудь нравственно потрясло его.

– Успокоились? – все так же кротко спросила Калерия. – Это ничего, что заплакали... Мужчины стыдятся слез... И

напрасно. Да и передо мной?.. Я ведь уже Христова невеста. Она чуть слышно рассмеялась.

– Калерия Порфирьевна, снимите с души моей камень!

Признание застряло у него в груди, но он встал, сделал несколько шагов и опять сел рядом с ней на широкий полу-сгнивший пенёк.

И довольно спокойно повинулся ей, представил дело так, как решил; выгородил Серафиму, выставил себя как главного виновника того, что ее двоюродная сестра задерживала до сих пор ее деньги.

– И только-то? – спросила Калерия.

– Мало этого? Ведь это к/ак честные люди называют... а?..

На ваши деньги я теперь разжился, в один какой-нибудь год, и до сегодня ни гугу? Ни сам вам не писал, ни на том не настаивал, чтоб она вас известила, хоть задним числом, ни денег обратно не внес! Простите меня Христа ради! Возьмите у меня эти деньги... Я могу их теперь добыть, даже без всякого расстройство в оборотах...

– Василий Иванович, – остановила его Калерия. Вы открылись мне... так сердечно!.. Прекрасное у вас сердце, вот что; но в такую вашу вину я не очень-то верю!

– Не верите?

– Видимое дело, вы ее, Серафиму, хотите выгородить. Мне всегда было тяжело, что тетенька и Сима не жаловали меня... И я от вас не скрою... Добрые люди давно обо всем мне написали... И про капитал, оставленный дяденькой, и

про все остальное. Я подождала. Думала, поеду летом, как-нибудь поладим. Вот так и вышло. И я вижу, как вы-то сделали к этому причастны. Сима вам навязала эти деньги... Верно, тогда нужны были до зарезу?

– Действительно!

– И она и вы из любви так поступили... И что же потеряно? Ровно ничего. Ежели эти двадцать тысяч у вас в деле – я вам верю. Вы и документ выдали Симе, а она мне наверно предложит... Какие еще деньги остались – поделитесь... Мне не нужно таких капиталов сейчас. Это еще успеется.

– Значит, Серафима еще ничего не говорила с вами?

Он спросил это с сдвинутыми бровями и горечью в глазах. Ему гадко стало за Серафиму перед этой бессребреницей.

– Успеется, Василий Иванович... Ведь я еще поживу у вас, если не станете гнать.

– Вы ей ничего не скажете про то, что сейчас было говорено... Калерия Порфирьевна, умоляю вас!

Стремительно схватил он ее руку и поцеловал.

– Что вы!.. У меня рук не целуют.

Щеки ее заалелись, и вся она трепетно подалась назад.

– Голубушка! Не говорите ей!

– Вот вы как ее любите!.. Люб/ите!.. Доведите ее до другой правды... А для этого, Василий Иванович, не надо очень-то преклоняться перед нашей сестрой.

«Вот вы как ее любите!» – умственно повторил Теркин слова Калерии. Он совсем в ту минуту не любил Серафи-

мы, был далек от нее сердцем, в нем говорила только боязнь новых тяжелых объяснений, нежелание грязнить свою исповедь тем, чего он мог послушаться от Серафимы о Калерии, и как сам должен будет выгораживать себя.

– Дайте мне честное слово.

– Обещаюсь. Довольно и этого.

Калерия встала. Поднялся и он.

– Голубчик, Василий Иванович, спасибо вам большое. Мне вас Господь посылает, это верно. Вы меня поддержите в моих мечтаниях. Знаете, на те деньги, какие свободны, – всех мне пока не надо, – ежели я кое-что затею, вы не откажетесь добрый совет дать?.. Так ведь? Вы – человек бывалый. Только, пожалуйста, чтобы промежду нас как будто ничего и не было. Серафима когда заговорит со мною о деньгах, мне с какой же стати вас выдавать? Это дело вашей совести... И ее я понимаю: ей обидно было бы, что вы передо мной открылись. Ведь так?

– Так, так!

– Дайте срок! Придет время, и она поймет, сколь это в вас было выше всякого другого поведения. С вами она должна дойти до того, что и у нее Бог будет!..

– Простите! Отнял у вас утро! И травки ваши растеряли из-за меня... Погуляйте!..

Полный радостного волнения, Теркин еще раз пожал руку Калерии и быстро-быстро пошел в чащу леса.

Он не хотел, чтобы ее видели с ним, если б они вернулись

вместе к террасе.

### ХШ

Степанида в праздничном ситцевом платье, – в доме жила гостья, – и в шелковом платке, приотворила дверь темной спальни.

– Изволили кликать? – спросила она от двери.

– Который час?

Серафима чувствовала, что давно пора вставать.

– Девять пробило, барыня.

Разговор их шел вполголоса.

– А Калерия Порфирьевна?

– Э! Они чуть не с петухами встают. Никак, ходили гулять в лес. Теперь уже оделись и книжку читают на балконе.

– В лес ходила? Одна?

Вопрос заставил Серафиму подняться с постели.

– Не видала, барыня.

– Василий Иваныч дома?

– Нет, их что-то не видать. Только они никуда не уезжали:

Онисим дома.

Степанида догадывалась, что барыня, с тех пор, как приехала «их сестрица», что-то не спокойна, и готова была всячески услужить ей, но нашептывать зря не хотела.

– Поскорее раскрой ставни и дай мне умыться.

Одна Серафима не привыкла ни умываться, ни одевать-

ся. Она торопила горничную, нашла, что утренний пеньюар нехорошо выглажен; волосы она наскоро заправила под яркую фуляровую наколку, которая к ней очень шла; но все-таки туалет взял больше получаса.

– Барышня пила чай? – спросила она, когда была уже совсем готова.

– Никак нет-с.

– Вы не предлагали?

– Они попросили молока и кусочек черного хлеба. Самовар готов... Прикажете подавать?

– Подавайте... да надо же подождать немножко Василия Иваныча, если он не вернулся.

Проходя коридорчиком мимо комнаты, где стоял буфетный шкаф, Серафима увидела Чурилина. Карлик чистил ножи, поплеывая на них.

Это ее остановило.

– Чурилин! – сердито окликнула она его.

Он поклонился ей низким поклоном своей огромной головы.

– Что это за гадость! Как ты чистишь ножи?... Плюешь на них.

Она говорила ему «ты» нарочно, хотя и знала, что он взрослый.

Чурилин зарделся и стал учащенно мигать желтыми ресницами.

– Я, Серафима Ефимовна, завсегда...



– Чтобы этого не было!

В дверях она обернулась.

– Василий Иваныч у себя?

– Они еще не приходили.

– В лесу гуляют?

– Не могу знать.

Карлик сжал губы и забегал глазами. Он зачуял, что барыня выпрашивает у него про барина, стало быть, насчет чего-нибудь беспокоится. Если бы он и знал, то не сказал бы, когда и с кем Василий Иваныч ходил в лес. Между ним и обеими женщинами – Степанидой и барыней – шла тайная борьба. К Теркину его привязанность росла с каждым днем.

– Не могу знать! – не воздержалась Серафима и передразнила его.

Карлик, с пылающими щеками, начал тереть суконкой ножик и, только что Серафима скрылась, плюнул опять на лезвие.

В окно гостиной Серафима увидела белый чепец и пелеринку Калерии. Та сидела боком у перил и читала, низко нагнув голову.

Не могла она не остановиться и не оглядеть Калерии. Ничего не было ни в ее «мундире», ни в ее позе раздражающего, но всю ее поводило от этой «хлыстовской богородицы». Не верила она ни в ее святость, ни в ее знания, ни во что! Эта «черничка» торчит тут как живой укор. С ней надо объясняться, выставлять себя чуть не мошенницей, просить от-

срочить возврат денег или клянчить: не поделится ли та с нею после того, как они с матерью уже похозяйничали на ее счет.

Вчера несколько раз на губах ее застывало начало разговора о деньгах, и так ничего и не вышло до возвращения Теркина из посада. Самая лучшая минута – теперь, но Василий Иваныч может прийти с прогулки... А при нем она ни под каким видом не станет продолжать такой разговор.

И где он застрял? Пожалуй, ходили вместе утром рано, пока она, «как простофиля», спала у себя.

Кровь заиграла на загорелых щеках Серафимы.

«Неужели он обманул ее и уже винился перед этой фальшивой девулей?»

– Давайте самовар! – крикнула она так, что Степанида услышала и пошла прямо на террасу.

– А! Сима! С добрым утром!

Калерия встала и подошла поцеловать ее.

Привета «с добрым утром» она тоже не любила, находила его книжным, приторным.

– Спасибо! Извини. Я заспалась. Чай сейчас будем пить...

Васи ждать не станем. Где-то он запропастился.

Калерия взглянула из-под тугого навеса своего белого чепца и спросила:

– Еще не вернулся Василий Иваныч из лесу?

– А ты его не видала?

Вопрос свой Серафима выговорила со страхом, как бы го-

лос ее не выдал.

– Да мы утром походили вот тут. Я травок пособирала. Василий Иваныч в ту сторону пошел... Так это давно было... в начале восьмого...

Глаза Калерии спокойно глядели на нее своими светлыми зрачками, и рот тихо улыбался.

Она не сочла нужным скрыть, что они виделись. Можно его только запутать, если он сам на это намекнет при Серафиме. О том, как он перед ней повинулся, она не скажет, раз она дала ему слово, да и без всякого обещания не сделала бы этого. У него душа отличная, только соблазнов в его жизни много. Будет Серафима первая допрашивать ее об этом – она сумеет отклонить необходимость выдавать Василия Иваныча.

– А, вот что!

Горло у Серафимы сейчас же сдавило.

Подали самовар. Она заварила чай и нервно переставляла чашки.

– Какую это ты книжку читаешь, Калерия?

– Для тебя мало занятую. По медицинской части.

– Отчего же для меня незанятую? Ты меня такой дурой считаешь?

– Господь с тобой! А книжка-то специальная... по аптекарской части.

– Ну, ладно...

Голова Серафимы уже горела. Стало быть, они гуляли в

лесу. Наверно, Вася не выдержал, размяк перед нею, бухнул ей про все, а после начал упрашивать, чтобы она все скрыла, не выдавала его.

Коли так было, она не будет унижаться, допрашивать: ни Калерию, ни его. Не хотел соблюсти свое достоинство, распустил нюни перед этой святошей – тем хуже для него. Но ее они не проведут. Она по глазам его, по тону сейчас расчует: вышел ли между ними разговор о деньгах или нет.

– А! Вы здесь! – раздался голос Теркина сзади из гостиной.

«Не вернулся балконом, а дорогой, чтобы шито-крыто было», – быстро сообразила Серафима, неторопливо приподнялась и встретила его у дверей.

Он молча поцеловал ее в лоб.

«Покаялся!» – точно молотком ударило ее в темя.

– Вы с Калерией уже гуляли? – спросила она вслух, возвращаясь к столу.

Лица ее он не мог видеть. Голос не изменил ей. Теркин поглядел на Калерию и вмиг сообразил, что так лучше: значит, та на вопрос Серафимы ответила просто, что гуляла с ним по саду. Она ему дала честное слово не говорить о его признании. Он ей верил.

– Да, мы с Калерией Порфирьевной уже виделись.

Свободно протянул он ей руку, пожал и привел к столу.

Он это сказал также просто. Да и почему же ему бегать от Калерии? Серафима в собственном интересе должна воз-

держаться от всяких новых допытываний.

– Налей мне покрепче, Сима! – прибавил он другим тоном и снял с головы шляпу.

«Каялся, каялся!» – уверенно повторяла про себя Серафима, и ее руки вздрагивали, когда она наливала ему чай. Внутри у нее клокотало. Так бы она и разорвала на клочки эту Калерию!

Скажи та что-нибудь слащавое и ханжеское – она не выдержит, разразится.

Ноздри вздрагивали, и в глазах заискрились огоньки.

Теркин косвенно взглянул на нее и зачуял возможность взрыва.

– Дивное какое утро!.. И в лесу благодать какая! Дух от сосен! Я в ту сторону, в крайний угол леса, прошел. Вы много трав понабрали, Калерия Порфирьевна?

– Нет, лень разобрала... Так захотелось побродить.

«Ну да, ну да, замазывайте, заматайте след! – думала Серафима, продолжая разливать чай. – Стакнулись проводить меня, как полудурью. Не понимаю я!..»

Рука с чайником дрогнула у нее, и она пролила на поднос.

– Ах ты, Господи! – вырвалось у нее.

– Торопишься очень! – выговорил Теркин и усмехнулся.

– Хорошо, хорошо!

Серафима еле сдерживалась. Она была близка к истерическому припадку и закусывала себе губы, чтобы из ее горла не вылетел хохот или крик.

– А я должен в посад на целый день, – продолжал Теркин, прихлебывая чай.

– Дело? – спросила Калерия.

Она как будто не замечала нервности Серафимы.

– Да... Оно и кстати, Калерия Порфирьевна, вы с Симой побудете... Вам ведь обо многом есть перетолковать... Мне что же тут между вами торчать?

Можно бы этого и не говорить, но так вышло.

– Какие же у нас секреты? – возразила Серафима и поставила чайник на конфорку.

– Все, чай, есть!

Калерия обернула голову в сторону Теркина и тихо улыбнулась ему.

Этой улыбкой она как бы хотела сказать:

«Уж вы не смущайтесь, я вас не выдам».

Он допил свой стакан и начал прощаться с ними.

## XIV

На дачу Теркин нарочно вернулся позднее.

Внизу уж не было света. На крыльцо выскочил Чурилин и в темноте подкатил как кубарь к крылу двухместного тильбюри, на котором Теркин ездил или один, или с кучером.

Он передал карлику разные пакеты и сам вскочил прямо на первую ступеньку подъезда.

– Калерия Порфирьевна почивают? – спросил он Чурили-

на.

– Так точно.

– И барыня также?

– И они у себя в спальне. Свету не видел сквозь ставни.

«Ну, и прекрасно», – подумал Теркин и приказал кучеру, вышедшему из ворот:

– Онисим! Подольше надо проваживать Зайчика. Он сильно упрел...

К себе он пришел задним крыльцом и отпустил Чурилина спать.

«Конечно, – думал он и дорогой и наверху, собираясь раздеваться, – они перетолковали, и Калерия не выдала меня».

Это его всего больше беспокоило. Неужели из трусости перед Серафимой? Разве он не господин своих поступков? Он не ее выдавал, а себя самого... Не может он умиляться тем, что она умоляла его не «срамить себя» перед Калерией... Это – женская высшая суетность... Он – ее возлюбленный и будет каяться девушке, которую она так ненавидит за то, что она выше ее.

«Да, выше», – подумал он совершенно отчетливо и не смутился таким приговором.

Перед ним встал облик Калерии в лесу, в белом, с рассыпавшимися по плечам золотистыми волосами. Глаза ее, ясные и кроткие, проникают в душу. В ней особенная красота, не «не плотская», не та, чт/о мечется и туманит, как дурман, в Серафиме.

«Дурманит?» – и этого он не скажет теперь по прошествии года.

Вдруг ему послышались шаги на нижней площадке, под лестницей.

«Так и есть! Она!»

Теркин стал все сбрасывать с себя поспешно и тотчас же лег в постель.

Только что он прикрылся одеялом, дверь приотворили.

– Это ты? – выговорил он как можно тише.

– Я!.. – откликнулась Серафима и вошла в комнату твердой поступью, шурша пеньюаром.

– Ты еще не ложились? – спросил он и повернул голову в ее сторону.

– Ко мне не рассудил вернуться, – начала она возбужденно и так строго, как никогда еще не говорила с ним. – Боишься Калерии Порфирьевны? Не хочешь ее девичьей скромности смущать... Не нынче завтра пойдешь и в этом исповедоваться!..

– Сима!

Он больше ничего не прибавил к этому возгласу.

– Что ж! – Серафима сразу села на край постели в ногах. – Что ж, ты небось станешь запираться, скажешь, что между вами сегодня утром никакого разговора не вышло, что ты не покаялся ей?.. Я, ты знаешь, ни в одном слове, ни в одном помышлении перед тобой неповинна. Не скрыла вот с эстолько! – и она показала на палец. – А тебе лгать приста-



ло? Кому? Мне!.. Господи! Я на него молюсь из глупейшей любви, чтобы не терпеть за него, не за себя, унижения, чуть не в ногах валялась перед ним, а он, изволите видеть, не мог устоять перед той Христовой невестой, распустил нюни, все ей на ладонке выложил, поди, на коленях валялся: простите, мол, меня, окаянного, я – соучастник в преступлении Серафимы, я – вор, я – такой– сякой!.. Идиотство какое и подлость...

– Подлость! – повторил Теркин и хотел крикнуть: «молчи», но удержался.

– А то, скажешь, нет? Ты мне вот здесь слово дал не соваться самому, предоставить мне все уладить.

– Я тебе слова не давал!

– Ха-ха!.. Теперь ты и запираешься начал... Отлично! Превосходно! Ты этим самым себя выдал окончательно! Мне и сознания твоего не надо больше! Все мне ясно. С первых ее слов я увидела, что вы уже стакнулись. Она, точно медоточивая струя, зажурчала: «Что нам, сестрица, считаться, – Серафима передразнивала голос Калерии, – ежели вы сами признаете, что дяденька оставил вам капитал для передачи мне, это уж дело вашей совести с тетенькой; я ни судиться, ни требовать не буду. Вот я к тетеньке съезжу и ей то же самое скажу... Сама я в деньгах больших не нуждаюсь... А в том, что я желала бы положить на одно дело, в этом вам грешно будет меня обидеть». Небось скажешь, ты не повинился ей? И она, шельма, раскусила, что ей тягаться с нами

– ничего, пожалуй, и не получишь. Ты ей, разумеется, документ предложил, а то так и пароход заложишь и отдашь ей двадцать тысяч. Меня она ничем не уличит. Завещания нет; никто не видал, как папенька распорядился тем, что у него в шкатулке лежало.

– Серафима! – остановил ее Теркин и приподнялся в кровати. – Не говори таких вещей... Прошу тебя честью!.. Это недостойно тебя!.. И не пытай меня! Нечего мне скрывать от тебя... Если я и просил Калерию Порфирьевну оставить наш разговор между нами, то щадя тебя, твою женскую тревожность. Пора это понять... Какие во мне побуждения заговорили, в этом я не буду каяться перед тобой. Меня тяготило... Я не вытерпел!.. Вот и весь сказ!

– Да на тебя точно туман какой нашел... Из-за чего ты это делал? Ну, хотел ты непременно возратить ей эти деньги – ты мог потребовать от меня, чтобы я выдала ей сейчас же вексель, пока ты не добудешь их. Ведь на то же и теперь сойдет... Что она потеряет?.. Деньги были в верных руках, проценты мы ей заплатим. Еще она спасибо нам должна сказать, что мы в какой-нибудь банк не положили, а он лопнул бы... Нынче что ни день, то крах!.. Так нет! – почти крикнула Серафима и всплеснула руками. – Скитское покаяние он приносил хлыстовской богородице!

– Не смей ее так называть!

– А-а!.. Вот оно что! Как только увидел эту кривляку, так и преисполнился к ней благоговения!.. Скажите, пожалуй-

ста!

Серафима резко поднялась, отошла к окну и раскрыла его. Ее душило.

– Ты не понимаешь! Душа моя – для тебя потемки! Обидно за тебя, Серафима!

– А за тебя нет? – Она опять подошла к кровати и стала у ног. – Помни, Вася, – заговорила она с дрожью нахлынувших сдержанных рыданий, – помни... Ты уж предал меня... Бог тебя знает, изменил ты мне или нет; но душа твоя, вот эта самая душа, про которую жалуешься, что я не могу ее понять... Помни и то, что я тебе сказала в прошлом году там, у нас, у памятника, на обрыве, когда решила пойти с тобой... Забыл небось?.. Всегда так, всегда так бывает! Мужчина разве может любить, как мы любим?!

Ему стоило протянуть ей руку и сказать ласково: «Сима, перестань!..» Он молчал и головой обернулся к стене.

– Но только знай, – вдруг громким и порывистым шепотом заговорила Серафима, – что я не намерена терпеть у нас в доме такого царства Калерии Порфирьевны. Пускай ее на Волгу едет и лучше бы сюда не возвращалась; а приедет да начнет опять свои лукавые фасоны – я ей покажу, кто здесь хозяйка!

Дверь хлопнула за Серафимой, ступеньки лестницы быстро и мелко проскрипели, и все замерло в доме.

Теркин лежал в той же позе, лицом к стене, но с открытыми глазами. Мириться он к ней не пойдет. Ее необуздан-

ность, злобная хищность давили его и возмущали. Ни одного звука у нее не вылетело, где бы сказались понимание, мягкая терпимость, желание слиться с любимым человеком в одном великодушном порыве.

«Распушта», – повторил он про себя то самое слово, какое пришло ему недавно в лесу, после первой их размолвки. Он не станет прыгать перед ней... Из-за чего? Из-за ее ласк, ее молодости, из-за ее брильянтовых глаз?..

Кто же мешал ей поддаться его добрым словам? Он того только и добивался, чтобы вызвать в ее душе такой же поворот, как и в себе самом!.. У нее и раньше была женская «растяжимая совесть», а от приезда Калерии она точно «бесноватая» стала.

Сон не шел. Теркин проворочался больше получаса, потом вытянул ноги, уперся ими в нижнюю стенку кровати и заложил руки за голову.

Кровь отливала от разгоревшегося мозга. В комнату в открытое окно входила свежесть. Он подумал было затворить, но оставил открытым.

Мысли заплетались в другую сторону. Деловой человек, привычный к постоянному обдумыванию практических действий и сложных расчетов, помаленьку начал пробуждаться в нем.

А ведь Серафима-то, пожалуй, и не по-бабьи права. К чему было «срамиться» перед Калерией, бухаться в лесу на колени, когда можно было снять с души своей неблагоприятный

поступок без всякого срама? Именно следовало сделать так, как она сейчас, хоть и распаленная гневом, говорила: она сумела бы перетолковать с Калерией, и деньги та получила бы в два раза. Можно добыть сумму к осени и выдать ей документ.

И то сказать, женщина все отдала ему: честь свою, положение, деньги, хоть и утаенные, умоляла его не выдавать себя Калерии, не срамиться, – и он не исполнил, не устоял перед какой-то нервической блажью...

«Блажь!» – повторил он мысленно несколько раз, готовый идти дальше в своих холодящих выводах, и резко прервал их.

Сцена в лесу прошла передним вся, с первого его ощущения до последнего. Лучше минут он еще не переживал, чище, отважнее по душевному порыву. Отчего же ему и теперь так легко? И размолвка с Серафимой не грызет его... Правда на его стороне. Не метит он в герои... Никогда не будет таким, как Калерия, но без ее появления зубцы хищнического колеса стали бы забирать его и втягивать в тину. Серафима своей страстью не напомнила бы ему про уколы совести...

С этим он заснул.

## XV

– Калерия Порфирьевна приехали, – доложил Чурилин, запыхавшись.

Он поднялся стремительно по крутой лесенке в башню, где Теркин у стола просматривал какие-то счета.

– На извозчике?

– Так точно.

– Барыня внизу?

– Внизу-с.

– Хорошо. Ступай!

Карлик исчез. Теркин сейчас же встал, поправил бант легкого шелкового галстука, подошел к зеркалу, причесал немного сбившиеся волосы и встряхнул только сегодня надетый парусинный костюм.

Прошло всего пять дней с отъезда Калерии, и они ему казались невыносимо длинными... Из них он двое суток был в отсутствии. Не спешные дела выгнали его из дому, а тяжесть жизни с глазу на глаз с Серафимой.

Они избегали объяснений, но ни тот, ни другая не поддавались. Не требовал он того, чтобы она просила прощения, не желал ни рыданий, ни истерических ласк и чувственных примирений. Понимания ждал он – и только. Но Серафима в первый раз ушла в себя, говорила с ним кротко, не позволяла себе никакой злобной выходки против Калерии и даже сама первая предложила ему обеспечить ее, до выдачи ей обратно двадцати тысяч, как он рассудит.

Она принесла ему вексель, выданный ей, и настояла на том, чтобы он его взял обратно.

– Если ты не согласишься взять его, Вася, – сказала она с

ударением, но без резкости, – я все равно его разорву. Мы ей должны выдать документ.

– Не мы, а я, – поправил он.

– Как ты найдешь уместнее.

Вчера вернулся он к обеду, и конец дня прошел чрезвычайно пресно. Нить искренних разговоров оборвалась. Ему стало особенно ясно, что если с Серафимой не нежиться, не скользить по всему, что навернется на язык в их беседах, то содержания в их сожительстве нет. Под видимым спокойствием Серафимы он чувал бурю. В груди ее назрела еще б/ольшая злоба к двоюродной сестре. Если та у них заживется, произойдет что-нибудь безобразное.

А ему так захотелось, поджидая Калерию назад, отвести с ней душу, принять участие в ее планах, всячески поддержать ее. Этого слишком мало, что он повинился перед нею. Надо было заслужить ее дружбу.

– Где они? – спросил Теркин у карлика, проходя мимо буфетной.

– На балконе-с.

Калерия, еще в дорожном платье, стояла спиной к двери. Серафима, в красном фуляре на голове и капоте, – лицом. Лицо бледное, глаза опущены.

«Не умерла ли мать?» – подумал он; ему не стало жаль ее; ее дочернее чувство он находил суховатым, совсем не похожим на то, как он был близок сердцем к своим покойникам, а они ему приводились не родные отец с матерью.

– Калерия Порфирьевна! С возвращением! – ласково окликнул он.

Она быстро обернулась, еще более загорелая, лицо в пыли, но все такая же милая, со складкой на лбу от чего-то печального, что она, наверно, сообщила сейчас Серафиме.

– Ну, что, все благополучно там?.. Матрена Ниловна здоровствует?

Тут только он вспомнил, что с утра не видал Серафимы, пил чай один, пока она спала, и сидел у себя наверху до сих пор.

– Здравствуй, Сима!

Она взглянула на него затуманенными глазами и пожала ему руку.

– Здравствуй, Вася!

– Что это?.. Как будто вы чем-то обе смущены? – весело спросил он и встал между ними, ближе к перилам балкона.

– Да вот, известие такое я привезла. Что ж, все под Богом ходим...

– Умер, что ли, кто?.. Матушка ее небось в добром здравьи..

– Тетенька... слава Богу...

Калерия не договорила.

– Рудич застрелился.

Глухо промолвила это Серафима. Лицо было жестко, ресницы опущены.

«Заплачет? – спросил про себя Теркин и прибавил: –



Должно быть, муж – все муж!»

Будь это год назад, его бы пронизало ревнивое чувство, а тут ничего, ровно ничего такого не переживал он, глядя на нее.

– Застрелился? – повторил он и обернулся с вопросом в сторону Калерии. – Там где-то... где его служба была... в Западном крае, кажется. Тетенька не сумела мне хорошенько рассказать. Господин Рудич был там председателем мирового съезда.

– А не прокурором?

– Видно, нет, – ответила Серафима и медленно поглядела на Теркина.

Глаза потухли. В них он ничего не распознал, кроме какого-то вопроса... Какого?.. Не ждала ли она, чтобы у него вырвался возглас: «Вот ты свободна, Сима!»

Он подумал об этом совсем не радостно... Больше из смутного чувства внешнего приличия, он пододвинулся к Серафиме и тихо взял ее за руку около локтя. Рука ее не дрогнула.

– Казенные деньги растратил, – выговорила она и повела плечами. – Так и надо было ожидать.

Серафима сказала это скорее грустно, чем жестко; но он нашел, что ей не следовало и этого говорить. Как-никак, а она его бросила предательски, и Рудич, если бы хотел, мог наделать ей кучу неприятностей, преследовать по закону, да и ему нагадить доносом.

– Царствие небесное! – тихо и протяжно произнесла Калерия. – Срама не хотел перенести...

– Игрока одна только могила исправит, – точно про себя обронила Серафима.

И это замечание показалось ему неделикатным.

– Деньги... Карты... – Калерия вздохнула и придвинулась к ним обоим... – Души своей не жаль... Господи! – глаза ее стали влажны. – Ты, Симочка, не виновата в том, что случилось с твоим мужем.

«Она же ее утешает!» – подумал Теркин.

– Вы с дороги-то присели бы, – обратился он к ней. – Сима, что же ты чайку не предложила Калерии Порфирьевне. Здесь жарко... Перейдемте в гостиную.

– Закусить не хочешь ли? – лениво спросила Серафима.

– Право, я не голодна; утром еще на пароходе пила чай и закусила. Тетенька мне всякой всячины надавала.

Они перешли в гостиную. Разговор не оживлялся. Теркин сдерживал какой-то стыд взять Серафиму, привлечь ее к себе, воспользоваться вестью о смерти Рудича, чтобы хорошенько помириться с нею, сбросить с себя всякую горечь. Не одно присутствие Калерии стесняло его... Что-то еще более затаенное не позволяло ему ни одного искреннего движения.

Не боялся ли он чего? Теперь ему ясно, что радости в нем нет; стало быть, нет и желания оживить Серафиму хоть одним звуком, где она распознала бы эту радость.

– Сядьте вот рядком, потолкуйте ладком.

Калерия усадила их на диван.

– Схожу умоюсь и платье другое надену. Вся в пыли! Даже в горле стрекочет. А угощать меня не трудись, Сима. Право, сыта... Совет да любовь!

Любимое пожелание Калерии осталось еще в воздухе просторной и свежей комнаты, стоявшей в полутемноте от спущенных штор.

– Сима!

Теркин взял ее руку.

– Знаю, что ты скажешь! – вдруг порывисто заговорила она шепотом и обернула к нему лицо, уже менее жесткое, порозовелое и с возбужденными глазами. – Ты скажешь: «Сима, будь моей женой»... Мне этого не нужно... Никакой подачки я не желаю получать.

– Успокойся! зачем все это?

– Дай мне докончить. Ты всегда подавляешь меня высотой твоих чувств. Ты и она, – Серафима показала на дверь, – вы оба точно спелись. Она уже успела там, на балконе, начать проповедь: «Вот, Симочка, сам Господь вразумляет тебя... Любовь свою ты можешь очистить. В благородные правила Василия Иваныча я верю, он не захочет продолжать жить с тобою... так». И какое ей дело!.. С какого права?..

В глазах заискрилось. Она начала опять бледнеть.

– Успокойся! – повторил все тем же кротким тоном Теркин.

Но он не обнял ее, не привлек, не покрыл этих глаз, еще

недавно прельщавших его, пылкими поцелуями.

Ее словам он не верил. Все это она говорила из одной своей гордости и ненавистного чувства к двоюродной сестре, ни в чем не повинной, искренно жалевшей ее; она ждала, чтобы он упал на колени и радостно воскликнул:

«Теперь нас никто не разлучит! Ты не можешь отказать мне!»

В груди у него не было порыва – одного, прямого и радостного. И она это тут только почуяла. – Ты знаешь, как я с тобой прожила год! Добивалась я твоей женой быть? Мечтала об этом? Намеркала хоть раз во весь год?

– Разве я говорю?

– И теперь мне не нужно... Я вольная птица. Кого хочу, того и люблю. Не забывай этого! Жизни не пожалею за любимого человека, но цепей мне не надо, ни подаяния, ни исполнения долга с твоей стороны. Долг-то ты исполнишь! Больше ведь ничего в таком браке и не будет... Я все уразумела, Вася: ты меня не любишь, как любил год назад... Не лги... Ни себе, ни мне... Но будь же ты настолько честен, чтоб не притворяться... Обид я не прощаю... Вот что...

Теркин хотел было удержать ее, Серафима рванулась и выбежала из гостиной.

За ней он не бросился; сидел на диване расстроенный, но не охваченный пылом вновь вспыхнувшей страсти.

## XVI

Лесная тропинка сузилась и пошла выбоинами. Приходилось перескакивать с одной колдобины на другую.

– Дайте мне руку, Калерия Порфирьевна. Так вам удобнее будет перейти.

Она, розовая от ходьбы и жаркого раннего после обеда, протянула Теркину свободную руку... На другой она несла ящичек на ремешке.

Собрались они тотчас после обеда. Серафимы не было дома: она с утра уехала в посад за какими-то покупками.

На даче через кухарку стало известно, что в Мироновке появилась болезнь на детей. Калерию потянуло туда, и она захватила свой ящичек с лекарствами. Теркин вызвался проводить ее, предлагал добыть экипаж у соседей, но ей захотелось идти пешком. Они решили это за обедом.

Своим отсутствием Серафима как бы показывала ему, что ей «все равно», что она не боится их новых откровенностей. Он может хоть обниматься с Калерией... Так он это и понял.

До обеда он расспрашивал Калерию о ее заветных мечтах и планах, но перед тем настаивал на том, чтобы она, не откладывая этого дела, приняла от него деловой документ.

– Симы тут нечего замешивать, – убеждал он ее. – Я брал, я и израсходовал, я и должен это оформить.

К ноябрю он расплатится с нею; может, и раньше. Из

остальных денег она сама не желала брать себе всего. Пускай Серафима удержит, сколько ей с матерью нужно. На первых порах каких-нибудь три-четыре тысячи, больше и не надо, чтобы купить землю и начать стройку деревянного дома.

Она мечтала о небольшой приходящей лечебнице для детей на окраинах своего родного города, так чтобы и подгородным крестьянам сподручно было носить туда больных, и городским жителям. Если управа и не поддержит ее ежегодным пособием, то хоть врача добудет она дарового, а сама станет там жить и всем заведовать. Найдутся, Бог даст, и частные жертвователи из купечества. Можно будет завести несколько кроваток или нечто вроде ясель для детей рабочего городского люда.

Теркин слушал ее сосредоточенно, не перебивал, нашел все это очень удачным и выполнимым и под конец разговора, держа ее за обе руки, выговорил:

– Голубушка вы моя! Не откажите и меня принять в участники! Хочу, чтоб наша сердечная связь окрепла. Я по Волге беспрестанно сную и буду то и дело наведываться. И в земстве, и в городском представительстве отыщу людей, которые наверно поддержат вашу благую мысль.

Тон его слов показался бы ему, говори их другой, слащавым, «казенным», как нынче выражаются в этих случаях. Но у него это вышло против воли. Она приводила его в умиленное настроение, глубоко трогала его. Ничего не было «особенного» в ее плане. Детская амбулатория!.. Мало ли

сколько их заводится. Одной больше, одной меньше. Не самое дело, а то, что она своей душой будет освещать и согревать его... Он видел ее воображением в детской лечебнице с раннего утра, тихую, неутомимую, точно окруженную сиянием...

Теперь он знает о ней все, о чем допытывалось сердце. Больше не нужно. Если б они ближе стояли друг к другу, он не спрашивал бы ее о прожитой жизни, не вел бы с ней «умных» разговоров, не старался бы узнать о ней всю подноготную.

Ничего этого ему не надо! Только бы ему удержать в себе настроение, навеянное на него. Кто знает? Начнешь разведывать да рассуждать, и разлетится оно. Ему отрадно было держать ее на этой высоте, смотреть на нее снизу вверх.

Они вышли на красивую круглую лужайку.

– Не отдохнуть ли, Калерия Порфирьевна? – спросил Теркин.

– Хорошо! Здесь чудесно!.. Вон там дубок какой кудрявый... Можно и на траве. – Жаль, что я не захватил пледа. – Ничего! Сколько времени жары стоят, земля высохла. Да я и не боюсь за себя.

Под дубком они расположились на траве, не выеденной солнцем от густой тени. Дышать было привольнее. От опушки шла свежесть.

– Василий Иваныч!

По звуку ее оклика он почуял, что она хочет поговорить

о чем-нибудь «душевном».

– Что, Калерия Порфирьевна?

Она сидела облокотившись о ствол дерева; он лежал на правом боку и опирался головой о ладонь руки.

– Не будете на меня сетовать?.. Скажете, пожалуй: не в свое дело вмешиваюсь.

– Я-то? Бог с вами!

– Так и я вас понимаю; потому буду говорить все, начистоту... Ведь Серафима-то у нас мучится сильно.

– Серафима?

– А то нешто нет?.. Вы не хуже меня это видите.

Видел он достаточно, как злобствует Серафима, и, зная почему, мог бы сейчас же выдать ее с головой, излить свое недовольство.

Но надо было говорить всю правду, а этой правды он и сам еще себе не мог или не хотел выяснить.

– Вижу, – выговорил он, сейчас же переменял положение, сел и повернулся боком.

– Смерть мужа, – Калерия замедлила свою речь, – подняла с души ее все, что там таилось.

«Ничего не подняла доброго и великодушного!» – хотел он крикнуть и опустил голову.

– Поймите, голубчик: ей перед вами по-другому стало стыдно... за прошедшее. Поверьте мне. А она ведь вся ушла в любовь к вам. И боится, как бы ваше сожителство не убавило в вас желания освятить все это браком. Вы скажете мне:



это боязнь пустая!.. Верно, Василий Иванович; да люди в своих сердечных тревогах не вольны, особенно наша сестра. Она мне ничего сама не говорила. Ей, кажется, неприятны были и мои слова, по приезде, там на балконе, помните, как вы вошли... Что ж! Насильно мил не будешь! Сима мне не доверяет и к себе не желает приблизить. Подожду! Когда придет час – она сама подойдет.

– И разве это не возмутительно? – вдруг вылетел вопрос у Теркина, и он повернулся к Калерии всем лицом и присел ближе.

– Что такое?

– А вот эта злоба к вам? Бессмысленная и гадкая!.. Кругом перед вами виновата и так ехидствует!

– Василий Иванович! Родной! – остановила Калерия. – Не будем осуждать ее... Это дело ее совести... Познает Бога – и все ей откроется... Теперь над ней плоть царит. Но я к вам обращаюсь, к вашей душе... Простите, Христа ради! Не проповедовать я собираюсь, не из святошества. А вы для меня стали в несколько дней все равно что брат. И мне тяжело было бы таить от вас то, что я за вас чувствую и о чем недоумеваю... Не способны вы оставить Серафиму в теперешнем положении... Не способны! Вы сами ее слишком любите, а главное, человек вы не такой. Ведь она на целый день уехала неспроста: гложет ее тоска и боязнь. Вернется она, вы одни можете сделать так, чтобы у нее на душе ангелы запели. Я только то теперь вам говорю, что в вас самих сидит.

Ни одной секунды не заподозрил он ее искренности. Голос ее звучал чисто и высоко, и в нем ее сердечность сквозила слишком открыто. Будь это не она, он нашел бы такое поведение ханжеством или смешной простоватостью. Но тут слезы навертывались на его глазах. Его восхищала хрустальность этого существа. Из глубины его собственной души поднимался новый острый позыв к полному разоблачению того, в чем он еще не смел сознаться самому себе.

– Калерия Порфирьевна, – выговорил он с некоторым усилием. – Вчера Серафима, по уходе вашем, начала кидать мне в лицо ни с чем не сообразные вещи, поторопилась заявить, что она в браке со мной не нуждается... Гордость в ней только и кипит да задор какой-то... Я даже и не спохватился...

– Все это оттого, что она страдает. Не может быть, чтобы вы этого не понимали! Она ждет! И если между вами теперь нет ладу – я в этом повинна.

– Вы!..

– Не вовремя явилась. Но я не хотела, повидавшись с тетенькой, не заехать опять к вам и не успокоить Серафимы. Бог с ней, коли она меня считает лицемеркой. Я из-за денег ссориться не способна. Теперь я у вас заживаться не стану. Только бы вы-то с Симой начали другую жизнь...

Голос ее дрогнул.

– Ах, Калерия Порфирьевна! Всего хуже, когда стоишь перед решением своей судьбы и не знаешь: нет ли в тебе самом фальши?.. Не лжешь ли?.. Боишься правды-то.

Теркин закрыл лицо ладонями и упал головой на траву.

– Нешто... вы, – Калерия запнулась, – охладели к ней?

– Не знаю, не знаю!

– Старики наши сказали бы: «Это вас лукавый испытывает». А я скажу: доброе дело выше всяких страстей и обольщений. В Симе больше влечения к вам... какого? Плотского или душевного? Что ж за беда! Сделайте из нее другого человека... Вы это можете.

– Нет, не могу, Калерия Порфирьевна. С ней я погрязну.

– Таково ваше убеждение?.. Лучше, Василий Иванович, пострадать, да не отворачиваться от честного поступка. Ежели вы и боитесь за свою душу и не чувствуете к Симе настоящей любви – все-таки вы ее так не бросите!

«Брошу, брошу!» – чуть не слетело с его губ признание.

Он молчал, отнял руки от лица и глядел в землю, низко нагнув голову, чтобы она не могла видеть его лица.

– Простите меня за то, что разбередила вас! – сказала тихо Калерия и приподнялась. – Пора и в Мироновку. Там детки больные ждут.

До выхода из леса они молчали.

## XVII

С того перекрестка, где всего неделю назад Теркин окликнул глухонемого мужика, они повернули налево.

– Этот проселок, – сказал он Калерии, – наверно доведет

нас до Мироновки.

Не больше ста сажень сделали они между двумя полосами сжатой ржи, как, выйдя на изволок, увидали деревню.

У въезда сохранились два почернелых столба ворот, еще из тех годов, когда Мироновкой владел один генерал из «гатчинцев». На одном столбе держался и шар, когда-то выкрашенный в белую краску. Ворота давно растаскали на топку.

– Вы здесь еще не бывали, Василий Иваныч? – спросила Калерия, ускоряя шаг. Ей хотелось поскорее дойти.

– Нет; на этой неделе собрался и не дошел.

– Есть усадьба? Кто-нибудь живет... помещики или управляющий?

– Знаю, что в доме живет по летам семейство одно. Пайщик нашего общества, некто Пастухов. Не слышали?

– Нет, не слыхала.

– Я сам не знаком с семейством. Да это ничего. Пойдемте в дом. Я отрекомендуюсь и вас представлю. Они, конечно, будут рады и дадут сведения, куда идти, в какие избы.

– Это не важно! Я и сама найду, только бы туда попасть, в эту самую Мироновку.

Им обоим легче стало оттого, что разговор пошел в другую сторону.

«Будь что будет! – повторял он про себя, когда они молча шли из лесу. – Жизнь покажет, как нам быть с Серафимой».

Тотчас за столбами слева начинался деревенский порядок: сначала две-три плохеньких избенки, дальше избы из

соснового леса, с полотенцами по краям крыш, некоторые – пятистенные. По правую руку от проезда, спускающегося немного к усадьбе, расползлись амбары и мшеники. Деревня смотрела не особенно бедной; по количеству дворов – душ на семьдесят, на восемьдесят.

На улице издали никого не было видно; даже на ребятишек они не наткнулись.

– Так в усадьбу идем? – спросил Теркин.

– Спросить бы надо.

– Да вам что ж стесняться, Калерия Порфирьевна?

Она как будто конфузилась.

– Я не трусиха, Василий Иванович, а только иной раз невпопад. Может, они там отдыхают. А то так Бог знает еще что подумают. Впрочем... как знаете...

Просторную луговину, где шли когда-то, слева вглубь, барские огороды, а справа стоял особый дворик для борзых и гончих щенков, замыкал частокол, отделяющий усадьбу от деревенской земли, с уцелевшими пролетными воротами. И службы сохранились: бревенчатый темный домик – бывшая людская, два сарая и конюшня; за ними выступали липы и березы сада; прямо, все под гору, стоял двухэтажный дом, светло-серый, с двумя крыльцами и двумя балконами. Одно крыльцо было фальшивое, по-старинному, для симметрии.

Все это смотрело как будто нежилым. Ни на дворе, ни у сарая, ни у ворот – ни души.

– Мертвое царство! – вымолвил Теркин.

Они вошли в ворота. И собак не было.

На крыльце бывшей людской показалась женщина вроде кухарки, одетая не по-крестьянски.

– Матушка, – крикнул ей Теркин, – подь-ка сюда!

С народом он говорил всегда на «ты».

Женщина, простоволосая, защищаясь ладонью от солнца, неторопливо подошла.

– Господа Пастуховы тут живут?

– Тут, только их нет.

– Уехали в посад?

– Совсем уехали... раньше как недели через две не вернутся.

– Куда? На ярмарку, в Нижний?

– Нет, лечиться... на воды, что ли, какие. Сергиевские, никак.

Теркин и Калерия переглянулись.

– И никого в доме нет?

– Никого. Вот я оставлена да кухонный мужик... работник опять...

Идти в дом было незачем.

– А скажите мне, милая, – заговорила Калерия, у вас на деревне дети, слышно, заболевают?

Женщина отняла ладонь от жирного и морщинистого лба, и брови ее поднялись.

– Как же, как же. Забирает порядком.

– Доктор приезжал? Или фельдшер?

– Не слышать чтой-то. Да без барыни кому же доктора добыть?.. Староста у них – мужичонко лядащий... опять же у него бахчи. Его и на деревне-то нет об эту пору.

– А в каких избах больные ребята? – тревожнее спросила Калерия.

Теркин смотрел на ее лицо: глаза у нее стали блестящие, щеки побледнели.

– Да, никак, в целых пяти дворах. Первым делом у Вонифатьева. Там, поди, все ребята лежат вповалку.

– Что же это такое?

– Жаба, что ли. Уж не знаю, сударыня. Нам отлучаться не сподручно, да мы и Я не сподручно, да мы и деревенских-то мало видим. Тоже... народ лядащий!..

– Послушайте, – Калерия заговорила быстро, и голос сразу стал выше, – покажите мне, которая изба Вонифатьева.

– Вон самая угловая, коло колодца, супротив той бани... где тропка-то идет.

– Хорошо!.. Благодарю!.. Василий Иваныч, я пойду... Подождите меня.

– Почему же я не могу?

– Нет, это меня только свяжет. И, как знать, может, болезнь...

– Заразная?

Теркин усмехнулся.

– И очень.

– Так почему же мне-то больше труса праздновать, чем

вам?

– Это мое коренное дело, а вам из-за чего же рисковать?

– Нет, позвольте!..

Ему захотелось непременно проводить ее, помочь, быть на что-нибудь годным.

– Прошу вас, Василий Иванович. Этим шутить нечего. Вы – не один...

И ее глаза досказали: подумайте о той, кто вами только и дышит.

Он послушался.

– Милая, – обратилась Калерия к женщине, – пока я обойду больных, могут вот они погулять у вас в саду?

– Что же, пушай!.. Это можно.

– Я вас здесь и найду, в саду. Родной! уж вы не сердитесь!..

И легкой поступью она удалилась, ускоряя шаг. Из ворот она взяла немного вправо и через три минуты уже поднялась к колодцу, где стоял двор Вонифатьевых. Теркин не отрывал от нее глаз.

«А вдруг как это эпидемия?» – спросил он и почувствовал такое стеснение в груди, такой страх за нее, что хоть бежать вдогонку.

– Проводить, что ли, вас, барин, в сад? – спросила женщина.

– Спасибо! Не надо!

Он дал ей двугривенный и пошел, оглядываясь на порядок, к воротцам старого помещичьего сада по утоптанной



дорожке, пересекавшей луговину двора, вплоть до площадки перед балконами.

Стеснение в груди не проходило. Стыдно ему стало и за себя: точно он бариц какой, презренный трус и неженка, неспособный войти ни в какую крестьянскую беду. Неужели в нем не ослабло ненавистничество против мужиков, чувство мести за отца и за себя? Мри они или их ребятишки – он пальцем не поведет.

Нет, он не так бездушен. Калерия не позволила ему пойти с нею. Он сейчас же побежал бы туда, в избу Вонифатьевых, с радостью стал бы все делать, что нужно, даже обмывать грязных детей, прикладывать им припарки, давать лекарство. Не хотел он допытываться у себя самого, что его сильнее тянет туда: она, желание показать ей свое мужество или жалость к мужицким ребятишкам.

Голова у него кружилась. В аллее, запущенной и тенистой, из кленов пополам с липами и березами, он присел на деревянную скамью, в самом конце, сиял шляпу и отер влажный лоб.

Страх за Калерию немного стих. Ведь она привыкла ко всему этому. За сколькими тяжелыми больными ходила там, в Петербурге. И тиф и заразные воспаления... мало ли что!.. Да и знает она, какие предосторожности принимать. Наверно, и в ящике у нее есть дезинфекция.

Он мысленно употребил это модное слово и значительно успокоился. Под двумя липами, в прохладной тени, ему

стало хорошо. Прямо перед его глазами шла аллея, а налево за деревьями начинался фруктовый сад, тоже запущенный, когда-то переполненный перекрестными дорожками вишен, яблонь и груш, а в незанятых площадках – грядками малины, крыжовника, смородины, клубники.

Его хозяйственное чувство проснулось. Всякие такие картины заброшенных поместий приводили его в особого рода волнение. Сейчас забирала его жалость. К помещикам-крепостникам он из детства не вынес злобной памяти. В селе Кладенце «господа» не живали, народ был оброчный; кроме рекрутчины, почти ни на чем и не сказывался произвол вотчинной власти; всем орудовал мир; да и родился он, когда все село перешло уже в временнообязанное состояние. Не жалел он дворян за их теперешнюю оскуделость, а жалел о прежнем приволье и порядке заглохлых барских хозяйств. К «купчишкам» – хищникам, разоряющим все эти старые родовые гнезда, – он еще менее благоволил. Даже и тех, кто умно и честно обращался с землей и лесом, он не считал законными обладателями больших угодий. Нужды нет, что он сам значился долго купцом и теперь имеет звание личного почетного гражданина: «купчиной» он себя не считал, а признавал себя практиком из крестьян, «с идеями».

Фруктовый сад потянул его по боковой, совсем заросшей дорожке вниз, к самому концу, к покосившемуся плетню на полгоре, круто спускавшейся к реке. Оттуда через калитку он прошел в цветник, против террасы. И цветника в его те-

перешнем виде ему сделалось жаль. Долгие годы никто им не занимался. Кое-какие загрубелые стволы георгин торчали на средней клумбе. От качель удержались облупленные, когда-то розовые, столбы. На террасе одиноко стояли два-три соломенных стула.

Дальше когда-то отгорожено было несколько десятин под второй фруктовый сад, с теплицами, оранжереями, грунтовым сараем. Все это давно рухнуло и разнесено; только большие ямы и рвы показывали места барских заведений.

Теркин должен был вскарабкаться на вал, шедший вдоль двора, чтобы попасть к наружной террасе дома. Опять беспокойство за Калерию заползло в него, и он, чтобы отогнать от себя тревогу, закурил, сел на одном из выступов фальшивого крыльца, поглядывая в сторону ворот и темнеющих вдали изб деревенского порядка.

## XVIII

Белый головной убор мелькнул на солнце. Теркин поднялся и быстро пошел к воротам. Он узнал Калерию.

Она тоже спешила к дому, но его еще не заметила из-за частокола.

– Ну, что? – запыхавшись спросил он по ту сторону ворот.

– Не хорошо, Василий Иванович.

– Эпидемия?

Глаза ее тревожно мигали, дыхание было от ходьбы пре-

рывисто, щеки заметно побледнели.

– Жаба... и сильно забирает.

– Дифтерит?

Слово вылетело у него порывисто. Она еще усиленнее замигала. Видно было, что она не хочет ни лгать, ни смущать его.

– Один мальчик до завтра не доживет, – выговорила она строго, и голос ее зазвучал низко, детские ноты исчезли. Блеснула слезинка.

– Значит, дифтерит?

– Я только у этих Вонифатьевых побывала. Там еще девочка... вся в жару. Горло захвачено, ноги разбиты. А мне сказывали, что еще в трех дворах...

– Но разве вы справитесь? Ведь надо же дать знать по начальству.

– Я и не ожидала такой неурядицы. Как заброшен у нас народ! Сотского нет – уехал далеко, на всю неделю; десятского – и того не добились. Одни говорят – пьян, другие – поехал в посад, сено повез на завтрашний базар. Урядник стоит за двадцать три версты. Послать некого... да он и не приедет: у них теперь идет выколачивание недоимок.

– А земский врач?

– В каком-то селе, – я забыла, как называется, тысячи две душ там, на самой Волге, – тоже открылось поветрие, – она не хотела сказать: «эпидемия», – и еще сильнее забирает.

– Такое же?

– Сколько я поняла, что говорили бабы, тоже на детей.

– Как же быть? Да вы присядьте... Умаялись... Вот хоть на эти бревна.

Они оба присели. Она правой ладонью руки провела по своим волосам, выбившимся из-за белого ободка ее чепца.

– Знаете чт/о, голубчик Василий Иваныч: бабы ничего не умеют. Пойдем к той женщине... вон у людской, которая нас встретила. Она теперь свободна. Я ей заплачу.

– Забоится, не захочет.

– Попробуем.

– Хотите, я схожу?

– Нет, я сама.

Ей не сиделось. Они пошли к домику. Теркин палкой постучал в угловое окно и поднялся вместе с Калерией на крылечко.

Вышла женщина. Калерия объяснила ей, в чем дело.

– Хорошие деньги можешь заработать, – прибавил Теркин.

– Чего Боже сохрани – еще схватишь. Жаба, слышь. У Комаровых мальчонку уж свезли на погост, третьегось.

– У тебя, матушка, дети, что ли, есть?

– Как же, сударь, двое. Я и то их на порядок-то не пущаю.

– Десять рублей получишь.

Женщина вскинула ресницами и поглядела вбок. Посул десяти рублей подействовал.

– Вы послушайте, – начала Калерия, – вас я не заставлю

целый день около больных детей быть. Лекарство снести, передать кому что надо.

– Нет, сударыня, ослобоните. До греха не далеко. Мне свои дети дороже.

Она решительно отказалась.

– Ах, Боже мой!

Калерия громким вздохом перевела дыхание.

– Пойдемте, Василий Иванович... надо же как-нибудь.

У ворот она его остановила.

– Я здесь, во всяком случае, останусь.

– Как, ночевать?

– Ежели не управлюсь... А вы, пожалуйста, меня не ждите. Сима уж наверно приехала, беспокоится. Пожалуйста!

– Оставить вас здесь? Это невозможно!

– Полноте! Меня не съедят.

– По крайней мере, мы за вами экипаж пришлем.

– Не нужно!.. Меня кто-нибудь проводит. Да я и не заплутаюсь.

– Это невозможно! – почти крикнул он и покраснел. – Лесом чуть не три версты. Я сейчас же пришлю, лошадь другую запрягут.

– Не важно это, голубчик Василий Иванович; главное дело – дать знать начальству или из посада добыть доктора.

– И это сделаем!.. Сам завтра чем свет поеду. Сегодня... туда не угодишь. Теперь уж около семи.

– Да есть ли там доктор?

– Есть. Кажется, целых три; один из них и должен быть земский.

– Он ведь в том селе. Остальные не поедут, пожалуй.

– Настоим! Вы-то пожалейте себя. Не вздумайте ночевать здесь!.. Обещайте, что приедете сегодня, ну, хоть к десяти часам.

Он держал ее за обе руки и чувствовал во всем ее теле приметное трепетание. С этим трепетом и в его душу проникла нежность и умиленное чувство преклонения. Ничего такого ни одна женщина еще не вызывала в нем.

– Родная вы моя! – страстным шепотом выговорил он и с трудом выпустил ее руки из своих.

– Так я пойду!.. В другие дворы нужно... Идите, голубчик, и не беспокойтесь вы обо мне... Симы тоже не напугайте.

Почти бегом пересекла она луговину по направлению к колодцу и избе Вонифатьевых.

Теркиным снова овладело возбуждение, где тревога за Калерию покрывала все другие чувства. Он пошел скорым шагом и в каких-нибудь сорок минут был уже по ту сторону леса, в нескольких саженьях от дачи.

Зрение у него было чрезвычайно острое. Он искал глазами, нет ли Серафимы на террасе... Женской фигуры он не замечал. На дворе – никого. Сарай растворен. Значит, барыню привезли уже из посада, и кучер проваживает лошадей.

Он встретил его. Тот ему пересек дорогу слева: вел серого под уздцы. Другую лошадь можно сейчас же заложить; она

больше суток отдыхала.

– Привез барыню? – крикнул ему Теркин.

Кучер остановил лошадь.

– Только что угодили, Василий Иваныч. Дюже упарились.

Серый был весь в мыле.

– Что же ты так?

– Да Серафима Ефимовна все погоняли.

– Проваживать отдай Чурилину, он справится; а сам заложи Мальчика и съезди сейчас же за Калерией Порфирьевной в Мироновку. Ты обедал в посаде?

– В харчевушке перекусил.

– Ну, поужинаешь позднее. Пожалуйста, друг!

Теркин потрепал его по плечу. Кучер улыбнулся. Вся прислуга его любила.

– А в Мироновке-то, Василий Иваныч, где барышню-то спросить?

– На порядке тебе укажут. Она по больным ходит.

– Слушаю-с.

Только сажень за пять, у крыльца, Теркин спросил себя: как он ответит, если Серафима будет допытываться, что за болезнь в Мироновке.

«Скажу просто – жаба».

Но он чего-то еще боялся. Он предвидел, что Серафима не уймется и будет говорить о Калерии в невыносимо пошлом тоне.

И опять произойдет вспышка.



– Где барыня? – спросил он у карлика, сидевшего на крыльце.

– Она в гостиной.

Оттуда доносились чуть слышно заглушенные pedalью звуки той же самой унылой мелодии тринадцатого ноктюрна Фильда.

«Тоскует и мается», – подумал он без жалости к ней, без позыва вбежать, взять ее за голову, расцеловать. Ее страдания были вздорны и себялюбивы, вся ее внутренняя жизнь ничтожна и плоскодонна рядом с тем, что владеет душой девушки, оставшейся там, на порядке деревни Мироновки, рискуя заразиться.

Дверь была затворена из передней. Он отворил ее тихо и вошел, осторожно ступая.

– Это ты?

Серафима продолжала играть, только оглянулась на него. Он прошел к двери на террасу. Там приготовлен был чай.

– Хочешь чаю? – спросила она его, не поворачивая головы.

– Выпью!..

На террасе он сейчас же сел. Утомление от быстрой ходьбы отняло половину беспокойства за то, какой разговор может выйти между ними. Он не желал спрашивать, где она побывала в посаде, у кого обедала. Там и трактира порядочного нет. Разве из пароходских у кого-нибудь... Так она ни с кем почти не знакома.

Звуки пианино смолкли. Серафима показала на пороге. – Ходили в Мироновку? – спросила она точно совсем не своим голосом, очень твердо и спокойно.

– Да... Калерия Порфирьевна там осталась... больных детей осмотреть.

– Что ж? Переночует там?

Этот вопрос Серафима сделала уже за самоваром.

– За ней надо лошадь послать, – вымолвил Теркин также умышленно-спокойно.

Из-за самовара ему виден был профиль Серафимы. Блеск в глазах потух, даже губы казались бледнее. Она разливала чай без выдающих ее вздрагиваний в пальцах.

– Какая же это болезнь в Мироновке?

– Я сам не входил. Жаба, кажется.

– Жаба, – повторила она и поглядела на него вбок. – Дифтерит, что ли?

– Почему же сейчас и дифтерит? – возразил он и стал краснеть.

Краска выступила у него не потому, что ему неприятно было скрывать правду, но он опять стал бояться за Калерию.

В гостиной слышались шаги.

– Чурилин! Кто там? – крикнул он.

Карлик подбежал к двери.

– Скажи, чтобы сейчас закладывали. Сию минуту!.. И ехали бы за барышней!

– Боишься, – начала Серафима, когда карлик скрылся, –

боишься за нее... Как бы она не заразилась?.. Ха-ха!

Хохот был странный. Она встала и вся как-то откинулась назад, потом стала щелкать пальцами.

«Истерика... Так и есть!» – подумал Теркин, и ему стало тошно, но не жаль ее.

Серафима пересилила себя. Истерику она презирала и смеялась над нею.

Она прошлась по цветнику несколько раз, опять вернулась к столу и стала прихлебывать с ложечки чай.

Молчание протянулось долгой-долгой паузой.

## XIX

– Послушай, Вася, – Серафима присела к нему близко. – Ты меня почему же не спросишь, зачем я ездила в посад и что там делала целый день? А?

– Расскажешь сама.

– Тебе это безразлично?

Голос ее вздрагивал. Зрачки опять заискрились. Губы поалели, и в них тоже чуялась дрожь; в углах рта подергивало. И в лицо ему веяло прерывистое дыхание, как в минуты самой возбужденной страстности.

– Не безразлично, а что ж я буду приставать к тебе... Ты и без того сама не своя.

– Сама не своя! – повторила Серафима, и ладонь руки ее упала на его колени. – Так я тебе расскажу, зачем я ездила...

За снадобьями.

– За какими снадобьями?

Он повел плечами. Ее тон казался ему совершенно неуместным, даже диким.

– За какими? Аптекаря соблазняла: не даст ли он мне чего-нибудь менее скверного, чем мышьяк.

– Сима! Что ты?! Шутки твои я нахожу...

– А ты выслушай. Репримандов я не желаю, голубчик. Мышьяк – мерзость. Хорош только для крыс. Также и головки от спичек. Да нынче таких и не делают почти. Все шведские пошли. Ну, хоть опиуму побольше, или морфию, или хлоралу, если цианкали нельзя, или той... как бишь, синильной кислоты.

Ноздри ее начали заметно вздрагивать. Блеск глаз усиливался. Она показалась ему небывало хороша и страшна.

– Сима! Да перестань!..

Его физически резало жуткое ощущение от ее голоса, слов, лица.

– Не нравится тебе? Потерпи! Я долго томить не буду... Ну, ничего настоящего я не добыла... Тебе, быть может, это и на руку?.. Кидалась даже к москательщикам... Один меня на смех поднял. Вообразила, что найду другое что... такое же действительное... У часовщика нашла... Самый дамский инструмент... Бульдогом прозывается.

– Револьвер?

– А то как бы ты думал? Тридцать рублей предлагала. Он

бы и отдал, да патронов у него нет. «И нигде здесь не достанешь», – говорит. Если и найдутся пистолеты, так другого калибра. Не судьба! Ничего не поделаешь!.. Измаялась я: ку-чера отпустила в харчевню, а сама с утра не пивши, не евши. Забрела на набережную, села на траву и гляжу на воду. Все она – Волга, твоя любимая река. Чего же еще проще? К чему тут отравы или револьвер? Взяла лодку или по плотам по-дальше пробралась – бултых! – и все кончено! Чего лучше, чего дешевле?..

Он не прерывал ее. Тон ее делался проще. Было что-то в ее рассказе и чудн/ое, и наводившее на него род нервного усыпления, как бывало в детстве, когда ему долго стригли волосы.

– А вышло по-другому... Река-то меня и повернула вспять. Отравляться? Топиться?.. Из-за чего? Из-за того, что мужчины все до одного предатели и вместо любви знают только игру в любовь, рисовку свою поганую, да чванство, да новизну: сегодня одна, завтра другая! Нет! Это мы великосветским барыням да шальным девчонкам предоставим!

Серафима усиленно перевела дыхание.

– Вот тебе и весь сказ, Вася!.. Вот через что я перешла, пока вы с Калерией Порфирьевной под ручку по добрым делам отправлялись. Может, и миловались в лесу, – мне все равно! Слышишь, все равно!

Она сидела против него все так же близко. Теркин вышел из своего полузабытья.

– Если ты серьезно... не дурачишься, Сима...

– Ради Бога, без нравоучений!.. Видишь, я, не желая того, ловушку тебе устроила! – Углы ее рта стало опять подергивать. – Небось ты распознал с первых слов, что я не побасенки рассказываю, а настоящее дело. И что же? Хоть бы слово одно у тебя вырвалось... Одно, единственное!.. Вася!.. Нас теперь никто не видит и не слышит. Неужели нет в тебе настолько совести, чтобы сказать: Серафима, я тебя бросить собираюсь!..

– Кто тебе это сказал? – вскрикнул он и оттолкнул ее движением руки.

– Я тебе это говорю! Не то что уж любви в тебе нет... Жалости простой! Да я и не хочу, чтобы меня жалели... И бояться нечего за меня: смерти больше искать не стану... Помяренье прошло!.. Все, все предатели!

Хохот вырвался из горла, уже сдавленного новым приступом истерики.

Серафима вскочила и побежала через цветник в лес. Теркин не бросился за ней, махнул рукой и остался на террасе.

Он не захотел догнать ее, обнять или стать на колени, тронуть и разубедить. Как параличом поражена была его воля. Он не мог и негодовать, накидываться на нее, осыпать ее выговорами и окриками. За что? За ее безумную любовь? Но всякая любовь способна на безумство... Ему следовало пойти за ней, остановиться и повиниться в том, что он не любит ее так, как она его. Разве она не увидала этого раньше, чем

он сам?

В лесу уже стемнело. Серафима сразу очутилась у двух сосен с сиденьем и пошла дальше, вглубь. Она не ждала за собою погони. Ее «Вася» погиб для нее бесповоротно. Не хотела она ставить ловушку, но так вышло. Он выдал себя. Та – святоша – владеет им.

Рассказала она ему про свои поиски яда и пистолета, но про одно умолчала: у заезжего армянина, торгующего бирюзой, золотыми вещами и кавказским серебром, она нашла кинжал с костяной рукояткой, вроде охотничьего ножа, даже спросила: отточен ли он. Он был отточен. О себе ли одной думала она, когда платила деньги за этот нож?..

Теперь в темноте леса, куда она все уходила уже задержанной, колеблющейся поступью, она не побоится заглянуть себе в душу...

Ее гложет ненависть к Калерии, такая, что как только она вспомнит ее лицо или белый чепчик и пелеринку, – дрожь пойдет у нее от груди к ногам и к рукам, и кулаки сжимаются сами собою. Нельзя им больше жить под одной крышей. А теперь Калерия, с этим поветрием ребят в Мироновке, когда еще уедет? Да и дифтерит не приберет ее: сперва она их обоих заразит, принесет с собой на юбках. Уберется она наконец, – все равно его потянет за ней, он будет участвовать в ее святошеских занятиях. Она все равно утащит с собою его сердце!

«Предатели, предатели!» – шептали запекшиеся от внут-

ренного жара губы Серафимы, и она все дальше уходила в лес.

Совсем стало темно. Серафима натыкалась на пни, в лицо ей хлестали сухие ветви высоких кустов, кололи ее иглы хвои, она даже не отмахивалась. В середине груди ныло, в сердце нестерпимо жгло, ноги стали подкашиваться, Где-то на маленькой лужайке она упала как сноп на толстый пласт хвои, ничком, схватила голову в руки отчаянным жестом и зарыдала, почти завывала. Ее всю трясло в конвульсиях.

Ни просвета, ни опоры, ни в себе, ни под собою, вот что заглодало ее, точно предсмертная агония, когда она после припадка лежала уже на боку у той же сосны и смотрела в чащу леса, засиневшего от густых сумерек. Никакой опоры! Отрывками, в виде очень свежих воспоминаний годов ученья и девичества, уходила она в свое прошлое. Неужли в нем не было ничего заветного, никакой веры, ничего такого, что утишило бы эту бешеную злобу и обиду, близкую к помрачению всего ее существа? Ведь ее воспитали и холили; мать души в ней не чаяла; в гимназии все баловали; училась она бойко, книжки читала, в шестом классе даже к ссыльным ходила, тянуло ее во что-нибудь, где можно голову свою сложить за идею. Но это промелькнуло... Пересилила суетность, купила себе мужа – и в три года образовалась «пустушка». Как мотылек на огонь ринулась она на страсть. Все положила в нее... Все! Да что же все-то? Весь пыл, неутолимую жажду ласки и глупую бабью веру в вечность обожания своего Васи,



в его преклонение перед нею...

И через год – вот она, как зверь, воет и бьется, готова кидаться как бесноватая и кусать всех, душить, резать, жечь.

– Царица небесная! Смилуйся!

Она приподнялась и, сидя на земле, опустила голову в ладони. Нет, это обмолвка! Веры в ней нет никакой: ни раскольничьей, ни православной, ни немецкой, ни польской, ни другой какой нынешней: толстовской или пашковской... С тех пор как она замужем и в эти два последних года, когда она только жила в Васю, ни разу, даже у гроба отца своего, она не подумала о Боге, о том, кто нас поставил на землю, и должны ли мы искать правды и света. Никто вокруг нее не жил в душу, в мысль, в подвиг, в милосердие. Только мать обратилась опять к божественному; но для нее это – изуверство, и смешное изуверство. Мешочек с сухарями, лестовки да поклоны с буханьем головы по тысяче раз в день, да угощение пьяных попов-расстриг. Детей нет, дела никакого, народа она не жалеет, теперешнего общества ни в грош не ставит, достаточно присмотрелась к его беспутству и пустоте...

Что возвратит ей любовника? Какое приворотное зелье? Тумана страсти ни на один миг не прорвало сознание, что в нем, в ее Васе, происходит брожение души, и надо его привлекать не одними плотскими чарами.

Опять мелькнули в ее мозгу прозрачное лицо Калерии и взгляд ее кротких улыбающихся глаз. Злоба сдавила горло. Она начала метаться, упав навзничь, и разметала руки. Уни-

чтожить разлучницу – вот что заколыхало Серафиму и забило ей в виски молотками.

И когда яростное напряжение души схватилось за этот исход, Серафима почувствовала, как вдруг всю ее точно сжало в комок, и она застыла в сладострастье кровавой расплаты.

## XX

Стук в дверь разбудил Теркина.

Он обернулся на окно, завешенное шторой. Ему было невдомек, сколько он спал; вряд ли больше двух-трех часов.

– Василий Иванович! Батюшка! – послышался детский шепот за дверью.

Говорил Чурилин.

– Что тебе? Войди!

Карлик в темноте вкатился – и прямо к постели.

– Батюшка! Пожалуйста поскорее! Страсти какие!

– Пожар?

– Барыня, Серафима Ефимовна... они сторожат... притаились... что-то с барышней хотят сделать... Кинжал я у них видел..

– Что ты городишь!

Но Теркин уже вскочил и сейчас все вспомнил. Лег он, дождавшись Калерии, в большом волнении. Она его успокоила, сказала, что мальчик еще жив, а остальные дети с слабыми формами поветрия. Серафима прошла прямо к себе

из лесу. Он ее не стал ждать и ушел наверх, и как только разделся, так и заснул крепко. Не хотел он новых сцен и решил утром рано уехать в посад, искать доктора и побывать у местных властей.

– Пожалуйте, пожалуйте! – понукал его карлик.

Теркин зажег свечу и надел халат прямо на ночное белье.

– Говори толком! – грозно крикнул он.

Чурилин, с бледным лицом и влажным лбом, заикаясь, заговорил опять шепотом:

– Прокрадутся к барышне, верьте слову... Я вас и барышню жалеючи, Василий Иванович. Тут душегубство будет... Пожалуйте, батюшка!

И он дергал своей ручкой за полы халата, но в глазах его, кроме испуга, была твердость воли – захватить покушение и уличить Серафиму. Он ее не выносил и постоянно за ней подглядывал.

– Свети! – приказал ему Теркин.

Карлик покатился вперед, держа свечу. Он был босиком, в ночных панталонах и в цветной рубашке с косым воротом. И Теркин в туфлях шагал через ступеньку.

– Потише, потише! – пустил детским шепотом Чурилин.

Только что они спустились на площадку, как из угловой комнатки, где спала Калория, долетел испуганный возглас, а потом сдавленный крик.

Теркин выхватил у карлика подсвечник и побежал туда. Чурилин за ним.

У двери, оставшейся не запертой, Теркин быстро поставил подсвечник на комод и кинулся к постели; захваченный чувством большой опасности, он сразу не мог разглядеть в полутемноте, что тут происходит.

Новый крик, – он узнал голос Калерии, – заставил его наброситься на Серафиму, схватить ее сзади за плечи и стремительно отбросить назад.

– Так ты вот как! – глухо крикнул он.

На кровати Калерия в ночной кофте, с распущенными волосами, откинулась к стене, спустила ноги и схватилась одной рукой за левое плечо. На белье выступила кровь. Она уже не стонала и только другой рукой силилась прикрыться одеялом.

Серафима вырывалась от Теркина – на ней был пеньюар – и правой рукой как будто силилась нанести удар по направлению к Калерии. Вся она дрожала, из горла выходил хрип. Зрачками она тихо поводила, грудь колыхалась, спутанные волосы покрывали лоб.

– Пусти! Пусти!.. – крикнула она, яростно рванулась как раз к кровати и упала на одно колено.

Карлик подбежал к ней с другой стороны, схватил за свободную руку и повис на ней. Теркин стал выхватывать у Серафимы кинжал, вырвал с усилием и поранил себя в промежутке между большим и указательным пальцами.

– Василий Иваныч! Родной!.. За меня!.. Господи!

Калерия вскочила, забыв про босые ноги, и мимо Сера-

фимы бросилась к Теркину.

Он успел уже нагнуться к Серафиме, схватил ее в охапку, пронес к ней в спальню, куда уже прибежала сонная горничная, почти бросил на постель, крикнул Степаниде: «Ступай отсюда!» – вытолкнул ее и запер дверь на ключ.

– Батюшка!.. Барин!.. Они на себя руки наложат! – вся уже в слезах взмолилась Степанида.

– Не наложит! Небось! – гневно и жестко крикнул он. – Только слышишь, – и он грозно поглядел на нее, – ни гугу! Боже тебя сохрани болтать!

К Калерии он бросился назад, уже совсем овладев собою, как всегда, в минуты настоящей опасности.

– Голубчик! – встретила она его умоляющим тоном. – Ради Создателя, не бойтесь вы за меня и не гневайтесь на нее. Ничего! Чистые пустяки! Видите, я сама могла перевязать.

Она уже сидела в постели, и Чурилин держал перед ней ее ящичек, откуда она уже достала корпию и бинт и обматывала себе плечо, подмышку. Один рукав кофты она спустила, и в первые минуты присутствия Теркина не стесняло ее; потом она взглянула на него с краской на щеках и выговорила потише:

– На минуточку... пошлите мне Степаниду... Или нет, я сама...

– А его вам оставить? – спросил Теркин, указав головой на карлика. – Я выйду.

– Он – ничего!..

Она даже усмехнулась, и в глазах у нее не было уже ни страха, ни даже беспокойства.

Теркин вышел в коридорчик.

– Бьются они там, – доложила ему шепотом Степанида, все еще в слезах. – Позвольте, барин, хоть воды... спирту...

Из спальни раздавался истерический хохот Серафимы.

– Ничего! Пройдет! – так же жестко выговорил он и тут только вспомнил, что надо припрятать кинжал, брошенный на пол.

«Вещественное доказательство», – подумал он, вышел на заднее крыльцо и присел на ступеньку.

Ночь пахнула ему в лицо свежестью.

Он уже не боялся больше за Калерию и ни чуточки не жалел Серафимы. Его нисколько не трогало то, что эта женщина пришла в такое безумство, что покусилась на убийство из нестерпимой ревности, из обожания к нему.

«Распуста! – выговорил он про себя то самое слово, которое выплыло у него в лесу, когда он там, дорогой в Мироновку, впервые определил Серафиму. – Злоба какая зверская! – толпились в нем мысленно приговоры. – Хоть бы одна человеческая черта... Никакой сдержки! Да и откуда?.. Ни Бога, ни правды в сердце! Ничего, кроме своей воли да бабьей похоти!»

Ему как будто стало приятно, что вот она теперь в его руках. Хочет – выдаст ее судебной власти... Большого она не заслуживает.

Это проскользнуло только по дну души, и тотчас взяло верх более великодушнее чувство.

«Выпущу завтра – и ступай на все четыре стороны. Дня не останусь с нею! Калерию Порфирьевну я должен оградить первым делом».

И с новой горечью и надеждой стал он думать о том, что без нее, без соблазна, пошедшего от этой именно женщины, никогда бы он не замарал себя в собственных глазах участием в утайке денег Калерии и не пошел бы на такой неблагоприятный заем.

«Подлость какая! – чуть не вскричал он вслух. Ограбить девушку, оскорблять ее заочно, ни за что ни про что, ее возненавидеть, да еще полезть резать ей горло ножом сонной, у себя в доме!..»

Тут только наплыв нежной заботы к Калерии охватил его. Его умиление перед этой девушкой «не от мира сего» вызвало тихие слезы, и он их не сдерживал.

– Барин! – раздался сзади возбужденный шепот Чурилина. – Барышня вас просят к себе.

– Легли опять в постель?

– Да-с. И сами себя перевязали. Я диву дался...

Карлик считал себя немножко и фельдшером. Ловкость Калерии привела его в изумление.

Теркин перебежал коридорчик.

– Бесценная вы моя!

Он опустился на колени подле кровати и прильнул губами

к кисти пораненной руки, лежавшей поверх одеяла.

Калерия прислонилась к подушке и заговорила тихо, сдерживая слезы:

– Ради Создателя, Василий Иванович, простите вы ей! Это она в безумии. Истерика! Вы не знаете, вы – мужчина. Надо с мое видеть. Ведь она истеричка, это несомненно... Прежде у нее этого не было. Нажила... Не оставляйте ее там взаперти. Пошлите Степаниду... Я и сама бы... да это еще больше ее расстроит. Наверно, с ней галлюцинации бывают в таких припадках.

– Никакой тут болезни нет, – прервал он. – Просто злоба да... зверство!

– Голубчик! Она вас до сумасшествия любит. Что ж это больше, скажите вы сами?... Мне так прискорбно. Внесла сюда раздор... Я рада-радехонька буду уехать хоть завтра... да мне вас обоих до смерти жалко. Помирить вас я должна... Непременно!

– Пускай она своей дорогой идет!

– Не берите греха на душу! Она – ваша подруга. Брак – великая тайна, Василий Иванович. Простите.

– И вы за кого просите! Не стоит она вашего мизинца!

– Подите к ней, приласкайте... Ведь у меня чистый пустяк... Завтра и боль-то вся пройдет... Я в Мироновку на весь день уйду.

– Воля ваша, – выговорил он, все еще стоя у кровати, – не могу я к ней идти... Горничную пушу. Больше не требуйте



от меня... Ах вы!.. Вот перед кем надо дни целые на коленях стоять!

– Чт/о вы, чт/о вы!.. Голубчик!

Она махнула рукой и тотчас от боли чуть слышно заныла.

– Милая!.. Гоните меня!.. Почивайте!.. Верьте, – слезы не позволили ему сразу выговорить. – Верьте... Василий Теркин до последнего издыхания ваш, ваш... как верный пес!..

Он выбежал и крикнул в коридор:

– Степанида! Можете идти к барыне. Ключ в дверях.

## XXI

Ни одной минуты не смущала Теркина боязнь, как бы Серафима «не наложила на себя рук». Он спал крепко, проснулся в седьмом часу и, когда спросил себя: «как же с ней теперь быть?» – на сердце у него не дрогнуло жалости. Прощать ей он не хотел, именно не хотел, а не то, что не мог... И жить он с ней не будет, пускай себе едет на все четыре стороны.

Первая его забота была о Калерии. Наверно, ее лихорадит. Испуг, потрясение, да и рана все-таки есть, хотя и не опасная.

Тихо и поспешно он оделся, приказал заложить лошадь и, не спросив Степаниду, попавшуюся ему на заднем крыльце, как почивала «барыня», сейчас же послал ее узнать, встала ли Калерия Порфирьевна, не угодно ли ей чего-нибудь и мо-

жет ли она принять его.

Серафима еще спала и проснулась не раньше восьми.

В комнату Калерии, где шторы были уже подняты, он вошел на цыпочках, затаив дыхание. Сердце билось заметно для него самого.

– Как вы себя чувствуете?

Он остановился у двери. Калерия уже сидела около туалетного столика, одетая, немного бледная, но бодрая.

– Пустяки сущие, Василий Иванович... А Сима почивает? – спросила она шепотом.

– Кажется... Все-таки, – перебил он себя другим тоном, – нельзя же без доктора.

– Для кого? Для нее?

– Для вас, родная!

– Пожалуйста... Мне можете верить... Я немало, чай, ран перевязывала! Это – просто царапина. Еще бы немножко йодоформу, если найдется.

Она встала, подошла к нему и правой рукой – левая была на перевязи – взяла его за руку.

– В Мироновку-то, голубчик, привезти кого... Уж я не знаю: не поехать ли мне сначала в посад?

– С какой стати? Что вы! – чуть не крикнул Теркин. – Я поеду... сейчас же... Только в ножки вам поклонюсь, голубушка, – он впервые так ее назвал, – не ездите вы сегодня в Мироновку!

– Я пешком пойду!

– Не позволю я вам этого!

– Да полноте, Василий Иванович, – выговорила она строго. – Я здорова! А там мрут ребятки. Право, пустите меня в посад. Я бы туда слетала и в Мироновку поспела... – Она понизила опять звук голоса. Оставайтесь при Симе. Как она еще будет себя чувствовать?

– Как знает!

– Василий Иванович! Грех! Большой грех! Ведь она не вам хотела зло сделать, а мне.

– Вы – святая!

– С полочки снятая!..

Она тихонько усмехнулась.

– Я не могу за ней ухаживать, не могу! Это лицемерие будет, – с усилием выговорил Теркин и опустил голову.

– Знаете что... Прикажите меня довести до Мироновки, а сами побудьте здесь. Только, пожалуй, лошадь-то устанет... потом в посад...

– Ничего не значит! Туда и назад десяти верст нет. У нас ведь две лошади!

– Я духом... Чаю мне не хочется... Я только молока стакан выпью.

Ему вдруг стало по-детски весело. Он точно совсем забыл, что случилось ночью и кто лежит там, через коридор.

– В посаде я мигом всех объезжу... Запишите мне на бумажке – что купить в аптеке и для себя и для больных.

И тут опять страх за нее кольнул его.

– Калерия Порфирьевна, – он взял ее за здоровую руку, – не засиживайтесь вы там... в избах... Ведь это заразная болезнь.

– Детская!

– Подумайте... сколько у вас впереди добра... к чему же так рисковать?

– Хорошо, хорошо!

– Ну, простите... Вам сюда подать молоко?

– Все равно!

И уходить ему не хотелось от нее.

Когда он очутился в коридорчике и увидел Чурилина, тревожно и преданно вскинувшего на него круглые, огромные глаза свои, мысль о Серафиме отдалась в нем душевной тошнотой.

– стакан молока и хлеба подать барышне, сию минуту!

Он приказал это строго, и карлик понял, что ему следует «держать язык за зубами» насчет вчерашнего.

В доме Теркину не сиделось. Он понукал кучера поскорее закладывать, потом узнавал, подают ли Калерии Порфирьевне молоко; когда к крыльцу подъехало тильбюри, он сам пошел доложить ей об этом и еще раз просил, с заметным волнением в лице, «быть осторожнее, не засиживаться в избах».

Калерия уехала и, садясь в экипаж, шепнула ему:

– Пожалейте ее, голубчик... Совет да любовь!

Любимая ее поговорка осталась у него в ушах и раздражала его.

«Совет да любовь! – повторял он про себя. – Нешто это возможно?..»

Он уже не скрывал от себя правды. Любви в нем не было, даже просто жалости, как ему еще вчера сказала Серафима на террасе... Не хотел он и жалеть... Вся его страсть казалась ему чем-то грубо-плотским.

«Все такие – самки и больше ничего»...

И чего он ждал? Почему не уехал с Калерией? Зачем поддался ее просьбам? Ведь он мог бы домчать ее до деревни и сейчас же назад, и отправиться в посад на той же лошади... Сегодня сильной жары не будет. Только бы ему не видеться до вечера с Серафимой.

Не хотел он этого не потому, что трусил ее. Чего ему ее трусить? Но он так стал далек от нее, что не найдет в себе ни одного доброго слова, о каком просила его Калерия. Притворяться, великодушничать он не будет. Если б она и разливалась, ревела, кляла себя и просила пощады, – и тогда бы сердце его не раскрылось... Это он предчувствовал.

Степанида показалась перед ним, когда он хотел подняться наверх.

– Барыня вас просят, – проговорила она шепотом.

– Хорошо, – ответил он и тотчас не повернул назад, а взбежал к себе, подошел к зеркалу и поправил щеткой волосы.

Ему хотелось поглядеть себе в лицо – нет ли в нем явного расстройства. Он желал войти к ней вполне овладев собою. Лицо было серьезное, немного жесткое, без особенной блед-

ности или румянца. Он остался им доволен и медленно спустился по ступенькам лесенки.

Серафима ходила по спальне в своем батистовом пеньюаре и с фуляром на голове. В комнате стоял дорожный сундук с отомкнутой крышкой.

– Василий Иванович, – встретила она его окликом, где он слышал совсем ему незнакомые звуки, – вы меня вчера запереть хотели... как чумную собачонку... Что ж! Вы можете и теперь это сделать. Я в ваших руках. Извольте, коли угодно, посылать за урядником, а то так ехать с доносом к судебному следователю... Чего же со мной деликатничать? Произвела покушение на жизнь такого драгоценного существа, как предмет вашего преклонения...

Лицо ее за ночь пожелтело, глаза впали и медленно двигались в орбитах. Она дышала ровно.

– Серафима Ефимовна, – ответил он ей в тон и остался за кроватью, ближе к двери, – все это лишнее, что вы сейчас сказали... Ваше безумное дело при вас останется. Когда нет в душе никакой задержки...

Одним скачком она очутилась около него, и опять порывистое дыхание – предвестник новой бури – пахнуло ему в лицо.

– Без нравоучений!.. Я за тобой послала вот зачем: не хочу я дня оставаться здесь. Доноси на меня, вяжи, коли хочешь, – наши с тобой счета кончены...

И так же порывисто она подбежала к столу, вынула из

ящика пакет и бросила на стол, где лежали разные дамские вещи.

– Вот Калерькины деньги, не надо мне... Сколько истрачено из них – мы вместе с тобой тратили... И вексель твой тут же. Теперь тебе нечего выдавать документ, можешь беспрепятственно пользоваться. Небось! Она с тебя взыскивать не будет! Дело известное, кто в альфонсы поступает...

Он не дал ей договорить, схватил за руку и, задыхаясь от внезапного наплыва гнева, отшвырнул от стола.

Еще один миг – и он не совладал бы с собою и стал бы душить ее: до такой степени пронизала его ярость.

– Подлая, подлая женщина! – с трудом разевая рот, выговорил он и весь трясся. – Ты посмела?..

– Что посмела? Альфонсом тебя назвать?.. А то кто же ты?

– Ты же меня подтолкнула... И ты же!..

Он не находил слов. Такая «тварь» не заслуживала ничего, кроме самых мужицких побоев. И чего он деликатничал? Сам не хотел рук марать? И этого она не оценит.

– Ежели ты сейчас не замолчишь, – крикнул он, я тебя заставлю!

В одно мгновение Серафима подставила свое лицо.

– Бей!.. Бей!.. Чего же ждать от тебя, мужицкого подкидыша...

Она могла обозвать его одним из тех прозвищ, что бросали ему в детстве! В глазах у него помутилось... Но рука не поднялась. Ударить он не мог. Эта женщина упала в его гла-

зах так низко, что чувство отвращения покрыло все остальное.

– Рук о тебя марасть... не стоит, – выговорил он то, что ему подумалось две минуты перед тем. – Не ты уходишь от меня, а я тебя гоню, – слышишь – гоню, и счастлив твой Бог, что я тебя действительно не передал в руки прокурорской власти! Таких надо запирать, как бесноватых!.. Чтоб сегодня же духу твоего не было здесь.

Все это вылетело у него стремительно, и пять минут спустя он уже не помнил того, что сказал. Одно его смутно пугало: как бы не дойти опять до высшего припадка гнева и такой же злобы, какая у нее была к Калерии, и не задушить ее руками тут же, среди бела дня.

Он вышел, шатаясь. Голова кружилась, в груди была острая, колющая боль. И на воздухе, – он попал на крыльцо, – он долго не мог отдышаться и прийти в себя.

## XXII

В господских комнатах дачи все было безмолвно. Пятый день пошел, как Серафима уехала и взяла с собою Степаниду. Ее вещи отвезли на подводе.

Со вчерашнего дня карлик Чурилин поджидает возвращения «барина». Теркин заночевал в посаде и должен вернуться после обеда. «Барышня» в Мироновке. Она тоже раньше вечера не угодит домой.



Чурилин теперь один заведует всем. Кухарка у себя на кухне, в особом флигельке. Он даже и постель стелет Калерии Порфирьевне. Сегодня он стола не накрывал к обеду; к шести часам он начал все готовить к чаю, с холодной закуской, на террасе, беспрестанно переходя туда из буфета и обратно. Ему привольно. Нет над ним недружелюбного глаза Серафимы Ефимовны. Дождалась она того, что ее «пустили». Он про себя перебирает все, что случилось на даче, но не болтает ни с кем. Кухарка, должно быть, проведала что-нибудь от Степаниды и начала его расспрашивать. Он ни нес зарычал:

– Бабы пересуды! Ничего я не знаю!.. И ты не судачь!

Кухарка, женщина простая и боязливая, стала его бояться. Он теперь первое лицо в доме, и барин его любит.

Чурилин в радостном возбуждении так и катается по комнатам; потный лоб у него блестит, и пылающие пухлые щеки вздрагивают.

От душевного возбуждения он не устоял – выпил тайком рюмку водки из барского буфета. Он это и прежде делал, но в глубокой тайне... Своей «головой» он сам боялся. За ним водилось, когда он жил в цирюльне, «редко да метко» заложить за галстук, и тогда нет его буйнее: на всех лезет, в глазах у него все красное... На нож ползет, как ни что! И связать его не сразу удастся.

Он поставил на стол бутылку с хересом и графинчик водки, отошел от стола шага на два, полюбовался, как у него все

хорошо стоит, и его потянуло выпить рюмку... Не поддался он искушению... Несколько раз возвращался на террасу с чем-нибудь... Но все уже приготовлено... Самовар поставлен на крыльце кухни.

– Подлость! – вслух выговорил Чурилин, зажмурил глаза и укатил с балкона.

Василий Иванович его так «уважает» и полное ему доверие оказывает, а он будет водку воровски пить, да еще «нарежется», когда теперь-то и следует ему «оправдать» себя в глазах такого чудесного барина.

Он привязался к Теркину, как собака. Прогони его сейчас – он не выдержит, запьет, может, и руки на себя наложит. Всею душой стоял он за барина в истории с Серафимой Ефимовной. Кругом она виновата, и будь он сам на месте Василия Ивановича, он связал бы ее и выдал начальству... «Разве можно спускать такое дело бабе? – спрашивает он себя уже который раз с той ночи и отвечает неизменно: – Спускать не следует».

Вместо того чтобы повиниться и вымолить себе прощение, она – на-ко, поди! – начала какие «колена выкидывать»! И уехала-то «с форсом», к Калерии Порфирьевне не пошла, не просила у нее прощения, а та разливалась-плакала, – он видел в дверь, как та за нее же убивалась.

Он припрятал кинжал, который барин вырвал в ту минуту из рук Серафимы Ефимовны, и у него было такое чувство, точно он, именно он, Чурилин, имеет против нее самую глав-

ную улику и может всегда уличить ее. Барин про кинжал так и не спросил, а на лезвии кровь запеклась, кровь барышни.

«Барышня» наполняла его маленькое существо умилением. Он ее считал «угодницей». С детства он был очень богомолен и даже склонен к старой вере. Она для него была святее всякой «монашки» или простой «чернички».

Ему хотелось проникнуть в то, что теперь происходит или может произойти «промеж» Василия Иваныча и Калерии Порфирьевны. За барина он ручался: к своей недавней «сударке» он больше не вернется... Шалишь! Положим, она собою «кряля», да он к ней охладел. Еще бы – после такого с ее стороны «невежества». Этакая шалая баба и его как раз зарежет. Удивительно, как еще она и на него самого не покусилась.

Чего бы лучше вот такую девушку, как Калерия Порфирьевна, взять в «супруги»?

Карлик замечал, что у барина к ней большое влечение. От его детских круглых глаз не укрылось ни одно выражение лица Теркина, когда он говорил с Калерией, брал ее руку, встречал и провожал ее... Только он не мог ответить за барина, какое влечение имеет он к ней: «по плоти» или «по духу».

Она сама Христовой невестой смотрит, и не к замужеству ее тянет. Однако почему бы ей и не стоять пред аналогом таким молодцом и душевным человеком, как Василий Иваныч? Если бы он, Чурилин, мог этому способствовать, – сей-

час бы он их окрутил, да не вокруг «ракитова куста», как было дело у барина с Серафимой Ефимовной, а как следует в закон вступить.

Волновался он и насчет того, как барышня сама себя чувствует и понимает здесь, на даче... Ей, должно быть, жутко. Она ведь барину совсем чужая. Из-за нее случилось такое дело. И выходит, на посторонний взгляд, точно она сама этого только дожидалась и желает его довести до точки, влюбить в себя и госпожой Теркиной очутиться.

«Не таковская!» – заодно повторял про себя Чурилин, и если б кто из прислуги, кухарка или кучер, сказали при нем что-нибудь в этом роде, он драться полезет.

«Нет, не таковская!» И ему приятно было ручаться за нее, верить, что Калерия Порфирьевна не чета той, «бесноватой».

Но коли она не имеет никаких видов на барина, здесь ей из-за чего же заживаться? Выходит не совсем как бы ладно. Она – девушка посторонняя, а барин – молодой, да еще красивый мужчина. Ежели ее что удерживает – так мионовские больные ребятишки и жалость к Василию Иванычу. Не желает она его оставить в большом расстройстве. В Мионовке двое, никак, умерло из ребятишек; поди, затянется... А она не таковская, чтобы бросить или испугаться. И все одна. Из посада доктор приезжал; однако не остался там ночевать, прислал фельдшера, да и тот, – Чурилин это слышал, как Калерия Порфирьевна сокрушалась, – норовит, как бы

ему «стречка задать».

За нее Чурилин почему-то не боялся, что она может опасно заболеть. Неужли Бог допустит, чтобы такая душа вдруг «преставилась» – в награду за ее христианское поведение?..

Уедет Калерия Порфирьевна – и барин здесь дня не выживет, дачу сдаст, все перевезет в посад и пойдет кататься по Волге; может, и совсем переберется из этих краев...

Будет ли его брать с собою или скажет:

«Чурилин, ты мне, брат, не нужен. Я теперь сам бобылем стал: ищи себе другого барина!»

Внутри у карлика заглодело. Он кинется в ноги Василию Иванычу, – пускай возьмет, хоть без жалованья, только бы не гнал его.

Незаметно для себя его большая голова дошла до такого ужасного вывода. Неужели Серафимой Ефимовной и держалась вся здешняя жизнь и его служба, а барышня, при всей своей святости, принесла разгром?

Этот вопрос захватил его врасплох, и так ему стало жутко – впору пробраться на балкон и отхлебнуть из графинчика: авось отойдет.

Но он воздержался во второй раз и побежал в кухню узнать, как самовар, раздула ли кухарка уголья как следует; она – рохля, и у нее всегда самовар пахнет.

Только что он перебежал к крылечку кухни, как со стороны парадного крыльца слышался негромкий шум экипажа.

Чурилин бросился туда встречать барина. Это он особен-

но любил: тянулся к крылу тильбюри, принимал покупки, начинал громко сопеть.

И барин, и кучер были оба в пыли. Теркин прикрывался холщовой крылаткой. Лицо у него показалось Чурилину строже обыкновенного; но он спросил его довольно мягко:

– Барышня еще не воротилась?

Особенно звонко выпалил Чурилин:

– Никак нет, Василий Иваныч.

Пакетов и коробок никаких не было.

Теркин спустился с подножки и сказал кучеру:

– Хорошенько проводи!

О лошадях он всегда заботился, и за эту черту Чурилин «уважал» его, говаривал: «скоты милует», помня слова Священного писания.

– Умыться прикажете? – спросил он.

– Еще бы!

Он силился стянуть с барина полотняный плащ и побегал вперед с балкона. Ему хотелось сегодня усердствовать... Будь он посмелее, он вступил бы с барином в разговор и постарался бы выведать: почему у него вид «смутный».

Должно быть, та «бесноватая» что-нибудь натворила; пожалуй, скандал произвела?

Умывался Василий Иваныч один, но на этот раз он допустил его до рукомойника, и Чурилину было так отрадно, стоя вровень со столиком, поливать ему голову.

– Так и к обеду не бывала Калерия Порфирьевна? – спро-

сил Теркин, когда карлик подавал ему полотенце.

– И к обеду не бывали.

– А как слышно: все забирает там?

– Доподлинно не слышал, Василий Иванович.

Он знал, что вчера еще умерла девочка, но не хотел смущать барина.

– Ты не врешь?

– Ей-ей!

«Ложь во спасение!» – подумал Чурилин и доложил, что самовар готов.

## XXIII

В лице Калерии проступала сильная усталость. Теркин взглядывал на нее тревожно и боялся спросить, как «забирает» в Мироновке.

Калерия выпила чашку, отставила и лениво выговорила:

– Совсем не хочется пить.

Голос у нее звучал гораздо ниже обыкновенного и с легкой хрипотой.

– Уходите вы себя, голубушка, – порывисто выговорил он и еще тревожнее оглядел ее.

– Нет, сегодня у меня не особенно много было дела... Теперь лучше идет.

– Однако сколько снесли на погост?

– Всего трое умерло... Вчера одна девочка... Так жалко!

Она сдержала слезы и отвернулась.

– Обо мне что... – начала она, меняя тон, – здесь у меня другое на душе.

– Об нас сокрушаетесь небось? Так это напрасно! Чего разбирать, Калерия Порфирьевна? Никто ни в чем не виноват! Каждый в себе носит свою кару и свое оправдание.

С отъезда Серафимы они еще ни разу не говорили об «истории». Теркин избегал такого объяснения, не хотел волновать ее, боялся и еще чего-то. Он должен был бы повиниться ей во всем, сказать, что с приезда ее охладел к Серафиме. А если доведет себя еще до одного признания? Какого? Он не мог ответить прямо. С каждым часом она ему дороже, – он это чувствовал... И говорить с ней о Серафиме делалось все противнее.

Серафима чуть не выгнала Калерии, когда та пришла к ней, вся в слезах, со словами любви и прощения... И его она в первый день принималась несколько раз упрашивать за свою «злодейку».

– Неужели так все у вас и порвано? – спросила Калерия и поникла головой.

Ей заметно нездоровилось.

– Я готов исполнить что нужно... позаботиться о судьбе ее.

– Эх, голубчик! Это на вас не похоже. Ведь она не за деньги сошлась с вами.

– Я этого не говорю!



– Бросите вы ее... она погибнет. Помяните мое слово.

– Что ж мне делать? – почти крикнул он и встал со стула. – Я не могу напускать на себя того, чего нет во мне. Ну любил и привязался бы, быть может, на всю жизнь... На женитьбу пошел бы раньше. Но одной красоты мало, Калерия Порфирьевна. Вы говорите: она без меня погибнет! А я бы с ней погиб... Во мне две силы борются: одна хищная, другая душевная. Вам я как на духу покаюсь.

Он круто повернулся и опять подсел к ней. Ему вдруг стало легко и почти радостно от этих слов. Потребность новой исповеди перед ней назрела. Ничего уже он не боялся, никакой обмолвки...

– Погиб бы я с ней! У Серафимы в душе Бога нет!.. Я и сам в праведники не гожусь... Жил я вдалеке от помыслов о Божеском законе... На таких, как вы, мне стыдно смотреть... Но во мне, благодаря Создателю, нет закоренелости. И я почувал, что сожителство с Серафимой окончательно превратило бы меня в зверя.

– Как вы жестоки к ней! – тихо вырвалось у Калерии.

– Нет, ей-ей, не жесток!.. И верьте мне, родная, я не хочу прикрывать таким приговором собственную дрянность. Она кричала здесь: «все мужчины – предатели!» В том числе и я, первый... Что ж... Ко мне она прилепилась... Плотью или сердцем – это ее дело... Я не стану разбирать... Я ей был дороже, чем она мне, – каюсь. И стал я распознавать это еще до приезда вашего. На ярмарке, в Нижнем, встретился я с

одной актрисой... когда-то ухаживал, был даже влюблен. Теперь она совсем свихнулась и вдобавок пьянчужка, по собственному сознанию, а с ней у меня чуть не дошло...

Он остановился и покраснел. Это признание вылетело у него легко, но тотчас же испугало... Ему совестно было поднять глаза на Калерию.

– Вот видите, Василий Иванович... Вы повинились ли ей?

– Нет, скрыл, и это скверно, знаю! Но тогда-то я догадался, что сердцем моим она уже не владеет, не трогает меня, нет в ней чего-то особенного, – он чуть было не обмолвился: «того, что в вас есть». – Если б не ее ревность и не наш разрыв, я бы жил с ней, даже и в законном браке, без высшей душевной связи, и всякому моему хищничеству она стала бы полагать. Вас она всегда ненавидела, а здесь впервые почувствовала, что ей нельзя с вами тягаться.

– В чем, голубчик?

Щеки его запылали. Он смешался и мог только выговорить:

– Ни в чем нельзя... кроме чувственной прелести. А прелесть эта на меня уже не действовала.

Он смолк и глубоко перевел дух. Калерия, бледная и с поблеклым взглядом, вся сгорбилась и приложила ладонь к голове: ей было не по себе – в голове начиналась тяжесть и в ребрах ныло; она перемогалась.

– Любовь все может пересоздать, Василий Иванович... Как умела, она любила вас... Пожалейте ее, Христа ради! Ведь

она человек, а не зверь...

– Я ей простил... Да и как не простить, коли вы за нее так сокрушаетесь? Вы! Не меня она собралась со свету убрать, а вас! Ее ни прощение, ни жалость не переделает... Настоящая-то ее натура дала себя знать. Будь я воспитан в строгом благочестии, я бы скорее схиму на себя надел, даже и в мои годы, но вериг брачного сожителства с нею не наложил бы на себя!

Теркин схватил ее руку, – она уже сняла с нее перевязку, – и придержал ее в своих руках.

– Калерия Порфирьевна! Н/ешто мне не страшно было ка-яться вот сейчас? Ведь я себя показал вам без всякой при-красы. Вы можете отшатнуться от меня... Это выше сил мо-их: любви нет, веры нет в душу той, с кем судьба свела... Как же быть?.. И меня пожалейте! Родная...

Губы его прильнули к прозрачной руке Калерии. Рука бы-ла горячая и нервно вздрагивала.

– Не целуйте!.. Голубчик! Василий Иваныч... За что? Да и боюсь я...

– Чего?

– От меня еще прикинется к вам болезнь... Знаете... сколько ни умывай руки... все есть опасность... Особенно там, в избах.

И, спохватившись, как бы не испугать его, она заговорила быстрее. Он заметил, как она коротко дышала.

– Скорблю я за вас, милый вы мой Василий Иваныч. Вас

я еще сильнее жалею, чем ее. То, что вы мне сейчас сказали, – чистейшая правда... Я вам верю... Господь вас ведет к другой жизни, – это для меня несомненно... Вы меня ни за ханжу, ни за изуверку не считаете, я вижу. Во мне с детства сидит вера в то, что зря ничего не бывает! И это безумие Серафимы может обновить и ее, и вашу жизнь. Известное дело... Любви два раза не добудешь... Но какой? Мятежной, чувственной вы уже послужили... Серафима еще больше вашего... Я об одном прошу вас: не чурайтесь ее как зачумленной; когда в ней все перекипит и она сама придет к вам, – не гоните ее, дайте ей хоть кусочек души вашей...

Она хотела еще что-то сказать, отняла руку и опять прошлась ею по лбу.

– Нездоровится вам? – испуганно спросил Теркин.

– Устала... Нынче как-то особенно...

– Уходите вы себя! – почти со слезами вскричал он и, когда она поднялась с соломенного кресла, взял ее под руку и повел к гостиной.

– Василий Иваныч!

Они остановились.

– Вы не бойтесь за меня! Нехорошо! Я по глазам вашим вижу – как вы тревожитесь!..

– Воля ваша! В Мироновку завтра вас не пущу.

– Увидим, увидим! – с улыбкой вымолвила она и на пороге террасы высвободила руку. – Вы думаете, я сейчас упаду от слабости... Завтра могу и отдохнуть... Там, право, это...

поветрие... слабеет... Еще несколько деньков – и пора мне ехать.

– Ехать? – повторил Теркин.

– Как же иначе-то?.. Ведь нельзя же так оставить все. Се-  
рафима теперь у тетеньки... Как бы она меня там ни встре-  
тила, я туда поеду... Зачем же я ее буду вводить в новые гре-  
хи? Вы войдите ей в душу. В ней страсть-то клокочет, быть  
может, еще сильнее. Что она, первым делом, скажет матери  
своей: Калерия довела меня до преступления и теперь живет  
себе поживает на даче, добилась своего, выжила меня. В ее  
глазах я – змея подколотная.

Она чуть слышно рассмеялась.

Будь это два года назад, Теркин, с тогдашним своим взгля-  
дом на женщин, принял бы такие слова за ловкий «подход».

В устах Калерии они звучали для него самой глубокой ис-  
кренностью.

– Бесценная вы моя! – вскричал он, поддаваясь новому  
наплыву нежности. – Какая нам нужда?.. У нас на душе как  
у младенцев!..

Говоря это, он почувствовал, как умиленное чувство  
неудержимо влечет его к Калерии. Руки протягивались к  
ней... Как бы он схватил ее за голову и покрыл поцелуями...  
Еще одно мгновение – и он прошептал бы ей: «Останься  
здесь!.. Ненаглядная моя!.. Тебя Бог послал быть мне подру-  
гой! Тебя я поведу к алтарю!»

– Что это какая у меня глупая голова!.. – прошептала

вдруг Калерия, и он должен был ее поддержать: она покачнулась и чуть не упала.

«Господи! Заразилась!» – с ужасом вскричал он про себя, доведя ее до ее комнаты.

## XXIV

Перед окном вагона сновала публика взад и вперед – мастеровые, купцы, женщины, бедненько одетые; старушки с котомками, в лаптях, мужики-богомольцы.

Почему-то не давали третьего звонка. Это был ранний утренний поезд к Троице-Сергию.

В углу сидел Теркин и смотрел в окно. Глаза его уходили куда-то, не останавливались на толпе. И на остальных пассажиров тесноватого отделения второго класса он не оглядывался. Все места были заняты. Раздавались жалобы на беспорядок, на то, что не хватило вагонов и больше десяти минут после второго звонка поезд не двигается.

Им владело чувство полного отрешения от того, что делалось вокруг него. Он знал, куда едет и где будет через два, много два с половиной часа; знал, что может еще застать конец поздней обедни. Ему хотелось думать о своем богомолье, о местах, мимо которых проходит дорога – древний путь московских царей; он жалел, что не пошел пешком по Ярославскому шоссе, с котомкой и палкой. Можно было бы, если б выйти чем свет, в две-три упряжки, попасть поздним

вечером к угоднику.

Вот пробежала молодая девушка, на голове платочек, высокая, белолицая, с слабым румянцем на худощавых щеках... И пелеринка ее простенького люстринового платья колыхалась по воздуху.

Ее рост и пелеринка – больше чем лицо – вытеснили в один миг все, о чем он силился думать; в груди заныло, в мозгу зароились образы так недавно, почти на днях пережитого.

И опять ушел он в эти образы, не силился стряхнуть их. Давно ли, с неделю, не больше, там, на даче, он останавливал чтение Псалтири, и глаза его не могли оторваться от лица покойницы... Венчик покрывает ее лоб... В гостиной безмолвно, и только восковые свечи кое-когда потрескивают. Она лежит в гробу с опущенными ресницами, с печатью удивительной ясности, как будто даже улыбается.

В тот вечер, когда он довел ее до ее комнаты, после разговора о Серафиме, она заболела, и скоро ее не стало. Делали операцию – прорезали горло – все равно задушило. Смерти она не ждала, кротко боролась с нею, успокаивала его, что-то хотела сказать, должно быть, о том, что сделать с ее капиталом... Держала его долго за руку, и в нем трепетно откликались ее судорожные движения. И причастить ее не успели.

В первый раз в жизни видел он так близко смерть и до последнего дыхания стоял над нею... Слезы не шли, в груди точно застыло, и голова оставалась все время деревянно-ту-

пой. Он смог всем распорядиться, похоронил ее, дал знать по начальству, послал несколько депеш; деньги, уцелевшие от Калерии, представил местному мировому судье, сейчас же уехал в Нижний и в Москву добыть под залог «Батрака» двадцать тысяч, чтобы потом выслать их матери Серафимы для передачи ей, в обмен на вексель, который она ему бросила.

И когда все это было сделано, он точно вышел из гипноза, где говорил, писал, ездил, распоряжался... Смерть Калерии тут только проникла в него и до самого дна души все перерыла. Смерть эта предстала перед ним как таинственная кара. Он клеймил Серафиму за то, что у нее «Бога нет». А сам он какого Бога носил в сердце своем? И потянуло его к простой мужицкой вере. Его дела: нажива, делечество, даже властные планы и мечты будущего радетеля о нуждах родины – стояли перед ним во всем их убожестве, лжи, лицемерии и гордыне... Хотел он сейчас же уехать в село Кладенец и по дороге поклониться праху названного отца своего, Ивана Прокофьева. Ему стало стыдно... Надо было очиститься сначала духом, познать свое ничтожество, просто, по-мужицки замолить все вольные и невольные грехи.

Ведь и на Калерию он посягал. И к ней его чувство разгоралось в плотское влечение, как он ни умилялся перед ней, перед ее святостью. Она промелькнула в его жизни видением. И смерть ее возвестила ему: «Ты бы загрязнил ее; потому душу ее и взяли у тебя».

Поезд наконец тронулся. Теркин прислонил голову к



спинке дивана и прикрыл глаза рукой... Он опять силился уйти от смерти Калерии к тому, за чем он ехал к Троице. Ему хотелось чувствовать себя таким же богомольцем, как весь ехавший с ним простой народ. Неужели он не наживет его веры, самой детской, с суеверием, коли нужно – с изумством?

Народу есть о чем молить угодника и всех небесных заступников. Ему разве не о чем? Он – круглый сирота; любить некого или нечем; впереди – служение «князю тьмы». В душе – неутолимая тоска. Нет даже непоколебимой веры в то, что душа его где-нибудь и когда-нибудь сольется с душой девушки, явившейся ему ангелом-хранителем накануне своей смерти.

Он почему-то вспомнил вдруг, какое было число: двадцать девятое августа. Давно ли он вернулся с ярмарки и обнимал на террасе Серафиму... Три недели!

Никогда еще не наполняло его такое острое чувство ничтожества и тлена всего земного... Он смел кичиться своей особой, строить себялюбивые планы, дерзко идти в гору, возноситься делческой гордыней, точно ему удалось заговорить смерть!.. И почему остался жив он, а она из-за чумазных деревенских ребятишек погибла, бесстрашно вызывая опасность заразы?

Не должен ли он стремиться к такой же доблестной смерти? Куда ему!

Вагон грузно грохотал. Поезд останавливался на каждой

станции, свистел, дымил, выпускал и принимал пассажиров. Теркин сидел в своем углу, и ничто не развлекало его. К ним в отделение влезла полная, с усиками, барыня, нарядная, шумная, начала пространно жаловаться на начальника станции, всем показывала свой билет первого класса, с которым насилу добилась места во втором.

Ее скрипучий голос звучал для Теркина точно где-то вдали; он даже не понимал, о чем она кипятится, и ему стало делаться отрадным такое отрешение от всего, что входило в ухо и металось в глаза.

Привезут четвертью часа раньше или позднее – все равно он попадет, куда ехал.

Он ждал там, в знаменитой русской обители, где ни разу в жизни не бывал, облегчения своей замутившейся душе. Желание отправиться именно к Троице пришло ему вчера ночью, в номере гостиницы. Страстно захотелось помолиться за упокой души той, кто уже не встанет из могилы. Он вспомнил, как после смерти названного отца своего, Ивана Прокофьева, служил панихиду, заказал ее так, чтобы только почтить память его, без особой веры, и зарыдал при первом минорном возгласе дьякона: «Господу помолимся». Тогда ему стало легче сразу. Он вернулся к прежнему равнодушию по части всего божественного. Чему он верит, что отрицает, – некогда ему было разбирать это. Жизнь втягивала и не давала уходить в себя, подвести итоги тому, за что держаться, за какое разумение судьбы человека. С детства не

любил он «долгополой породы» и всего, что зовется ханжеством. Иван Прокофьевич укрепил в нем эту нелюбовь; но сам если не часто говорил о Боге, то жил и действовал по правде, храм Божий почитал и умер, причастившись святых тайн.

И, сидя в вагоне, Теркин не знал, будет ли он делать вклад на поминание «рабы Божией Калерии» или отслужит одну панихиду или молебен преподобному – в обновление своего мечущегося и многогрешного духа.

Неужели свыше суждено было, чтобы достояние Калерии попало опять в руки Серафимы? Он смирился перед этим. Сам-то он разве не может во имя покойницы продолжать ее дело?.. Она мечтала иметь его своим пособником. Не лучше ли двадцать-то тысяч, пока они еще не отосланы к матери Серафимы, употребить на святое дело, завещанное ему Калерией? Богу будет это угоднее. Так он не мог поступить, хотя долговой документ и у него в руках... Пускай эти деньги пойдут прахом. Он от себя возместит их на дело покойницы.

На полпути Теркин вспомнил, что на вокзале купил путевода. Он взял брошюрку, старался уйти в это чтение, почувствовать в себе русского человека, переносящегося душой к старине, когда в вагонах не езжали, и не то что «смерды», – цари шли пешком или ехали торжественно и чинно на поклонение мощам преподобного, избавителя Москвы в години народных бедствий. Еще раз попенял он себе, что не отправился пешком...

«Сделаю это на обратном пути», – решил он про себя и

положил осмотреть все те урочища и церкви, про которые читал в путеводителе. Все это – стародавняя Русь. К ней надо обращаться с простодушием и любовью. Каждое место повито памятью о пределах, их мощной, простой жизни, их благочестия. Вот село Алексеевское – любимая вотчина царя Алексея Михайловича; Ростокино, где народ восторженно встречал царя Ивана после взятия Казани; Леоново, Медведково – бывшая вотчина князя Пожарского, потом князя Василия Голицына; Тайнинское – обычный привал царей, убежище Грозного, место свидания Лжедмитрия с матерью; Большие Мытищи с «громовым» колодцем; Пушкино с царским дворцом; Радонеж, где протекла юность Сергия...

Описание пышного жития царей захватило Теркина. Он остановился над строками: «в зимнее время у саней царских, по сторонам места, где сидел государь, помещались, стоя, двое из знатнейших бояр, один справа, другой слева».

Родись он в те времена, ему жилось бы по-другому: добыл бы он себе больше приволья, простору или погиб бы, ища вольной волюшки, на низовьях Волги, на быстрых стругах Стеньки Разина. И каяться-то после злодейств и мучительств умели тогда не по– нынешнему. Образ грозного царя-богомольца представился ему, – в келье, перед святым подвижником, поверженного в прах и жалобно взывающего к Божьему милосердию.

– Вот и Хотьков! – громко сказал кто-то из пассажиров. Поезд стоял у длинной узкой платформы.

«Хотьков монастырь!» – повторил про себя Теркин и выглянул из окна. Вправо, на низине, виден был весь монастырь, с белой невысокой оградой и тонкой каланчой над главными воротами. От станции потянулась вереница – человек в двести, в триста – разного народа.

Она казалась бесконечной. В ней преобладали простые богомольцы, с котомкой за спиной и посохом в руке.

Теперь Теркин знал из путеводителя, что их потянуло к этой женской обители перед посещением Троицы. Там лежали останки родителей преподобного Сергия – «схимонахи» Кирилл и Мария. Когда-то в Хотькове была «киновия» – общежитие мужчин и женщин. Но его самого что-то не тянуло в этот монастырь. Стены, башенки, колокольни, корпуса церквей смотрели чересчур ново, напоминали сотни церковных и монастырских построек. Он и вычитал сейчас, что в нем не осталось ничего древнего, хотя он и основан был в самом начале четырнадцатого века.

Наискосок от окна, на платформе, у столика стояли две монашки в некрасивых заостренных клобуках и потертых рясах, с книжками, такие же загорелые, морщинистые, с туповатыми лицами, каких он столько раз видал в городах, по

ярмаркам и по базарам торговых сел, непременно по две, с кружкой или книжкой под покровом. На столе лежали для продажи изделия монастыря – кружева и вышивания... Там до сих пор водятся большие мастерицы; одна из них угодила во дворец Елизаветы Петровны и стала мамкой императора Павла.

Эти сведения, добытые из зелененькой брошюрки, развлекали его, но не настраивали на тот лад, как он сам желал бы. Он бросил путеводитель, закрыл глаза и откинулся вглубь. Ему хотелось поскорее быть у главной цели его поездки. Осталось всего несколько верст до Троицы. День стоял не жаркий, уже осенний. Он попадет, наверно, к концу обедни, поклонится мощам, обойдет всю святыню, съездит в Вифанию и в Гефсиманский скит.

Так и просидел он в своем углу, с закрытыми глазами. И только за две минуты до прихода он осмотрелся и по оживлению пассажиров увидел, что поезд подъезжал к станции.

Огромная толпа высыпала под навес и туго задвигалась к выходу. Слева пестрели башни монастырской стены.

– Купец, а купец! Всего-то за двадцать копеек! Прикажете подать! – кричал извозчик с козел пыльной ободранной коляски, парой, сам – в полинялом балахоне и картузе на затылке.

Теркин сел, и коляска со звоном ржавых гаек и шарнир покатила книзу. Он не стерпел – взял извозчика, испытывая беспокойство ожидания: чем пахнет на него жизнь в этих

священных стенах, на которых в смутные времена иноки защищали мощи преподобного от польских полчищ и бросали под ноги вражьих коней град железных крючковатых гвоздей, среди грохота пушек и пищалей.

Дребезжащая коляска подкатила к главным воротам в несколько минут. И снаружи, и внутри, в проходе башни, заметалась перед Теркиным великорусская базарная сутолока. На длинной площади кверху, вдоль стены, шел торг яблоками, арбузами, всяким овощем и бакалеей, в телегах, на лотках и в палатках. В воздухе, засвежившем под частыми, уже осенними облаками, носился плодовый запах, как бывало на Варварской площади, в Москве, или теперь на Болоте, о ту же пору дня. Во все стороны теснились обывательские дома с вывесками трактиров и кабаков. Слева, подалее, расползлось каменное здание монастырской гостиницы – совсем уже на купецкий московский лад, с выкрашенным чугунным подъездом и тиковой драпировкой, как многие бойкие и грязноватые номера где-нибудь на Сретенке или на Никольской. Гам, треск извозчичьих колясок, скрип возов, крики торговков и мужиков, пыль клубами, топтанье на одном месте серого народа, точно на толкучке у Ильинских ворот, – эта посадская несмолкаемая круглый год ярмарочная картина обвевала Теркина сразу, и все в ней было для него так досадно-знакомо до мельчайших черт. Ни за что он не мог схватиться, чтобы настроить себя благоговейно. Он скорыми шагами, чтобы уйти от этого первого впечатления,

двинулся под ворота.

Там по обеим сводчатым стенам шел такой же торг образками, деревянными игрушками и мелкой посудой, четками, крестиками, картинками. Служки и монахи, приставленные к продаже всем этим добром, переговаривались с разными кумушками, дававшими непомерно малую цену. Перед литографиями толпились богомольцы. Нищие, двумя вереницами, и до ворот и после них, у перил прохода, стояли, сидели и лежали и на разные голоса причитали, так что гул от них полз вплоть до паперти большой церкви, стоящей вправо, куда шло главное русло народа. По двору, больше влево, на булыжнике мостовой расселись с котомками бабы и мужики; в разных направлениях сновала чистая публика – грузные купчихи, старушки барыни, подростки, приезжие из дальних губерний купцы в сапогах бутылками, кое-где выцветший военный сюртук отставного.

В Успенском соборе, куда сначала попал Теркин, обедня только что отошла. Ему следовало бы идти прямо к «Троице», с золоченым верхом. Он знал, что там, у южной стены, около иконостаса почивают мощи Сергия. Его удержало смутное чувство неуверенности в себе самом: получит ли он там, у подножия позолоченной раки угодника, то, чего жаждала его душа, обретение детской веры, вот как во всех этих нищих, калеках, богомолках с котомками, стариках в отрепанных лаптях, пришедших сюда за тысячи верст?

Народ уже отхлынул из Успенского собора. Средина церк-



ви была почти пуста. У иконостаса, справа, служили на амвоне молебны, спешно, точно вперегонку. Довольно еще густая толпа, больше всех из простонародья, обступила это место и толкалась к иконостасу. Пучки свечей на паникадилах бледно мигали, голоса пели жидко и торопливо. По церкви взад и вперед бродили богомольцы, глаза на стенную живопись. Изредка показывались монах или служка и лениво шли к паперти.

Молитвенное умиление не сходило на него. Он медленно направился вглубь, в один из углов собора, хотел там уединиться и уйти в себя. Ему пересек дорогу студент.

Быстро оглядел его Теркин. Такого студента он никогда и нигде еще не встречал: в поношенном форменном сюртуке из выцветшего темно-зеленого сукна, расстегнутом на нижние пуговицы, русые волосы на лбу разметались, глубокие глаза затуманены, смотрят, будто ничего не видят, бледный, идет волоча ноги.

Зачем он здесь? Не из простого любопытства? Не зря? Видно, горе стряслось и погнало сюда, вопреки тому, что он, быть может, воображал себя выше всего этого? Значит, находит тут хоть какое-нибудь врачевание своему душевному недугу. Не юродивый же он... да и не мальчик: сюртук носит, наверно, года два, бородкой оброс и лицо человека пожилого.

Долго смотрел он вслед странному студенту. Тот повернул к амвону налево, где было свободнее, опустился на оба коле-

на и долго не поднимал головы; потом порывисто поднялся, истово перекрестился два раза и пошел, все так же волоча ноги, на паперть.

И Теркин стал на колени. Студент помог ему стряхнуть с себя то, что его развлекало или противоречило его ожиданиям.

До него все-таки доходил торопливый гул молебнов. Он силился не слышать, ни о чем не думать, не вызывать перед собою никаких /образов.

Так он простоял с минуту. Его начало колоть горькое и стыдливое чувство за себя, становилось совестно, точно он производит над собою опыты или пришел сюда как в театр, требуя, чтобы его привели в такое именно настроение, какое ему желательно.

«Это кощунство!» – выговорил он про себя и стал неловко подниматься, с легкой болью в непривычных коленях.

Молитвенное наитие решительно не слетало на него в этой церкви.

Еще раз прошелся он по ней из одного угла до другого. К нему наискось от амвона медленно двигалась старушка, скорее барыня, чем простого звания, в шляпе и мантилье, с желтым лицом, собранным в комочек. Шла она, – точно впа-ла в благочестивую думу или собиралась класть земные поклоны, – к нему боком, и как только поравнялась – беззвучно и ловко повернулась всем лицом и, не меняя ущемленной дворянской мины, проговорила сдержанно и вполголоса:

– Соболаговолите благородной вдове.

Руку она чуть-чуть высвободила из-под мантильи, такую же желтую, с сухими изогнутыми пальцами.

Маневр был так курьезен и неожидан, так напоминал что-то театрально-комическое! Теркина всего бросило в краску. Эта старушка дворянка добила его.

– Сколько можете, – выговорила она все тем же полупотом и так же глядя на него.

– Бог подаст! – резко ответил он и быстро отошел от нее.

У него было взято с собой много мелочи, но он не захотел подать этой салопнице, точно в отместку за то, что она отняла у него последние крохи молитвенного настроения.

К мощам угодника он пробирался по двору смущенный и унылый, точно исполнял тяжелый долг.

## XXVI

Сзади и с боков на него напирала стена богомольцев перед драгоценной ракой. Густой запах шел от всех этих зипунов, понев, лаптей, смазанных сапог. Чад от восковых свеч вился заметными струями в разреженном воздухе Троицкого собора. Со стен, закоптелых и расписанных во все стороны, глядели на него лики угодников.

Ему было жутко от своего душевного одиночества, больше чем от чувства тесноты и давки... Он попал на самое дно народной веры, хотел сердцем слышать из простых уст сдав-

ленные вздохи, молитвенные возгласы, хотел видеть кругом себя лица старые и молодые, мужские и женские, захваченные умилением или усердием, просящие о бесчисленных нуждах и немощах, – и ничего не видел, и ничего не слышал. Не мог он слиться душой со всем этим народом, напиравшим на то место, где покоятся мощи преподобного Сергия. В нем исчезло и всякое желание служить молебен или сделать взнос за упокой души рабы Божией Калерии.

В голове замелькали вопросы: «Зачем он здесь? Чего ищет? Что надеялся обрести, чем обновить себя?»

И опять, как в той церкви, куда он попал сначала, засосало его стыдливое чувство: он кощунствует, без веры приходит производить над собою опыты. Полно, страдал ли он мучительно, истекало ли его сердце кровью от потери святой личности, озарившей его светом духовной любви? Ведь он уже каялся себе самому, что и эта любовь была тайно-плотская. Смерть Калерии потрясла ли его так могуче, чтобы воскресить в нем хранившуюся в изгибах души жажду в порыве к тому, что стоит над нами в недостижимой высоте мироздания и судеб вселенной?

Если и не заглушил он в себе этого зова в «горнюю», то растерял он, видно, всякую способность на детское умиление, на слезу, на отдачу всего своего существа в распоряжение небесных сил, на жаркую мольбу о наитии...

Толпа, где все так же пахло мужиком и бабой, вытеснила его из Троицкого собора, и он опять очутился на площадке,

где на мостовой сидели богомольцы и нищие, и где розовая колокольня, вытянутая вверх на итальянский манер, глядела на него празднично и совсем мирски, напоминала скорее о суетной жизни городов, о всяких парадах и торжествах.

На чем-нибудь нужно ему было остановить свой взгляд, отвести его и от казенного монумента с позолоченным шаром и солнечными часами, тут же, все в той же части внутреннего двора. Монумент, еще больше растреллиевской колокольни, противоречил пошибу старых церквей, с их главами, переходами, крыльцами келий.

Расписанные стены трапезы привлекли Теркина. Туда плелись голодные богомольцы. В сенях трапезы, вправо, из двери помещения, где раздаются ломти хлеба, служитель в фартуке шумно выпроваживал желающих поесть, и многие негромко жаловались. На эту сцену, показавшуюся ему совсем уже непривлекательной, смотрели посетители трапезы из чистой публики – две-три дамы с мужьями, по-немецки одетый купец, гимназист, кучка барышень-подростков.

В огромной зале трапезы все было готово к обеду. Столы стояли покоем, с грубоватой оловянной посудой и полотенцами на несколько человек. К отворенным дверям ее, с прохода через сени, двигались, больше попарно, монахи в клобуках и служки в низких триповых шапках.

Теркин пристально вглядывался в их лица, поступь, одежду, выражение глаз, и ему через пять минут стало досадно: зачем он сюда пришел. Ничего не говорили ему эти иноки

и послушники о том, зачем он приехал в обитель подвижника, удалившегося много веков назад из суетной жизни именитого человека, боярского рода, в дебри радонежские, куда к нему приходили князья и воители за благословением и великим советом в години испытаний.

Старики иеромонахи, в порыжелых рясах, ступали своими тяжелыми сапогами и на ходу равнодушно перекидывались между собою разговорами о чем-нибудь самом обиходном. Монахи помоложе как-то особенно переваливались на ходу, раздобрелые, с лоснящимися волнистыми космами по жирным плечам, плутовато улыбались или сонно поводили глазами по чистой публике. Служки, в франтоватых шапках, с торчащими из-под них черными, русыми, белокурыми, рыжими кудрями или жесткими прядями волос, сразу начали смущать, а потом раздражать его. В них было что-то совсем уже мирское. Молодое тело и его запросы слишком метались из всей их повадки, сидели в толстых носсах и губах, в поступи, поворотах головы, в выражениях чувственных или тупых профилей. Они не находили надобным придавать своим лицам условную истовость и строгость.

В зале трапезы вдоль стен, справа и слева, у сидений, переминалось несколько посетителей. Дежурные служки, в фартуках, обходили столы и что-то ставили. В дверку, ближе к правому углу, пришли перед самым часом обеда несколько иеромонахов с почетными гостями из московских и приезжих городских купцов. Вслед за тем служки попросили сто-

ронных очистить зал. В их числе был приглашен и Теркин, думавший, что при монастырской трапезе сторонние могут присутствовать всякий день.

Спускался он с высокой паперти совсем разбитый, не от телесной усталости, не от ходьбы, а от расстройства чисто душевного. Оно точно кол стояло у него в груди... Вся эта поездка к «Троице-Сергию» вставала перед ним печальной нравственной недоимкой, перешла в тяжкое недовольство и собою, и всем этим монастырем, с его базарной сутолокой и полным отсутствием, на его взгляд, смиряющих, сладостных веяний, способных всякого настроить на неземные помыслы.

У самой лестницы, внизу, небольшого роста сторож, в форменном парусинном кителе, без шапки, поглядел на него вопросительно: «не прикажете ли провести куда?»

– Скажите, любезнейший, – спросил его Теркин, в ризницу можно теперь?

Служитель ласково и почтительно поклонился.

– Сподручнее, ваше степенство, после трапезы... Тогда и народу будет поменьше.

О ризнице он спросил из малодушного желания пойти посмотреть на что-нибудь просто любопытное. Он видел, что нигде в этих стенах не испытывает он отрады слез и умиления.

– Куда же идти? – вслух подумал он.

– Вы где же изволили быть? У раки преподобного Сергия?

– Был... И в Успенском соборе.

– Еще много, ваше степенство, кое-чего осталось... Прикажете повести?... В летнее время у нас в тринадцати храмах служат. Слава Богу! Есть где помолиться.

Тон у служителя был кроткий и как бы сказочный: он, видимо, собирался рассказывать ему раз навсегда заученные пояснения, и самый звук его голоса действовал слегка усыпительно, так что у Теркина по затылку сейчас же пошли мурашки.

– Угодно-с?

– Пойдемте.

Они ходили с целый час вправо и влево; опускались и поднимались, посетив притворы, в низенькие, тесные, старинной постройки приделы; проходили по сводчатым коридорам и сеням, опять попадали в светленькие или темноватые церквушки; стояли перед иконостасами, могильными плитами; смотрели на иконы и паникадилы, на стенную живопись, хоругви, плащаницы, опять вышли на двор, к часовне с останками Годуновых; постояли у розовой колокольни, и Теркин, по указанию служителя, должен был прочесть вслух на тумбе памятника два стиха, долго потом раздававшиеся в нем чем-то устарелым и риторическим – стихи в память подвижников лавры: Они на небесах, им слава не нужна, К подобным нас делам должна вести она!

И в ушах у него остался шум от пояснений служителя в парусинном кителе: «церковь сошествия Св. Духа, церковь преподобного Сергия, Рождества Иоанна Предтечи, Введе-



ния Божией Матери, церковь Зосимы и Савватия, церковь великомученицы Варвары и Анастасии».

Когда служитель ввел его в темноватые сводчатые сени перед входом в ризницу и протискал к другому служителю, пускавшему народ только по десяти человек, Теркин автоматически пошел по лестнице, с другими богомольцами, и, сдавленный в этой куче двумя старушками в кацавейках, продвигался вдоль покоев ризницы, под пояснения иеромонаха, вздохи и возгласы шепотом старух. Против воли поправляя он малую грамотность в пояснениях иеромонаха, не мог помириться с его заученным тоном нараспев и в нос, резко отличным от того, как он говорил перед тем с другими монахами. В одном шкапу, пониже, за стеклом выставлено было современное вышивание какой-то высокой особы. Монах назвал особу по имени и отчеству. Теркин поглядел на вышивание и нашел, что оно самое обыкновенное. Сбоку, около его уха, старушка в кацавейке слезливо и умиленно выговорила с молитвенным вздохом:

– Пресвятая Богородица! Сподобилась, многогрешная! – и, кажется, хотела приложиться через стекло к вышиванию.

В голове Теркина все перемешалось, и еще более разбитый он вышел из сеней с чувством голода.

– Не угодно ли в просвирню? – спросил его все тот же дождавшийся служитель.

Теркин во второй раз дал ему на чай. Тот довел его до просвирни и раскланялся низким поклоном.

В первой сводчатой комнате смазливый, улыбающийся служка, со взбитыми черными волосами, продал ему большую просфору.

Сбоку, на скамье, сидело семейство молодых иностранцев: двое мужчин и две девушки. Они громко смеялись и жадно ели куски мягкой просфоры.

Теркин поместился около них и стал усиленно жевать.

## XXVII

– Купец! Купец!.. Со мной ездили!.. В Черниговскую! В Гефсиманию!.. Рублик прокатайте! – кричал тот самый извозчик, что привез его к монастырю.

День хмурился... Теркин взглянул на небо. Собирался дождь. Идти пешком далеко, да и не было охоты... Может быть, там, в «скиту», он найдет что-нибудь совсем другое.

Из-за монастырской стены доносилось за ним карканье ворон и режущий крик стаи галок, чуввших перемену погоды.

Верх ободранной коляски был поднят. Он сел я спросил:

– Куда же сначала? Ведь есть еще Вифания?

– В Черниговскую допрежь... А там перейти мостик – и в скиту. Я с другой стороны к воротам подъеду. В Вифанию опосля угодим.

Ни расстояний, ни положений этих мест Теркин хорошенько не знал. В путеводителе он просмотрел кое-что, но

не запомнил.

– Ну, в Черниговскую так в Черниговскую!

Коляска запрыгала и задрезбужала по булыжникам шоссе вдоль улиц посада.

Им навстречу попадались то и дело обратные извозчики с богомольцами. Пыль врывалась под кузов и слепила глаза Теркину. Он смущенно глядел направо и налево, на обывательские дома и домики такого же покроя, как и в московских призаставных слободах. Заметил он не одну вывеску нотариуса, что говорило о частых сделках и векселях в таком месте, куда, казалось бы, сходятся и съезжаются не за этим.

Начал накрапывать дождик. Извозчик стегнул лишний раз свою разношерстную пару, и посад вскоре стал уже позади, а слева от дороги на открытом склоне высилась кирпичная глыба пятиглавой церкви.

– Вот, ваше степенство, и Черниговская. Обедня, поди, отошла... наверху. В склепе наверняка еще служат.

«Черниговская», – повторил мысленно Теркин и не полюбпытствовал узнать, что так называется: все ли это урочище или икона.

У паперти стояли два-три извозчика и кучка нищих. Верхняя церковь была уже заперта. За приедем, тоже в коляске, купцом он спустился вниз в склеп по совсем темной витой лестнице и долго не мог ничего разглядеть, кроме дальнего фона, где горело несколько пучков свеч. Служили молебен среди постоянной тихой ходьбы богомольцев.

Ему не было ни жутко, ни тоскливо; никакого желания не получил он остаться тут и что-нибудь заказать, молебен или панихиду; потянуло сейчас же на воздух, засвежевший от дождя и облачного неба.

Извозчик растолковал ему с козел, как пройти через дорогу в скит по мостику и подняться в гору сада. Он не взял никакого провожатого.

Шел он мимо пруда, куда задумчиво гляделись деревья красивых прибрежий, и поднялся по крутой дороге сада. У входа, на скамье, сидели два старика. Никто его не остановил. Он знал, что сюда посторонних мужчин допускают, но женщин только раз в год, в какой-то праздник. Тихо было тут и приятно. Сразу стало ему легче. Отошла назад ризница и вся лавра, с тяжкой ходьбой по церквам, трапезой, шатаньем толпы, базарной сутолокой у ворот и на торговой площади посада.

Здесь можно было побыть в Божьей обители, сесть на траву и хоть немножко унестишь душой.

Дождь почти перестал. Наверху Теркин увидал старинную деревянную церковь, в два этажа, с лестницей, ведущей в просторные сени. Побродить можно было никем не замеченным по этим низковатым сеням... Пахло деревом. Бревенчатые стены, уставленные иконами, повеяли на него чем-то далеким, из первых образов детства. В Кладенце он хаживал смотреть на раскольничью молельню, проникал во двор, но внутрь его не пускали. Она всплыла в памяти с ее главами,

и крыльцом, и окнами... И пение, доносившееся оттуда, отличное от обыкновенного православного, вспомнилось тут же.

В церкви все носило тот же пошиб, было так же неза-тейливо и своеобразно. У правого клироса сидел худощавый монах. Он предложил ему осмотреть убежище митрополи-та Филарета. Ряд комнат, в дереве, открывался из двери, выходящей прямо в церковь... Можно было видеть убран-ство и расположение тесноватых чистых покоев. Он отказал-ся пройтись по ним, не хотел нарушать своего настроения.

В каменном скитском здании долго глядел он вниз на тот придел, где весь иконостас чернеет штучным деревом. Ти-шина обволакивала его. Свет мягко выделял контуры резь-бы и лики местных икон... Запах кипариса чувствовался в воздухе.

На дворе его сменило благоухание цветника, отгорожен-ного невысокой, весело раскрашенной решеткой. Цветы гу-стыми коврами шли в разные стороны в виде опахал. Цвет-ник вдруг напомнил ему дачу, клумбы палисадника, лес, доску между двумя соснами, разговор с Серафимой, ту ми-нуту, когда он стал впервые на колени перед Калерией.

Он присел опять на крыльцо деревянной церкви, закрыл лицо руками и заплакал. Та жизнь уже канула. Не вернется он к женщине, которую сманил от мужа. Не слетит к нему с неба и та, к кому он так прильнул просветленной душой. Да и не выдержал бы он ее святости; Бог знал, когда прибрал

ее к Себе.

«Отошло, отошло!» – беззвучно шептал он, все еще не отрывая рук от лица.

Прогромыхал где-то гром. Сильный дождь сразу пошел на него. Но он был еще полон того, что нашло на него сейчас, и даже не развернул зонтика, когда переходил через двор скита к воротам, где его ждал извозчик.

– В Вифанию, ваше степенство?

Надо было и там осмотреть церковь и комнаты митрополита Платона. Церковь удивила Теркина своим пестрым гротом с искусственными цветниками, смахивающим на декорацию. Ему эта отделка показалась точно на какой-то иноверческий лад. Службы не было. По двору бродили под деревьями семинаристы и сторожа... Богомольцы сгруппировались у входа в митрополичье помещение, оставшееся с отделкой прошлого века. Монах повел их по комнатам, объяснял точно таким же языком и тоном, как в лаврской ризнице. Опять около него очутились две старухи, так же в кацавейках, как и там. Одна вздыхала и крестилась, что бы ни показывал монах: светскую картину, портрет, мозаичный вид флорентийской работы; а когда его приперли сзади к заставке открытой двери в крайнюю светелку с деревянной отделкой и зеркальным потолком, где владыка отдыхал в жаркую пору, одна из старушек истово перекрестилась, посмотрела сначала на соломенную шляпу с широкими плоскими полями, лежавшую тут же, потом на зеркальный потолок в позолоченных пере-

борах рамок и вслух проговорила слезливым звуком:

– Угодник-то Божий как спасался! Господи! Удостоилась и я, многогрешная!..

Теркин подавил в себе усмешку.

«Вот эта верит!» – подумал он и даже посторонился и пропустил ее вперед к самой двери.

Грозовая туча пронеслась. Дождь перестал, и в разорванную завесу облаков глядело нежаркое солнце.

– В лавру или на станцию прямо прикажете? – крикнул извозчик за оградой.

Теркин приказал повезти себя обратно к скиту, высадить там, объехать кругом и ждать его по ту сторону, у Черниговской.

– Прибавочку следует, купец.

– Будет и прибавочка.

И опять скитский двор с деревянной церковью повеяли на него детским чувством, точно запретная святыня, как когда-то в селе Кладенце, на дворе беглопоповской молельни.

На лестницу он уже не присаживался и не заходил в сени, а побрел дальше к спуску, где теперь деревья пошли световыми пятнами под ласковыми лучами солнца: оно проглядывало то и дело из-за ползущих медленно облачков.

Сел он на скамейку, на самом крутом месте, и сидел долго, больше получаса, не оглядываясь на красоту места, не насиловал себя на особое душевное настроение.

Мысли сами собою, без тревоги и горечи, поплыли, захва-

тывали одна другую.

Отчего же тут вот, в этой Гефсимании, размякла его душа? Неужели там, у Троицы, ему чуть не противно сделалось только от нищих, мужичья, простонародной толкотни и шлянья по церквам и притворам? Кто же он-то сам, как не деревенский подкидыш, принятый в сыновья крестьянином и его старухой? Или чистая публика охладила его, не позволила отдаться простой мужицкой вере? Все эти брюхатые купцы, туполицые купчихи, салопницы, барыни и их приятели, откормленные монахи и служки в щеголеватых триповых шапках?

Он смирялся. Его стало манить домой, в то село, на которое он так долго злобствует, хотелось простить кровные обиды...

## XXVIII

До села Кладенец было ходу верст пять. Пароход «Стрелок» опоздал на несколько часов. Шел уже десятый час, а ему следовало быть у пристани около семи. Проволочка случилась в Балахне, с нагрузкой, повыше города маленько посидели на перекате. Воды в реке прибывало с конца августа.

Сентябрьская холодноватая ночь спустилась на реку, и фонари парохода яркими тонами резали темноту. На палубах, передней и задней, бродили совсем черные фигуры пассажиров. Многие кутались уже в теплые пальто и чуйки на



меху – из мещан и купцов, возвращавшихся последними из Нижнего с ярмарки.

На носовой палубе сидел Теркин и курил, накинув на себя пальто-крылатку. Он не угодил вверх по Волге на собственном пароходе «Батрак». Тот ушел в самый день его приезда в Нижний из Москвы. Да так и лучше было. Ему хотелось попасть в свое родное село как можно скромнее, безвестным пассажиром. Его пароход, правда, не всегда и останавливался у Кладенца.

Давно он там не был, больше пяти лет. В последний раз – выправлял свои документы: метрическое свидетельство и увольнительный акт из крестьянского сословия. Тогда во всем селе было всего два постоянных двора почище, куда въезжали купцы на больших базарах, чиновники и помещики. Трактиров несколько, простых, с гряздой. В одном, помнится ему, водился порядочный повар.

Все это мало его беспокоило. Он и вообще-то не очень привередлив, а тут и подавно. Ехал он на два, на три дня, без всякой деловой цели. Желал он вырвать из души остаток злобного чувства к тамошнему крестьянству, походить по разным урочищам, посмотреть на раскольничью молельню, куда проникал мальчиком, разузнать про стариков, кто дружил с Иваном Прокофьичем, посмотреть, что случилось с их двором, в чьих он теперь руках, побывать в монастыре. К игумену у него было даже письмо, и он мог бы там переночевать, да пароход угодит в Кладенец слишком поздно, и ему

не хотелось беспокоить незнакомого человека, да еще монаха, может быть, в преклонных летах.

Встреться он с кем-нибудь из своих промысловых приятелей, с одним из остальных пайщиков «товарищества» и начни он им говорить, зачем он едет в Кладенец, вряд ли бы кто понял его. Один бы подумал: «Теркин что-то несурзное толкует», другой: «притворяется Василий Иваныч; должно быть, наметил что-нибудь и хочет сцапать».

Ничего он не желал ни купить, ни разузнавать по торговой части. Если б он что и завел в Кладенце, то в память той, кому не удалось при жизни оделить свой родной город детской лечебницей... Ее деньги пойдут теперь на шляпки Серафимы и на изуверство ее матери.

– Больно уж поздно, – обратился к нему пассажир в теплой чуйке, подсевший к нему незадолго перед тем. – Никак, часов десять?

Теркин вынул часы, зажег спичку и поглядел.

– Четверть одиннадцатого.

– А нам еще добрых три, коли не четыре, версты до Кладенца.

– Вы сами оттуда будете?

– Оттуда, господин.

– По торговой части?

Поговору он узнал тамошнего уроженца. Пассажир был сухопарый, небольшого роста, с бородкой, в картузе, надетом глубоко на голову. Вероятно, мелкий базарный торговец.

Теркин повторил вопрос.

– Нешт/о! Бакалеей занимаемся!

– За товарцем к Макарию небось ездили?

– Поздненько угодил-то. Армяне совсем расторговались... Которая бакалея осталась в цене... Да заминка у меня вышла... И хворал маленько... Ну, и опоздал.

– Вы уроженец тамошний, кладенецкий?

Лицо торговца он хорошо мог разглядеть вблизи; но оно ему никого не напоминало.

– Мы коренные, тутошние.

– Из бывших графских?

– Да, из графских. А вы, господин, наше село, чай, знаете?

– Немножко.

– И теперь туды же?

– Туды.

– У кого же остановитесь? У знакомца?

– На постоялом.

– Чернота у нас на постоялых-то дворах.

– Кочнев держит по-прежнему?

Торговец взгляделся в Теркина, но не узнал его.

– Кочнев? – переспросил он. – Давно уж приказал долго жить. Зятя его... народ шальный... Совсем распустили дело... Прежде и господам не обидно было въехать, а ноне – заторно будет. Только базарами держится.

Торговец говорил слабым голосом, очень искренно и серьезно.

– Где-нибудь притулюсь. Я всего-то на два дня.

– Номера есть, господин.

– Настоящие номера?

– Как следует... С третьего года. Малыш/ова, против Мар/инцева трактира. Около базарных рядов. Или вы еще не бывали у нас николи?

– Как не бывать. И трактир этот помню; только против него лавки были, кажется.

– Точно. Допрежь торговали. Теперича целый этаж возведен. Тоже спервоначалу трактир был. Номера уж... никак, четвертый год. Вот к пристани-то пристанем, так вы прикажите крикнуть извозчика Николая. Наверняка дожидается парохода... У него долгуша... И малый толковый, не охальник. Доставит вас прямо к Малыш/ову.

Все это было сказано очень заботливо.

«Добряк, – подумал Теркин, – даром что базарный торгаш. Может, раскольник?»

– Вы по молельне будете? – спросил он.

– Я-то? Нет, господин, мы – православные.

– Кто же у вас старшиной? Все тот же?.. Как бишь он прозывался?

Теркин нарочно не хотел произнести имени старшины Малмыжского.

– Сунгуров.

– А Малмыжский? – не утерпел Теркин.

– Он давно ушел из старшин... Скупщиком стал.

– Каким?

– Да всяким. И у кустарей... сундуки скупает, и ножевой товар... Зимой хлебом промышляет, судачиной.

– Разжился, стало быть?

– Как не разжиться... И в старшинах-то лапу запускал в общественный сундук. Мало ли народу оговорил!.. И на поселение посылал... Первого – Теркина, Ивана Прокофьича. Общественник был... Таких ноне не видать чтой-то...

– А вы Ивана Прокофьича знавали? – спросил Теркин, сдерживая волнение.

– Как не знать. Старик – настоящий радетель был за мирской интерес. Царствие ему Небесное!

Теркин почувствовал, что к глазам его подступают слезы. Но он не хотел объявлять, как ему доводился Иван Прокофьич.

Торговец приподнялся.

– Вот, господин... Попомните: извозчик Николай... Так и скажите – к Малыш/ову. Время и за кладью присмотреть. Вон и Кладенец наш... видите обрыв-то... темнеется... за монастырем...

– Спасибо вам! – выговорил Теркин и сам встал. – Так вы в рядах торгуете, по базарным дням?

– У меня и на неделе лавочка не запирается.

– А по фамилии как?

– Енгалеев.

– Попомним!

Скромненько удалился торговец, запахиваясь в ваточную чуйку, и еще глубже надвинул на уши картуз.

Пароход дал протяжный свисток. Пристани еще не было видно; но Теркин распознавал ее привычным глазом судопромышленника. Над полосой побережья круто поднимались обрывы. По горе вдоль главной улицы кое-где мелькали огоньки. Для села было уже поздно.

С собою Теркин захватил только маленький чемоданчик да узел из плета. Даже дорожной подушки с ним не было. Когда пароход причалил, он отдал свой багаж матросу и сказал ему, чтобы позвал сейчас извозчика Николая.

Сколько он помнил, десять лет назад в Кладенце еще не было постоянных извозчиков даже и на пристанях.

– Николай! – гаркнул матрос.

– Здесь, – откликнулся негромкий старый голос.

Темнота стала немного редеть. В двух шагах от того места, где кончались мостки, разглядел он лошадь светлой масти и долгушу в виде дрог, с широким сиденьем на обе стороны.

– Пожалуйте, батюшка.

Подсаживал его на долгушу рослый мужик в короткой поддевке и в шапке, – кажется, уже седой.

– Ты Николай будешь? – спросил Теркин.

– Николай, кормилец, Николай.

– Вези меня к Малыш/овым.

– В номера?

– Против трактира. Мне сказывали, там есть хорошие

комнаты.

– Есть-то есть, а как будто переделка у них идет... Все едино, поедем.

Поехали. С мягкой вначале дороги долгуша попала на бревенчатую мостовую улицы, шедшей круто в гору между рядами лавок с навесами и галерейками. Теркин вглядывался в них, и у него в груди точно слегка саднило. Самый запах лавок узнавал он – смесь рогож, дегтя, мучных лабазов и кожи. Он был ему приятен.

Поднялись на площадку, повернули влево. Пошли и каменные дома купеческой постройки. Въехали в узковатую немощеную улицу.

– Вот, кормилец, и Малыш/овы.

Теркин оглянулся направо и налево на оба двухэтажные дома. В левом внизу светился огонь. Это был трактир. «Номера» стояли совсем темные.

## XXIX

Долго стучал Николай в дверь. Никто не откликнулся. И наверху и внизу – везде было темно.

– Не слышат, окаянные!

– Со двора зайди! – отозвался Теркин.

И ему стало немного совестно: он, такой же мужик родом, как и этот уже пожилой извозчик, а сидит себе барином в долгуше и заставляет будить народ и добывать себе ночлег.

Раздались шаги за входной дверью. Кто-то спросонок шлепал босыми ногами по сениям, а потом долго не мог отомкнуть засова.

– Номер покажи! Барина привез, – сказал Николай громким шепотом.

– К нам нельзя, – сонно пробормотал малый, в одной рубахе и портках.

– Почему нельзя? – спросил Теркин с долгуши.

– Переделка идет... Малари работают.

– Ни одной комнаты нет?

– Ни одной, ваше благородие.

– А внизу?

– Внизу хозяева и молодцовские.

Николай подошел к долгуше и, нагнувшись к Теркину, заботливо выговорил:

– Незадача!

– Да ты послушай, – шепотом сказал Теркин, они, может, по старой вере... не пускают незнакомых?

– Церковные они... Один-то ктиторм у Николы– чудотворца... А значит, переделка. Мне и невдомек... Сюды я давненько не возил никого.

– На нет и суда нет.

Половой стоял у полуотворенной двери и громко зевал.

– И завтра не будет комнаты? – крикнул ему Теркин.

– Не управятся!

Дверь захлопнулась. Седок и извозчик остались одни по-



среди улицы.

– А вон там? – указал Теркин на трактир, где все еще светился огонь внизу, должно быть, в буфетной.

– Сбегаю.

Николай побежал и тотчас же вернулся. Туда буфетчик не пустил, говорил: свободной комнаты нет, а с раннего утра приходят там пить чай.

– Где же ночевать-то, дяденька? – весело спросил Теркин.

– У нас со старухой чистой горницы нет, господин... А то бы я с моим удовольствием...

Николай помолчал.

– Одно, теперича, к Устюжкову в трактир... вон на въезде... Проезжали давеча... Там авось пустят.

– Ну, к Устюжкову так к Устюжкову.

Теркин вспомнил, что трактир этот только что отделали, когда он был последний год в гимназии. Но в него он не попадал: отец не желал, чтобы он баловался по «заведениям»; да вдобавок там и бильярда не поставили; а он только и любил что бильярд.

Повернули, проехали опять всю улицу и остановились у спуска, где начинается бревенчатая мостовая.

И там все тоже спало. Не скоро отперли им. Половой, также босой и в рубахе с откинутым воротом, согласился пустить. Пришел и другой половой, постарше, и проводил Теркина по темным сеням, где пахло как в торговой бане, наверх, в угловую комнату. Это был не номер, а одна из трак-

тирных комнат верхнего этажа, со столом, покрытым грязной скатертью, диваном совсем без спинки и без вальков и двумя стульями.

– Больше нет комнат?

– Нет, господин... И эту так только, в одолжение вашей милости. Номеров у нас не полагается.

Половой помоложе, в красной рубахе и с растрепанной рыжеватой головой, жмурился от света сальной свечи и почесывался.

– Сюды вещи тащить? – спросил Николай. – Лучше, батюшка, не найдете нигде.

– Тащи сюда!

Когда извозчик внес вещи, получил за езду, условился завтра наведаться, не нужна ли будет лошадь, и ушел вместе со старшим половым, Теркин осмотрел комнату и задумался.

– Как же я спать-то буду? – вслух подумал он.

Половой в красной рубахе стоял, взявшись за ручку двери, и поглядывал на приезжего подслеповато и крайне равнодушно.

– Вот же на диване.

– А белья нет?

– Какое же белье?.. Хозяева спят, а у нас, изволите знать, какое же белье: на войлоках спим.

– И подушки не добудешь, милый человек?

– Нешто свою.

– Пожалуйста! – стал уже тревожнее просить Теркин. – Видишь сам, и валька нет на диване, на что же голову-то я прислоню?

– Это точно...

Красная рубаха удалилась, а Теркин прошелся по комнате с желтыми обоями и двумя картинками. Духота стояла в ней ужасная, точно это был жаркий предбанник.

Он подошел к окну и широко растворил его.

Холодок сентябрьской ночи пахнул из темноты вместе с какой-то вонью. Он должен был тотчас закрыть окно и брезгливо оглядел еще комнату. Ему уже мерещились по углам черные тараканы и прусаки. В ободранном диване наверно миллионы клопов. Но всего больше раздражали его духота и жар. Вероятно, комната приходилась над кухней и русской печью. Запахи сора, смазных сапог, помоев и табака-махорки проникали через сенцы из других комнат трактира.

Точно его привели на съезжую для ночевки и втолкнули в кутузку. Лучше бы извозчик Николай повез его к себе или в простой постоялый двор, где водится холодная чистая светлица.

«Чистая?» Чего захотел. У православных чистоты не водится; раскольники – у тех чисто – не пустят к себе.

Вернулся половой и принес подушку, ситцевую, засаленную от долгого спанья.

– Вот, господин, свою небольшую, коли не побрезгуете.

Теркин оглядел ее со всех сторон, боясь увидеть некото-

рых насекомых.

– Почище наволочки нет? – Где же! – ответил половой и жалостно усмехнулся. – Нам не из чего менять.

Особой наволочки на подушке и не было вовсе.

– Ну, ладно.

– Больше ничего не потребуется?

Ему хотелось есть; но что же мог он добыть в такой поздний для Кладенца час?.. Наверно, и порядочной свежей булки не отыщется... Разве кусок прогорклой паюсной икры.

– Нет, милый человек, ничего мне не нужно... Разве пива бутылочку?

– Ключи у буфетчика, господин, от погребицы... А в буфете вряд ли найдется.

– Да и теплое будет... У вас ровно в бане... Отчего так?

– От печки.

И половой указал пальцем в пол.

– Прощенья просим. Завтра вскричите. Мы рано встаем.

Малый этот так начал зевать, что Теркин не захотел дать ему развязать плед. Но он не сразу начал устраивать себе постель.

Еще раз обошел он комнату, скинул пальто и пиджак... В голову вступило. Он решительно не мог выносить такой жары. Опять открыл он окно, и опять вонь со двора заставила закрыть его.

– Экое свинство! – громко крикнул он, достал папиросу и закурил на сальной оплившей свече.

Щипцов ему половой не оставил.

– Экое свинство! – повторил он так же сердито, хотел еще что-то сказать, смолк и застыдился.

Как его сытное житье-то испортило! Точно настоящий ба-  
рич. Не может выносить теперь ни вони, ни духоты, ни тара-  
канов, ни оплывших сальных свечей. А еще мужицким ро-  
дом своим хвастается перед интеллигентными господами!  
Номер ему подайте в четыре рубля, с мраморным умываль-  
ником и жардиньеркой.

Иван Прокофьич, взрастивший его, подкидыша, спал всю  
жизнь в темном углу за перегородкой, где было гораздо гряз-  
нее и теснее, чем в этой трактирной комнате. И не морщил-  
ся, переносил и б/ольшее «свинство».

Устыдившись, Теркин поспешно расстегнул ремни пледа,  
отпер чемоданчик, достал ночную рубашку и туфли, поло-  
жил подушку полового в один конец дивана, а под нее чемо-  
данчик, прикрыл все пледом, разделся совсем, накинул на  
ноги пальто, поставил около себя свечу на стол и собствен-  
ные спички с парой папирос и задул свечу.

Он долго курил... Что-то начало его покусывать; но он  
решился терпеть.

Обманывать себя он не будет. Мужика в нем нет и поми-  
ну. Отвык он от грязи и такого «свинского» житья. Но разве  
нужно крестьянину, как он ни беден, жить чушкой? Неужели  
у такого полового не на что чистой ситцевой наволочки за-  
вести?.. В том же Кладенце у раскольников какая чистота!..

Особливо у тех, кто хоть немного разжился.

Сторож где-то застучал в доску, и ударил колокол церковных часов.

«У Николая-чудотворца», – тотчас подумал Теркин и стал прислушиваться. Пробило двенадцать. И этот звон часов навеял на него настроение сродни тому, с каким он сидел в Гефсимании на ступеньках старой деревянной церкви... Захотелось помириться с родным селом, потянуло на порядок, взглянуть на домишко Теркиных, если он еще не развалился.

### XXX

Только к утру заснул Теркин. Духота так его донимала, что он должен был открыть окно и помириться с вонью, только бы прогнать жару.

Он проснулся раньше, чем заходили в трактире, слышал, как пастух трубил теми же звуками, что и двадцать лет назад. Солнце ворвалось к нему сразу, – на окне не было ни шторы, ни гардин, – ворвалось и забегало по стене.

Его теперь уже не коробило, как вчера; он помирился и с клопами, и с отсутствием белья. Могло бы быть еще грязнее и первобытнее, да ведь он и хотел попасть в свое родное село не как парходчик Василий Иваныч Теркин, которому заведующий их компанейской пристанью предоставил бы почетную квартиру, а попросту, чтобы его никто не заметил; приехал он не для дел, или из тщеславного позыва показать себя

мужичью, когда-то высекшему его в волостном правлении, какой он нынче значительный человек. Заговори он с кем-нибудь из здешних обывателей, в каких мыслях и душевных побуждениях явился он в Кладенец, его бы никто не понял.

Часу в седьмом рыжеволосый половой заглянул к нему, в той же красной рубахе, расстегнутом матерчатом жилете и сапогах навыпуск.

Умыться надо было над шайкой, в сенях. Полотенце нашлось в буфете. Чаю принесли ему «три пары» с кусочком лимона и с сухими-сухими баранками. Платье нечем было вычистить: у хозяев водилась щетка, да хозяева еще спали.

Сейчас же потянуло Теркина на улицу. Он сказал половому, чтобы послали извозчика Николая к монастырю, где он возьмет его часу около девятого, и пошел по той улице, по которой его привезли вчера от номеров Малышевых.

Кладенец разросся за последние десять лет; но старая сердцевина с базарными рядами почти что не изменилась. Древнее село стояло на двух высоких крутизнах в котловине между ними, шедшей справа налево. По этой котловине вилась бревенчатая улица книзу, на пристань, и кончалась за полверсты от того места береговой низины, где останавливались пароходы.

Когда-то, чуть не в двенадцатом веке, был тут княжой стол, и отрасль князей суздальских сидела на нем. Крепкий острог с земляными стенами и глубокими рвами стоял на конце дальней крутизны; она понадвинулась к реке и по сие

время в виде гребня. Валы сохранились со стороны Волги; по ним идет дорога то вверх, то вниз. Склоны валов обросли кустарником. Немало древних сосен сохранилось и поныне. Туда Теркин бегал с ребяташками играть в «к/озны» так зовут здесь бабки – и лазить по деревьям. Одно из них приходится на огороде, и его почитают как святыню, и православные больше, чем раскольники. На нем появилась икона после того, как молния ударила в ствол и опалила как раз то место, где увидели икону.

Это – крайний предел села. Монастырь стоит наверху же, но дальше, на матерой земле позади выгона, на открытом месте. А на крутизне, ближайшей от пристани, лепятся лачуги... Наверху, в новых улицах, наставили домов «богатеи», вышедшие в купцы, хлебные скупщики и судохозяева. У иных выведены барские хоромы в два и три этажа, с балконами и даже бельведерами.

Базарная улица вся полна деревянных амбаров и лавок, с навесами и галерейками. Тесно построены они, – так тесно, что, случись пожар, все бы «выдрало» в каких-нибудь два-три часа. Кладенец и горел не один раз. И ряды эти самые стоят не больше тридцати лет после пожара, который «отмахал» половину села. Тогда-то и пошла еще горшая свара из-за торговых мест, где и покойный Иван Прокофьич Теркин всего горячее ратовал за общественное дело и нажил себе лютых врагов, сославших его на поселение.

В рядах было совсем тихо. Все лавки открывались только



в базарные дни – по понедельникам и пятницам, а Теркин приехал в ночь со вторника на среду. Лавочники с овощным и крестьянским товаром отворили кое-где свои палатки. Но подвозу никакого не было, и стояла тишина, совсем не похожая на сутолоку базарных дней. Кладенец до сих пор еще удержал за собою скупку по уездам Заволжья хлеба, говяжьих туш, шкур, меда, деревянных поделок, готовых саней, ободьев, рогожи. Село кишит скупщиками, и крупными, и мелюзгой, и все почти из местных крестьян, даже и те, что значатся мещанами и купцами.

Чтобы попасть к тому «проулку», где стоял двор Ивана Прокофьича, Теркину надо было, не доходя номеров, куда его вчера не пустили, взять кверху; но его стало разбирать жуткое чувство, точно он боялся найти «пепелище» совсем разоренным и ощутить угрызение за то, что так забросил всякую связь с родиной.

Он вышел к валу, оставив позади торговую часть Кладенца, а вправо и гораздо глубже – монастырь и новый собор.

Дорога по валу ничего не изменилась... Сосны стояли на тех же местах, только макушки их поредели. Утро, свежее и ясное, обдавало его чуть заметным ветерком. Лето еще держалось, а на дворе было начало сентября. Подошел он и к тому повороту, где за огородным плетнем высилась сосна, на которой явилась икона Божией Матери... Помнил он, что на сосне этой, повыше человеческого роста, прибиты были два медных складня, около того места, куда ударила молния.

Ствол потемнел... Оба образка тут. Теркин постоял, обернувшись в ту сторону, где подальше шло болотце, считавшееся также святым. Про него осталось предание, что туда провалилась целая обитель и затоплена была водой... Но озерко давно стало высыхать и теперь – топкое болото, кое-где покрытое жидким тростником.

Про всю кладенецкую старину знал он от отца... Иван Прокофьич был грамотей, читал и местного «летописца», знал историю монастыря, даром что не любил попов и чернецов и редко ходил к обедне.

На краю вала, на самом высоком изгибе, с чудным видом на нижнее побережье Волги, Теркин присел на траве и долго любовался далью. Мысли его ушли в глубокую старину этого когда-то дикого дремучего края... Отец и про древнюю старину не раз ему рассказывал. Бывало, когда Вася вернется на вакации и выложит свои книги, Иван Прокофьич возьмет учебник русской истории, поэкзаменует его маленько, а потом скажет:

– А про наш Кладенец ничего, поди, нет у вас... В котором году заложен и каким князем?

Вася ничего не знал об этом из учебника. От отца помнит он, как один из киевских князей Рюриковичей вступил в удельную усобицу с родным своим дядей, взял его стол, сжег обитель, церкви, срыл до основания город. Дядя ушел на север искать приволья и княженья в суздальском крае, где володели такие же Рюриковичи. И приплыл он сюда снизу к

дремучим лесам керженецким, где держались дикие племена мордвы и черемис, все язычники, бродили по лесам, жили в пещерах или в шалашах, обмазанных глиной. Князю удалось утвердиться на этом самом месте, где стоит и по днесь Кладенец. Заложил он город, и с тех самых пор земляная твердыня еще держится больше семисот лет... Населил он свой Кладенец дружиной, ратными людьми, мордвой и черемисами, волжскими и камскими болгарами, пленниками из соседних земель. И первым делом задумал он основать обитель. Тогда-то явленная икона и показалась на той святой сосне... Князь приказал ее снять оттуда, но невидимая сила удерживала икону, и не было никакой возможности отделить ее от ствола сосны... Обитель освятили во имя Божьей Матери Одигитрии, и тогда икона далась в руки, и ее поставили за престольной иконой. Монастырь стал изливать на язычников свет учения Христа, князья радели о нем и не одну сотню лет сидели на своей отчине и дедине – вплоть до того часа, когда Москва протянула и в эту сторону свою загибающую лапу, и княжеский стольный город перешел в воеводский, а там в посад, а там и в простое торговое село. Только останки князей и княгинь покоятся в обители под покровом Одигитрии.

«Доблесть князя да церковный чин, – думал Теркин, сидя на краю вала, – и утвердили все. Отовсюду стекаться народ стал, землю пахал, завел большой торг. И так везде было. Даже от раскола, пришедшего сюда из керженецкого края, не

распался Кладенец, стоит на том же месте и расширяется».

Сладко ему было уходить в дремучую старину своего кровного села. Кому же, как не ей, и он обязан всем? А после нее – мужицкому миру. Без него и его бы не принял к себе в дом Иван Прокофьевич и не вывел бы в люди. Все от земли, все! – И сам он должен к ней вернуться, коли не хочет уйти в «расп/усту».

**XXXI Монастырский двор был совсем безлюден, когда Теркин попал на него. Справа шел двухэтажный оштукатуренный корпус; подъезд приходился ближе ко входным воротам, без навеса, открытый на обе половинки дверей. Деревянная лестница, широкая и низкая, вела прямо в верхнее жилье.**

Теркин осмотрелся. Слева стояла небольшая церковь старинной постройки, с колокольной шатром. Дальше выступал более массивный новый храм, пятиглавый, светло-розовый. Глубже шли кельи и службы. Все смотрело довольно чисто и хозяйственно.

Выставилось в окно одной из келий старческое лицо с кудельной бородой.

– Как пройти к настоятелю? – спросил Теркин.

Монах не сразу дослышал: кажется, был крепковат на ухо.

Пришлось повторить вопрос.

– А прямо идите по лестнице – и налево... дверь-то налево. Там служба доложит.

На верхней площадке Теркин увидел слева дверь, обитую клеенкой, с трудом отворил ее и вошел в маленькую прихожую, где прежде всего ему кинулась в глаза корзина, стоявшая у печи и полная булок-розанцев.

За перегородкой в отворенную дверь выглядывала кровать со скомканным ситцевым одеялом. Оттуда вышел мальчик лет тринадцати, весь в вихрах совсем белых волос, щекастый и веснушчатый, одетый служкой, довольно чумазый.

– Отец настоятель? – спросил Теркин.

Мальчик хлопнул белыми ресницами, покраснел и что-то пробормотал, поводя головой в сторону двери.

У Теркина было с собой письмо от одного земца к игумену, отцу Феогносту. Он его вынул, присоединил свою карточку и отдал мальчику.

– Вот отнеси отцу настоятелю.

Думы на тему древнего Кладенца настроили его на особый лад. Он ожидал найти здесь какого-нибудь старца, живущего на покое, вдали от сутолоки и соблазнов, на какие он только что насмотрелся у Троицы.

Мальчик трусливо приотворил дверь, и оттуда донесся громкий разговор. Два мужских голоса, здоровых и высоких, и один женский – звонкий и раскатистый голос молодой женщины.

Это его привело в недоумение: в такой ранний час, и женщина – в келье настоятеля, в довольно шумной беседе.

– Пожалуйте! – промычал мальчик и пошире растворил дверь.

Первая комната в одно окно служила кабинетом настоятеля. У окна налево стоял письменный стол из красного дерева, с бумагами и книгами; около него кресло и подальше клеенчатая кушетка. Кроме образов, ничто не напоминало о монашеской келье.

У входа в просторную и очень светлую комнату, с отделкой незатейливой гостиной, встретил его настоятель – высокий, худощавый, совсем еще не старый на вид блондин, с проседью, в подряснике из летней материи, с лицом светского священника в губернском городе.

В руке он держал распечатанную записку с карточкой.

– Весьма рад... Василий Иваныч? – вопросительно выговорил он и протянул руку так, что Теркину неловко сделалось поцеловать, – видимо, настоятель на это и не рассчитывал, – он только пожал ее.

– Не угодно ли сюда? Чайку не прикажете ли?

На огромном диване, с обивкой из волосяной материи, сидела женщина, лет за тридцать, некрасивая, жирная, гладко причесанная, в розовой распашной блузе, и приподнялась вместе с ражим монахом, тоже в подряснике, с огромной шапкой волнистых русых волос.

– Милости прошу... Позвольте познакомиться... Отец-каз-

начей нашей обители. А это – племянница моя, супруга отца благочинного в селе Свербееве.

Попадья первая протянула через стол с самоваром широкую ладонь и подала ее Теркину ребром.

– Очень приятно, – выговорила она развязно и тотчас же опустилась на диван.

Казначей крепко пожал руку Теркина и поглядел на него как-то особенно весело.

– Изволили сегодняшнего числа на пароходе прибежать? – спросил он маслянистым, приятным баритоном.

– Нет, вчера вечером, поздно угодил, – ответил Теркин, впадая в местный говор.

– Вот сюда, присядьте! – усаживал его настоятель. – Чайку?.. Пелагея Ивановна... Предложите им.

– С моим удовольствием, – отозвалась попадья и спросила Теркина, как он желал: покрепче или послабее.

– На собственном пароходе изволили прибыть? – спросил приветливо настоятель, садясь около гостя, на краю дивана; взял в руки блюдечко, потом пояснил остальным: – Василий Иваныч – хозяин парохода «Батрак», в том же товариществе... знаете, отец казначей... мы еще на ярмарку бежали... на одном... кажется, «Бирюч» прозывается... прошлым годом?

– Как же!.. Еще капитан – такой душевный человек... даром что побывал в тундрах Севера!..

Казначей подмигнул и засмеялся.

Земец, знакомый Теркина, выдал его: прописал в своем письме, что он – парходчик. Теркину не хотелось до поры до времени выставляться, да и не с тем он шел сюда, в келью игумена. Он мечтал совсем о другой беседе: с глазу на глаз, где ему легко бы было излить то, что его погнало в родное село. А так, сразу, он попадал на зарубку самых заурядных обывательских разговоров... Он даже начал чуть заметно краснеть.

– Наш знакомец, – заговорил еще бойчее настоятель, – извещает меня про одно дело, касающееся обители, – он повел головою в сторону казначея, – и всячески обнадеживает насчет нашего ходатайства в губернской управе по вопросу о субсидии для училища. – Казначей крякнул. – Вдвое лестно было познакомиться! – Настоятель повернулся к гостю, указывая на него рукой, прибавил опять в сторону казначея: – Им желательно было и нашу обитель посетить.

Настоятель выражался очень свободно; подвижность и тон речи показывали в нем очень бывалого человека, не без книжного образования.

– Где же изволили остановиться и надолго ли? – спросил казначей, допил чай и покрыл чашкой блюдечко, низом вверх.

Теркин рассказал, как он вчера искал ночлега.

– Да почему же вы, Василий Иванович, ко мне прямо не въехали?.. Знакомец ваш даже и говорит в письме своем, чтобы вам оказать гостеприимство.



– Поздно было, отец настоятель, не хотел вас беспокоить.

– Сколько же деньков еще пробудете у нас? – спросил казначей.

– Как придется... Денька два-три.

– По делам?

На вопрос казначея Теркин не сразу ответил. Он не хотел скрывать дольше, что он здешний, кладенецкий, приемыш Ивана Прокофьича Теркина. Ему показалось, что настоятель раза два взглянул на него так, как будто ему фамилия его была известна, может, и все его прошедшее, вместе с историей его отца.

В монастыре у обедни он в детстве не бывал; если и брали его – он не помнит. Гимназистом наверно не заглядывал сюда; а потом протекло десять лет – Кладенец совсем перестал существовать для него. Он не слышал, давно ли этот настоятель правит здешним монастырем и мог ли он лично знать Ивана Прокофьича.

– Дел у меня нет в Кладенце, – тихо начал он и поглядел на обоих монахов. – Это моя родина, и я ее по разным причинам упустил из виду.

– Так, значит, я не ошибся! – возбужденно сказал настоятель. – Ваша фамилия сейчас мне напомнила... Вот отец казначей здесь внове, а я больше пятнадцати лет живу в обители. Прежде здешние дела и междоусобия чаще до меня доходили. Да и до сих пор я имею сношения с местными властями и крестьянскими н/абольшими... Так вы будете Тер-

кина... как бишь его звали... Иван Прокофьич, никак... если не ошибаюсь?..

– Приемный его сын, – вымолвил Теркин и опять поглядел на обоих монахов.

В узких серых глазах настоятеля промелькнула усмешка тонкого человека, который не стал бы первый расспрашивать об этом гостя, касаться его крестьянского рода.

– Все же похвально, – настоятель кивнул опять головой в сторону казначея, – с родиной своей не прерывать связи, ежели Богу угодно вывести на торную дорогу честных стяжаний и благ земных! – И, не выдержав тона этих слов, настоятель наклонился к гостю и договорил потише: – Про одиссею Ивана Прокофьича много наслышан...

«Знаешь небось, что меня высекли в приказе», – подумал Теркин, но тотчас же устыдился этой тревоги и сказал спокойно и мягко:

– Он свою жизнь прожил без пятна.

Казначей встал, поблагодарил попадью за чай и, наклонивши голову к настоятелю, спросил:

– Не попозднее ли зайти?

– Побудьте с Пелагеей Ивановной, а мы с дорогим гостем побеседуем маленько... Василий Иваныч! Не соблаговолите ли пожаловать ко мне, туда... Пелагея Ивановна, чай-то гостю пришлите в кабинет, с Митюнькой.

Настоятель взял Теркина под руку и повел его в первую комнату. С порога он крикнул мальчику:

– Стакан чаю сюда подай! Слышишь?..

## XXXII

– Курить не желаете ли? – предложил настоятель, как только посадил Теркина у стола, а сам сел по другую сторону. – Что ж чай-то? – крикнул он в дверь.

Мальчик, подавая стакан чаю на подносе, сделал неловкое движение, стакан опрокинулся, и брызги попали на рукав гостя.

– Эх! Остолоп какой! – дал на мальчика окрик настоятель.

Тот покраснел вплоть до ушей, и его глаза от смущения совсем посоловели.

– Ничего, ничего! – успокаивал Теркин.

– Право, остолоп! Живо другой стакан!.. Пожалуйста курите, Василий Иваныч... Мы ведь не раскольники, – прибавил настоятель и громко рассмеялся. – Душевно рад, – продолжал он, наклоняясь к гостю через стол, – что вы надумали родные Палестины посетить... Скажите, пожалуйста: родитель ваш... тогда... пострадал по наветам врагов своих?.. Ну, не облей в другой раз! – крикнул он мальчику, трепетно подававшему чай. – И ступай!.. Я об этих делах довольно наслышан был от одного из благоприятелей вашего отца. Чай, помните? Мохов, Никандр Саввич!..

– Помню: черноватый, приземистый...

– Теперь как раздобрел!.. И по нашему Кладенцу первый,

можно сказать, воротила в земских собраниях и в здешних волостных делах... Нашего братства один из попечителей.

– Братства? – переспросил Теркин.

– А вам не известна деятельность нашей обители, Василий Иваныч?

– Виноват!

– Чт/о мог, я слабыми своими силами успел привести к вожделенному концу. Но хотелось бы и побольше... Монастырь наш заштатный, казенного содержания не имеет...

– На что же вы существуете, отец настоятель?

– Есть кое-какие угодья: земляца луговая и пахотная, мельница на несколько поставов... Моими стараниями приведена в возможно лучшее положение. Подворье имеется в губернии... и часовня на ярмарке... Хлопочу о построении таковой же в одной из наших столиц, около вокзала, например, где происходит наибольшее стечение народа.

Глаза настоятеля забегали.

«Ловкий ты мужик! – подумал про себя Теркин. Тебе бы впору и всей кладенецкой торговлей ворочать».

– На что же, сами рассудите, Василий Иваныч, не токмо что уж поддерживать наши разные учреждения, а братию питать?.. У нас в обители до пятидесяти человек одних монашествующих и служек. А окромя того, училище для приходящих и для живущих мальчиков, лечебница с аптекой... Только с прошлого года земство свою больницу открыло... И бесплатную библиотеку имеем при братстве, – значит, под

сенью нашей же обители; открыли женское училище.

– Неужели до сих пор нет в Кладенце казенного или земского училища? – спросил Теркин, и ему стало совестно, что он этого доподлинно не знал.

– Есть... И образцовое двухклассное, и еще две школы в слободах; но ведь это в самое последнее время заведено; а прежде – вы, чай, сами помните – хоть шаром покати... Раскольничьи черницы да солдаты безграмотные учили по Псалтири... Опять же при братстве происходят беседы, ввиду борьбы с расколом, и поучительные чтения светского характера.

Настоятель откинул длинную прядь за ухо и немного покраснел. Видно было, что он попал на свою любимую тему.

– Не заштатным бы нашему монастырю следовало быть, а ставропигиальным, ибо он из самых старейших... Вы изволите интересоваться здешней стариной?

– Кое-что слышал от отца, а читал мало...

– Ведь без кладенецкой обители и Нижнего бы не было. Предок Александра Невского, святитель Симон, уже после того, как княжой стол утвердился на Дятковых горах, заложил город, который, и назвали Нижним в отличие от Верхнего или Великого Новгорода... И сколько иноками нашей обители и святителями кладенецкими обращено было язычников! Ведь здесь повсюду черемисы и мордва жили, а дальше по Волге и Каме были становища приречных болгар, самых первых тогда врагов русских людей.

– Слышал, слышал от отца.

– И вот видите, какой оборот судеб. Болгар православные князья русские нещадно били и отводили в полон, а семьсот лет спустя за тех же самых болгар сколько русской крови пролито!.. Наш Кладенец наполовину населен был пленниками... Ведь верхняя-то слобода – она самая старейшая, по ту сторону вала, где собственно город был – до сих пор в народе слывет Полонной. На что же это указывает? Да и в жителях Кладенца есть совсем разные два облика. Одни белокурые – вот, хоть бы и вы, а другие – смуглые, и волосы черные, плоские. Эти прямо от черемис и болгар камских и волжских.

Опять Теркин, слушая складную речь настоятеля, унесся мыслями в судьбы своего родного села.

– А испытания какие Господь посылал на Кладенец... Татарский погром обрушился на наш край после разорения Владимира на Клязьме... Пришла гибель Кладенцу. Его князь один из немногих не пал духом и пошел на врагов и погиб в рядах своей рати... Шутка сказать, когда это было: пятьсот с лишком лет назад... И хан Берку чуть опять не истребил нашего города, и царевич татарский Драшна грозил ему огнем и мечом!

– И все это пережила ваша обитель!

– Как видите, стоим все на том же месте, куда и досто­славный угодник земли русской, князь Александр Яросла­вич Невский, приходил на поклон иконе Пресвятой Девы...

И после ига татарского, и после упразднения стола князей кладенецких обитель наша под охраною Владычицы не оскудевала... Что/о случилось с татарами?

– Халаты продают!

– Именно! – Настоятель громко рассмеялся. – А что они и у нас долгое время хозяйничали, на это до сей поры есть указания. Извольте помнить пригорок-то, позади бывших прядилен, зовется «Баскачиха». Значит, там баскаки ханские проживали и производили свои зверские вымогательства.

Настоятель сдержал себя и спросил:

– Коли вам желательно ознакомиться с нашими посильными трудами, я с великой радостью... У меня и к печати приготовлено кое-что для губернских ведомостей. Ежели угодно, так я велю позвать отца эконома: отец-то казначей должен по делу маленько отлучиться.

– Вы не беспокойтесь, – перебил Теркин, – я к вам еще заверну... завтра утром.

– А спервоначалу желаете... праху родителей поклониться... панихидку отслужить?

– Они не здесь лежат, – ответил Теркин. – Отец после ссылки выселился отсюда.

– И домик свой оставил. Продал, что ли?

– Да, он у него давно был собственный, еще при графском управлении.

– А теперь кто им владеет?

– Не знаю, право, в точности.

– Так вам надо первым делом к Мохову, Никандру Саввичу. Его дом не изволите знать где?

– Нет, не знаю. За мной сюда извозчик заедет... Николаем зовут.

– Он довезет. А во всяком случае отец эконоом вам укажет. Вот я сейчас спосылаю за ним. У него досуг найдется. К Мохову первым делом. Он вас к себе перетащит, коли моей кельей не угодно будет воспользоваться... И в училище, и в земскую больницу он вас свезет.

– С раскольничьей молельной вы, разумеется, не находитесь в сношениях?

– Она нас чурается, а не мы ее. Однако с попечителем ее – слышали, чай, на ярмарке – с богатеем Кашедаевым, встречались и беседовали... Он им и богадельню возвел на дворе молельни. Если поинтересуетесь, отец эконоом познакомит вас с миссионером из бывших старообрядцев; поди, он еще не уехал вверх по Волге на собеседование... Проще к становому заехать: он вам даст от себя рекомендацию к одному из начетчиков. Они с полицией нынче в ладах живут, – прибавил настоятель, тонко усмехнувшись.

– А распри в крестьянском обществе все по-прежнему? – спросил Теркин и поднялся со стула.

– Все те же междоусобия. Одни гнут на городское положение – и во главе их Никандр Саввич. Он вам все расскажет обстоятельно.

– Ссудосберегательное товарищество рухнуло?



– Давным-давно. Только одна пушная смута и плутовство великое вышли. И хороший молодой человек из-за этого дела загубил себя.

Теркин сейчас же вспомнил и спросил:

– Тот? Аршаулов? Почтмейстера сын?

– Он, он! Сколько лет, – настоятель сразу понизил тон, – сидел в заточении и провел в ссылке, да и теперь находится под присмотром, в бедственном положении.

– Где?

– Здесь, никак! Мать – старуха, должно, имеет в Кладенце пенсию ничтожную. Вымолила у начальства сюда его, знаете, на место жительства перевести. Так ведь пить-есть надо, а у него, слышал я, чахотка. Какой же работой, да еще здесь, в селе, может он заняться? Уроки давать некому, да он, поди, еле жив.

Глаза Теркина возбужденно замигали.

– Где же мог бы я, отец настоятель, справиться о нем? Судьба его достойна сострадания!

– Где? – протянул настоятель. – Да первым делом у станового. Ведь это его подначальная команда – такие-то господа. Становой у нас не спесивый и довольно но обстоятельный. Фамилия – Вифанский, Мартирий Павлович.

– Из духовного звания?

– Весьма! – Настоятель подмигнул. – Сейчас и поговору увидите. Из здешних же заволжских палестин. Так я сейчас распоряжусь, Василий Иваныч.

Настоятель подошел к двери в гостиную и крикнул:

– Отец казначей!.. повремените еще маленько.

Потом он послал служку за экономом.

– Вот и ваш извозчик! – он указал Теркину в окно на двор, куда въехал Николай на своей долгуше.

### XXXIII

– А где твой двор, Николай?

Извозчик попросил у седока позволения заехать домой «попоить лошадку». Они уже побывали в разных местах и отца эконома подвезли обратно к монастырю.

– Вон на самой круче, кормилец. Дальше и дороги нет! – ответил Николай, указывая кнутом.

– Ладно, над нами не каплет.

Побывали они с отцом экономом, тихим стариком из простого звания, сначала в образцовом училище и в земской больнице, потом заехали на квартиру станowego. Его не оказалось дома: куда-то отлучился, на селе; но к обеду должен был вернуться; оставили у него записочку от отца настоятеля. Заехали к Мохову. Тот тоже уехал на пристань. Предлагал эконом побывать и у миссионера, коли желательно насчет раскола побеседовать, но Теркин отложил это до другого раза. Ему захотелось остаться одному, да и монаху пора было к трапезе. От монастыря спустились они к тому проулку, где стоял двор Ивана Прокофьича. На перекрестке Тер-

кин сошел с долгуши и сказал Николаю, чтобы он подождал его около номеров Малыш/ова, а сам он дойдет туда пешком. Сердце у него заекало в груди, когда он стал спускаться по проулку... Вот забор вдоль сада одного раскольника, богато-го торговца, с домом на дворе. Тот же мезонин выглядывает из-за лип сада, только крыша зеленая, а не буро-красная, какою прежде была. Дорога врезалась в пригорок, и два порядка, справа и слева, поднимаются над нею. Избенки все больше в три окна, кое-где в пять, старые, еще «допожарные», как здесь называют. Эта возвышенная часть Кладенца и есть та «Полонная», где, по толкованию отца настоятеля, селились взятые «в полон» инородцы – мордва, черемисы, камские и волжские болгары. Теркину вспомнились лицо, рост и вся посадка Ивана Прокофьича; они выплыли перед ним до такой степени ярко, точно он смотрит на него на расстоянии двух аршин. Было в нем, в его неправильных чертах, пожалуй, что-то инородческое, не коренное русское. Может, и пылкий свой нрав он унаследовал от какого-нибудь предка, жившего в лесах и пещерах еще при Александре Невском или Юрии Всеволодовиче, князе кладенецком.

И жалость к старику разлилась по нем, – жалость и сознание своей собственной дрянности. Разве Иван Прокофьич способен был пойти на такие сделки с совестью, на какие он пошел?.. И если он теперь отделался от срама – от денег Калерии, все-таки он на них в один год расширил свой кредит, пошел еще сильнее в гору. А старик его не знал никакой

жадности, еле пробивался грошовым спичечным заведением, поддерживал бедняков, впал сам в бедность: если б не сын, кончил бы нищетой, и даже перед смертью так же радел о своих «однообщественниках».

Еще два-три двора – и справа должен был показаться продолговатый сарайчик, где помещалось заведение с узкими оконцами... Не доходя был частокол с проделанной в нем лазейкой. Туда ему мальчишкой случалось проникать за подсолнухами. Вот и частокол, только он теперь смотрит исправнее, лазейки нет.

Этот ли сарайчик? Должен быть он... Места занимает он столько же, только окна не такие и крыша другая, приподнята против прежнего. Однако старые крепкие бревна сруба те же, это сейчас видно. Домик в три окна, как и был, только опять крыша другая, плоче, больше на городской фасон, и ворота совсем новые, из хорошего теса, с навесом и резьбой. Им, судя по цвету леса, не будет и пяти лет. Улица стояла пустая. Не у кого было спросить: чей это теперь двор? Он помнил, что Иван Прокофьич продал его какому-то мужику из деревни Рассадино, по старой костромской дороге, верстах в десяти от Кладенца, и продешевил, как всегда. Тот мужичок хотел тоже наладить тут какое-то заведение, кажется, кислощейное, для продажи на базарах квасу и кислых щей, вместе с ореховой «збоиной» и пареной грушей.

Захотелось ему войти в калитку, совсем по-детски потянуло туда, на дворик, с погребницей в глубине и навесом и

с крылечком налево, где, бывало, старуха сидит и разматывает «тальки» суровой пряжи. Он тут же, за книжкой... По утрам он ходил к «земскому» и знал уже четыре правила. Из сарайчика идет запах серы, к которому все давно привыкли.

Он взялся за щеколду калитки и хотел отворить.

Заперто было изнутри. Пришлось постучать.

– Кто там? – спросил со двора мужской очень мягкий голос.

Называть себя Теркин не хотел. Он скажет хозяевам что придется.

– Отворите, пожалуйста! – крикнул он.

Калитку стали осторожно отворять.

«Наверно, раскольники», – подумал он, переступая через высокий дощатый порог калитки.

Его впустил хозяин, – это сейчас узнал Теркин, рослый, с брюшком, свежий еще на вид мужик лет под пятьдесят, русский, бородатый и немного лысый, в одной ситцевой рубаше и шароварах, с опорками на босых ногах... Глаза его, ласковые, небольшие, остановились на незнакомом «барине» (так он его определил) без недоверия.

Теркин быстро оглядел, что делалось на дворе. В эту минуту из избы в сарайчик через мостки, положенные поперек, переходил голый работник в одном длинном холщовом фартуке и нес на плече большую деревянную форму. Внизу на самой земле лежали рядами такие же формы с пряничным тестом, выставленным проветриться после печенья в боль-

шой избе и лежанья в сарайчике.

В один миг Теркин догадался, какое это заведение. Пряники – коренное дело Кладенца. Испокон века водилось здесь производство коврижек и, в особенности, дешевых пряников, в виде петушков, рыб и разных других фигур, вытисненных на кусках больше в форме неправильных трапеций, а также мелких продолговатых «жемков», которые и он истреблял в детстве. Сейчас, по памяти, ощутил он несколько едкий вкус твердого теста с кусочками сахара.

– Бог в помочь! – сказал он. – Вот полюбопытствовал посмотреть на ваше заведение... Я – приезжий.

Хозяин улыбнулся добрейшей усмешкой широкого рта, засунул засов и поклонился легким наклоном головы.

– Пожалуйте... Поглядите, коли желательно. И сразу между ними вышел бытовой разговор, точно будто он в самом деле был заезжий барин, изучающий кустарные промыслы Поволжья, и пряничный фабрикант стал ему, все с той же доброй и ласковой усмешкой, отвечать на его расспросы, повел его в избу, где только что закрыли печь, и в сарайчик, где лежали формы и доски с пряниками, только что вышедшими из печи.

Черная изба осталась почти такою, как была и десять лет назад; только в ней понаделали вокруг стен таких столов, как в кухнях. В чистые две горницы хозяин не водил его; сказал, что там он живет с сыном; работники летом спят в сарае, а зимой в избе. Теркин посовестился попросить провести и

туда.

– Я – вдовый, один всего сынок и есть.

Хозяин указал на сына, – «молодцов» у него было всего четверо, – худощавого брюнета лет двадцати, с умными впалыми глазами. И тот был голый, как и остальные трое уже пожилых работников.

– Он у меня искусник, – прибавил хозяин. – Сам режет формы... Миша! Покажь барину ту форму, что намнясь вырезал.

Слово «барин» резнуло Теркина. Но он не хотел называть своей фамилии, говорить, чей он был приемыш... Неопределенное чувство удерживало его, как будто боязнь услышать что-нибудь про Ивана Прокофьича, от чего ему делается больно.

Показали ему форму с разными надписями – славянской вязью и рисунками, которые отзывались уже новыми «фасончиками». Он пожалел про стародавние, грубо сделанные наивные изображения.

Но он похвалил искусника, не желал его обескураживать.

– Как вы прозываетесь? – спросил он у отца.

– Птицыны мы, батюшка, Птицыны.

Узнал он, продолжая вести себя как заезжий «барин», что в день идет у них до пяти кулей крупичатой муки, а во время макарьевской ярмарки – и больше.

Потом показали ему разные сорта пряников. Хозяин отобрал несколько штук из тех, на которые указывал Теркин, и

поднес ему. Тот не хотел брать.

– Обидите нас, батюшка... Ведь эти прянички всего десять копеек фунт. Деткам отдадите.

– Деток-то у меня нет.

– Все едино! Безделица!

И так он ласково глядел, что нельзя было не взять.

Но главного-то Теркин еще не знал – сам ли Птицын купил у Ивана Прокофьяча двор.

– Вы здешние, коренные? – спросил он попроще.

– Нет, батюшка, мы рассадинские. Там у нас и земляца порядочная есть. Здесь из-за этого дела проживаем.

– Купили двор?

– Арендатели мы... А купил-то из Рассадина же мужичок. У здешнего... Теркиным прозывался... Вот здесь спички делал... Сказывают – заведение у него стало. Никак, на поселение угодил.

И по ясному лицу прошлась тень, точно будто он не хотел дурно говорить про бывшего владельца.

– Спасибо! – быстро промолвил Теркин, так же быстро отворил калитку и пошел вниз по проулку.

## XXXIV

Николаева долгуша пробиралась по круче, попадая из одной выбоины в другую.

– Вон и моя избенка! – указал он на самый край обрыва.



Изба была последняя и стояла так, что сбоку нельзя уже было спуститься вниз: откос шел почти отвесно и грозил «оползнем», о каких рассказывали Теркину в детстве.

Когда они подъехали и Николай слез с козел, из ворот вышла его жена Анисья, женщина еще не старая на вид, небольшого роста, благообразная, в повойнике и ситцевом сарафане и, по-домашнему, босая.

Она отворила ворота, и Николай взял лошадь под уздцы. Долгуша въехала на крытый глухой двор, где Теркина охватила прохлада вместе с запахом стойл и коровника, помещавшихся в глубине. Стояли тут две телеги и еще одна долгуша, лежало и много всякой другой рухляди. Двор смотрел зажиточно. Изба – чистая, с крылечком. На ставнях нарисованы горшки с цветами, из окон видны занавески.

– Да у тебя жена-то еще молодуха, – пошутил Теркин, – а он тебя, тетка, старухой зовет.

– Известно, – ответила в тон хозяйка и тихо улыбнулась поблеклыми умными глазами. – Ему же ловчее... На молоденьких-то поглядывать.

– Да который тебе годок?

Теркин слез и присел на крылечке.

– Много ей годов, не меньше мово! – отозвался Николай, с ведром в руках подходивший к лошади.

– Прибавляет? – спросил Теркин и подмигнул. Ему эта крестьянская чета нравилась.

– Много ли? Шестой десяток пошел.

– И неужели много детей выкормила и выходила?

– Выходить-то выходили, – ответила она и характерно повела губами, – только не своих.

– Как так?

– Своих-то у нас не было, господин, – опять откликнулся Николай от лошади. – Трех приемышей брали... и все девок...

– А теперь опять одни остались, – выговорила хозяйка.

– Замуж повыдали?

– Нешт/о!

– У двух уж дети свои, – добавил Николай.

– Вот тебе, поди, и скучненько бывает? – спросил Теркин.

– Мало ли што!

– Здесь, в Кладенце, выдали?

– Одну здесь.

– Значит, внучки все равно есть, хоть и не кровные.

Теркин вынул из кармана сверток с пряниками и подал хозяйке.

– Снеси внучке.

– Благодарствуем.

– Ты где же это, кормилец, пряники-то добыл? Мне и невдомек! – обратился к Теркину Николай.

Лошадь его все еще пила из ведра.

– На фабрику заходил! – весело ответил Теркин.

– Не к Птицыну ли, к Акинфию Данилычу?

– К нему самому.

– А я думал... так... за надобностью куда... Значит, у Птицына были, заведение его посмотреть... Намедни я одного барина возил, тоже полюбопытствовал... Сколько здесь теперь заведеньев... противу птицынского нет ни одного, да-ром что он не коренной кладенецкий.

– Понравился вам Акинфий Данилыч? – спросила хозяйка.

– Душевный человек... Ласковый такой...

– Это верно, – отозвался Николай, – добрейшей души. И сколько народу им кормится на базаре да и по деревням торговли, разносчики. Никому не откажет, верит в долг. Только им и живы.

– Он не по старой вере?

На вопрос Теркина Николай оставил ведро и немного почесался.

– Как сказать, мы в это не входим... Сын – от... чай, видели... такой худощавый из себя парень, – большой искусник по своей части... Тот, поди, куда-нибудь гнет... Только они к здешней молельне не привержены.

Теркин вынул папиросу и спросил:

– А курить у вас не зазорно, тетка?

– Курите, батюшка, мы ведь не раскольники.

Возглас Николая почему-то вызвал в Теркине сильное желание поговорить с этой четой по душе о самом себе, об отце, о том, зачем он проник во двор пряничного заведения.

– Послушай, – окликнул он Николая, покончившего с во-

допоем лошади, – ты небось знаешь, чей был прежде двор, где теперь Птицыны?

– Допрежь? Дай Бог памяти!

– Чтой-то... Митрич! – подсказала жена. – Н/ешто запамятовал? Теркиных дом-от... спокон веку стоял.

– Ивана Прокофьича ужли не помнишь? – спросил Теркин, и краска проступила у него в щеках.

Николай почесал у себя над виском и снял картуз.

– Это точно! Как не помнить Иван Прокофьича... Никак, он помер?..

– Помер, – повторил Теркин и тотчас же прибавил: – И старухи нет... Ты, Николай, думаешь, что я – заезжий барин? Так полюбопытствовал посмотреть, как пряники делают у Птицына?.. А я на этом самом дворе вырос. Меня Иван-то Прокофьич со своей старухой приняли... вот как вы же трех невест воспитали... Я – их нареченный сын.

– Ой ли?

Николай подошел поближе к нему и взгляделся.

– Может, видал меня мальчишкой?

– Видать то видал, беспрременно, а ни в жисть не признаешь!

– Вон ты, кормилец, какой теперича – барин настоящий.

Жена Николая подперла ладонью свое благообразное, немного строгое лицо и тоже воззрилась в гостя.

– Бездетные они были, это точно. Сама-то я не бывала у них ни единожды, а в шабрах немало гуторили. Помнишь,

Митрич? У Ивана-то Прокофьяча нелады шли со старшиной, что ли?

– С Малмыжским? Как не помнить! Он, никак, и на поселение угодил? Так ведь, батюшка?

Теркин все им рассказал: про ссылку отца, про свое ученье и мытарства, про то, как он больше пяти лет не заглядывал в Кладенец – обиду свою не мог забыть, а теперь вот потянуло, не выдержал, захотелось и во дворе побывать, где его, подкидыша, приняли хорошие люди.

– Видишь, тетка, – сказал он, совсем смягченный своим признанием, – я такой же приемыш, как и твои названные детки. Вы их со стариком где же брали? У здешних кладенецких крестьян или у деревенских?

– Все у здешних, – ответили оба разом.

– А я – подкидыш!

И муж, и жена помолчали.

– Так и не знаешь, – тихо спросила Анисья, – каких таких родителей?

– Слышала, чай, подкинули... Как же тут узнаешь?

Николай значительно поглядел на жену: «нечего, мол, попусту болтать».

– Лучше и родные отец с матерью для меня не были бы, – сказал Теркин.

Он взглянул на мужа и жену и радовался тому, что эта чета всем своим побытом выедала из него недавнее злобное чувство к кладенецким мужикам.

– Не понесешь без лютой нужды свое детище к чужим людям, – как бы про себя выговорила Анисья и отошла к воротам.

Теркин поднялся.

– Поминают ли здесь добром Ивана Прокофьича? – спросил он возбужденно. – Ведь он живот положил за своих однообщественников! И базарную-то площадь он добыл от помещика, чуть не пять лет в хождениях состоял. А они его тем отблагодарили, что по приговору сослали, точно конокрада или пропойцу.

– Мы, батюшка, – ответил Николай, взяв лошадь за узду, чтобы вывезти со двора долгушу, – по правде сказать, ко всей этой сваре непричастны были. Я по другому совсем обществу, хоть и одной волости. На сходки-то когда же нам ходить? У меня промысел извозный. Не до этого... И до сей поры свары-то не улеглась... Одни подбивают на городское положение перейти, а другие ни под каким видом не соглашаются... Ходоков посылают в губернию, и сборы всякие... Намеднясь и с меня содрали целую трешницу... А нам со старухой и так хорошо!.. Нешто плохо, старая? – весело крикнул он жене. – Коли будем тосковать, можно и еще в дом взять паренька, что ли... Бог даст, вот такого молодца выйдем, как ваша милость.

– Авось Бог пошлет! – подхватил Теркин. – Ежели младенец не крещеный, я в крестные пойду. Прощай, хозяйка!

И он вскочил на долгушу, крикнув Николаю:

– Теперь опять к становому!

## XXXV

Становой жил в большой пятистенной избе, с подклетью, где прежде, должно быть, помещалась мастерская, и ход к нему был через крытый, совсем крестьянский двор, такой, как у Николая, только попросторнее... С угла сруба белелась вывеска. На крыльцо вела крутая лестница. Ворота стояли настежь отворенными.

С долгуши Теркин окликнул сидевшего на завалинке человека, видом рассыльного, в рыжем старом картузе, с опухшей щекой, в линючем нанковом пиджаке.

– Становой дома?

– Дома... Пожалуйте!..

Рассыльный подошел, и Теркин сейчас же узнал в нем писаря Силоамского, того самого, который присутствовал при его наказаний розгами в волостном правлении и острил над ним.

Кровь бросилась ему в лицо.

– Вы кто здесь, служащий? – спросил Теркин, сдерживая свое волнение.

– При становом состою, ваше благородие, вестовым.

Весь облик бывшего писаря, цвет лица, воспаленные глаза, обшарпанность одежды показывали, что он стал пропойцей, наверно выгнан был с прежней службы и теперь кормит-

ся у станowego, без жалованья.

Теркин чуть не крикнул ему:

«Что, почтеннейший, на пакостях своих не нажили палат каменных?»»

Силоамский, прищуриваясь от света, – день стоял яркий и теплый, – смотрел на него и, видимо, не узнавал.

– Туда идти, наверх? – спросил Теркин.

– Вам по делу, ваше благородие?

– От отца настоятеля.

– Пожалуйте.

Силоамский побежал вверх по крутым ступенькам лестницы и отворил дверь. Когда Теркин проходил мимо, на него пахнуло водкой. Но он уже не чувствовал ни злобы, ни неловкости от этой встречи. Вся история с его наказанием представлялась ему в туманной дали. Не за себя, а скорее за отца могло ему сделаться больно, если б в нем разбередили память о тех временах. Бывший писарь был слишком теперь жалок и лакейски низмен... Вероятно, и остальные «вороги» Ивана Прокофьича показались бы ему в таком же роде.

– К вам, ваше высокоблагородие, господин... от отца настоятеля.

Силоамский доложил это на пороге первой комнаты, куда из темных сеней входили прямо. Она была в три окна, оклеена обоями, в ту минуту очень светла, с письменным столом и длинным диваном по левой стене.

Раздался скрип высоких сапог станowego, и он вошел из



второй комнаты, служившей ему спальней, в белом кителе с золотыми пуговицами, рослый, кудрявый, бородатый, смахивал на дьякона в военной форме.

– Был уже у вас и оставил записочку от отца настоятеля.

Теркин все-таки не хотел назвать себя по фамилии при Силоамском. Тот медлил закрыть дверь за собою.

– Весьма рад!.. Записку нашел... Не угодно ли на диван?

Голос у станового был самый «духовный». Говорил он резко на «он», как говорят в глухих заволжских селах, откуда он был родом, да и в местной семинарии этот говор все еще держался, особенно среди детей деревенских причетников.

– Можешь идти, – оттянул густым басом становой в сторону посыльного и еще раз движением правой руки пригласил гостя на диван.

– С нашим древним селом желаете ознакомиться? – тем же басом спросил становой и довольно молодцевато, почти по-военному, перевел высокими своими плечами.

– Кладенец – моя родина. Только я от нее поотстал.

– Извините... фамилии не разобрал в точности.

– Теркин.

По выражению глаз станового не видно было, что фамилия «Теркин» что-нибудь ему напонила.

– Родителей имеете здесь?

– Нет! Никого!

– Отец настоятель пишет, что вы интересуетесь осмотреть молельню здешних старообрядцев... Это можно. И службу

ихнюю тоже желательно видеть?

– Коли это не соблазнительно будет для них.

Становой усмехнулся сквозь густые усы своим широким семинарским ртом.

– Понятное дело... Как по имени-отчеству?

– Василий Иванович.

– Понятное дело, они всегда на всякого никоньянца волком смотрят... Однако допускают.

– Вы с ними ладите?

– По теперешнему времени, – глаза станowego улынулись, – нет для них никаких таких угнетений... под условием, конечно, чтобы и с их стороны не происходило никакого оказательства или совращения. Опять же здесь и миссионер нарочито на сей конец имеется. Вы не изволили побывать у него?

– Побываю.

– Малый весьма дошлый и усердный. По правде вам сказать, он один и действует. Монашествующая наша братия да и белое духовенство не пускаются в такие состязания. Одни – по неимению подготовки, а другие – не о том радеют... Чуть что – к светскому начальству с представлениями: «и это запрети, и туда не пушай». И нашему-то брату стало куда труднее против прежнего. В старину земская полиция все была... и вязала, и решала. А теперь и послабления допускаются, и то и дело вмешательство...

Басистым коротким смехом прервал себя становой.

– У них и богадельня есть?

– Как же... И даже весьма солидное каменное здание. Намерение-то у них было в верхнем этаже настоящую церковь завести. Они ведь – изволите, чай, припомнить – по беглопоповскому согласию. Главным попечителем состоит купец миллионщик. На его деньги вся и постройка производилась. Однако допустить того нельзя было. Так верхний этаж-то и стоит пустой, а старухи помещаются в первом этаже.

Теркин слушал станового и помнил, что ему надо узнать, где проживает Аршаулов, тот «горюн», который пострадал из-за кладенецких мужиков еще больше, чем Иван Прокофьич; только не хотел он без всякого перехода разузнавать о нем.

– А в двух здешних сельских обществах по-прежнему ушиба идет? – спросил он другим тоном.

– Идет-с, – оттянул становой с усмешечкой. – Еще не так давно конца-краю этому не было. Однако теперь партия торговая... самая почтенная, та, что на городское положение гнет, одолела... Прежних-то, как бы это фигурально выразиться, демагогов-то, горлопанов – то поограничили. Старшина, который в этой воде рыбу удил...

– Малмыжский? – не утерпел Теркин.

– Вам, следственно, не безызвестно?

– Слыхал.

– Он разжился и ушел подобру-поздорову. Ангелы его, – становой рассмеялся, довольный своим словом, – все про-

воровались или пропились. Вот рассыльного при себе, почти Христа ради, держу! – Он указал курчавой головой на дверь. – Был писарь у них и первый воротила... Силоамский по фамилии, зашибается горечью... Потерплю-потерплю, да тоже прогоню.

– И ссудосберегательное товарищество рухнуло?

– Обязательно! Затея, была, ежели так взять, великодушная, но ничего, кроме новых смут и хищений, не вызвала... Да и тот, который...

Он не договорил и жалостно улыбнулся.

– Вы хотели сказать про Аршаулова?

– И про него вам известно?

– Бедняга!

– Это точно!

Тут было у места расспросить его про Аршаулова. Становой не стал ежиться или принимать официальный тон, а довольно добродушно сообщил гостю, что Аршаулов водворен сюда, проживает у старухи матери, чуть жив, в большой бедности; в настоящее время, с разрешения губернского начальства, находится «в губернии», но должен на днях вернуться. Он растолковал Теркину, где находится и домик почтмейстерской вдовы.

– Неприятностей он вам не причиняет? – спросил Теркин вполголоса.

– Не могу пожаловаться... Да знаете, он больше, как бы это выразиться... созерцатель, чем причастный к крамоле.

К тому же и в чем душа жива... Ежели вы его навестите, увидите – краше в гроб кладут.

Визитом к становому Теркин был доволен.

Когда он стал прощаться, тот быстро подошел к письменному столу, взял с него записку настоятеля и, держа ее в руке, спросил:

– С Моховым, с Никандром Саввичем, вы еще не повидались? Отец архимандрит пишет, что вам и с ним желательно повидаться. Он теперь первый воротила у партии городского положения.

– И отца моего приятель был.

– Одно к одному!.. Да не угодно ли вместе? У вас здесь, никак, извозчик: видел – долгуша подъезжала... Мне ж до него дело есть... Вы сами-то где же изволили остановиться?

Пришлось и ему рассказать про ночлег в трактире. Становой извинился за такое «безобразие» и выразил уверенность в том, что Никандр Саввич перевезет «дорогого гостя» к себе, коли ему не хочется погостить в монастыре.

– Да и у меня, милости прошу, вот вся моя хоромина, с диваном!.. Только по утрам бывает народ, а вечером тишина полная... Я ведь и сам был вашим постояльцем.

– Как это?

– Отец архимандрит сообщил: вы – хозяин парохода «Батрак». Я на нем вниз по Волге бегал. Превосходный ходок! И как все устроено, на американский манер... Вам бы известить меня депешей. А к начетчику молельни мы тоже мо-

жем заехать. Завтра у них утром служба... Силоамский! – крикнул становой в дверь. – Подавать вели извозчику.

И опять по лицу бывшего писаря Теркин не мог догадаться: узнал ли он приемыша Ивана Прокофьяча или нет.

## XXXVI

На балконе двухэтажного дома Никандра Саввича Мохова, защищенном от солнца тиковыми занавесками, на другой день, ранним послеобедом, Теркин курил и отхлебывал из стакана сельтерскую воду. Хозяин пошел спать. Гость поглядывал на раскинувшуюся перед ним панораму Кладенца. Влево шла откосом улица с бревенчатой мостовой, обставленная лавками. Она сначала вела к плоскому оврагу, потом начинался подъем, где стоял тот трактир, откуда он вчера переехал к Мохову, по усиленной его просьбе. Не было причины отказать... Мохов обрадовался ему чрезвычайно, даже слезы у него выступили на глазах, когда они расцеловались. Он вспоминал об Иване Прокофьяче в самых приятельских выражениях. Ни в монастырь, ни на постоялый двор Теркину не захотелось переезжать из трактира, где было совсем скверно.

На самом верху выставлялись главы церкви Николая-чудотворца. Ее кладенецкие обыватели звали «собором» и очень заботились о его «велелепии» – соперничали с раскольниками по части церковного убранства, службы, пения,

добыли себе «из губернии» в дьяконы такого баса, который бы непременно попал в протодьяконы к архиерею, если б не зашибался хмелем.

Теркин перебирал все, что ему привелось в одну неделю видеть и ощущать там – у Троицы, здесь – в Кладенце. Не испытал он нигде возврата к простой мужицкой вере. Сегодня утром, отправляясь к молельне, с запиской от станового, он искренно желал найти у раскольников что-нибудь действующее на чувство, картину более строгого благочестия, хотя бы даже изуверства, но такого, чтобы захватывало сразу.

Опять долгуша Николая подвезла его к высокой каменной ограде с воротами, какие бывают на кладбищах. У ворот стояло немало телег, с приехавшими из деревень бабами и мужиками.

На обширном дворе, кое-где с березками и кустами бузины, где приютилось и кладбище, прямо против входа – молельня, выкрашенная в темно-серую краску, с крытым ходом кругом всего здания, похожего и на часовню, и на жилой дом.

Оттуда доносилось пение, довольно стройное, громкое, точно все молящиеся пели, с протяжным звуком в конце каждого возгласа, в минорном приятном тоне, отличном от обыкновенного пения православной службы.

На дворе он остановил мальчика, проходившего к крылечку с левой стороны здания. Мальчик был в темном нанковом кафтанчике особого покроя, с кожаной лестовкой в руках; треугольник болтался на ее конце. Она ему сейчас же

напомнила разговор с Серафимой о ее матери, о поклонах до тысячи в день и переборке «бубенчиков» лестовки.

Мальчика он попросил вызвать какого-то Егора Евстигнечича, на что тот мотнул головой и, бросив на него вкось недоумевающий взгляд, выговорил отрывисто:

– Подожди маленько.

Против крылечка выходило двухэтажное каменное здание, совсем уже городской новейшей архитектуры, оштукатуренное, розоватое, с фигурными украшениями карнизов. Он знал от станового, что местный попечитель богадельни, купец-мучник, еще не вернулся с ярмарки, но жена его, наверно, будет тут, в молельне или в богадельне.

Прошло не меньше пяти минут. На крылечко сначала выглянул молодой мужик, с выстриженной маковкой, в темном кафтане и также с лестовкой, увидел Теркина и тотчас же скрылся.

Пение все еще доносилось из молельни.

Вышел другой, уже пожилой, такой же рослый раскольник, вероятно, из «уставщиков», и быстро приблизился к Теркину.

– Вы к Егору Евстигнееву? – спросил он его и вскинул волосами, спустившимися у него на лоб. Маковка была также выстрижена.

– Можно в молельню?.. Меня господин становой прислал... Только я не чиновник, – прибавил Теркин, а желал бы так войти, послушать вашей службы и осмотреть богадель-



ню.

Уставщик опять тряхнул волосами.

– Что ж... войдите!..

Взглядывал он не особенно приветливо, но ничего злобного в его тоне не сквозило.

Вслед за ним Теркин вошел через боковую дверь в молельню. Она оказалась полной народа. Иконостас, без алтаря, покрывал всю заднюю стену... Служба шла посредине, перед амвоном. Отовсюду блестела позолота икон и серебро паникадил. Ничего бросающегося в глаза, не похожего на то, что можно видеть в любой богатой православной часовне или даже церкви, он не заметил... Вокруг аналоя скучились певцы, все мужчины. Их было больше тридцати человек. Глубина молельни, где чернели платки и сарафаны женщин, уходила вправо, и туда Теркину неудобно было смотреть, не оборачиваясь, чего он не хотел делать... Показалось ему, что и остальные богомольцы подпевали хору. В пении он не замечал никакого неприятного и резкого «гнусавенья», о каком слышал всюду в толках о раскольничьей службе. Читали внятно, неспешно, гораздо выразительнее, чем дьячки и дьяконы в православной службе, даже и по городам.

Долго стоять было неловко: на него начали коситься. Он заметил пронзительный взгляд одной богомолки, из-под черного платка, и вспомнил, как ему отец эконом, когда они ехали в долгуше к становому, в разговоре о раскольниках-старухах сказал:

«Встретится с вами на улице, так вас глазами-то и ожжет всего».

Служба уже отходила. Впустивший его уставщик вышел с ним на крыльцо.

– Мне бы в богадельню... Попечителя супруга, может быть, здесь?

– Они как раз прошли туда. Пожалуйте.

В нижнем этаже, из крытых сеней с чугунной лестницей он попал в переднюю, где пахло щами. Его встретила пожилая женщина, в короткой душегрейке и в богатом светло-коричневом платке, повязанном по-раскольничьи. Это и была жена попечителя. Несколько чопорное выражение сжатого рта и глаз без бровей смягчалось общим довольно благодушным выражением.

Уставщик подвел к ней посетителя и тотчас удалился.

– На сколько у вас кроватей?

– Да теперь, сударь, шешнадцать старух у нас.... Вот пожалуйста.

В двух светлых комнатах стояли койки. Старухи были одеты в темные холщовые сарафаны. Иные сидели на койках и работали или бродили, две лежали лицом к стене и одна у печки, прямо на тюфяке, разостланном по полу, босая, в одной рубахе.

Это сейчас же отнесло его к тому сумасшедшему дому, где его держали десять лет назад.

– Она слабоумная? – тихо спросил он попечительницу.

– Совсем разбита... Не может ни ногами, ни руками двигаться... С ложки кормим.

– И доктор бывает?

– Нет, сударь, мы обходимся своими средствами... Которым недужится – годов много... Вот этой девятый десяток идет и давненько уж как пошел.

На койке сидела согнувшись старуха в белом платке и темно-синем сарафане.

Теркин поражен был остатками красоты ее совсем желтого, точно костяного лица. Только одни глаза с сильными впадинами и жили в этой мумии. Она взглянула на него молча и долго не отводила взгляда... Ему стало даже жутко.

– И еще здорова?

– Какое уж здоровье... Да у ней ничего и не узнаешь... Молчит по целым дням...

Когда он прощался с попечительшей, появились две бабы – сиделка и стряпуха. Они глядели на него скорее приветливо, обе толстые, с красными лицами.

– Вот и вся моя команда, сударь! – указала на них попечительша.

– Женское царство!

– Так точно.

Попечительша усмехнулась и почтительно проводила его на двор, где и поклонилась низким, истовым поклоном.

Ничего «особенного» не вышло из этого посещения модельни. В себе он никогда не знал вражды или гадливого чув-

ства к раскольникам. Все у них было, как и быть следует в молитвенном доме, довольно благообразно. Но ни к их начальникам и уставщикам, ни к толпе простых раскольников не тянуло. Не менять же веры? И ничего у них не найдешь, кроме обрядов да всяких запретов. А там копни самую суть – и окажутся они такими же «сухарниками», как то согласие, в которое обратилась мать Серафимы... Либо беглый поправасстрига сидит у них где-нибудь в подклети, пока наставники и уставщики служат на глазах у начальства.

Никакого душевного интереса не нашел он в себе и на квартире «миссионера», на вид шустрого мещанина, откуда-то из-за Волги, состоящего на жалованье у местного православного братства, из бывших раскольников поморской секты.

Теркин почему-то усомнился в его искренности и не стал много спрашивать про его борьбу с расколом, хотя миссионер говорил о себе очень серьезным тоном и дал понять сразу, что только им одним и держится это дело «в округе», как он выражался.

Ни законная святыня, ни терпимая только раскольничья не захватывали. Нет, не находил он в себе простой мужицкой веры, но доволен был тем, что в Кладенце, в эти двое суток, улеглось в нем неприязненное чувство к здешнему крестьянскому миру... Он даже обрадовался, когда его хозяин, Мохов, предложил ему потолковать об их общественных делах с двумя-тремя его сторонниками, из самых «почтенных» обы-

вателей. Их пригласили к вечернему чаю; хозяин был вдовый и бездетный, вел теперь большую торговлю мясом, коровьим и постным маслом.

Теркин сам просил его не церемониться и соснуть, по привычке, часок-другой. Вообще хозяин ему понравился и даже тронул его теплой памятью о своем «однообщественнике» — Иване Прокофьиче.

## XXXVII

За чаем, в одной из парадных комнат, сидели они впятером. Хозяин, на вид лавочник, черноватый моложавый человек лет за пятьдесят, одетый «по— немецки», с рябинами на смуглом лице, собранном в комочек, очень юркий и ласковый в разговоре. Остальные больше смотрели разжившимися крестьянами, в чуйках и высоких сапогах. Один из них, по фамилии Меньшуткин, был еще молодой малый. Двое других прозывались Шараев и Дубышкин.

Мохов уже ознакомил своего гостя и постояльца с положением их «общественных делов». Все они ругали бывшего старшину Малмыжского, которому удалось поставить себе в преемники своего подручного, такого же «выжигу» и «мошейника», и через него он по-прежнему мутит на сходах и, разжившись теперь достаточно, продолжает представлять из себя «отца— благодетеля» кладенецкой «гольтепы», спаивает ее, когда нужно, якобы стоит за ее нужды, а на самом деле

только обдирает, как самый злостный паук, и науськивает на тех, кто уже больше пятнадцати лет желает перейти на городское положение.

Все эти разоблачения перенесли гостя к тому времени, когда, бывало, покойный Иван Прокофьевич весь раскраснеется и с пылающими глазами то вскочит с места, то опять сядет, руками воздух режет и говорит, говорит... Конца его речам нет...

И все его речи вертелись около этих самых «общественных делов». И тогда, и теперь его «вороги» держали сходы в своих плутовских лапах, спаивали «голытьбу», морочили ее, подделывали фальшивые подписи на протоколах сходок, ябедничали начальству; таких лиц, как он, выставляли «смутьянами» и добивались приговоров о высылке на поселение.

– Почему же вы не отделитесь от них? – спросил Теркин, когда достаточно наслушался обличений и доводов хозяина. Остальные трое только поддакивали ему.

– Сколько раз пробовали! – воскликнул Мохов и потрянул своими курчавыми волосами.

– Мало ли хлопотали! – отозвался еще кто-то.

– И что же?

– Не дают ходу. Начальство, и здешнее, и губернское, на стороне наших врагов.

– Однако какие же причины приводят?

– Видите ли, обеднеет крестьянство. Опять же здесь, как вы изволите знать, два общества... Одно-то и подается. То

дальше, вон где двор Ивана Прокофьяча стоял... А другое – графская вотчина, где базарная площадь и все ряды. Тут самая драная грамота. Лавки еще у графского эконома выкуплены были, акты совершались, и потом, при написании уставной грамоты, все это было утверждено. Теперь же гольтепа и ее совратители гнут на то, чтобы заново с нас же содрать выкуп... Платить, видите ли, им же надо, сельскому обществу, вдругорядь... Коли мы-де на городское положение сядем, тогда что же нам с вас содрать? Вы-ста городскую управу учредите и нами командовать будете. Откупайтесь, коли хотите, заново капитал нам положите общественный и живите себе.

– По-моему, – заметил Теркин, – вам так бы было удобнее.

– Что вы? Василий Иваныч! Батюшка! – воскликнул хозяин и вскочил с места. – Да вы нешто не знаете здешних разбойников? Примерно, мы все, торговцы, согласимся и откупимся... Они нас доедут всячески! Первым делом мы все-таки на городское положение не сядем. Для этого надо общий приговор с узаконенным числом голосов. Нам останется одно: приписаться к мещанству и к гильдии. Так некоторые и сделали. А ежели мы все, торгующие в рядах и на площади, сообща откупимся, мы к ним в кабалу попадем... Примеры-то бывали. Они нас воды лишат.

– Как воды лишат? – спросил Теркин.

– Очень просто, Василий Иваныч. Отрежут ход от реки. Такие примеры бывали!.. Караулить будут... Не пущать к ре-

ке.

– И доведут до точки!

– Беспременно!

– Да позвольте, господа, – заговорил Теркин, – может, и в самом деле здешнему бедному люду придется еще хуже, когда Кладенец будет городом?.. Ведь я, хоть и давно на родине не бывал, однако помню кое– что. Кто не торговец, тоже пробавляется кустарным промыслом. Есть у вас и сундучники, посуду делают, пряники, шкатулочники прежде водились.

– Ну так что же? – уж с большим задором возразил Мохов. – Какое же здесь крестьянство, скажите на милость? Окромья усадебной земли, что же есть? Оброчных две статьи, землицы малая толика, в аренду сдана, никто из гольтепы ее не займет... Есть еще каменоломня... Тоже в застое. Будь здесь городское хозяйство, одна эта статья дала бы столько, что покрыла бы все поборы с мелких обывателей... А теперь доход-то весь плёвый, да половину его уворуют... Так-то-с!

Мохов опять вскочил.

– Как же вам быть в таком случае, господа?

На вопрос Теркина все они переглянулись с хозяином.

– Куражу не терять, Василий Иванович, – ответил за всех хозяин, – куражу не терять... Вот если бы в губернии у нас было побольше доброжелателей... Вы наш коренной, кладенецкий... Нам и лестно освоить вас с нашими делами. У вас там по пароходству и по другим оборотам должно быть знакомство обширное. Еще бы лучше, если б вы здесь оседлость



приобрели, хоть для видимости.

– Опять к обществу приписаться? – перебил Теркин. – Слуга покорный! Вы сами говорите, какая это сласть!

– Зачем приписываться? – возразил хозяин. Вам довольно огадили наши порядки. И за родителя приемного вы достаточно обижены... Но у вас звание почетного гражданина... Можно домик выстроить, хоть поблизости пароходных пристаней, там продаются участки, или в долгосрочную аренду на тридцать лет. А между прочим, вы бы нам всякое указание. Нам супротив вас где же? Учились вы в гимназии. И в гору пошли по причине своей умственности. Наше село должно гордиться вами.

– Известное дело! – поддакнул кто-то.

– Знаете, Василий Иванович, капля-то камень точит. Мы надемся к новым выборам теперешнего разбойника старшину спихнуть и своего человека поставить.

От чая и от разговора лица у всех покраснели, глаза мысленно обращались к Теркину. Он видел, куда клонился разговор, и будь это еще год назад – ему приятно бы было хоть чем-нибудь выместить партии Малмыжского и его клеветов. Но теперь он не чувствовал никакого злорадного настроения, и это не удивляло его, а скорее как бы радовало. Ему сдавалось, что перед ним сидят, быть может, недурные, трезвые, толковые мужики, нажившие достаток, только они гнут в свою сторону, без всякой, по-видимому, заботы о том, как-то придется «гольтепе», какова бы она ни была.

– Скажите мне, Никандр Саввич, – спросил он вдруг, уклоняясь от главного предмета беседы, – что же случилось с ссудосберегательным товариществом?.. В одном из ваших сельских обществ?.. Или оно для обоих действовало?

Мохов махнул рукой, и остальные молча усмехнулись.

– Смеху подобно!.. Малмыжский его и убил... с другими воровал... И сух из воды вышел. От всего этого товарищества звания не осталось.

– А кто его устраивал... как бишь? – Теркин оглянул их, точно ища фамилии.

– Аршаулов, что ли?

– Да, Аршаулов.

– Пропадает он из-за этих же подлецов. Теперь здесь, в Кладенце, в бедности, слышно, чуть жив, под строгим надзором. Всякий его сторонится... из прежних-то благоприятелей. С нами он знакомства никогда не водил, чурался.

– Почему же? – оживленнее спросил Теркин.

– Уж не знаю, как вам сказать... считает нас, быть может, кулаками и мироедами... Мы еще в те поры ему с Иваном Прокофьичем говорили: «ничего-то из вашего товарищества не выйдет путевого, коли вы Малмыжского с его клеветами думаете допустить до этого самого дела»... Так оно и вышло!

Остальные трое только покачали головами и ничего не прибавили от себя.

Теркин вдруг подумал: почему приемный его отец именно с этими кладенецкими обывателями держался в едино-

мыслии? Мальчиком он смотрел на все, чем жил Иван Прокофьич, его же глазами. Он верил, что отец всегда прав и его вороги – шайка мошенников и развратителей той гольтыбы, о которой столько он наслышан, да и знал ее довольно; помнил дни буйных сходов, пьянства, озорства, драк, чуть не побоев, достававшихся тем, кто не хотел тянуть в их сторону. До сих пор помнит он содержание обширной записки, составленной Иваном Прокофьичем, где говорилось всего сильнее о разращении кладенецкого люда всякими средствами. И количество тайных шинков помнил он: что-то пятьдесят или семьдесят пять.

Но вся эта кладенецкая «драная грамота», как выразился Мохов, представилась ему не совсем такою, как прежде. Личное чувство к бывшему старшине Малмыжскому и его «клеветам» улеглось, и гораздо более, чем он сам ожидал. Ему хотелось теперь одного: отыскать Аршаулова, принять в нем участие, заглянуть в этого человека, согреть себя задушевной беседой с ним.

Еще долго посвящал его Мохов в междуусобия Кладенца; заговорили и трое его гостей, точно им что-то сразу развязало язык, хотя выпивки не было. Теркин слушал молча и все дальше и дальше чувствовал себя от этих единомышленников его приемного отца.

Под конец у него вырвались такие слова:

– Мудреное дело решить, кто прав, кто виноват, даже и здешнему обывателю; а я теперь – человек со стороны.

– Вам следует поддержать нас, Василий Иванович... В первую голову! – крикнул хозяин и пригласил к закуске.

### XXXVIII

Опять очутился он на том самом месте вала, где на него нашли думы о судьбах Кладенца, перед посещением монастыря. Поднялся он рано, когда его хозяин еще спал, и долго бродил по селу, дожидаясь часа идти искать домик вдовы почтмейстера Аршаулова. Может быть, сын ее уже приехал из губернского города.

Стояло такое же солнечное и теплое утро, как и тогда... Он сел под одну из сосен вала и смотрел вдаль, на загиб реки и волнистое нагорное побережье. Как-то особенно, почти болезненно влекло его к знакомству с Аршауловым.

Ничего подобного он еще не испытывал прежде. У него бывали встречи с такими же радетелями о меньшей братии. Те, кто из них впал в преувеличенное поклонение мужику и его доблести, вызывали в нем всегда протест. Он стоял на том, что перед деревенскими порядками нечего «млеть» и «таять», и дальше того, что ему случилось высказать прошлым летом в разговоре с Борисом Петровичем на пароходе «Бирюч», он не шел. Пример Аршаулова, его жалкая судьба – служили ему только лишним доводом против народников. Приемный отец его никогда дурно не говорил об Аршаулове, не подозревал его в намерении поживиться чем-нибудь.

Но он повторял, что эти господа не тем заняты, чем бы следовало, что им легко «очки втирать», на словах распинаться перед ними за крестьянский мир, а на деле стричь его как стадо баранов.

Его влекло к Аршаулову не за тем, чтобы подкрепить в себе такие доводы. В нем назрела жажда исповеди вот такому именно человеку и потребность сделать для него что может. Между святой девушкой, ушедшей от него в могилу, и этим горюном была для него связь, хотя, быть может, он и не найдет в нем ее веры. Не за этим он идет к нему, а просто за добром... Родное село ему больше, чем поездка к Троице. Нет уже того рва, который он сам вырыл между собою и крестьянством. Услыхать от Аршаулова ждал он сочувственного слова личности и общественному поведению Ивана Прокофьяча.

Что ж делать! Не заставишь себя верить ни по-мужицки, ни по-барски, ни с детской простотой, ни с мрачным мистицизмом, все равно как не заставишь себя любить женщину. Это придет или не придет. Он ищет примирения с совестью, а не тупого отрешения от жизни, с ее радостями и жаждой деятельного добра.

Когда Теркин снялся с своего места, было уже около девяти часов. Он мог бы завернуть к отцу настоятелю, но оставил это до отъезда... Тут только подумал он о своих делах. Больше десяти дней жил он вне всяких деловых помыслов. На низу, в Астрахани, ему следовало быть в первых числах

сентября, да и в Нижнем осталось кое-что неулаженным, а ярмарка уже доживала самые последние дни.

Это его не тревожило. Впервые так искренно находил он, что жадничать нечего, что все пойдет своим порядком. Барыши – без идеи, для одного себя – не привлекали его. Не в год, так в два или в три у него не будет долга, и на новый риск он не пойдет. Останется долг душевный – в своих собственных глазах надо покрыть свою первую «передержку». Калерия простила его, но он сам до сих пор не простил себя, хоть и расплатился с Серафимой. Надо еще раз выплатить эту сумму каким-нибудь хорошим деянием. Каким? И об этом он будет говорить с Аршауловым.

Дошел он до почтовой конторы. У станowego он расспросил, как отыскать домик вдовы почтмейстерши, и соображал теперь, в какой переулок повернуть.

Домик стоял на углу, у подъема к тому урочищу, что зовется Баскачихой, про которую упоминал отец настоятель, когда вел с ним беседу о кладенецкой старине. Совсем почернел он; был когда-то выкрашен, только еще на ставнях сохранились следы зеленой краски; смотрел все-таки не избой, а обывательским домом.

В калитку Теркин вошел осторожно. Она не была заперта. Двор открытый, тесный. Доска вела к крылечку, обшитому тесом. И на крылечке дверь подалась, когда он взялся за ручку, и попал в крошечную переднюю, куда из зальца, справа, дверь стояла отворенной на одну половинку.

– Кого вам? – раздался слабый женский голос с заметным шамканьем.

Его окликнули из глубины, должно быть, из кухни или из каморки, выходявшей окнами на двор.

– Господин Аршаулов у себя? – спросил он громко.

Послышались шлепающие шаги, и к Теркину вышла старушка, очень бедно, не по-крестьянски одетая, видом няня, без чепца, с седыми как лунь волосами, завернутыми в косичку на маковке, маленького роста, сгорбленная, опрятная. Старый клетчатый платок накинут был на ситцевый капот. – Господин Аршаулов? – переспросил Теркин. – Здесь, если не ошибаюсь?

Старушка снизу вверх оглядела его слезливыми слабыми глазами, откинула голову немного на левое плечо и выговорила, помедлив:

– Живет он здесь... Только в отъезде.

– Когда же будет назад?

– Да, право, не могу вам наверно сказать.

Она, видимо, не доверяла ему.

– Вы – матушка его? – особенно ласково спросил Теркин.

– Да-с.

– Как по имени-отчеству?

– Марья Евграфовна.

– Вы позволите, Марья Евграфовна, на минуточку войти к вам?.. Видите ли, я здесь проездом, и мне чрезвычайно хотелось бы повидать вашего сына.

– Милости прошу.

Говор у старушки был немного чопорный: она, вероятно, родилась в семье чиновника или мелкопоместного дворянина.

Зальце в три окна служило и спальней, и рабочей комнатой сыну: облезлый ломберный стол с книгами, клеенчатый убогий диван, где он и спал, картинки на стенах и два-три горшка с цветами, – все очень бедное и старенькое. Краска пола облупилась. Окурки папирос виднелись повсюду. Окна были заперты. Пахло жилой комнатой больного.

– Милости прошу! – повторила старушка и указала гостю на кушетку.

Теркин ожидал еще большей бедности; но все-таки ему бросился в глаза контраст между этой обстановкой и хоромами Никандра Саввича Мохова, отделанными с разными купеческими затеями.

– Марья Евграфовна, – начал Теркин, чувствуя волнение, – пожалуйста, вы не примите меня за какое–нибудь официальное лицо.

– Вы из господ здешних помещиков?

– Какое! Я родился в Кладенце, в крестьянском доме воспитан. И супруга вашего прекрасно помню. И сынка видал. Моим приемным отцом был Иван Прокофьич Теркин... Не изволите припомнить?

– Слыхала, слыхала.

– Которого по приговору схода благоприятели его в Си-



бирь сослали, якобы за смутьянство.

– Теперь вспомнила, Миша мне говаривал.

– Сынок ваш? Его Михаилом зовут... а по батюшке как?

– Терентьич, батюшка.

Глаза старушки изменили выражение, и в складке бледных губ еще крепкого рта явилось выражение горечи.

– Так вот, Марья Евграфовна, кто я. Про судьбу Михаила Терентьича я достаточно наслышан. Знаю, через какие испытания он прошел и какие ему пришлось видеть плоды своего радения на пользу здешнего крестьянского люда. Узнал, что он теперь водворен на родину, и не хотел уезжать из Кладенца, не побывав у него.

Он придвинулся к старушке и протянул ей руку.

На глазах ее были слезы, которые она, однако, сдерживала.

– Миша мой – мученик!.. Столько принял всяких напастей... И за что?.. Сколько я сама вымаливала... Прислали вот сюда умирать...

– Здоровье его действительно плохо?

– И-и!

Она отвернула лицо, не желая показывать слез.

– Прошу вас, Марья Евграфовна, – начал Теркин, взволнованный еще сильнее, – будьте со мной по душе... Я бы хотел знать положение ваше и Михаила Терентьича.

– Сами видите, батюшка, как живем. Пенсии я не выхлопотала от начальства. Хорошо еще, что в земской управе нашлись добрые люди... Получаю вспомоществование. Земли-

да была у меня... давно продана. Миша без усталости работает, пишет... себя в гроб вколачивает. По статистике составляет тоже ведомости... Кое-когда перепадет самая малость... Вот теперь в губернии хлопочет... на частную службу не примут ли. Ежели и примут, он там года не проживет... Один день бродит, неделю лежит да стонет.

Никаких униженных просьб не услышал он от нее. Это его еще более тронуло.

– Сегодня ждете Михаила Терентьича?

– Вам кто сказывал?

– Становой. – То-то, мор... Становой с Мишей еще похристиански обращается... Такие ли бывают... Ежели к обеде не прибежит на пароходе – значит, поздно, часам к девяти.

– Так, по-вашему, Марья Евграфовна, лучше ему здесь быть, при вас, даже если он и добьется какой-нибудь постоянной работы в губернии? – Он не выдержал и быстро прибавил: – Заработок можно достать, даже коли не позволят в другом месте жить... И здесь поддержим!

В каких он делах, Теркин не сказал ей: это показалось бы хвастовством; но через полчаса разговора старушка, прощаясь с ним, заплакала и прошептала:

– Умереть-то бы ему хоть на моих руках, голубчику!

– А может, и вылечим, Марья Евграфовна!.. На кумыс будущим летом схлопочем!

Он обещал ей заехать после обеда и, если сын ее не при-

едет с первым парходом, отправиться самому вечером на пристань и доставить его в долгуше.

Когда он на пороге крылечка еще раз протягивал ей руку, во взгляде ее точно промелькнул страх: «не приходил ли он выпытывать у нее о сыне?»

Это его не обидело. Разве он не мог быть «соглядатай» или просто бахвал, разыгрывающий роль благодетеля?

### XXXIX

На ломберном столе ютилась низенькая лампочка, издавая запах керосина. Комната стояла в полутьме. Но Теркину, сидевшему рядом с Аршауловым на кушетке, лицо хозяина было отчетливо видно. Глаза вспыхивали во впадинах, впалые щеки заострились на скулах, волосы сильно седели и на неправильном черепе и в длинной бороде. Он смотрел старообразно и весь горбился под пледом, надетым на рабочую блузу.

Теркин слушал его уже около часа, не перебивая. Теперь он знал, через что прошел этот народник. Аршаулов рассказывал ему, покашливая и много куря, про свои мытарства, точно речь шла о постороннем, просто, почти простовато, без пришибленности и без всякой горечи, как о «незадаче», которая по нынешним временам могла со всяким случиться. В первые минуты это показалось Теркину не совсем искренним; четверти часа не прошло, как он уже не чуял в тоне Ар-

шаулова никакой маскировки.

– Да, Василий Иваныч, только вот здесь летом, как пошли жаркие дни, стал я лучше слышать на правое ухо. Левое, кажется, окончательно погибло.

– И вы оглохли от сиденья?

– Ни от чего другого! Приобрел это вместе с цингой, опухолью ног и катаром бронхов. Но это все ничего в сравнении с молчанием и одурью сиденья месяцами и годами.

– Годами! – вырвалось у Теркина.

– Я высидел в одном номере два года, девять месяцев и четырнадцать дней.

– И неужели никаких возможностей сообщения с товарищами по заключению?

– Без этого бы и с ума сойти можно!

Аршаулов откашлялся звуком чахоточного, коротким и сухим, закурил новую папиросу и так же спокойно, не спеша, добродушными нотами, вспоминал, как долго учился он азбуке арестантов, посредством стуков, и сколько бесед вел он таким способом со своими невидимыми соседями, узнавал, кто они, давно ли сидят, за что посажены, чего ждут, на что надеются. Были и мужчины и женщины. От некоторых выслушивал он целые исповеди.

Никто еще не вводил Теркина так образно в этот мир неведомой, потаенной жизни. Он не мог все-таки не изумляться, как сумел Аршаулов сохранить – больной, нищий, без прав, без свободы выбора занятий и без возможности вы-

носить усиленную работу – такое отношение к своей судьбе и к тому народу, из-за которого он погибал.

– Не я один, – говорил ему Аршаулов, не меняя тона. – Попадались, как и я же, из-за какой-нибудь ничтожной записки или старого конверта, визитной карточки. Мало ли с кем случалось встречаться и переписываться!.. Я, лично, против грубого насилия; но на иной взгляд и я – такой же разрушитель!.. Иначе и не могло быть!

– И всем этим вы обязаны кладенецким мужичкам? – глухо сказал Теркин.

– Нет, я с таким толкованием не согласен, Василий Иванович!..

Аршаулов встал и, кутаясь в плед, тихо заходил по комнате.

– Доноса от крестьян на меня не было, я в это не верю... Было усердие со стороны местного начальства и, быть может, кое-кого из той партии, которая товариществу, устроенному мною, не сочувствовала и гнула на городское положение.

Теркина точно что ужалило. Он тоже поднялся, подошел к Аршаулову и взял его за свободный край пледа.

– Для меня это чувствительно, Михаил Терентьевич! Я хотел от вас именно выслушать душевное слово, в память моего приемного отца Ивана Прокофьевича. А вы говорите про тех, кто его поддерживал, как про предателей и доносчиков. Как же это?

Толос Теркина вздрагивал.

– Позвольте, позвольте, Василий Иванович. – Аршаулов прикоснулся к его руке горячей ладонью и подвел опять к кушетке. – Чувство ваше понимаю и высоко ценю... На покойного отца вашего смотрел я всегда как на богато одаренную натуру... с высокими запросами. Но мы с ним не могли столкнуться, и он, не замечая того, шел прямо вразрез с интересами здешних бедняков.

– Однако?..

– Выслушайте меня.

Долго и все так же кротко говорил Аршаулов, даже кашель не прерывал его речи, и перед Теркиным вставала совсем иная картина кладенецких усобиц. Он начал распознавать коренную ошибку Ивана Прокофьяча, не захотевшего смирить себя перед насущными нуждами и мирскими инстинктами «гольтепы», слишком горячо чувствовал личные обиды, неблагодарность за свои услуги в пору борьбы с крепостным правом, увлекался мечтами о городском благоустройстве и стал сторонником скупщиков, метивших в купцы, разорвал связь с мужицкой общиной.

– Но ведь его враги, – возражал он, – старшина Малмыжский и его подручные, были заведомые прощелыги и воры, совратители схода?..

– Я их и не выгораживаю, Василий Иванович. И каковы бы они ни были, все-таки ими держалось общинное начало. – Аршаулов взял его за руку. – Войдите сюда. Не говорит ли в вас горечь давней обиды... за отца и, быть может, за себя

самого? Я вашу историю знаю, Василий Иванович... Вам здесь нанесли тяжкое оскорбление... Вы имели повод возненавидеть то сословие, в котором родились. Но что такое наши личные обиды рядом с исконным долгом нашим? Мы все, сколько нас ни есть, в неоплатном долгу перед той же самой гольтепой!..

Теркин молчал, но ему хотелось сказать: «Это идолопоклонство! Народ – темная, слепая сила, и надо ею править, а не становиться перед ней на колени!»

Он дал Аршаулову высказаться.

И в этом человеке увидел он под конец не изуверство какой-нибудь книжной проповеди, а глубину чистой, ничем не подмешанной преданности народу, жалость к нему, желание поднять его всячески, делиться с ним знанием, идеями, трудом, сердечной лаской.

– Что ж из того, – доносился до него чахоточный голос Аршаулова, согретый тихим одушевлением, – что ж из того, Василий Иванович, что здесь облюбленное мною дело лопнуло, и я сам искалечен тюрьмой и ссылкой?.. Это – не аргумент. Да, в здешнем народе не нашлось того, что нужно для стойкого ведения всякого товарищества... Лень, водка, бедность, плутоватость, кумовство... все это есть, и я, по крайней молодости своей в ту пору, много недоглядел. Но в нем, в его коренных свойствах – задатки высшего общественного строя... Он способен на выдержку и работу сообща. Я не славянофил... и нынешнего патриотического самохвальства

не жалею; однако такова и моя вера!

– Кто же поддерживает вас... в настоящую минуту?... Все оставили?... Испугались?..

– Испугались – это точно. Да как же вы хотите, чтобы было иначе?... Страх, умственный мрак, вековая тягота – вот его школа!.. Потому-то все мы, у кого есть свет, и не должны знать никакого страха и продолжать свое дело... что бы нам ни посылая судьба.

Тут только он откашлялся и перевел дыхание. Глаза разгорелись. Он выпрямился, и его неправильное лицо стало красивее.

Теркин сидел с опущенной головой, и в руке его тлела закуренная папироса. Он нашел бы доводы против того, чем закончил Аршаулов, но ему захотелось слиться с пламенным желанием этого бедняги, в котором он видел гораздо больше душевного равновесия, чем в себе.

– Так-то так, – выговорил он, – но с народом, Михаил Терентьич, надо быть одного закона... верить, во что он сам верит... Нешто это легко?

– Вы о какой вере?

– Какую он сам имеет. Да вдобавок, здесь, в Кладенце, друг против друга стоят – законная церковь и раскол. Надо к чему-нибудь пристать. А насильно не заставишь себя верить.

– И не надо, – упавшим голосом, но с той же убежденностью сказал Аршаулов. – Народ терпимее по натуре, чем мы. Сектантство – только форма протеста или проблеск умствен-



ной жажды. В душу вашу он инквизиторски не залезает.

– Однако есть с вами из одной чашки не будет. Да и не о расколе я говорю. О том, что мужицкой веры не добудешь, если б и хотел. Не знаю, как вы...

– Никогда я не находил препятствия в моих убеждениях, чтобы приблизиться к народу. И здесь это еще легче, чем где-нибудь. Он молебен служит Фролу и Лавру и ведет каурого своего кропить водой, а я не пойду и скажу ему: извини, милый, я – не церковный... Это он услышит и от всякого беспоповца... В общем деле они могут стоять бок о бок и поступать по-божески, как это всякий по-своему понимает.

– Хорошо бы так-то! – вырвалось у Теркина.

– И так будет, Василий Иваныч, так должно быть. У всех, кто жалеет о народе, одна вера, и она божественного происхождения, один закон, – правды и человечности.

Из передней дверь скрипнула. Показалась голова матери Аршаулова.

– Миша! Не угодно ли им чайку? Самовар давно стоит... Ко мне пожалуйте. Или в ту вон комнату.

– Ах, маменька!.. Погодите!.. Такой у нас разговор...

– Шибко-то говорить ему вредно, – старушка обратилась к гостю, – а он не может удержаться.

– Ничего! Я ведь не напрягаюсь. Лучше сюда принесите нам. Василий Иваныч не взыщет.

Теркин тоже подосадовал на старушку за перерыв их беседы. У него было еще многое на сердце, с чем он стремил-

ся к Аршаулову. Сегодня он с ним и простится и не уйдет от него с пустыми руками... И утомлять его он боялся, хотя ему вид Аршаулова не показался уже таким безнадежным. Явилась надежда вылечить его, поселить на юге, обеспечить работой по душе.

## XL

«Пора уходить», – спохватился гость, взглянув украдкой на часы. Аршаулов начал заметно слабеть; попросил даже позволения прилечь на кушетке. Голова старушки уже раза два показывалась в полуотворенную дверь.

Поговорили они порядком и о теперешнем его положении. Он не жаловался. В губернском городе ему обещали постоянную работу по статистике, не требующую ни особенной спешности, ни частых разъездов. В город его не тянуло, хоть там он и нашел бы целый кружок таких же «подневольных обывателей», как и он сам.

– Матушка все боялась, что я соблазнюсь, буду туда проситься на житье... Нет!.. Климат там такой же... Еще похуже будет. А главное, здесь я окружен моей стихией. Здесь и умру.

Теркин искренно и почти стыдливо высказал готовность поддержать его чем может, предложил доставить ему у себя место на низовьях Волги, где все-таки не так сурово, если только начальство согласится пустить его туда. Аршаулов

выслушал, дотронулся до его плеча и покачал головой.

– Спасибо, Василий Иванович, я по вашему делу не гожусь.

Видите, каково мое здоровье.

Дальше речь об этом не пошла.

– Вы на меня смотрите как на буржуя, – торопливо заговорил Теркин, взволнованный и смущенный. – Так ведь называют нашего брата – практика?..

Он не мог уйти от Аршаулова без исповеди.

– Вы человек из народа, – резко ответил тот, – и останьтесь им, насколько возможно.

– Насколько возможно! – повторил Теркин и махнул рукой. – На распутье я стоял, Михаил Терентьевич, два человека во мне войну вели, и тот, которого к вам влечет, пришел за духовной помощью второму, хищному.

Без всяких оговорок и смятенья, порывисто, со слезами в голосе, он раскрыл ему свою душу, рассказал про все – сделку с совестью, связь с чужой женой, разрыв, встречу с чудной девушкой и ее смерть, про поворот к простой мужицкой вере и бессилие свое найти ее, про то чувство, с каким приехал в Кладенец.

– Не хочу я, не хочу я жить без веры... – повторял он, размягченный своей исповедью. – А верить не могу как простец: хоть и мало я учился, все-таки книжка взяла свое. Другой, внутренний закон мне нужен, вот такой, какой в вас сидит, Михаил Терентьевич. И тут загвоздка! К народу долго мстительность имел... Теперь только здесь стало в меня прими-

рение проникать. В мужика, в землепашца, в кустаря я не обращаюсь... Не то чтобы не пускала одна утроба, избалованность, жадность к дорогому и сладкому житью, а за свое человеческое достоинство дрожу, не хочу потерять хоть подобие гражданских прав... чтобы тебя пороли в волости как скотину. С этого меня никто не сдвинет... Я должен хозяйствовать и в гору идти – такова моя доля; и что я из своего добра сделаю, как я свои стяжания соглашу с жалостью к народу, с служением правде – не знаю!.. Взыскую этого, Михаил Терентьич, всем моим нутром взыскую!..

Он закрыл лицо руками и смолк, весь потрясенный.

– Не забывайте, – проникал в него чуть слышно голос Аршаулова, закинувшего голову на валик кушетки, – не забывайте крестьянства; оно приняло и выходило вас и бросило в душу зерно мирской правды... Ведь Иван-то Прокофьич, хоть он и ошибался в средствах, цель имел одну: стоять за правду со своими однообщественниками. И его пример заразителен; оттого только, что он водился с богатеями, с скупщиками, он потерял чутье настоящего мужицкого блага, добивался таких порядков, где можно будет властвовать безусловно, менял по доброй воле деревню на город. Но он был прикован к своему месту, зарвался; по природе своей человек он был слишком пылкий и даже славолюбивый. Ему уже нельзя было очистить свое понимание от всех этих примесей. Вы молоды, свободны, ищите правого пути, видите насквозь все, что творится на Руси хищного и бесстыжего. Хо-

зьяйствуйте, заручайтесь силой, только помните, кто вас кормил, перед кем вы в долгу. И найдете свой закон, свою веру!

– Нёшто это мыслимо, чтобы не завязить хоть одной ноги в неправде? – глухо вырвалось у Теркина.

– А нельзя, так вернитесь сюда... сбросьте с себя все и станьте на сторону кладенецкой гольтепы, искупите все вольные и невольные грехи вашего отца против крестьянского мира.

– И кончите тем, что вас, как смутьяна и бунтовщика, сначала выдерут раз пятьдесят, потом сошлют туда же, откуда Иван Прокофьич вернулся полуживой!..

– Быть может, – чуть слышно вымолвил Аршаулов.

За стеной деревянные часы пробили десять.

На самом юру, по ту сторону торговой улицы, ближе к месту, где пристают пароходы, усталый присел Теркин. Он пошел от Аршаулова бродить по селу. Спать он не мог и не хотел попадать к часу ужина своего хозяина. Мохова.

Ночь звездная, мягкая для первых чисел сентября, с отблеском новой луны в реке, веяла ему в лицо горной прохладой. Он сидел на скамейке, которую помнил еще с раннего детства... Тут на Святой и Фоминой парни и девки собираются гулять и есть лакомства.

Слева, вниз по реке, издалека показались цветные точки фонарей парохода, и шум колес уже доносился до него; потом и хвост искр из трубы потянулся по пологу ночи.

Это мог быть и «Батрак», если его ничто не задержало ни в Нижнем, ни в Лыскове. Разглядеть было трудно, даже какого цвета пароход.

Будь это и «Батрак», он не пойдет на пристань. Там и до сих пор вряд ли знают, что один из пайщиков товарищества проживает в Кладенце.

Судьба, видно, неспроста привела его сюда, после исповеди Аршаулову. На этой реке он родился, на ней вышел в люди, на нее спустил свой собственный пароход. Вся его жизнь пройдет на ней. Он другого и не желает. И ежели той же судьбе угодно дать ему силы— мощи послужить этой реке, как он всегда мечтал, разве не скажет ему спасибо каждый забитый мужичонко, на протяжении всего Поволжья? Ну-тко!

Он не стал уноситься вдаль. Ему хотелось сохранить в себе настроение, с каким он оставил домик Аршаулова. Пароход вдруг напомнил ему его разговор с писателем, Борисом Петровичем, когда в нем впервые зажглась жажда исповеди, и капитан Кузьмичев своим зовом пить чай не дал ему высказаться.

Борис Петрович и Аршаулов – родные братья по духу, по своей любви к народу... Только тот служит ему большим талантом, а этот горюн испортил в лоск свою жизнь и ничего не сделал даже для одного Кладенца.

Что за нужда! Он счастлив, душа у него младенчески чиста, никакого разлада с самим собой; на ладан дышит, а ни одной горькой ноты!.. Разве не завидно?

И вспомнилась ему та фраза, которую он в разговоре с Борисом Петровичем привел из присловий московского патриота: «так русская печь печет!»

Чудно печет она, и никакому иностранцу не разобрать, что делается в душе русского человека.

Ритмический шум близившегося парохода все крепчал... Протянулся и звук свистка, гулкий, немножко зловещий, такой же длинный, как и столп искр от трубы.

«Не „Батрак“ ли?» – спросил себя еще раз Теркин. Звук показался ему очень знакомым... Он не стал разглядывать очертаний парохода.

На пристани замигали фонари, и окошко конторы выделялось светлым четырехугольником.

Завтра он убежит отсюда вниз по реке на каком придется пароходе.

Куда? Где у него дом?.. Все разлетелось прахом... В каких-нибудь две недели. Он начал считать на пальцах дни с приезда на дачу около посада, и не выходило полного месяца; а со смерти Калерии – всего двенадцать дней: три на дорогу в Москву, два в Москве и у Троицы, три на поездку в Кладенец, да здесь он четвертый день.

И опять он бобыль: ни жены, ни подруги!.. Там, пониже Казани, томится красавица, полная страсти, всю себя отдала ему, из-за любви пошла на душегубство... Напиши он ей слово, пусти телеграмму – она прилетит сию минуту. Ведь кровь заговорит же в нем, потянет снова к женской прелести,

будет искать отклика душа и нарвется на потаскушку, уйдет в постыдную страсть, кончит таким падением, до какого никогда не дошел бы с Серафимой.

В ушах его зазвучали кроткие слова Калерии, ее просьба простить Серафиму, вести ее к алтарю...

Нет!.. Между ним и Серафимой легла могила этой девушки, выела и влечение к женщине, и жалость. Не найти ему в браке с бывшей любовницей ничего, кроме «распуты».

Тщета всякого счастья и всякого стяжания пронизала его вместе с образом смерти Калерии... Все бросить, превратиться в простеца, дойти до высокого юродства Михаила Терентьича Аршаулова?!

Протянулось несколько минут. Теркин все еще сидел с низко опущенной головой. Его точно разбудил новый свисток, у самой пристани.

Он встал, встряхнулся, пристально поглядел вниз на реку. Подходил «Батрак». Вон косая труба и верхняя американская рубка.

Его внезапно подхватило хозяйское чувство и понесло к своему детищу. Почти бегом стал он спускаться по горе к пристани, точно ища спасения от самого себя...



# Часть третья и последняя

## I

Раннее половодье залило низины плоского побережья Волги, вплоть до села Заводного. Нагорный берег зеленел, покрытый на несколько десятин парком, спускавшимся к реке до узкой песчаной дороги.

Парк этот разделяли глубокие балки, обросшие дубом и кленом, местами березой. Наверх шли еще влажные дорожки, вдоль обрыва и крест-накрест к площадке, где между двумя липовыми аллеями помещались качели. Остатки клумб и заросшие купы кустов выказывали очертания барского цветника, теперь запущенного.

В глубине желтел двухэтажный дом, с террасами, каменный, давно не крашенный. Верхний этаж стоял на зиму заколоченный, да и теперь – с закрытыми ставнями. Позади – вправо и влево – шли службы, обставляя обширный двор с выездом на проселочную дорогу. На горизонте синели леса.

В креслице качель сидела и покачивалась в короткой темной кофточке и клетчатой юбке, с шапочкой на голове, девушка лет восемнадцати, не очень рослая. Свежие щеки отзывались еще детством – и голубые глаза, и волнистые свет-

лые волосы, низко спадавшие на лоб. Руки и ноги свои, маленькие и также по-детски пухлые, она неторопливо приводила в движение, а пальцами рук, без перчаток, перебирала, держась ими за веревки, и раскачивала то одной, то другой ногой.

Несколько ямочек смеялись на ее личике, под самыми глазами, и посредине щек, и даже на подбородке. Глаза – широко разрезанные, прозрачные – переходили от одного предмета к другому, от дерева к траве, и дальше к скамье, стоявшей на обрыве, в полукруге низких кустов, еще туго распустивших свои почки.

Солнце начало печь – шел первый час дня.

Девушка изредка шурилась, когда повертывала голову в сторону дома, где был юг. Ее высокая грудь вдыхала в себя струи воздуха, с милым движением рта. Розовые губы ее заметно раскрывались, и рот оставался полуоткрытым несколько секунд – из него выглядывали тесно сидящие зубы, блестящие на солнце.

Гулять по парку было еще сыро. Вниз, к реке, она не решалась спускаться одна. Вот после обеда, когда ее старшая тетка ляжет отдохнуть, она пойдет к реке, если подъедет Николай Никанорыч к обеду.

Николай Никанорыч живет у них вторую неделю, во флигеле. Он – землемер. Фамилия его Первач. Такая странная фамилия! Она его спросила как-то: «что значит первач?» И он ей объяснил, что так называется какая-то мука, – пше-

ничная, кажется. Этот Первач – красив, даже очень красив – брюнет, волосы вьются, бородка клинышком и на щеках коротко подстрижена. Одевается «шикозно».

Это слово «шикозно», как и много других, она вывезла из губернского института. Давно ли был выпуск, акт и бал?.. Всего каких-нибудь три месяца с небольшим, перед масленицей. Они – в старшем классе, все носили при себе маленькие календари и отмечали крестиком каждый протянувшийся день. Приехали за ней папа и младшая тетка, Марфа Захаровна, с няней Федосеевной, нашивали платья, белья, каждый день ходили портнихи и приказчики из магазинов. Медали она не получила; только награду – похвальный лист и книги – сочинения Пушкина, с позолоченным обрезом. Она сама удивилась, что кончила с наградой. Могла бы поступить на какие-нибудь курсы, в Москве или Петербурге. Но ее совсем туда не тянуло. Лучше своего губернского города она ничего не знала. Так ее все любили, – и в институте, и в городе. Прожили они целый месяц; были пикники, вечера в клубе; три раза ее возили в театр; она видела целых три оперетки и по слуху до сих пор напевает оттуда. Нот не успела найти. Папа потом привез ее сюда, в усадьбу, где она давно не бывала. Одно лето проболела. Ее не брали на vacation. Потом ездила в Самару на кумыс. Вот с тех пор она так поправилась. Прошло все: кашель, простуды, головные боли, сердцебиение. В институте думали, что у нее будет чахотка, а теперь она – «кубышка».

Так прозвали ее подруги, особенно одна, Маша Холтиопова. Та всегда была больная, белая, точно молоком налитая, с чудной талией. Они клялись писать друг другу каждую неделю. Первые два месяца писали, потом пошло ту же.

Да и о чем писать? С тех пор как она в Заводном, день за днем мелькают – и ни за что нельзя зацепиться. Спать можно сколько хочешь, пожалуй, хоть не одеваться, как следует, не носить корсета. Гости – редки... Предводитель заезжает; но он такой противный – слюнявый и лысый – хоть и пристаёт с любезностями. Папа по делам часто уезжает в другое имение, в Кошелевку, где у него хутор; в городе тоже живет целыми неделями – Зачем? Она не знает; кажется, он нигде не служит.

Ей давно уже сдаётся – это ещё в институте было, – что папа стал с ней не так ласков, как прежде. Он ни в чём ей не отказывает и карманных денег даёт – только не на что их тратить; прежде чаще ласкал и спрашивал обо всем. Теперь – нет. И она совсем его не знает, какой он: добрый, злой, умный или глупый. Письма ему писала она, и в последний год перед выпуском – коротенькие, не умела его ни о чём выспросить – любит ли он её по-прежнему. Здесь она, когда бывает с ним наедине, чувствует себя маленькой– маленькой. Ничего у неё не выходит – никакого серьёзного разговора. Оттого, должно быть, что она ещё не вышла из малолеток.

И да, и нет. Какая же она маленькая? У неё – особенно здесь, в деревне – такие грезы по ночам. Проснется – или вся

в слезах, или с пылающими щеками – и начнет целовать подушку. Вчера видела Николая Никанорыча в его синем галстуке с золотыми крапинками.

Вот и теперь этот сон прошелся весь перед нею, и ей уже менее стыдно. Она сильно обрадуется, если он вдруг подойдет к качелям и скажет своим приятным голосом:

– Александра Ивановна, позвольте?..

И начнет качать высоко-высоко. У нее на сердце захладеет, голова сладко закружится, в шее и в груди точно что-то защекочет. Она зажмурит глаза – и плывет– плывет. Так чудесно!

Они поют вместе. Николай Никанорыч умеет ноты разбирать бойчее, чем она, хоть ее и учили в институте, и в хоре она считалась из самых лучших. И когда им нужно взять вместе двойную ноту, на которой есть задержка, она непременно поднимет голову; его черные глаза глядят на нее так, что она вся вспыхнет и тотчас же начнет ужасно громко стучать по клавишам.

Нянька Федосеевна ворчит под нос, что он «землемеришка». Во-первых, он не просто землемер, а ученый таксатор. Папа его очень уважает и выписал для важной работы: разбить на участки лесную дачу, там за дорогой. Он за это большие деньги получит. Да и что слушать Федосеевну. Она только смущает ее. Все какие-то намеки, которых она не понимает. Про мамашу вспоминает беспрестанно. Дает понять, что тетки – особенно Павла Захаровна – совсем обошли па-

пу. А настоящего не говорит, да и не хочется допытываться. Зачем? Только себя расстраивать.

Мамашу она не помнит. Сама была еще очень маленькая. Тетки ее баловали – это она помнит, и в институт отдали ее не насильно – ей самой хотелось носить голубое платье с белой пелеринкой.

Ну, что ж из того, что тетя Павла – сухоручка, хромяя и перекошенная, и язык у нее с язвой? Замуж ее никто не взял – все старые девы такие. Ее она не грызет. Тетя Марфа – так и совсем добрая. Любит поесть и наливки любит... Что ж!.. Она сама – лакомка. И наливки ей нравятся всякие: сливянки, вишневки, можжевеловки. У тети Марфы в спальне – целые бутылки. И как там хорошо, в послеобеденные сумерки, полакомиться и выпить рюмочку, лежа на кушетке! Тетя все спрашивает про Николая Никанорыча – нравится ли, видит ли его во сне, не хочет ли погадать на трефового короля?

Трефовый король – это Николай Никанорыч.

И начнет гадать за овальным столом. Подадут свечи. В спальне так тихо и так вкусно пахнет вареньем, смоквой, вишневкой. Тетя – в блузе, вся красная, щеки лоснятся, и глаза немножко посоловели – наклонится над столом и так ловко раскладывает карты.

– Исполнение желаний, марьяж, письмо, настоящее, будущее, неожиданный удар...

Эти выражения выговаривает она с придыханием. И всегда выходит хорошо – марьяжная карта выпадает непременно

но на самое сердце червонной дамы; червонная дама – это она, Саня.

– Скоро, скоро твоя судьба решится, Санечка, подмигивая, говорит тетя Марфа.

Она и сама точно немного влюблена в Николая Никаноровича: одевается к обеду в шелковый капот с пелериной и на ночь городки себе устраивает каленой шпилькой. Да и тетя Павла, когда себя получше чувствует, с ним любезна, повторяет все, что по нынешним временам такими молодыми людьми грех пренебрегать.

– Ты, Саня, не воображай себя богатой невестой, – не дальше как вчера сказала она ей. – Твой отец еще не стар и жениться может в другой раз; а своего у тебя от матери ничего нет. Вот мы разборчивы были и остались в девках.

Она говорит: «в девках» и горничных называет «девки». От ее голоса, серых глаз, всего тона приходится иногда жутко; но к ней она не придирается, не ворчит, по целым дням ее не видно – все ей нездоровится. Только и Сане сдается, что нянька Федосеевна права: «сухоручка» держит папу в руках, и без ее ведома ничего в доме не делается.

Умри тетя Павла – она не стала бы долго плакать!.. Да и по ком она убивалась бы?.. Ей часто кажется, что она «сушка», – так в институте звали тех, у кого сердца нет или очень мало.

## II

– Саня, а Саня... Ты здесь?.. На качелях?.. Обедать скоро!.. Николай Никанорыч подъехал.

С балкона доносился жирный голос тети Марфы.

Саня обернулась и, не вставая с качель, крикнула:

– Слышу, тетя, сейчас!

Марфа Захаровна, в капоте с пелеринкой из клетчатой шерстяной материи, пестрела огромным пятном между двумя колонками балкона – тучная, с седеющей головой и красными щеками, точно смазанными маслом.

– Иди!..

Пестрая глыба скрылась, и Саня ступила на дерн и оставила веревки качель.

Ручки у нее – диковинные по своим детским размерам, белые и пухленькие, все в ямках на суставах. Она расправила пальцы и щелкнула ими. От держания веревок на них оставались следы.

Николай Никанорыч восхищался ее руками. Ей это казалось немного странным. Она считала почти уродством, что у нее такие маленькие руки. Даже перчатки надо было выписывать из Москвы, когда она выходила из института. Совсем детские! Но все-таки они нравятся, и Николай Никанорыч нет-нет да и скажет что-нибудь такое и смешное, и лестное насчет ее «ручоночек».



К обеду она уже оделась. Разве поправить волосы – и можно в них вколоть цветной бантик.

Она пошла ленивой поступью к дому – уточкой, с перевальцем. Рост у нее был для девушки порядочный; она казалась гораздо ниже от пышности бюста и круглых щек.

С балкона дверь вела прямо в залу, служившую и столовой, отделанную кое-как, – точно в доме жили только по летам, а не круглый год. Стены стояли голые, с потусклыми обоями; ни одной картинки, окна без гардин, вдоль стен венские стулья и в углу буфет – неуклюжий, рыночной работы.

Комнатка ее помещалась слева, через коридорчик от комнаты тети Павлы. Из передней – ход в кабинет отца; в глубине – гостиная и спальня тети Марфы, просторная, с запахом наливки, самая «симпатичная», как называла ее Саня.

Стол уже был накрыт – круглый, довольно небрежно уставленный. Ножи с деревянными черенками, не первой чистоты, черный хлеб, посуда сборная. В институте их кормили неважно, но все было чище и аккуратнее подано... Зато здесь еды много, и она гораздо вкуснее.

Саня до сих пор не знает: богат ее отец или беден, какой у него доход. Федосеевна пугает ее, что она окажется бесприданницей; на то же намекает тетка Павла Захаровна; самой ей трудно остановиться серьезно на этом вопросе. Расспросить обо всем она могла бы тетю Марфу или Федосеевну; ее что-то удерживает. Непременно узнает она от одной из них что-нибудь такое, что ее совсем спутает.

Отца она не понимает. Какой он? Щедрый, скупой, очень богатый или так себе, концы с концами сводит, хороший хозяин или проживет все дотла к тому времени, когда она выйдет замуж. Ее отец верит в то, что в старых девах она не засидится. Это просто невозможно! Если у нее и не будет хорошего приданого, она все-таки выйдет. Нынче и бедных берут. В ее классе Анночка Каратусова и Маня Аленина вернулись с вакаций невестами, и обе были бедные, отцы их, чиновники в уездах, живут на одно жалованье, и обе они воспитывались на дворянский, а не на свой счет. И теперь обе уже замужем. Как им в невестах было весело! Сколько они целовались с женихами – те приезжали в губернский город и даже проникали в коридоры, что идут вдоль дортуаров. Особенно Маня так вкусно рассказывала – как они, в первый раз, в лесу, начали целоваться, и когда они вернулись домой, то сейчас побежали к ее матери, и она их благословила.

Да, она решительно не знала, какие они помещики – крупные или так себе.

Слыхала она от тетки и от няньки Федосеевны, что эту усадьбу – она называется также Заводное, как и то большое село, за Волгой – отец получил от дальнего родственника вместе с лесом. Родственник был богатый и знатный барин, прожился, и только эта усадьба с лесом и осталось родового. Отец приходился и ему чем-то, и его жене, взятой из местных дворянок, «неважных», говорила ей как-то Федосеевна. Тетки и отец считают себя древнего рода, самого коренного

в этом лесном медвежьем крае. Тетка Павла любит распространяться о том, будто их предок провожал Михаила Феодоровича, когда его выбрали в Москве на царство, и чуть ли не спас его. Может быть, она смешивает с Сусаниным. Так и Сусанин – им это учитель в институте говорил – кажется, совсем и не спасал царя, хотя и есть такая опера, откуда она поет арию: «В поле чистое гляжу...»

Ей ее фамилия кажется смешной и совсем уже не барской: Черносошная. А тетка Павла и отец гордятся ею. Почему?.. «Черносошные» – она знала, что это такое. Так звали в старину мужиков, крепостных. И это ей объяснил учитель истории, когда раз заболтался с нею около доски. В классе дразнили ее тем, что она обожает его, а это была неправда. Она обожала батюшку – законоучителя, и на исповеди чуть-чуть было не призналась ему.

Саня сидела перед зеркалом своего туалета, и в голове ее все эти мысли завивались клубком, как всегда, и она не могла их направить по-своему.

Уж такая голова. Вот и письма когда пишет – не может в порядке все прописать, о чем думала вначале. Потому и сочинения выходили у нее хуже, чем у многих подруг.

И не хочется ей ни во что проникать, выпрашивать, соображать и оценивать. Непременно что-нибудь огорчит. Думать станешь на ночь – не заснешь. Да и зачем?

Она и без того побаивается тети Павлы. С ней она больше молчит, ни одним словом ей не возражает. В доме эта тетка –

главное лицо, и папа ее побаивается. Все ее считают ужасно умной. Что ж тут мудреного? Целые дни лежит в длинном кресле с пюпитром и думает или книжку читает. Сажала она ее читать себе вслух, но осталась недовольна:

– Ты, Саня, читаешь как пономарь, все в одну ноту. Неужели вас не учили порядочно читать вслух?

Разумеется, никто не учил. Сам учитель словесности отвратительно читал. Во всем классе была одна воспитанница – на нее постоянно и взваливали...

Каждый раз, как идти к обеду, Саня подумает о своей тетке, Павле Захаровне. К ней надо зайти поцеловать ее в ручку или в плечо. Что-нибудь она непременно спросит, чем занималась, и выговора не даст, а язвительно посмотрит или скажет:

– Какой ты птенец, Саня! У тебя в голове, кажется, нет никаких собственных мыслей.

Мысли у нее есть, только не умеет она рассуждать вслух и даже рассказывать то, что прочла.

Ну, да! Она ленивая. Книжки ее мало привлекают и волнуют. До сих пор еще не может одолеть «Записок охотника» Тургенева. Один рассказ читает два-три дня. Ей нравится, но залпом она не умеет читать. Сейчас начнет о чем-нибудь мечтать, и так, глядишь, улетит час-другой.

Николай Никанорыч говорил, что он недавно прочел роман «От поцелуя к поцелую». Ей совестно было попросить этой книжки. А хотелось бы почитать ее.

Перед зеркалом Саня не любит долго сидеть. Лицо свое ей не нравится. Слишком свежо, кругло, краснощеко. Настоящая «кубышка». Она находит, что у нее простоватый вид. Но отчего же Николай Никанорыч так на нее посматривает, когда они у тетки Марфы сидят за столом, лакомятся и пьют наливку. Ручками ее он уже сколько раз восхищался.

Густую челку светло-русых волос Саня расправила гребенкой, чтобы она немножко раздвоилась. На шее у нее ожерелье из кораллов. Лифом служит шелковый дж/ерси. Это не очень модно, но суживает бюст, а с обыкновенным лифом она уж чересчур пышна.

Комнатку свою Саня содержит чисто, сама все приберет и уложит. За ней ходит девочка, Параша, из крестьянских подростков. Она не любит, чтобы Параша торчала тут целый день. И Федосеевну она редко допускает. Та живет во флигеле. Нянькой своей она не гнушается, только не любит, чтобы та смущала ее разными своими разговорами о маме да намеками, каких она не желает понимать.

Ее кровать, с белым пологом, занимает половину стены, смежной с гостиной, где стоит рояль. На нем играла ее мама. Он немного уже дребезжит; она не просила купить ей новый инструмент. Играет она совсем уж не как музыкантша. Петь любит, да и то – полосами, больше на воздухе или, когда ей взгрустнется, у себя в комнате, без всякого аккомпанемента.

Вся остальная мебель – кресла с ситцевой светлой обивкой, шкаф, комод, пяльцы (тоже остались от ее мамы), пись-

менный столик, купленный для нее в губернском городе, – расставлена по стенам. Средина комнаты покрыта ковром и свободна: она так любит, чтобы было больше места. Иногда на нее найдет – она начнет одна кружиться или прыгать, воображая, что танцует с кавалером.

С Николаем Никанорычем они танцевали в гостиной так, без всякой музыки. Тетя Марфа хотела было поиграть какой-то вальс старинный, да сейчас же сбилась.

И как он танцует! Ничего еще подобного она не испытала и на выпускном бале, где были и офицеры, и большие гимназисты, и губернаторские чиновники. Держит он крепко и совсем как-то к себе пригибает, так что сердце забьется, и его дыхание чувствуешь на своем лице. Она вся горела, точно в огне. И вертит «а rebougs», да так ловко, как никто из ее подруг не умел, – из тех, что всегда танцевали за кавалеров, и на уроках танцев, и на вечерах.

Тетка Павла Захаровна как-то переведет своими большими бледными губами, когда спрашивает ее:

– А что, дурочка, нравится тебе землемер?

И слово «землемер» она произносит с особенным выражением, а что она хочет сказать – Саня в это проникнуть не может, да и не желает.

Нравится ли? Он не простой землемер, а ученый таксатор. Тетя Марфа говорила ей, что Николая Никанорыча прислал сюда богатый барин с поручением, и он зарабатывает большие деньги. Папе он делает одолжение, что взялся и для него

произвести работы, разбить его лес на участки. Кажется, он не дворянин. Не все ли это равно? Только тетка Павла так гордится тем, что они – Черносошные, а за ней и папа. Он всегда повторяет уже слышанное ею от тетки.

### III

Старая горничная Павлы Захаровны, Авдотья, бывшая крепостная, доложила «барышне», что обед готов. Она служила и за столом. Лакей уехал с барином в город.

Комната Павлы Захаровны – длинная, в два окна – пропахла лекарствами, держалась неопрятно, заставленная неудобно большой кроватью, креслом с пюпитром, шкапом с книгами. В ней было темно от спущенных штор и сыровато. Почти никогда ее не проветривали.

В креслах с пюпитром и длинным продолжением для ног сидела она, полулежа, целые дни, в старомодном казакине из бурой вигони и люстриновой юбке, перекошенная на один бок, почти горбатая. Седые курчавые волосы носила она без косы, рассыпанные по плечам. Некрасивые высохшие черты отзывались мужской резкостью; извилистый длинный нос и крупный рот беспрестанно приходили в движение, глаза были круглые, острые, темно-серые, с постоянной усмешкой. Голова давила худые приподнятые плечи своей величиной. Сухая левая рука – маленькая и костлявая – еле виднелась из-под широчайшего рукава, куда она ее ловко вбирала

и за столом чуть-чуть придерживала ею вилку... Потемневшая кожа лица и бородавка на левой щеке делали лицо еще непригляднее.

Павла Захаровна не торопится. Ее и подождут. Сегодня она себя получше чувствует и выходила на балкон. Сестра Марфа сейчас сказывала, что землемер приехал, и она просила его к обеду.

Землемер этот – разночинец, откуда-то с юга, не то хохол, не то еврей (так она его понимает) – ловок, смел и вкрадчив, и дурочка Саня скоро в него врежется. Так и должно случиться. Павла Захаровна все это прекрасно замечает – и ничто в доме не делается без ее надзора и согласия, хотя она и не выходит почти из своей комнаты. Ей известны и послеобеденные сидения у сестры Марфы, угощение наливками, гадание в карты. У Марфы – склонность к крепким напиткам. И до мужчин она всегда была слаба... Замуж вовремя не попала. Потом – лет уже за тридцать – разрешила себе. Павле Захаровне все известно... Знает она, зачем сестра ездила и в Москву, лет больше десяти назад... Скрыть свой грех. Ребенок, к счастью, умер. И потом у Марфы были связи. Добро бы со стоящим народом!.. А то со всякой дрянью, с сыном дьякона, с письмоводителем исправника. Она всегда была простовата, жила в спанье, в наливки да в свои «фигли-мигли»! И она перед землемером тает... Даже противно смотреть.

Но все это Павла Захаровна терпит.



Почему?

Что ей раз запало в душу – то с ней и умрет. Не могла она вынести соперничества с невесткой. Брат Иван Захарыч – моложе ее на несколько лет – жил всегда ее умом, нужды нет, что остался рано на полной воле, главным наследником двух вотчин. Она не допустила бы его до всех глупостей, какие он наделал с тех пор – вот уже больше двадцати лет – если б не пошла на сделку с самой собою, с своей женской злобностью. Надо было вытравить из его сердца любовь к жене. Та его обошла. Из бедных чиновничьих дочерей – какого-то станового пьянчужки дочь – в пепиньерках была оставлена в институте. Он приехал на выборы, бывал у какой-то классной дамы в гостях, влюбился и сейчас же, не спросившись у нее, старшей сестры, вернулся оттуда женихом. Она затаила в себе эту обиду. Все семь лет его женатой жизни она провела в другой усадьбе; в явной ссоре с матерью Сани не была, но не прощала обиды и ждала часа отместки. Невестка умерла, точно в угоду ей. С памятью жены Иван Захарыч слишком носился... И эту память ей удалось-таки затемнить. Чтобы быть в ладу с своей совестью, она и себя уверила в том, что невестка обманывала мужа, что Саня и «не думает» быть дочерью Ивана Захарыча. С тех пор он опять стал ее младшим братом, жил под ее надзором. Только бы он вдругорядь не женился. Ну, и надо было допустить его до незаконной связи. Она все знает: у него в городе «мам/ошка» и двое детей. Усыновлять он их не посмеет без ее разрешения, да и не по-

желает. Это семейство с левой стороны он обеспечил – заложил землю другой вотчины, купил им домик и сделал вклад в местный дворянский банк. Денег он прожил в последние десять лет прорву, и не на одно это. Усадьба, где они живут, с парком, – тоже заложена... Проценты платит он с трудом... Ей и сестре Марфе он задолжал по пятнадцати тысяч – все их достояние. Кроме выкупных свидетельств, у них за крестьянским наделом осталось по двести десятин плохой земли, и они ее продали по частям.

Иной раз ее страх разбирает – ну как брат совсем разорится?.. Что им с сестрой делать из сохранных его расписок? Но она еще не рехнулась. Теперь – самый настоящий момент подошел. Не заложен лес – большой, в несколько тысяч десятин... Она и настояла на том, чтобы пригласить ученого землемера и разбить лес на участки, привести в известность и продать. Тут она площадь не будет, и свой, и сестрин капитал возвратит; коли на то пошло, и расписки представит ко взысканию. До этого он себя не допустит. Усадьба и парк – только обуза: никакого не дают дохода, а стоят не мало, да еще за них надо платить проценты. Брат держится за них из одного дворянского гонора, потому что они ему достались от дальнего родственника, какого-то богача и магната; за их части он выдал им деньгами. И лес – тоже родовой. Продать надо и то, и другое. Капитал – за уплатой тридцати тысяч сестрам – он скоро спустит. И останется у него дальняя вотчина со старинной усадьбой. Туда и переселятся жить. Про-

центы не на что будет платить и за нее. Они с сестрой выкупят имение, когда его банк назначит в продажу. Вряд ли у брата останется еще, к тому времени, хоть тыщонка рублей. Что ж! И будет жить у нее, Павлы Захаровны, на хлебах... Или уйдет к своей сударушке, если не сумеет ужиться.

Главное – Сане, дочери ненавистной невестки, не достанется ни одного вершка из родовых угодий. Брат охладел к ней давно – и только играет роль ее отца, не хочет показать, что он носился столько лет с чужим ребенком.

Вот тут-то так кстати и пожаловал этот землемер. Остальное идет как по маслу. Марфа их сводит, приучает Саню к наливке, сама рада-радешенька – только чтобы ей около смазливой мужчинки посидеть лишней разок. Тот – ловкач, своего не упустит. Не пройдет и месяца, как девчонка заблудится с ним где-нибудь в парке. Тогда разговор короткий – надо выдавать за землемера... Выбросить ей на приданое несколько тыщенок – и довольно!.. Чего же она больше заслуживает? В мать пошла. С развратными наклонностями. Туда ей и дорога! Будь у этой толстой, чувственной девчонки в голове мозг, а не сенная труха, она бы знала, как ей себя вести и как оградить сколько-нибудь свои права. У этой подурухи менее мыслей, чем у птицы.

Если и может кто ее смущать, так нянька ее, Федосеевна.

Давным-давно выгнала бы она эту дрянную смутьянку, если б не глупый гонор брата. Видите ли, он, у смертного одра жены, обещал ей обеспечить старость Саниной няньки...

Так ведь он тогда верил в любовь и непорочность своей возлюбленной супруги... А потом? Голова-то и у братца не далеко ушла от головы его мнимой дочки; и сколько раз Павла Захаровна язвила самое себя вопросом: с какой стати она, умница, положила всю свою жизнь на возню с такой тупицей, как ее братец, Иван Захарыч?

Только и есть в нем одно – свое дворянское достоинство соблюдает. Имя Черносошных ставит так же высоко, как и она. И это в нем она воспитала. Важность в нем прикрывает скудость мозга. Учился плохо, в полку был без году неделю, своей видной наружностью не умел воспользоваться, взять богатую и родовитую невесту, женился на дряни, по выборам служил два трехлетия, и даже Станислава ему на шею не повесили, а другие из уездных-то предводителей в губернаторы попадают, по нынешнему времени. Весь прожился зря – ни себе, ни людям. Ни у него приемов, ни кутежа особенного... Метреска из мещанок; на нее и на незаконных детей не Бог знает какой капитал записан им; а в двадцать лет расстроил прекраснейших две вотчины... И кончит тем, что у нее, у Павлы Захаровны, будет доживать на хлебах.

Тогда она успокоится... Он получит должное возмездие за всю свою дурость. Но если она не доведет его до продажи леса и усадьбы с парком – может кончиться совсем плохо и для нее с дурындой Марфой; та без нее тоже пропадет.

Павла Захаровна встала с кресла в несколько приемов и, ковыляя на левую ногу, прошла по комнате взад и вперед,

потом постояла перед зеркалом, немножко расчесала взбившиеся курчавые волосы и взяла из угла около большой изразцовой печи палку, с которой не расставалась вне своей комнаты.

Без нее не сядут. Она бы и сегодня не вышла. От глупых разговоров сестры и племянницы ее тошнит; но надо ей самой видеть, куда зашел землемер в своем сближении с Саней. От него же она узнает подробности о какой-то миллионной компании, которая с весны покупает огромные лесные дачи, по сю и по ту сторону Волги, в трех волжских губерниях. Землемер, кажется, норовит попасть на службу к этой компании. Ему следует предложить хорошую комиссию и сделать это на днях, после того, как молодые люди погуляют в парке раз-другой. Он и теперь знает, что без ее согласия ничего в доме не делается. Надо будет дать ему понять, что Саня ему может достаться в жены, если его поддержит она.

Дверь опять приотворилась, и Авдотья во второй раз доложила:

– Кушать пожалуйста, барышня.

– Иду! – отозвалась Павла Захаровна и, подпираясь палкой, заковыляла к зале.

#### IV

Подали зеленые щи из рассады с блинчатыми пирожками. Против Марфы Захаровны, надевшей на голову черную

кружевную тряпочку, сидел землемер; по правую руку от него Саня, без кофточки, по левую – Павла Захаровна.

Землемер не смотрел великорусом: глаза с поволокой, искристые зрачки на синеющих белках; цвет лица очень свежий, матовый, бледноватый; твердые щеки, плотно подстриженные, вплоть до острой бородки. Вся голова точно выточена; волосы начесаны на лбу в такую же челку, как и у Сани, только черные как смоль и сильно лоснятся от брильянтина. В чертах – что-то восточное. Большая чистоплотность и франтоватость сказывались во всем: в покрое клетчатого пиджака, в малиновом галстуке, в воротничках и манжетах, в кольцах на длинных, красивых пальцах. С толстоватых губ не сходила улыбка, и крупные зубы блестели. Он смахивал на заезжего музыканта, актера или приказчика модного магазина, а не на землемера. Свою деловую оболочку он оставил у себя: большие сапоги, блузу, крылатку. Одевался он и раздевался изумительно быстро.

Щи все ели первые минуты молча, и только слышно было причавканье жирных губ тетки Марфы Захаровны, поглощавшей пирожок, прищуривая глазки, как сластолюбивая кошка. И Саня кушала с видимой охотой.

– Пирожка хочешь еще, голубка? – спросила ее Марфа Захаровна.

– Я возьму, тетя! – ответила Саня своим детским голоском, и все ее ямочки заиграли.

– А вы, Николай Никанорыч?

– А вы, николай Никанорыч?

Голос землемера звучал музыкально и немного нараспев, с южным акцентом, точно он заводил речитатив на сцене.

Он вбок улыбнулся своей соседке вправо.

Сане от его взгляда, из-под пушистых ресниц, делается всегда неловко и весело, и нежный румянец разливается тихо, но заметно, от подбородка до век. Она быстро перевела взгляд от его глаз на галстук, где блестела булавка, в виде подковы с синей эмалью.

Какие у него хорошенькие вещи! И весь он такой «шикозный»! Явись он к ним, в институт, к какой-нибудь «девице», его бы сразу стали обожать полкласса и никто не поверил бы, что он только «землемер». Она не хочет его так называть даже мысленно.

«Не землемер, а ученый таксатор».

Саня опустила голову над тарелкой со щами, где плавал желток из крутого яйца, и вкусно пережевывала счетом третий блинчатый пирожок – и в эту минуту, под столом, к носку ее ботинки прикоснулся чужой носок; она почувствовала – чей.

Это случилось в первый раз. Она невольно вскинула глазами на тетку Павлу, брезгливо жевавшую корочку черного хлеба, и вся зарделась и стала усиленно глотать щи.

Павла Захаровна подметила и этот взгляд, и этот внезапный румянец.

«Ногу ей жмет», – подумала она и вкось усмехнулась.

Пускай себе! Чем скорее он влюбит в себя эту «полудурью», тем лучше. Женись, получай приданое и – марш, чтобы и духу их не было!

Кончик носка мужской ботинки Саня продолжала чувствовать и не отнимала своей ножки; она застыла в одной позе и только правой рукой подносила ко рту ложку со щами.

Первач, продолжая есть красиво и очень приятно, поворотил голову к Павле Захаровне и особенно почтительно спросил ее, как она себя чувствует. Он давно уже распознал, что в этом доме она – первый номер, и если он в спальне у Марфы Захаровны так засиживается с Саней, то все это делается не без ее ведома.

– Аппетита никакого нет, – выговорила Павла Захаровна и поморщилась.

– Вы бы пирожка, тетя?

Саня спросила и испугалась. Но ей надо было что-нибудь выговорить, чтобы совладать с своим волнением.

Только теперь прибрала она ногу и взглянуть на Николая Никанорыча не решалась... Надо бы рассердиться на него, но ничего похожего на сердце она не чувствовала.

– Ешь сама на здоровье! – ответила ей тетка своим двойственным тоном, где Саня до сих пор не может отличить ехидства от родственного, снисходительного тона.

– Кушай, кушай! – поощряла ее тетка Марфа, и узкие глазки ее заискрились, и Сане стало опять «по себе».

– В каких вы побывали местах? – благосклонно обрати-



лась Павла Захаровна к землемеру.

– В заволжской даче моего главного патрона, Павла Иларионовича.

– Низовьева? – почти разом спросили обе тетки.

– Так точно. Он торопит меня... депешей.

– Где же он проживает? Все в Париже небось?

Павла Захаровна повела на особый лад извилистым носом. Марфа сейчас этим воспользовалась... Она жить не могла без игривых разговоров – намек сестры Павлы касался нравов этого богача Низовьева. У него до сорока тысяч десятин лесу, по Унже и Волге, в двух губерниях. Каждый год рубит он и сплавляет вниз, к Василию, где съезжаются лесоторговцы – и все, что получит, просадит в Париже, где у него роскошные палаты, жена есть и дети, да кроме того и метреску держит. Слух идет, что какая-то – не то испанка, не то американка – и вытянула у него не одну сотню тысяч не франков, а рублей.

– В Париже. Но сюда будет в скором времени, сдержанно и с игрой в глазах выговорил Первач. – И торопит таксаторской работой... той дачи, что позади села Заводного; туда к урочищу Перелог.

– Продавать совсем хочет? – спросила Павла.

– Именно-с, – музыкальной нотой ответил Первач и, почтительно нагнувшись к ней, спросил: – Вам чего прикажете?

На столе стояла бутылка с хересом, кувшин с квасом и

графин с водой.

– Мне кваску немножко, – с наклоном головы ответила Павла Захаровна.

Николай Никанорыч, – заговорила шепеляво и громко Марфа, – вы что же все скрытничаете? Ведь вам вся подноготная известна. Должно быть, на свою... принцессу еще спустил... а?

Глазки ее просительно ждали любовной истории.

Первач поглядел в сторону Сани и сделал выразительное движение ртом.

– Да чего же вы стесняетесь?.. Ведь Саня не малый младенец, – выговорила Марфа. – Пора жизнь знать... Нынче институтки-то все читают... Ну, кубышка, скажи: у вас небось «Огненную женщину» читали?

– Кажется, тетя, – весело ответила Саня.

– Ну, вот видите, Николай Никанорыч! – подхватила Марфа. – Расскажите, голубчик, про Низовьева.

– Целую дачу продает? – спросила Павла Захаровна и прищурила значительно глаз.

– Да-с, около шестнадцати тысяч десятин.

– Заложены?

– Как следует. Поэтому-то и нельзя в них производить порубок.

– Чего нельзя?! Нынче все можно.

– Банк следит довольно строго.

– Эх, батюшка, все нынче проворовались!

– Павел Иларионович на это не пойдет. Он очень такой... джентльмен. А продавать ему пришлось...

– Для метрески? – почти взвизгнула Марфа. – Да расскажите, Николай Никанорыч... Ах, какой противный!

– Извольте... с разрешения Павлы Захаровны. Та дама, которая ему обошлась уже в миллион франков, выстроила себе отель...

– Как? гостиницу? – перебила Марфа.

– Дом барский... Так там называют, – брезгливо поправила Павла Захаровна сестру.

– С отделкой отель обошелся в два миллиона франков... Он там, в этом отеле, поблаженствовал месяц какой-нибудь – и в одно прекрасное после обеда муж вдруг поднимает бурю.

– Какой муж? – стремительно перебила Марфа.

– Ее муж, Марфа Захаровна. Она замужем и даже титулованная.

– Дело житейское, – досказала Павла Захаровна. – Супруг на все сквозь пальцы смотрел, пока отель-от сам Низовьев не предоставил ему с женой. Нынче и все так. И в жизни, и в романах.

Саня слушала все еще под впечатлением того, что было под столом между нею и землемером. Она понимала, про какого рода вещи рассказывал Николай Никанорыч. Разумеется, для нее это не в диковинку... И читать приводилось... французские книжки, и даже слышать от подруг. Нынче у всех метрески... Кокоток развелось – страх сколько. На них

разоряются. Говорили ей даже в институте про мужей, которые пользуются от этого.

Ей понравилось то, что Николай Никанорыч стеснялся немножко, не хотел при ней рассказывать. Он умница. При тете Павле так и следовало вести себя. У тети Марфы за лакомствами и наливкой можно все болтать. Там и она будет слушать с удовольствием, если смешно.

– И муж его вытурил?

– Вы отгадали, Павла Захаровна.

– А платить-то ему приходится за отель и всю отделку?

– Совершенно верно.

Все трое засмеялись. И Саня вторила им.

– Вот почему и продает он свой Перелог?

В вопросах Павлы Захаровны звучала злобность. Она любила такие истории глупых разорений, хотя и язвила «господ дворян» за их беспутство.

– Продает компании... про которую я уже вам сообщал. На днях ждут сюда представителя этой компании. Говорят – первоклассный делец и воротила. Из мужиков, но с образованием. А фамилия – самая такая простонародная: Теркин.

– Теркин? – вслух повторила Саня и раскатисто рассмеялась.

Ей стало ужасно весело. У ней начался роман как следует... У тети Марфы будет еще веселее.

## V

К концу обеда, за пирожным – трубочки с кремом – Первач опять протянул носок и встретил пухлую ножку Сани. Лицо ее уже не зарумянилось вдруг, как в первый раз.

Павла Захаровна беседовала с ним очень благосклонно и, когда он благодарил ее за обед, сказала ему:

– Перед вечерним чаем не завернете ли ко мне... на минутку?

– С особенным удовольствием, – отметил он и сейчас же сообразил, что она поведет с ним конфиденциально-деловой разговор.

Ему в этом доме особенно везло. Смутно догадывался он, что сухоручка племянницы не любит и хотела бы спустить ее поскорее. Женитьба не очень-то манила его. Девочка – вкусная, и влюбить ее в себя ничего не стоит. Да и щадить особенно нечего. Он никого до сих пор не щадил, кто подвертывался... Сначала надо как следует увлечь, а там он посмотрит. Все будет зависеть от того, какую поддержку найдет он в сухоручке... И отец не очень-то нежен к дочери. На него старшая сестра во всем влияет. Между ними есть какие-то родственные денежные отношения... Он в это проникнет. Дело не обойдется без его участия. Вероятно, сухоручка желает, чтобы брат продал на выгодных условиях свою лесную дачу новой компании, к которой он сам желал бы примазать-

ся.

Пока надо добраться поскорее до свежих, как персики, щек Санечки, с их чудесными ямочками. Сейчас они пойдут в комнату Марфы Захаровны, куда подадут лакомства и наливки. Там – его царство. Тетенька и сама не прочь была бы согрешить с ним. Но он до таких перезрелых тыкв еще не спускался – по крайней мере с тех пор, как стоит на своих ногах и мечтает о крупной деловой карьере.

Павла Захаровна сухо приложила к маковке Сани, когда та целовала ее руку. Горничная подала ей ее палку, и она колыхающейся походкой отправилась к себе.

Как ни в чем не бывало подошел Первач к Сане и предложил ей руку.

– Куда прикажете вести вас? – спросил он, лаская ее взглядом своих черных глаз, которым он умел придавать какое угодно выражение.

Саня подала ему руку, и он ее слегка притиснул к своему правому боку.

– Тетя, куда мы: на балкон или к вам? – спросила Саня.

– Сначала ко мне... Кофейку напьемся, Николай Никанорыч... Какой угодно нынче наливки? Терновки или сливянки?

– И той, и другой, если позволите.

– Так еще лучше.

Щеки толстухи еще ярче лоснились. Она за обедом, при старшей сестре, ничего не пила, кроме квасу, даже и к хересу

не прикасалась, да и не очень его уважала. После обеда и после ужина она вознаграждала себя наливками.

И на Саню каждое после обеда в комнате тети Марфы нападало особое состояние, вместе с запахом от стен какими-то травами, от лакомств, кофе с густыми пенками и наливки. Ей сейчас же захочется болтать, смеяться, петь, целоваться.

Вот она опять за столом. Тетя рассаживается на диване, облокотившись о подушку. Над ней закоптелая картина – Юдифь с головой Олоферна. Но эта страшная голова казалась ей забавной... И у Юдифи такой смешной нос. В окнах – клетки. У тети целых шесть канареек. Они, как только слышат разговор, чуть кто стукнет тарелкой или рюмкой, принимаются петь одна другой задорнее. Но никому они не мешают. У Сани, под этот птичий концерт, еще скорее зашумит в голове от сливянки.

Другая горничная – Прасковья – приставлена к своей «барышне» сызмальства, как Авдотья была приставлена к Павле Захаровне. Она похожа на тетю Марфу, – почти такая же жирная и так же любит выпить, только втихомолку. Саня про это знает от няньки Федосеевны, строгой на еду и питье, большой постницы. Но у Сани снисходительный взгляд на это. Какая важность, что выпьет пожилая женщина от деревенской скуки.

На столе уже стоят две бутылки с наливкой и несколько тарелок и вазочек с домашними превкусными сладостями: смок-

ва, орехи в меду, малиновые лепешки и густое варенье из розовых лепестков, где есть апельсиновая мелко нарезанная корка и ваниль... Саня – особенная охотница до этих сластей... Сейчас принесет Прасковья и кофе.

Первач сидит около нее на стуле очень близко и смотрит ей в глаза так, точно хочет выведать все ее мысли о нем. Она было хотела дать ему понять, что он не имел права протягивать к ней под столом носок, ища ее ноги; но ведь это ей доставило удовольствие... Зачем же она будет лицемерить? И теперь она уже чувствует, что его носок опять близится... а глаза ласкают ее... Рука, все под столом, ищет ее руки. Она не отдернула – и он пожал.

В эту минуту тетя налила им обоим по рюмке и себе также.

– Сливянка? – спросил Первач и чокнулся с нею и с Саней.

Его рука держала ее за кончики ее пальцев – и по всему ее телу прошло ощущение чего-то жгучего и приятного, прежде чем она глотнула из рюмки.

Тетка ничего не замечала, да если б и заметила, не стала бы мешать. Она ответила на чоканье Первача и, прищурившись, смаковала наливку маленькими глотками.

– Хороша на ваш вкус, Николай Никанорыч?

– Превосходна, Марфа Захаровна.

– Саня! Хороша?..

– Очень, тетя, очень.

– Пей, голубка, пей.



– Лучше всякого крамбамбули, – подхвалил землемер.

– Крамбамбули? – вскричала Саня и подскочила на стуле. Но пальчики ее левой руки остались в руке землемера. – Николай Никанорыч! Что это? Песня? Ведь да? Песня? Или это какое-нибудь питье?

– И то, и другое, Александра Ивановна, и то, и другое. Вроде ликера, крема... Очень крепкое. Студенческое питье. И песнь сложилась. Ее и цыгане поют.

– Как поют? Запойте.

– Это хоровая.

– Тетя! Дуся! Попросите Николая Никанорыча.

– Довольно и вашей просьбы, Александра Ивановна.

Он так это мило сказал, с опущенными ресницами, что Сане захотелось поцеловать его. Ну, хоть в лоб, даже и при тете. Наливка сладко жгла ее в груди и разливалась по всем жилам... Каждая жилка билась.

– «Крамбамбули – отцов наследство», – запел Первач сдержанно... Голос у него был звучный и с легкой вибрацией.

– Ах, какая прелесть!

– «И утешительное средство!» – продолжал Первач и еще раз чокнулся с Саней.

Она выпила большую рюмку до дна и даже облизнула кончиком языка свои сочные алые губы.

Через пять минут все трое пели хором:

«Крамбам-бам-бамбули,  
„Крамбамбули-и,

И взвизгивающий голос тети Марфы прорывался сквозь молодые, вздрагивающие голоса Сани и землемера. Но очень громко они боялись петь, чтобы не разбудить тетки Павлы.

Саня отведала и терновки, менее сладкой и более вяжущей, чем сливянка, очень крепкой. Кончик языка стало покалывать, и на щеках разлилось ощутительное тепло, проникло даже до ушей. И в шее затрепетали жилки. Голова не была еще в тумане; только какая-то волна подступала к сердцу и заставляла его чуть-чуть заниматься, а в глазах ощущала она приятную теплоту, такую же, как в ушах и по всему лицу. Она отдавалась впервые своему физическому сближению с этим красивым мужчиной. Он уже владел всей ее пухлой ручкой. Она не отнимала руки... Глаза его точно проникали в нее – и она не стыдилась... как еще было вчера и третьего дня.

После пения „Крамбамбули“ и острого напряжения нега разлилась по всему телу. Саня, прищурился, отвел глаза в сторону тетки, – и ей широкое, обрюзглое, красное, лоснящееся лицо казалось таким милым, почти ангельским. Она чмокнула на воздух и проговорила голосом, полным истомы: – Тетя! Дуся!

И тут только в голову ее, как дымка, стал проникать хмель. Тетка тоже разомлела. Это была минута, когда она непре-

менно запоет одна, своей девичьей фистулой, какой—нибудь старинный романс. Река шумит, Река ревет... затянула Марфа Захаровна.

Сане не хочется подпевать. Она откинулась на спинку стула. Ее левая рука совсем во власти Николая Никанорыча. Он подносит ее высоко к своим губам и целует. Это заставило ее выпрямиться, а потом нагнуть голову. Кажется, она его поцеловала в щеку... так прямо, при тетке. Но будь они одни, она бы схватила его за голову и расцеловала бы. Сердит и страшен Говор волн... разливается тетка, и голос ее замирает на последнем двустиишии: Прости, мой друг! Лети, мой челн!

## VI

Под нежной листвой туго распускавшегося кудрявого дубка Саня сидела на пледе, который подложил ей Николай Никанорыч. Пригорок зеленел вокруг. Внизу, сквозь деревья, виден был узкий спуск к реке. Ширилась полоса воды — стальная, с синеющими отливами.

Тетка Марфа задремала наверху, в беседке.

Они побродили по парку под руку. Он несколько раз принимался целовать ее пальчики, а она тихо смеется.

На траве он сел к ней близко-близко и, ничего не говоря, приложился губами к ее щеке.

Саня не могла покраснеть; щеки ее и без того алели, но

она вздрогнула и быстро оглянулась на него.

– Разве можно? – прошептала она.

– А почему же нельзя?

Его глаза дерзко и ласково глядели на нее. Рассердиться она и хотела бы, да ничего не выходило у нее... Ведь он, на глазах тети, сближался с нею... Стало быть, на него смотрят как на жениха... Без этого он не позволил бы себе.

Да если и „без этого“? Он такой красивый, взгляда глаз его она не выдерживает. И голос у него чудесный. Одет всегда с иголочки.

Он мог бы обнять ее и расцеловать в губы, но не сделал этого.

Он деликатный, не хочет ничего грубого. Начни он целовать ее – ведь она не запретила бы и не ударила бы его по щеке.

Ударить? За что? Будто она уже так оскорблена?.. Сегодня ее всю тянет к нему. Тетя подлила ей еще наливки. Это была третья рюмка. До сих пор у нее в голове туман.

– Почему нельзя? – повторил он и поцеловал ее сзади, в шею.

– Ей-Богу! Николай Никанорыч! Нельзя так! Ради Бога!

Но она была бы бессильна отвести лицо, если бы он стал искать ее губ.

– Санечка! – шепнул он ей на ушко. – Санечка!..

И тут она не рассердилась. Так мило вышло у него ее имя... Санечка!.. Это лучше, чем Саня... или Саря, как ее

звали некоторые подруги в институте. Разумеется, она маленькая, в сравнении с ним. Но он так ее назвал... отчего?

„Оттого что любит!“ – ответила она себе и совсем зажмурилась глазами и больше уже не отбивалась, а он все целовал ее в шею маленькими, короткими поцелуями.

– Николай Никанорыч!... Николай Никанорыч!.. Вы здесь?

Кто-то звал сзади. Они узнали голос Авдотьи, горничной тетки Павлы.

– Нельзя! – быстрым шепотом остановила она его, открыла глаза, выпрямилась и вскочила на ноги.

Голова вдруг стала светлой. В теле никакой истомы.

Он тоже поднялся и крикнул:

– Ау!..

Авдотья подошла, запыхавшись.

– По всему берегу ищу вас, сударь... Павла Захаровна просят вас пройти к ним до чаю.

– Сейчас! – ответил Первач как ни в чем не бывало, и Сане ужасно понравилось то, что он так владеет собою.

Но и она не растерялась... Да и с чего же? Авдотья не могла видеть за деревьями. А вдруг как видела? Скажет тетке Павле?

Ну, и скажет! Ничего страшного из этого выйти не может. Разве тетка Павла не замечает, что они нравятся друг другу? Если б ей было неприятно его ухаживание, она бы давным-давно дала инструкцию тете Марфе, да и сама сделала

бы внушение.

Зачем она прислала за Николаем Никанорычем? Может быть, „за этим самым“. Не написал ли он ей письма? Он такой умный. Если просить согласия, то у нее – у первой. Как она скажет, так и папа.

– Сейчас буду! – повторил Первач удалявшейся Авдотье. – Вот только барышню доведу до беседки.

– Слушаю-с, – откликнулась Авдотья, обернув на ходу свое рябоватое худое лицо старой девушки.

– Вы по делам к ней? – спросила тихо Саня и боком взглянула на него.

– Да, что-нибудь по хозяйственной части, – выговорил он спокойно.

Ей захотелось шепнуть: „Я знаю, по какой части!“ – но она побоялась, и когда он взял ее под руку, то в ней уже совсем не было той истомы, какую она ощущала под деревом.

„Неужели сегодня?“ – подумала она и опустила глаза.

– Тетя заснула... Зачем ее будить?

Они стояли в дверях беседки из березовых брусьев, где Марфа Захаровна спала с открытым ртом в соломенном кресле, вытянув свои толстые ноги в шитых по канве башмаках.

– Вы здесь останетесь... Санечка?.. – добавил он шепотом и чуть-чуть дотронулся губами до ее шеи.

– Ах! – вырвалось у нее тихим, детским звуком, и она тотчас же подумала: „Что ж... сегодня, может быть, все и ре-

шится“.

Она вспомнила, что сегодня же должен вернуться из города и папа.

– А, что?.. – вдруг проснулась Марфа Захаровна и схватилась ладонями за свои жирные щеки.

– Привел вам племянницу и сдаю с рук на руки. Павла Захаровна прислала за мною.

– Да, да, – повторяла толстуха еще спросонья. Погуляли, милые... День-то какой чудесный!.. Много я спала?

– Всего чуточку!

Саня поцеловала ее в маковку!

– Я с вами побуду... За Николаем Никанорычем тетя присылала Авдотью.

– А... Идите, идите, голубчик.

Марфа знала, что сестра ее зря ничего не делает. Стало быть, что-нибудь важное, насчет дел брата, лесов, продажи их. Она за себя не боится, пока сестра жива. Может быть, та и насчет Сани что подумала.

Шаги землемера стихли в липовой аллее. Саня прошлась взад и вперед по беседке и потом, подойдя к тете, взяла ее за голову и несколько раз поцеловала.

– Тетя! Дуся! Какой он славный! Ведь да?

– Кто, душка? Николай Никанорыч?

– Да... Прелесть... Да?

– На что еще лучше!

Толстуха подмигнула.

– А он тебе, поди, чего наговорил... там... внизу?

Саня начала краснеть.

– Может... и дальше пошло? Вон как вспыхнула, дурочка... ну, чего тут! Дело молодое... И такой мужчина. Хе-хе!

– Он милый, милый!

Саня поцеловала тетку в плечо и выбежала из беседки. Ей захотелось бегать совсем по-детски. Она пробежала по аллее, вплоть до загиба – и по второй, и по третьей – по всему четырехугольнику, и спустилась опять вниз, к тому дубку, где они сейчас сидели.

Какой прелестный дубок! Такого нет другого во всем парке. Точно он весь дышит. Листики нежные, только что распустились, тихо переливаются от чуть приметного ветерка. Пахнут ландышами. Где-нибудь они уже цветут.

Она проникла в чащу, стала искать, нашла одну былинку с крошечными колокольчиками ландыша, сорвала ее и приблизила к розовым трепетным ноздрям.

Что за милое благоухание! Она обожает духи всякие. А весной, на воздухе, тонкий дух цветка, особенно такого, как ландыш!

Вот когда бы сесть в лодку и все плыть, плыть так до ночи...

Надо сказать, когда вернется папа, что пора приготовить лодку. Стало тепло. Она не боится разлива. Она ничего не боится с ним. Вот он теперь сидит у тетки Павлы. Они говорят о ней, – наверно, о ней.



Саня подошла опять к дубку и опустилась уже прямо на траву – Николай Никанорыч унес с собой плед.

Да, они говорят о ней. Тетка сначала его немножко поязвит, а потом спросит: „Какие у вас намерения насчет моей племянницы?“ А он ответит: „Мои намерения самые благородные. Александра Ивановна мне нравится“. Он может сказать: „Мы нравимся друг другу“.

И придет папа; тетка Павла все ему скажет: Николай Никанорыч – нужный человек... ученый таксатор. Дворянин ли он? Все равно. Папа женился же на маме, а она была дочь мелкого уездного чиновника. Вот они жених с невестой – и можно будет целоваться, целоваться без конца.

## VII

У сухоручки Первач сидел больше часа и вышел от нее как раз в ту минуту, когда к крыльцу подъехал тарантас. Из города вернулся Иван Захарыч и прошел прямо к себе.

Его лакея, Прохора, Первач окликнул, проходя залой, и сказал ему:

– Ежели Иван Захарыч меня будет спрашивать, я во флигель иду, а потом, к чаю, вернусь.

Прохор – бледнолицый, ленивый малый, лет за тридцать, опрятно одетый в синий сюртук, – доложил об этом барину, войдя в кабинет.

Иван Захарыч только что собрался умываться, что делал

всегда один, без помощи прислуги. Он стоял посредине обширного кабинета, с альковом, и расстегивал свою дорожную куртку зеленого сукна с бронзовыми пуговицами.

Роста он был очень большого, вершков десяти с лишком, худощавый, узкий в плечах, с очень маленькой круглой головой, белокурый. Мелкие черты завялого лица не шли к такому росту. Он носил жидкие усики и брил бороду. Рот с плохими зубами ущемлялся в постоянную кислотоватую усмешку. Плоские редкие волосы он разделял на, лбу прямым пробором и зачесывал на височках. Голову держал он высоко, немного закидывая, и ходил почти не сгибая колен.

– Попроси Николая Никанорыча сюда... так, минут через двадцать.

– Слушаю-с!

Проخور вышел. Иван Захарыч снял дорожную куртку и повесил ее в шкаф. Он был франтоват и чистоплотен. Кабинет по отделке совсем не походил на другие комнаты дома: ковер, дорогие обои, огромный письменный стол, триповая мебель, хорошие гравюры в черных нарядных рамках. На одной стене висело несколько ружей и кинжалов, с лисьей шкурой посредине. В глубине алькова стояла кровать – бронзовая, с голубым атласным одеялом.

Умывался он долго и шумно. Два мохнатых полотенца висели на штативах, над умывальником с педалью, выписанным из Москвы, с мраморной доской. Так же долго вытирал он лицо и руки, засученные до локтей.

На лбу – крутом, низком, обтянутом желтеющей кожей – держалась крупная морщина. Бесцветные желтоватые глаза его озабоченно хмурились.

Иван Захарыч вернулся из города сам не свой. Другой бы на его месте стал швырять чем ни попало или придирааться к прислуге. Он себе этого не позволит. Он – Черносошный, обязан себя сдерживать во всех обстоятельствах жизни. Горячиться и ругаться – на это много теперь всякой разночинской дряни. Он – Черносошный!

Дела идут скверно. И с каждым годом все хуже. Думал он заложить лесную дачу. Банк оценил ее слишком низко. Но денег теперь нет нигде. Купчишки сжались; а больше у кого же искать? Сроки платежа процентов по обоим имениям совпадали в конце июня. А платить нечем. До сих пор ему устраивали рассрочки. В банке свой брат – дворянин. И директор – председатель, и двое других – его товарищи.

Но там что-то неладно. В городе заехал он к предводителю, своему дальнему родственнику и даже однополчанину, – только тот его моложе лет на десять, ему пошел сорок второй год, – выбранному после него два года назад, когда Иван Захарыч сам отказался наотрез служить третье трехлетие, хотя ему и хотелось получить орден или статского советника. Дела тогда сильно покачнулись. Почет-почетом; но разорение – хуже всего.

Предводителя он нашел в сильном расстройстве. Он получил известие, что в банке обнаружен подлог, и на сумму в

несколько десятков тысяч. Дело дошло до прокурора. Поговаривают, что один из директоров не отвертится. И не одно это. По двум имениям, назначенным в продажу, ссуда оказалась вдвое больше стоимости. Оба имения – двоюродного брата старшего директора. В газетах – даже в столичных – появились обличительные корреспонденции – „этих бы писак всех перевешать!“ – и неизбежно созвание экстренного съезда дворян, – банк их сословное учреждение. В городе началась паника, вкладчики кинулись брать назад свои деньги с текущих счетов и по долгосрочным билетам, по которым банк платит шесть процентов. Нечего и думать выхлопотать отсрочку. Довольно и того, что по обоим имениям оценка была сделана очень высокая. Тогда Иван Захарыч служил предводителем, и один из директоров был с ним на „ты“, учился вместе в гимназии.

Но вся эта передрыга в банке прямо не касается его родственника. А между тем тот точно сам попался. У него имение заложено – „да у кого есть незаложенное имение?“ – но давным-давно, еще отцом его, в одном из столичных банков; а недавно он, получив добавочную сумму, перезаложил его в дворянский центральный банк. И эти деньги он уже прожил. Живет он чересчур шибко, с тех пор как связался с этой бабенкой, бывшей женой акцизного чиновника. Он ее развел, мужу-„подлецу“ заплатил отступного чуть не сорок тысяч; развод с венчанием обошелся ему тысяч в десять, если не больше. За границу она его увезла; целых полгода они там

путались, в рулетку играли. Франтиха она самая отчаянная. По три дюжины у нее всего нижнего белья и обуви, и все шелковое, с кружевами; какого цвета рубашка, такого и чулки, и юбка. Даром что бывшая жена акцизного, а смотрит настоящей французской кокеткой. И вот, с самого своего предводительства, третий год он с ней так мотает. В Москву ездят чуть не каждый месяц, и непременно в „Славянском Базаре“ отделение берут. В уездном городишке умудряются прожить на одно хозяйство больше пятисот рублей в месяц.

Он был прежде председателем управы. И когда сдавал должность, оказалась передержка. Тогда дело замяли, дали ему время внести в несколько сроков. Теперь в опеке завелись сиротские и разные другие деньги. Иван Захарыч сдал ему сполна больше двадцати тысяч, и с тех пор стало известно, что по двум имениям, находящимся в пожизненном пользовании жены, хранятся процентные бумаги от выкупов, которые состоялись поздно – уже после того, как он ушел из предводителей. Кажется, тысяч на тридцать, если не больше.

Когда родственник его, теперешний предводитель, начал ему намекать на „тиски“, в какие может попасть, Иван Захарыч сейчас же подумал: „уж не запустил ли лапу в сундук опеки?“ Может ли он отвечать за него? По совести – нет. Да и не за него одного... Ведь и директора банка – тоже дворяне, пользовались общим доверием, как себя благородно держали... А теперь вон каких дел натворили!..

Иван Захарыч считал себя выше подобных недворянских

поступков. Этим он постоянно преисполнен. Если при залоге имений он добился высокой оценки, то все же они стоят этих денег, хотя бы при продаже с аукциона и не дали такой цены. Он в долгу у обеих сестер, и ему представляется довольно смутно, чем он обеспечит их, случись с ним беда, допусти он до продажи обоих имений. Конечно, должны получиться лишки... А если не найдется хорошего покупателя?

Ему всегда кажется, что, как бы он ни принужден был поступить, все-таки он останется благородным человеком, представителем рода Черносошных – последним в роде, мужского пола... У него, кроме Сани, две незаконных дочери. Если б он даже и женился на их матери и выхлопотал им дворянские права, они – девочки. Будь хоть один мальчик – он бы женился. Они с матерью обеспечены, хоть и небольшим капиталом.

А Саня?

Но Саня – не его дочь. Он давно помирился с тем, что его жена изменила ему. У него в столе лежат письма того „мусьяка“, очутившиеся в руках сестры Павлы, которая ему и доказала, что покойная жена не заслуживала памяти честной женщины. Он не мстит Сане за вину матери, но и не любит ее, на что имеет полное право. Выдать ее поскорее замуж! Приданого тысяч десять... Родовых прав у нее никаких нет. Ее мать была бедная пепиньерка.

Десять тысяч – не малые деньги, по нынешнему времени, даже и для барышни из хорошего дома; да ведь и их на-

до припасти. Вместе с долгом обеим сестрам, по сохранным распискам, ему придется заплатить кругленькую цифру чуть не в пятьдесят тысяч.

Продажа лесной дачи даст больше, но на охотника. Он думал было занять у предводителя, а тот начал сам просить займы хоть тысячу рублей, чтобы поехать в губернский город и там заткнуть кому-то „глотку“, чтобы не плели „всяких пакостных сплетен“.

Иван Захарович все живее и живее чувствовал, что он близок к краху, и не один он, а все почти, подобные ему, люди. Но обвинять себя он не мог. Жил, как пристойно дворянину, не пьяница, не картежник. Есть семейство с левой стороны, – так он овдовел молодым, и все это прилично, на стороне, а не дома.

Ему было себя ужасно жаль. Не он виноват, а проклятое время. Дворяне несут крест... Теперь надумали поднимать сословие... Поздно локти кусать. Нельзя уже остановить всеобщее разорение. Ничего другого и не остается, как хапать, производить растраты и подлоги. Только он, простофиля, соблюдал себя и дожил до того, что не может заплатить процентов и рискует потерять две прекрасные вотчины ни за понюшку табаку!

И все-таки он не изменяет себе ни в обхождении, ни чувстве своего дворянского превосходства, не ругается, не жалуется, не куксит. Это – ниже его.

Придется пустить себе в лоб пулю – он это сделает с до-

стоинством. Но до такого конца зря он себя не допустит.

## VIII

Иван Захарович надел домашнюю „тужурку“ – светло–серую с голубым ободком, – сел в кресла и стал просматривать какие-то бумаги.

– Можно? – окликнул Первач в полуотворенную дверь.

Он тоже переоделся в черный сюртук.

– Войдите, войдите, Николай Никанорыч! Весьма рад!

На таксатора Иван Захарович возлагал особенные надежды. Да и сестра Павла уже говорила, что следует с ним хорошенько столкнуться – повести дело начистоту, предложить ему „здоровую“ комиссию.

– А я сейчас от Павлы Захаровны, – сказал Первач, подавая руку.

– Это хорошо. Она мои обстоятельства прекрасно знает.

Речистостью Иван Захарович не отличался. Всякий деловой разговор стоил ему не малых усилий.

– Павла Захаровна – особа большого ума... и ваши интересы превосходно понимает.

– И что же?... Стало быть?..

– Она того мнения, что лесную дачу и усадьбу с парком надо продать безотлагательно.

– Легко сказать... Цены упадут. Вот и Низовьев продает.

– Его лес больше, но хуже вашего, Иван Захарыч. И те-



перь, после надлежащей таксации, производимой мною...

– Все это так, Николай Никанорыч. Но я от вас не скрою...

Платеж процентов по обоим имениям может поставить меня...

– Понимаю!.. Видите, Иван Захарыч... – Первач стал медленно потирать руки, – по пословице: голенький – ох, а за голеньким – Бог... Дачу свою Низовьев, – я уже это сообщил и сестрице вашей, – продает новой компании... Ее представитель – некий Теркин. Вряд ли он очень много смыслит. Аферист на все руки... И писали мне, что он сам мечтает попасть поскорее в помещики... Чуть ли он не из крестьян. Очень может быть, что ему ваша усадьба с таким парком понравится. На них вы ему сделаете уступку с переводом долга.

– Тяжело будет расстаться с этой усадьбой. Она перешла в род Черносошных...

– Понимаю, Иван Захарыч. Зато на лесной даче он может дать по самой высшей оценке.

– Хорошо, если бы вы...

– Я не говорю, что мне удастся непременно попасть на службу компании, но есть шансы, и весьма серьезные.

– Ах, хорошо бы!.. Будьте уверены, я с своей стороны...

У Ивана Захаровича не хватило духа досказать. Это была сделка... Пускай за него сторгуется сестра Павла.

Первач опустил ресницы своих красивых глаз. Он уже выслушал от Павлы Захаровны намеки на то, что вместе с хорошей комиссией можно получить и руку ее племянницы.

„Сухоручка“ дала ему понять и то, что будь Саня любимая дочь и племянница Ивана Захарыча и ее, Павлы Захаровны, ему, землемеру, хоть и ученому, нечего было бы и мечтать о ней... Но это его не восхитило... За Санечкой дадут какую-нибудь малость... И кто их знает, – они, быть может, эти старые девы, ловят его, и наливочкой подпаивают, и сквозь пальцы смотрят на то, как барышня начинает с ним амуриться... Другое дело, если он выговорит себе порядочный куш при продаже лесной дачи... по крайней мере тысяч в десять. Да и это не очень-то соблазнительно... Женись, накладывай на себя ярмо, девочка – глупенькая, через три-четыре года раздобрет, народит детей – и возись со всей этой детворой!

Все это Первач сообразил прежде, чем пришел сюда. Но он не желал выставлять себя „лодырем“.

– Позвольте вам заметить, Иван Захарыч, – заговорил он, меняя тон, – что у каждого человека есть своя присяга. Я – по совести – считаю вашу лесную дачу хоть и вдесятеро меньше, чем у Низовьева, моего главного патрона в настоящую минуту, но по качеству выше. И оценка ей сделана была очень низкая при проекте залога в банк.

– Еще бы! – вырвалось у Ивана Захарыча.

– Но я не могу же не способствовать продаже низовьевской дачи... тем более что у них с компанией все уже на мази...

– Я и не требую! Помилуйте!

– Другое дело – захотить представителя компании, этого

Теркина. Если же ему самому приглянется и ваша усадьба с парком, то надо будет на этом особенно поиграть. Вряд ли у него есть свои большие деньги. Разгорятся у него глаза на усадьбу – мой совет: продать ему как можно сходнее.

– Такую усадьбу! Николай Никанорыч! Родовая вотчина... И парк!.. Знаете, тяжело... Всякий дворянин...

– Понятное дело! Но ведь вы можете лишиться ее за бесценок... Из-за недоимок банку!

– Я как-нибудь...

Иван Захарыч чувствовал, что говорит на ветер, что кредиту у него нет, что он и не имеет права надеяться...

– Положим... Вы извернетесь... За оба имения вам – позвольте узнать – сколько приходится платить в год?

Иван Захарыч сказал цифру.

– Деньги не особенно большие; но надо их добыть.

– Да, да, – повторил Иван Захарыч.

Его обычная кисловатая усмешка не исчезла с губ; но головы он уже не держал так высоко.

– Душевно рад бы был и в этом оказать вам содействие, многоуважаемый Иван Захарыч...

В голове Первача мелькнуло соображение: „пожалуй, и за таксаторскую работу ничего не заплатит этот гусь, так поневоле придется его выручить“.

– Душевно рад был бы, – повторил он после маленькой паузы. – Положим, у того же Низовьева я мог бы, в виде личного одолжения...

Иван Захарыч начал краснеть. Этаким „шмерц“, землемеришка, а говорит с ним, Чернососошным, точно начальник с просителем, хоть и в почтительном тоне... Нечего делать... Такие времена! Надо терпеть!

– В виде личного одолжения, – повторил он фразу Первача.

– Достать эту сумму... Но эти богачи – хуже нашего брата, трудового человека... Очень может быть, что вот он придет и перед миллионной сделкой у него в бумажнике – какая-нибудь тысчонка рублей.

– Очень может быть! – повторил Иван Захарыч.

На его низком крутом лбу стал выступать пот. Разговор уже тяготил его, давил ему виски.

– Но предположим, – продолжал Первач, замедляя свою дикцию и затянувшись длинной струей дыма, – предположим, что мы добудем эти деньги...

„Мы, – повторил мысленно Иван Захарыч, – вон как поговаривает... Времена такие!..“

– Ваша сестрица Павла Захаровна весьма резонно замечает, что это была бы только отсрочка... краха...

„Вон какие слова употребляет! Крах!.. И терпи!“ – подумал Иван Захарыч.

– Извините... я называю крахом...

– Да, да, нынешнее слово, я знаю...

– Слово настоящее, Иван Захарыч. Зачем же доводить себя?

– Конечно, конечно.

– Момент наступает самый для вас благоприятный. Надо его ловить!.. Без ложной скромности скажу – мое посредничество...

– Я понимаю, я чувствую, Николай Никанорыч.

– Только вы мне не мешайте. Следует половчее подойти к этому Теркину. Я не скрою – мой личный интерес тут тоже замешан, но для вас это еще важнее.

– Совершенно верно.

– Работа моя по вашей даче будет кончена много-много через три-четыре дня... На днях же прибудет в Заводное и Теркин.

– Этот агент?

– Не агент, Иван Захарыч, а главный воротила компании. Но я еще не кончил... Сообразите: ежели вы упустите момент...

Раздался сдержанный вздох Ивана Захарыча.

– Крах неизбежен... Дошли до вас слухи о том, каких дел наделали директора банка?.. Я сегодня утром слышал... Вы ведь были в городе... Там, наверно, знают...

– Дурные слухи... Но ведь, знаете, на дворянство везде клеветают.

– Полно, так ли?

Острые глаза Первача остановились на Иване Захарыче.

– Поговаривают, что и здешний предводитель... Вы извините... Он, кажется, ваш родственник?

– Дальний!

– Вы к нему заезжали?

– Как же.

– Ну, разумеется, он скрывает?

– Не знаю.

Ивану Захарычу делалось невмоготу.

– Стало быть, если не компания, крах неизбежен, заключил Первач. – Банк может прекратить платежи, имущества упадут, вы загубите и усадьбу с парком, и лесную дачу за какую-нибудь презренную недоимку.

Дверь отворилась с жидким скрипом. Прохор просунул голову и доложил:

– Барышня Павла Захаровна просят кушать чай.

– Тиски! Тиски! – почти крикнул Иван Захарыч, вскочил с кресел и отер лоб платком. Лоб весь был влажный.

„Краш!“ – выговорил он про себя и почувствовал холод в коленях.

## IX

Половодье проникло к самому частоколу одной из двух церквей села Заводного.

Пономарь лениво звонил к вечерне, когда в ограду вошел рослый барин, в синем пальто и низкой поярковой шляпе.

Это был Теркин.

Он не постарел, но похудел в лице, держался не так прямо,

как в прошлом году, и бороду запустил.

Сегодня утром приехал он в Заводное и осматривал лесную дачу помещика Низовьева. С ним он должен был видаться в уездном городе – верстах в пятнадцати от берега, по старой московской дороге.

Пономарь звонил внизу, около паперти колокольни, и тянул за веревку, стоя одной ногой на ступеньке, – старый пономарь, с косицей седеющих волос, без шапки, в нанковом подряснике.

Он остановился и спросил Теркина:

– Вам – батюшку?

– Нет, я бы хотел на колокольню.

– На колокольню? – переспросил пономарь.

Теркин вместо ответа сунул старику рублевую бумажку. Тот совсем бросил веревку и засуетился.

– На разлив поглядеть желаете? Это точно... Вид превосходный.

И он засуетился.

– Вы, любезнейший, делайте свое дела. Я один подымусь...

Бодрым, молодым движением Теркин юркнул в дверку и поднялся наверх. Пономарь продолжал звонить, засунув бумажку в карман своих штанов. Он поглядывал наверх и спрашивал себя: кто может быть этот заезжий господин, пожелавший лезть на колокольню? Из чиновников? Или из помещиков?.. Такого он еще не видал. Да в село и не заезжа-

ют господа. Купцы бывают, прасолы, скупщики меда, кож, льну... Село торговое... Только этот господин не смотрит простым купцом. Надо будет сказать батюшке. А он еще не приходил...

На колокольне Теркин стал в пролете, выходявшем на реку... Немного правее зеленел парк усадьбы Черносошных, и крыша дома отделялась темно-красной полосой. Он вынул из кармана пальто небольшой бинокль и долго смотрел туда.

Сколько лет утекло с того дня, когда он, впервые, мальчуганом, попал с отцом в Заводное и с этой самой колокольни любовался парком барской усадьбы, мечтал, как о сказочном благополучии, обладать такой усадьбой! Барского дома он и тогда не видал как следует, но воображал себе, что там, позади парка, роскошные палаты. До боли в висках любовался он усадьбой, и вот судьба привела его сюда же главным воротилой большой компании, скупающей леса у помещиков. Он – душа этого дела. Его идея – оградить от хищничества лесные богатства Волги, держаться строго рациональных приемов хозяйства, учредить „заказники“, заняться в других, уже обезлесенных местах системой правильного лесонасаждения.

Судьба!.. И этот парк, восхищавший его в детстве, уцелел, точно на диво, чтобы сделаться его собственностью. Ему уже писал таксатор, нанятый Низовьевым – главным продавцом в здешнем крае, – что усадьбу Заводного с парком можно приобрести на самых выгодных условиях. Этот таксатор, ви-



димом, желает поступить на службу компании. Они должны видаться в городе. Нарочно приехал он двумя днями раньше, чем назначил, взяв с собою своего верного человека – практика-лесоведа. Они осмотрели сегодня дачу Низовьева. Таксаторская работа произведена толково и даже с разными нынешними „штучками“. Есть, однако, немало беспорядочных порубок. Тот же таксатор писал ему, что у владельца усадьбы с парком лесная дача тоже продается. Если она стоящая, можно ее пристегнуть к даче Низовьева.

А усадьба с парком?

Теркин разглядывал в бинокль очертания парка, лужайки и купы деревьев, с нежной зеленью и кое-где еще полуголыми ветвями... Его начала разбирать такая же охота владеть всем этим, как и в детстве, когда он влезал на ту же колокольню, или „каланчу“, как он выражался по-кладенецки. Он может действовать по своему усмотрению – купить и усадьбу с парком, сделать их центром местного управления, проводить здесь часть лета... И когда захочет, через два-три года компания уступит ему в полную собственность. Цену он даст настоящую.

Все осуществимо! И чувство удачи и силы никогда еще не наполняло его, как теперь, вот на этой колокольне. Ему самому не верится, что в каких-нибудь два года он – в миллионных делах, хоть и не на свой собственный капитал. Начал с одного парохода, завел дело на Каспийском море, а теперь перемахнул на верховья Волги, сплотил несколько денежных

тузов и без всякого почти труда проводит в жизнь свою заветную мечту. И совесть его чиста. Он не для „кубышки“ работает, а для общенародного дела. С тех пор как деньги плывут к нему, он к ним все равнодушнее – это несомненно. Прежде он любил их, – по крайней мере ему казалось так, теперь они – только средство, а уж никак не цель... Пачки сторублевок, когда он считает их, не дают ему никакого ощущения – точно перелистывает книжку с белыми страницами.

Глаза утомились глядеть в бинокль. Теркин положил его в футляр и еще постоял у того же пролета колокольни. За рекой парк манил его к себе, даже в теперешнем запущенном виде... Судьба и тут работала на него. Выходит так, что владелец сам желает продать свою усадьбу. Значит, „приспичило“. История известная... Дворяне-помещики и в этом лесном углу спустят скупщикам свои родовые дачи, усадьбы забросят... Не одна неумелость губит их, а „распушта“.

Теркин опять употребил мысленно свое слово, переделанное им на русский лад и подслушанное у одного инженера-поляка.

Повально воруют везде: в банях, опеках, земских управах, где только можно, без стыда и удержу. Как раз он – из губернского города, где собирается крупный скандал: в банке проворовались господа директора, доверенные люди целой губернии – и паника растет; все кинулись вынимать свои вклады. У кого есть еще что спускать, бессмысленно и так же бесстыдно расхищают, как этот Низовьев, стареющий же-

нолюбец, у которого Париж не оставит под конец жизни ни одной десятины леса.

Разве он, Теркин, не благое дело делает, что выхватывает из таких рук общенародное достояние? Без воды да без леса Поволжье на сотни и тысячи верст в длину и ширину обнищает в каких-нибудь десять– двадцать лет. Это не кулачество, не спекуляция, а „миссия“! И она питает его душу. Иначе приходилось бы чересчур уж одиноко стоять среди всей этой, хотя бы и кипучей, деловой жизни.

Сердце, молодая еще кровь, воображение, потребность женской ласки – точно замерли в нем. За целый год был ли он хоть единожды, с глазу на глаз, в увлекательной беседе с молодой красивой женщиной?.. Ни единого раза... Не лучше ли так?

Теркин опустил голову. На колокольне было тихо. Пономарь отзвонил. В церковь давно уже прошел священник. Народ собирался к службе полегоньку.

Медленно спустился он по крутой лесенке, но с паперти в церковь не зашел. Ему пора было ехать в город. Он остановился у приказчика, заведующего лесным промыслом помещика Низовьева и сплавом плотов вниз по Волге, к городу Васильсурску, куда съезжаются каждый год в полую воду крупные лесохозяева. Оттуда и ждали Низовьева завтра или послезавтра.

Село Заводное немного напоминало Теркину его родной Кладенец видом построек, базарной площадью и церквями;

но положение его было плоское, на луговом берегу. К северу от него тянулись леса, еще не истребленные скупщиками, на сотню верст. Когда-то там водились скиты... В самом селе не было раскольников.

На улице стояла послеобеденная тишь.

Приказчик Низовьева занимал чистенький домик, на выезде. Он до обеда уехал в город – приготовить квартиру, где и Теркин должен был остановиться, вместе с Низовьевым. От него узнал он, что предводителем в уезде – Петр Аполосович Зверев.

„Да это – наш Петька!“ – сообразил Теркин, но не сказал, что они – товарищи по гимназии.

Внезапной встрече с своим участником в школьной истории с учителями он не очень обрадовался и не смутился ею: все это было уже так далеко! Он вспомнил только угрозу Звереву, если тот ничего не сделает для его названного отца, когда они бросили жребий... Ивана Прокофьева и старуху его он прокормил на свои деньги и ни к кому не обратился за помощью. И сам не погиб! „Петька“, вероятно, такая же тупица, какую был и в гимназии. Положению его он не завидовал. Наверно и у него найдется что-нибудь продажное; мирволить он ему не станет, не будет ему выказывать и никаких аттенций. Со всеми местными властями он держит себя суховато, не допускает никакого запанибратства.

## Х

Тарантас покачивал свой широкий валкий кузов, настоящий купеческий тарантас, какие сохранились еще везде, где надо ездить по старым большим дорогам и проселкам.

Ехать было довольно мягко, без пыли – от недавнего дождя, по глинистому грунту. Наезженная колея держалась около одного края широчайшего полотна, вплоть у берез; за ними шла тропка для пешеходов. Солнце только что село. Свежесть все прибывала в воздухе.

Теркина везла тройка обывательских на крупных рысях. Рядом с ямщиком, в верблюжьем зипуне и шляпе „гречушником“, торчала маленькая широкоплечая фигура карлика Чурилина. Он повсюду ездил с Василием Ивановичем – в самые дальние места, и весьма гордился этим. Чурилин сдвинул шапку на затылок, и уши его торчали в разные стороны, точно у татарчонка. В дорогу он неизменно надевал вязаную синюю фуфайку, какие носят дворники, поверх жилета, и внакидку старое пальто.

В тарантасе надо было лежать на сене, покрытом попоной, с дорожными подушками за спиной.

– Антон Пантелеич! – окликнул Теркин своего спутника.

– Ась?

Тот, задумчиво смотревший в другую сторону, повернул к нему свое лицо, круглое, немного пухлое, молоджавое ли-

цо человека, которому сильно за сорок, красноватое, с плохо растущей бородкой. На голове была фуражка из синего сукна. Тень козырька падала на узкие серые глаза, добрые и высматривающие, и на короткий мясистый нос, с маленьким раздвоением на кончике.

Антон Пантелеич Хрящев сидел, подавшись несколько вперед, в аккуратно застегнутом, опрятном драповом пальто, без перчаток. Его можно было, всего скорее, принять за управляющего. Немного сутуловатый и полный в туловище, он был на целую голову ниже Теркина.

– Посмотрите-ка... Удивительно, как это березы по сие время уцелели.

– Действительно, Василий Иваныч. И не здесь только, а и в полустепных губерниях – в Тамбовской, в Орловской. И там еще ракиты на перевелись по старым дорогам.

Хрящев говорил жидковатым хриплым тенорком, придыхая на особый лад, чрезвычайно мягко и осторожно. Сегодняшний осмотр лесной дачи помещика Низовьева показал Теркину, что он приобрел в этом лесоводе отличного практика и вдобавок характерного русака, к которому он начал присматриваться с особенным интересом.

Хрящева ему рекомендовали в Москве. Он учился когда-то в тамошней сельскохозяйственной школе, ходил в управляющих больше двадцати лет, знал землемерную часть, мог вести и винокуренный завод, но льнул больше всего к лесоводству; был вдов и бездетен.

Между ними сразу установили связь их симпатия к лесу и ненависть к расхищению лесных богатств. Когда Теркин окликнул Антона Пантелеича, тот собирался высказать свое душевное довольство, что вот и ему привелось попасть к человеку „с понятием“ и „с благородством в помышлениях“, при „большой быстроте хозяйственного соображения“.

Он любил выражаться литературно, книжки читал по зимам в большом количестве и тайно пописывал стихи в „обличительном“ и „философическом роде“.

– Василий Иваныч, – вдруг заговорил он, повернувшись всем туловищем к Теркину, – позвольте мне отблагодарить вас за сегодняшний день...

– В каких же смыслах, Антон Пантелеич? – ответил шутливо Теркин.

– Объезжая с вами дачу господина Низовьева, я в первый раз во всю мою жизнь не скорбел, глядя на вековой бор, на всех этих маститых старцев, возносящих свои вершины...

– Любите фигурно выражаться, Антон Пантелеич! – перебил Теркин и ударил его по плечу.

Хрящев потупил глаза, немного сконфузившись.

– Прошу великодушно извинения... Я чудаковат, – это точно; но не заношусь, не считаю себя выше того, что я собою представляю. С вами, Василий Иваныч, если разрешите, я буду всегда нараспашку; вы поймете и не осудите... Разве я не прав, что передо мною... как бы это выразиться... некоторая эмблема явилась?

– Эмблема?

– А как же-с? Продавец – прирожденный барин, а покупатель – вы, человек, сам себя сделавший, так сказать, радетель за идею, настоящий патриот... И родом вы из крестьянского звания – вы изволили это мне сами сообщить, и не затем, чтобы этим кичиться... Эмблема-с... Там – неосмысленное и преступное хищение; здесь – охрана родного достояния! Эмблема!

– Эмблема! – повторил Теркин и тихо рассмеялся.

Излияния Антона Пантелеича он не мог счесть грубой лезью. Сквозь сладковатые звуки его говора и книжные обороты речи проглядывала несомненная искренность. И чудакость его нравилась ему. В ней было что-то и стародавнее, и новейшее, отзывавшее „умными“ книжками и обращением с „идейными“ людьми.

– Некоторое преобразование, Василий Иваныч! Изменяют земле господа вотчинники. Потомки предков своих не почитают...

– И предки-то были тоже сахара-медовичи...

– Все конечно. В тех пребывало этакое чувство... как бы сказать... служилое... Рабами возделывали землю, – это точно; но, между прочим, округляли свои угодья, из рода зря не выпускали ни одной пустоши, ни одного лесного урочища. И службу царскую несли.

– Кормилась знатно на воеводствах!

– Ходили тоже и на войну... Даром-то поместий в те поры



не давали. Этакое лесное богатство, хоть бы у того же самого господина Низовьева... И вырубать его без пощады... все равно что первый попавшийся Колупаев...

– Щедрина почитывали? – спросил Теркин.

– Есть тот грешок... И ежели господин Низовьев ученого таксатора пригласил, то, видимое дело, для того лишь, чтобы товар с казового конца показать...

– А вы как находите, Антон Пантелеич, – перебил Теркин тоном хозяина, – нужно нам таксатора брать или обойдемся и без него?

Спросил он это не без задней мысли.

Хрящев поглядел на него из-под козырька своего картуза, сложил на животе пухлые руки, еще не успевшие загореть, и, поведя плечами, выговорил:

– Полагаю.

– Работа у этого Первача, – продолжал Теркин, довольно чистая, но что-то он чересчур во все суется и норовит маклачить.

– К приварку – не в виде мяса, а презренного металла – ныне все получили пристрастие... Уж не знаю, кого вы возьмете на службу компании, Василий Иваныч, только специалиста все-таки не мешает... Про себя скажу – кое-чему я, путем практики, научился и жизнь российских лесных пространств чую и умом, и сердцем... Но никогда я не позволю себе против высшей науки бунтовать.

Теркин улыбнулся ему одобрительно.

– Посмотрим... Коли окажется не очень жуликоват...

Он не досказал, вдохнул в себя струю засвежевшего весеннего воздуха, потрепал Хрящева по плечу и засмеялся.

– Антон Пантелеич!.. Смотрю я на вас, слушаю... и не могу определить – в каком вы, собственно, быту родились... А, кажется, не мало всякого народа встречал, особенно делового и промыслового.

Лицо Хрящева растянула вширь улыбка, и он показал редкие, точно детские зубы.

– В каком быту-с? По сладости речи ужели не изволите распознавать во мне косвенного представителя левитова колена?

– Духовного звания вы?

– По матушке. Она была из поповен деревенских... Отец происходил из рабского состояния.

– Из крепостных?

– Вольноотпущенный, мальчиком в дворовых писарях обучался, потом был взят в земские, потом вел дело и в управителях умер... Матушка мне голос и речь свою передала и склонность к телесной дебелисти... Обликом я в отца... Хотя матушка и считала себя, в некотором роде, белой кости, а батюшку от Хама производила, но я, грешный человек, к левитову колену никогда ни пристрастия, ни большого респекта не имел.

– Так мы с вами в одних чувствах, – сказал Теркин и еще ласковее поглядел на Хрящева.

– Знаю их жизнь достаточно... все их тяготы и нужды... Провидению угодно было и мою судьбу на долгие годы соединить с девицей того же колена.

– Ваша покойная жена...

– Так точно... В управительском звании это всего скорее может быть. Выбор-то какой же в деревне? Поповны везде есть... Моя супруга была всего дьяконская дочь... В ней никаких таких аристократических чувств не имелось. И меня она от Хама не производила, хотя и знала, что я – сын вольноотпущенного.

Он на минуту смолк и отвернулся.

– Что ж?.. Прожили... как дай Бог всякому... А что бездетны были – не ее вина... Я теперь бобыль. И утешение нахожу в созерцании, Василий Иваныч... Вот почему и к лесу моя склонность все растет с каждым годом.

Еще раз потрепал его по плечу Теркин, лег головой на подушки и вытянул ноги.

Тарантас спустился с дороги в лощину. Левее, на пригорке, забелела колокольня. Пошли заборы... Переехали мост и стали подниматься мимо каких-то амбаров, а минут через пять въехали на площадь, похожую на поляну, обстроенную обывательскими домиками... Кое-где в окнах уже замелькали огоньки.

## XI

Чурилин вкатился и у двери доложил:

– Приказали кланяться и благодарить... Очень рады. При-  
слали пролетку. Сами хотели ехать, да у них нога ушибле-  
на, – не выезжают.

Теркин сидел у стола за самоваром, вместе с Хрящевым, в первой, просторной комнате квартиры, нанятой приказчи-  
ком Низовьева, уехавшим рано утром встречать его на бли-  
жайшую пароходную пристань. Для всех места хватило. Вдо-  
ва-чиновница отдавала весь свой домик; сама перебиралась  
в кухню.

Чурилин вернулся от предводителя Зверева. Теркин, на-  
кануне перед тем, как лечь спать, рассудил это сделать. Этот  
„Петька“ был все же его товарищ. Может, он теперь – боль-  
шая дрянь, но следовало оказать ему внимание, как местно-  
му предводителю.

– Что ж, он лежит?

– Я сам не видал их, Василий Иваныч, они с человеком  
высылали сказать.

Обернувшись к Хрящеву, пившему чай с блюдечка, Тер-  
кин сказал вполголоса:

– Товарищ мой по гимназии... Здешний предводитель.

– Прикажете приготовить одеться? – спросил Чурилин.

– Приготовь.

Карлик вынырнул в дверь.

Хрящеву Теркин охотно бы рассказал в другое время про свои школьные годы. С ним ему удобно и легко. Такого „со-зерцателя“ можно приблизить к себе, не рискуя, что он „за-знается“.

– Антон Пантелеич! Вы продолжайте пить чай с прохладцей, – сказал он, вставая, – а я оденусь и поеду. К обеду должен быть Низовьев, и подъедет господин Первач... Вот целый день и уйдет на них. Завтра мы отправимся вместе в имение того помещика... как бишь его... Черносошного... владельца усадьбы и парка.

– К вашим услугам, – кротко выговорил Хрящев и неторопливо стал обмывать блюдечко в полоскательной чашке.

„Может, и врет Зверев, – думал Теркин, одеваясь в другой комнате, – сказывается больным, соблюдает свое предводительство... Увидим!“

Пролетка ждала его на дворе у крыльца. Извозчиков в городе не было; но ему не очень понравился этот вид любезности. От „Петьки“ он не желал вообще ничем одолжаться. Чувство гимназиста из мужицких приемышей всплыло в нем гораздо ярче, чем он ожидал.

Записку Звереву он написал сдержанно, хотя и на „ты“; сказал в ней, что желательно было бы повидаться после десяти с лишком лет, и не скрыл своего теперешнего положения – главного представителя лесной компании.

„С таких, как Петька, – думал он дорогой, – надо сразу

сбивать форс; а то они сейчас начнут фордыбачить“.

Зверев занимал просторный дом на углу двух переулков, немощеных, как и весь остальной город.

Теркина встретил в передней, со старинным ларем, мальчик в сером лакейском полуфрачке, провел его в гостиную и пошел докладывать барину.

– Прости! Прости! – раздался из третьей угловой комнаты голос, который Теркин сейчас же узнал.

Та же шепелявость, только хрипловатая и на других нотах; лицо его школьного товарища представилось ему чрезвычайно отчетливо, и вся его жидкая, долговязая фигура.

В кабинете хозяин лежал на кушетке у окна, в халате из светло-серого драпа с красным шелковым воротником. Гость не узнал бы его сразу. Голова, правда, шла так же клином к затылку, как и в гимназии, но лоб уже полысел; усы, двумя хвостами, по-китайски, спускались с губастого рта, и подбородок, мясистый и прыщавый, неприятно торчал. И все лицо пошло красными лишаями. Подслеповатые глаза с рыжеватыми ресницами ухмылялись.

– А!.. Теркин!.. Ты ли это?.. Скажите, пожалуйста!

Зверев приподнял немного туловище, но не встал.

– Извини, брат, не могу... Оступился... Ломит щиколку...

Он протянул к нему свои небритые щеки, и они поцеловались.

– Скажите, пожалуйста!.. Садись! В наши края... Слы-

шал!... Рассказывали... Ты, брат, говорят, миллионами воруешь... Дай-ка на себя поглядеть...

Тон был возбужденный, но большой радости – видеть товарища – в нем не слышалось... Теркину тон этот показался хлыщеватым и почти нахальным, и он сейчас же решил дать приятелю отпор.

– А ты, – сказал он, оглядывая его в свою очередь, – в почетных обывателях состоишь?

– В обывателях? – переспросил Зверев и брезгливо повел ртом. – Обывателями, брат, мещан да посадских зовут.

– Извините, ваше благородие, – ответил Теркин и поглядел на него, как бывало в гимназии, когда он ему приказывал что-нибудь и приговаривал: „ежели не сделаешь, будет тебе лупка генеральная“.

Зверев вспомнил этот взгляд, обидчиво усмехнулся и выпятил нижнюю губу.

– А ваше степенство в почетных гражданах состоит?

– Так точно, – ответил в тон Теркин.

– Значит, выплыл!.. А я слыхал как-то... давно еще... будто ты туда попал... в места не столь отдаленные.

– Нет, милый друг, не хочу отнимать вакансий у вашего брата.

– Это как?

Зверев весь выпрямился, и щеки его густо покраснели.

– Да так!.. У вас-то в губернии, – небось знаешь всю историю, – проворовались господа сословные директора.

– Проворовались! Проворовались!.. Как ты выражаешься!

– Так и выражаюсь. Им прямая дорога по казанскому тракту или на пароходе-барже, под конвоем.

– Не знаю, брат, не знаю!.. Это все газетчики, мерзавцы! Везде они развелись, как клопы.

– Да тебе что же обижаться... Ты ведь к банку не прича-стен?

– Еще бы!

Лицо Зверева начало подергивать. Теркин поглядел на него пристально и подумал: „наверняка и у тебя рыльце в пуху!“

– Скажи-ка ты мне лучше, любезный друг, есть ли у вас в уезде хоть один крупный землевладелец из живущих по усадьбам, который не зарился бы на жалованье по новой должности, для кого окладашко в две тысячи рублей не был бы привлекателен?.. Небось все пойдут...

– Я не собираюсь.

– А другие?

– Понятное дело, пойдут.

– Даже все мировые судьи, хотя их званию и нанесен, некоторым образом, афронт...

– К чему ты это говоришь?

– А к тому, что вы, господа, все о подъеме своего духа толкуете... Какой же тут подъем, скажи на милость, ежели ни у кого верного дохода в три тысячи рублей нет?.. И велика приманка – жалованье, какое у меня лоцман получает или



мелкий нарядчик!..

– Вон ты как! Очень уж, кажется, зарылся ты в капиталах... Это даже удивительно! – Зверев начал брызгать слюной. – Просто непонятно, как ты – Теркин – да в таких делах? Знаешь, брат, пословицу: от службы праведной...

– Не наживешь палаты каменной? Праведником и не выдаю себя; но между нашим братом, разночинцем, и вами, господами, та разница...

– Слыхали! Слыхали!.. – закричал Зверев и замахал руками. – Уволь от этих рацей!.. Ну, ты в миллионщики лезешь, с чем и поздравляю тебя; нечего, брат, важничать... Нигилизм-то нынче не в моде... Пора и честь знать...

Теркин чуть было не крикнул ему, как бывало в гимназии: „молчи, Петька!..“

– Ладно, – выговорил он с усмешкой, – ваше высочорodie волновать не буду... Ведь ты как-никак первая особа в уезде; а я – представитель общества, приобретающего здесь большие лесные угодья. Может, и сам сделаюсь собственником...

– Покупаешь имение? Ты?

– Погляжу!.. А пока Низовьев продает нам всю свою дачу под Заводным.

– Знаю! А Чернососный продает?

– Прямых предложений еще не делал.

– Все ваша компания съест...

– За этим и покупаем, чтобы не давать вашему брату расхитить.

– Тоже нашлись благодетели!

Зверев недосказал, спустил обе ноги с кушетки, поморщился, должно быть от боли, потер себе лысеющий лоб, взглянул боком на Теркина и протянул ему руку.

– Вася!.. Что ж это мы... Больше десяти лет не видались и сейчас перекоряться... Это, брат, не ладно. – Он поглядел на полуотворенную дверь в следующую комнату. – Пожалуй-ста... притвори-ка.

Теркин притворил дверь и, когда сел на свое кресло, подумал:

„Сейчас будет просить займы“.

## XII

– Вася!.. Тебя сам Бог посылает! Спаси!

Зверев взял его руку, и Теркину показалось, что он как будто уж хотел приложиться к ней своими слюнявыми губами.

– Что такое?.. Не пугай!..

Лицо Зверева передернула слезливая гримаса. Глаза покраснели. Он, казалось, готов был расплакаться.

– Скажи толком!

Прежний гимназист „Петька“ был перед ним, – все тот же, блудливый и трусливый, точно кот, – испугавшийся вынужденного им жребия – насолить учителю Перновскому. Жалости Теркин к нему не почувствовал, хотя дело шло, вероятно, о

чем-нибудь поважнее перехвата тысячи рублей.

– Ведь мы товарищи! – Зверев взглядывал на него красными глазами, уже полными слез. – Вместе из гимназии выгнаны...

– Ну, об этом тебе бы можно и не упоминать.

– Я тебя не выдавал!.. Ты хочешь сказать, что за меня сцепился с Трошкой... На это твоя добрая воля была!.. Вася! Так не хорошо!.. Не по-товарищески!.. Что тебе стоит? Ты теперь в миллионных делах...

– Чужих, не собственных.

– Спаси!.. – воскликнул Зверев и опустился на кушетку.

– Хапнул н/ешто? – почти шепотом спросил Теркин. – Сядь... Расскажи, говорят тебе, толком. Дура голова!

Это товарищеское ругательство: „дура голова“ – вылетело у Теркина тем же звуком его превосходства над „Петькой“, как бывало в гимназии.

– Что ж ты... пытаться меня хочешь? – хныкающим фальцетом отозвался Зверев, присаживаясь на край кушетки. – Удовольствие тебе разве доставит – знать всю подноготную? Ты протяни руку, не дай товарищу дойти до... понимаешь, до чего?

– Это все, брат, разводы. Одно дело – беда, другое – залезание в сундук. Я ведь про тебя ничего не знаю... какие у тебя средства были, как ты с ними обошелся, на что проживал и сколько... У родителей-то, кажется, хорошее состояние было?

– Мало ли что было!.. И теперь у меня и усадьба, и запашка есть, и луга, и завод.

– Какой?

– Винокуренный.

– Лесная дача есть?

– Есть... Только это все...

– Разумеется, в залоге?

– У кого же не в залоге?

– Пытать я тебя не желаю, любезный друг. Но и в прятышки тебе, Петр Аполлосович, не полагается играть со мною. Должно быть, по твоей должности...

– А просто разве нельзя зарваться? – крикнул Зверев и вскинул руками. – Ну, да! жил широко.

– В этой дыре?

– И в этой дыре... у себя в деревне... в губернии, за границей...

– Ты женат?

– Еще бы!

Тут он рассказал Теркину про свою женитьбу на „разводке“, и сколько ему это стоило, и сколько они вдвоем прожили в каких-нибудь три-четыре года, особенно с тех пор, как он попал в предводители. Жена его в ту минуту была в имении... Но до полного признания он все еще не доходил. Он как будто забыл уже, с чего начал.

– Как же тебя спасти? – спросил Теркин, прохаживаясь по кабинету. – Проценты в банк внести?.. Или по векселям?..

И сколько?..

Зверев одним духом крикнул:

– Что тебе стоит сорок тысяч каких-нибудь?

– Сорок тысяч! – подхватил Теркин. – Так, здорово живешь... Во-первых, милый друг, если бы у меня в настоящий момент были собственные сорок тысяч свободных, я бы им нашел употребление... Я кредитом держусь, а не капиталом.

– Ты имение сам хочешь купить, сейчас говорил...

– Наличных у меня нет... На компанейские деньги, быть может, приобрету кое-что... Так за них придется платить каждый год...

– В твоих руках не десятки, а сотни тысяч! Для себя можно перехватить, а товарища спасти – нельзя. Эх, брат Теркин! Понимаю я тебя, вижу насквозь. Хочешь придавить нашего брата: пусть, мол, допрежь передо мной попрыгает, а мы поломаемся! У разночинца поваляйся в ногах! Понимаю!..

Он – весь красный – брыкал слюнявыми губами, хотел встать и заходить по комнате, но боль в щиколке заставила опять прилечь на кушетку.

– Вздор все это! – строго остановил его Теркин.

Но когда Зверев начал горячиться, его товарищ также припомнил себе свое недавнее прошлое... Ведь и он пошел на сделку, и его целый год она тяготила, и только особенной удаче обязан теперь, что мог очистить себя вовремя как бы от участия в незаконном присвоении наследства.

Давно не всплывал перед ним образ Калерии... Тут и вся сцена в лесу, около дачи, промелькнула в голове... как он упал на колени, каялся... Разве он по-своему не хапнул, как вот этот Зверев?

– Не брыкайся! – сказал он мягче, борясь с чувством гадливости, почти злорадства, к этому проворовавшемуся предводителю; что тут была растрата – он не сомневался. – Позволь, брат, и мне заметить, продолжал он в том же смягченном тоне. – Коли ты меня, как товарища, просишь о спасении, то твои фанаберии-то надо припрятать... Отчего же не сказать: „так, мол, Вася, и так – зарвался...“ Нынче ведь для этого особые деликатные выражения выдуманы. Переизрасходовал-де! Так веду? И чьи же это деньги были?

– Разные, – тихо выговорил Зверев. – Всего больше опекунских...

– Сиротских? – переспросил Теркин, и это слово опять вызвало в нем мысль о деньгах Калерии.

– Разные... Больше двадцати тысяч земских... Тоже тысяч около шести школьных...

– И школ не пощадил?

– Так ведь я не без отдачи... Ну, передержал. Каюсь!.. Но взыскания на меня все-таки не было бы... Мне следовало дополучить за перевод заклада в дворянский банк.

– Что ж ты не покрыл этими деньгами растраты?

– Другие долги были. Но все это обошлось бы... да и было покрыто.

– Как покрыто? Из-за чего же ты бьешься-то в настоящую минуту? Что это, брат? – резко воскликнул Теркин. – Ничего не поймешь у тебя!

– Ты слышал что-нибудь про наш банк?

– Слышал. – Ну... Зверев опустил голову и стал говорить медленно, глухо, качаясь всем туловищем.

– В прошлом году до губернского предводителя дошло... Меня вызвали... Директор/а – свои люди... Тогда банк шел в гору... вклады так и ползли... Шесть процентов платили... Выручить меня хотели... До разбирательства не дошло, до экстренного собрания там, что ли... По-товарищески поступили.

– И внесли за тебя?

– Внесли.

– Это из банковских-то денег? Ловко!.. Стало, и господ вкладчиков, не спросясь их, прихватили?

– Иначе как же? Я расписку дал.

– И только?

– Закладывать мне нечего было... Не две же шкуры с меня драть?..

– По такой расписке ты мог с прохладой выплачивать по конец живота своего.

– И все бы обошлось, Вася.

– Даже и при новом составе директоров?

– Свой же брат будет... Не случись беды...

– Здорово поймались?

– Что ж!.. Я тебе все скажу... Им теперь не уйти живыми... Прокуратура вмешалась... На вкладчиков паника!..

– Стало, слухи-то верные. А ты сейчас газетчиков ругал.

– Я не судья!.. Все дело в панике... Будут их учитывать...

Не отвернутся на этот раз. Партия есть... либералы, обличители. Доберутся до моей расписки... Где же я возьму?.. Пойдут допытываться. Ты понимаешь, все заново поднимут и разгласят.

Зверев не договорил, закрыл лицо ладонью и прошептал:

– Видишь, каково мне.

– Вижу, – проговорил Теркин, вставая. – Могло быть и хуже.

– Как хуже?

– Известно как. Тебя господа раз спасли, хоть и на чужой счет. Теперь ты – должник банка... Платить надо, зато сраму меньше.

– То же самое, то же самое! – крикнул Зверев. Все выведут на чистую воду.

– Ничего не понимаю! – перебил Теркин. – Ты путаешь! Выходит – ты во второй раз передержал по должности: сначала по земской службе, а потом по предводительской... Ведь да?.. Не лги!

– Да, – плаксиво протянул Зверев.



## ХШ

Мальчик приотворил осторожно дверь и доложил:

– Петр Аполлосович, господин Первач приехали... Спрашивают, здесь ли вот они, – мальчик указал головой на Теркина, – и просят позволения войти.

– Ты его знаешь? – спросил Теркин Зверева.

– Знаю немного. А у тебя дел/а с ним?

– Пока еще нет. Он – таксатор у Низовьева.

– Эх, приспичило!

Зверев махнул рукой.

– Если не желаешь – я к нему выйду, – сказал вполголоса Теркин, внутренне довольный тем, что им помешали.

– Они говорят, – добавил мальчик, – что имеют письмо к вам, Петр Аполлосович, от Ивана Захарыча Черносошного.

– Проси!

Мальчик вышел. Протянулось молчание.

Теркин отошел к письменному столу и стал закуривать папиросу. Он делал это всегда в минуты душевного колебания. Спасать Зверева у него не было желания. Даже простой жалости он к нему не почувствовал. Но с кем не может случиться беды или сделки с совестью? Недаром вспомнилась ему Калерия и ее „сиротские“ деньги. Только беспутство этого Зверева было чересчур противно. Ведь он два раза запуская руку в сундук. Да и полную ли еще правду рассказал про се-

бя сейчас?..

Зверев вытянулся на кушетке, пригладил рукой волосы, поправил узел шелкового шнура на халате, и брезгливая мина появилась опять на его влажных губах, когда вошел в кабинет таксатор.

Его красивая голова, улыбка, франтоватость – не понравились Теркину.

Первач подошел сначала к хозяину, подал письмо, довольно фамильярно пожал руку и спросил звонким вибрирующим голосом:

– Нogu зашибли?.. Инвалидом?.. И, не дожидаясь ответа, повернулся на каблуке и и скользнул в сторону Теркина.

– Василий Иваныч!.. С приездом... Прошу любить и жаловать... Таксатор Первач. Павел Иларионыч Низовьев только что приехал с пристани. Я от него. Ждет вас к завтраку.

– Очень рад, – ответил сухо вато Теркин, подавая ему руку.

– Павел Иларионович и меня пригласил... если не буду лишним.

– Почему же...

– Вы уже изволили ознакомиться с дачей?

– Объезжал вчера.

Первач присел к нему, вынул папиросницу и попросил закурить.

Его манеры также не понравились Теркину.

„Из молодых, да ранний“, – подумал он и поглядел в сто-

рону Зверева.

Тот прочитывал письмо уже во второй раз. Внезапная краснота его небритых щек показывала, как оно взволновало его.

– Вы, – окликнул он Первача, – прямо из Заводного? Сегодня?

– Вчера к ночи приехал... Иван Захарыч и сам хотел быть, да его что-то задержало.

– Отчего же вы вчера же не доставили мне письма? – раздраженно спросил Зверев.

– Слишком поздно было, Петр Аполлосович. Не хотел вас беспокоить.

– Напрасно.

– А что такое? – спросил Теркин, подходя к кушетке.

Взглядом Зверев показал ему, что не хочет говорить при Перваче.

– Такая гадость!.. Не могу двинуться.

– Что-нибудь экстренное? Послать депешу? Я к вашим услугам, – вмешался Первач.

– Не беспокойтесь.

– Не хочу быть лишним... Я свою миссию исполнил.

Обращаясь к Теркину, Первач досказал:

– Павел Иларионыч будет ждать вас до часу дня... Имею честь кланяться.

Он пожал руку им обоим и с легким скрипом своих щеголеватых ботинок вышел.

– Вася! – возбужденно окликнул Зверев и задвинулся на кушетке. – Иван Захарыч Чернососный... просит переговорить с тобою... о продаже его леса и усадьбы с парком... Он мне близкий человек... жалеет меня. Я с тобой хитрить не стану... Ежели продажа состоится, а ему она нужна, он готов поделиться со мною.

– Комиссию предлагает? Куртаж?

– Я не купчишка! Куртажу я не возьму!..

– Не возьмешь? – протянул Теркин и рассмеялся в нос, что у него выходило резко и чего он сам в себе не любил.

– Не смей надо мной издеваться, Васька! – вдруг закричал Зверев, весь пылающий. – Человек всю душу перед тобой вылил... А ты вон как!.. Кровь-то сказала!.. Недаром, должно быть...

Губы Зверева стали брызгать слюной. Позорящее слово, какое бросали Теркину в гимназии, могло прозвучать.

– Что недаром? – строго перебил Теркин и пододвинулся вплоть к кушетке. – Слушай, Петька! В твоём положении нечего фордыбачить и барские окрики давать. Я – подкидыш, незаконный сын какой-нибудь солдатки или раскольничьей девки – ты ведь этим желал меня унижить? Мне, стало, и Бог простит, коли я всякими правдами и неправдами кубышку себе здоровую сколочу... Однако, брат, с совестью я хочу в ладах быть: от нее никуда не уйдешь. Ты мне сейчас исповедовался?.. В двух растратах повинился? Я не просил тебя; твоя добрая воля была. Изволь, и я тебе кое в чем по-

ВИНЮСЬ.

– Не надо мне! Не интересуюсь!..

– Нет, выслушай! – Теркин присел на край кушетки. – И я два года тому назад раздобылся деньгами, которые и совсем мог себе присвоить без отдачи, зная, что эти деньги, по закону и по совести, не принадлежат тому, кто мне их ссудил. Вот и все... Выдал я на них документ. Как это по-вашему, по-нынешнему, выходит? Дело, кажись, самое чистое. А оно меня стало так мозжить, что я без надобности повинился в нем, не совладав с совестью... Очистил себя, раньше срока отдал эти деньги. И вот до сих пор меня нет-нет, да и всколыхнет, как подумаю, что этот самый заем дал мне ход; от него я в два года стал коли не миллионщиком, каким ты меня считаешь, так человеком в больших делах.

– Поэтому ты и рад, что можешь меня, человека благородного, придавить бревном? – взвизгнул Зверев.

– Не мели вздору! – глухо оборвал его Теркин. Из-за чего я тебя стану спасать?.. Чтобы ты в третий раз растрату произвел?.. Будь у меня сейчас свободных сорок тысяч – я бы тебе копейки не дал, слышишь: копейки! Вы все бесстыдно изворовались, и товарищество на вере у вас завелось для укрывательства приятельских хищений!.. Честно, мол, благородно!.. Вместо того чтобы тебя прокурору выдать, за тебя вносят! Из каких денег? Из банковских!.. У разночинца взять? Ха-ха!

Смех Теркина оборвался. Он встал и заходил по комнате.

– Что вы из своих угодий делаете? Из-за вашего беспутства целый край обнищает, ни воды в Волге, ни лесу по ее берегам не будет через пять или десять лет...

– Скажите, пожалуйста! – взвизгнул опять Зверев. – Он, Василий Теркин, – спаситель отечества своего!.. Не смеешь ты это говорить!.. Не хочу я тебя слушать!.. Всякий кулак, скупщик дворянское имение за бесценок прикарманит и хвалится, что он подвиг совершил!.. Не испугался я тебя... Можешь донос на меня настроичить... Сейчас же!.. И я захотел в нынешнем разночинце благородных чувств! Пускай меня судят... Свой брат будет судить!.. Не дамся я живой!.. Лучше пулю пушу в лоб...

– Как благородный человек!.. Да и на это вряд ли пойдешь!.. Я тебя знаю. Храбрости не хватит!

Теркин сдержал себя. Он взялся за шляпу и стал посередине кабинета.

– Я – твой гость в настоящую минуту, Петр Аполлосович. И тебе, как благовоспитанному представителю высшего круга людей, не полагалось бы так вести себя с гостем. Следовало бы тебя за это проучить. Да считаться с тобой мне не пристало. Если бы ты сам не признался в твоих операциях с чужим сундуком, я бы не стал молчать о них. Месяц-другой пройдет – и все грамотные узнают из газет, как вы здесь промеж себя хозяйничали... Я еще никогда лежачего не бил. И ни перед кем не кичился своей честностью... Но будь ты мой брат родной – я бы тебя спасти не подумал. Прощенья про-

сим, ваше высокородие!.. Застрелиться всегда успеете. Вас целая компания будет, – в острог угодите, так, по крайности, не скучно... Повинтить еще и там можете!..

Что-то ему крикнул вслед Зверев, но он не слышал.

Только на улице Теркин одумался и тут же выбрал сам себя.

## XIV

Он так быстро пошел к своей квартире, что попал совсем не в тот переулок, прежде чем выйти на площадь, где стоял собор. Сцена с этим „Петькой“ еще не улеглась в нем. Вышло что-то некрасивое, мальчишеское, полное грубого и малодушного задора перед человеком, который „как-никак“, а доверился ему, признался в грехах. Ну, он не хотел его „спасти“, поддержать бывшего товарища, но все это можно было сделать иначе...

„По-джентльменски? – спросил он себя – и тотчас же ответил: – Впрочем, я не джентльмен, а разночинец, и не желаю оправдываться“. Теркин перебрал в памяти обе половины их разговора, до и после прихода таксатора. С первых слов начали они „шпынять“ друг друга. „Петька“ оказался таким же „гунявцем“, каким обещал сделаться больше десяти лет назад. Не обрадуйся он приезду „миллионщика“ Теркина – он бы не послал за ним экипажа; пожалуй, не принял бы. Да и как он его встретил? В возгласе: „скажите, пожа-

луйста!“ – звучало нахальство барчука. „Скажите, мол, пожалуйста, Васька Теркин, мужицкий подкидыш – и в миллионных делах! Надо ему дать почувствовать, кто он и кто я!“ И это за десять минут перед тем, как, чуть не на коленях, молил о спасении, признавался в двойном воровстве!.. Где же тут смысл? Где хоть крупица достоинства?.. Не будь „Петька“ таким гунявцем – и все бы иначе обошлось!

„То есть как же иначе? – опять спросил он себя и уже не так быстро ответил: – Будь у него совсем свободных сорок тысяч в бумажнике... разве он отдал бы их Звереву?“

„Нет!“ – решил он, чувствуя, что не одно личное раздражение продолжает говорить в нем, а что-то иное. Обошелся бы мягче, но не дал бы. В нем вскипело годами накопившееся презрение к беспутству всех этих господ, к их наследственной неумелости, к хапанью всего, что плохо лежит, – и все это только затем, чтобы просаживать воровские деньги черт знает на что. Никого из них он не спасет. Скорее поможет какому-нибудь завязтому плуту, способному что-нибудь сделать для края.

И никакой жалости ни к кому из них он не имеет и не желает иметь. Они все здесь проворовались или прожились, и надо их обдирать елико возможно. Вот сейчас будет завтрак с этим Низовьевым. Кто он может быть? Такая же дрянь, как и Петька, пожалуй, еще противнее: старый, гунявый, парижский прелюбодей; на бульварах растряс все, что было в его душонке менее пакостного, настоящий изменник своему



отечеству, потому что бесстыдно проживает родовые угодья – и какие! – с французскими кокотками. Таких да еще жалеть!

У ворот квартиры, на завалинке, сидел Чурилин и вскочил, увидев Теркина.

– За вами послали лошадь, Василий Иванович, доложил он, снимая шапку.

– Накройся! – строго крикнул ему Теркин.

Ему сделалось противно видеть лакейское усердие карлика. И сам-то он не превращается ли в барина выскочку?

На крыльце его встретил приказчик Низовьева – долговязый малый, видом не то дьячок в штатском платье, не то коридорный из плоховатых номеров.

„И народ-то какой держит! – подумал Теркин, – на беспутство миллионы спускает, а жалованье скарредное!“

– Павел Иларионыч сейчас вот за вами фаэтон отправили, – сообщил и приказчик, низко поклонившись крестьянским наклоном головы. И говор у него был местный, волжский.

– Дожидаются меня завтракать? – спросил Теркин.

– Стол накрыт. Пожалуйста.

Из передней он услышал голоса направо, где поместился Низовьев, узнал голос таксатора и не вошел туда прямо, а сначала заглянул в свою комнату. Там Хрящев смиренно сидел у открытого окна с книжкой. В зальце был приготовлен стол на несколько приборов.

Хрящев встал, и они заговорили вполголоса:

– Имел беседу с господином таксатором, но патрона его еще не видал.

– И как вам показался этот Первач?

– Особа ловкая и живописная, Василий Иванович.

– Вы с нами будете завтракать?

– Может быть, господину Низовьеву это не покажется?

– Это почему?.. При нем таксатор, а при мне лесовод... и мудрец, – прибавил Теркин и ударил Хрящева по плечу.

– Я хотел было ему представиться в ваше отсутствие, Василий Иванович, да думаю: не будет ли это презорством?

– Очень уж вы скромны, Антон Пантелеич! – громче выговорил Теркин, оправляя прическу перед дорожным зеркалом. – Как вы сказали... презорство?

– Так точно. Старинное слово. Предки наши так писали и говорили в прошлом веке.

– А я думаю, что этого самого презорства теперь развелось и не в пример больше, чем тогда было.

– Надо полагать, Василий Иванович, надо полагать.

Короткий, жидкий смех Хрящева заставил и Теркина рассмеяться.

– Так смотрите, Антон Пантелеич, выходите завтракать. Я вас представлю господину Низовьеву.

– Очень хорошо-с... Большой барин из Парижа не взыщет... Одеяние у меня дорожное.

Теркин затворил за собою дверь в залу и у двери в перед-

нюю увидал таксатора.

– А я к вам, Василий Иванович... Завтрак готов.

– За мной задержки не будет. Можно к Павлу Иларионовичу?

– А он к вам шел... Сейчас я ему скажу.

Первач отретировался, и к Теркину через минуту вышел Низовьев.

Он ожидал молодящегося франта, в какой-нибудь кургузой куртке и с моноклем, а к нему приближался человек пожилой, сутулый, с проседью; правда, с подкрашенными короткими усами на бритом лице, – но без всякой франтоватости, в синем пиджаке и таких же панталонах. Ничего заграничного, парижского на нем не было.

– Весьма рад, – заговорил он с легкой картавостью и подал Теркину руку.

Вежливость его тона пахнула особым барским холодом.

– Спасибо за гостеприимство, – сказал Теркин, чувствуя, что имеет дело с барином не такого калибра, как „Петька“ Зверев. – А ежели не поладим, Павел Иларионович?

– Мне останется удовольствоваться беседой с вами.

– Вы с своим поваром ездите?

– Нет, мне приказчик приготавливает. Милости прошу. Николай Никанорыч, – обратился он к таксатору, – прикажите подавать!

Когда Первач вышел в переднюю, Теркин наклонился к Низовьеву и потише сказал:

– Со мной лесовод... Вы позволите и ему позавтракать с нами?

– Сделайте одолжение... Мне Николай Никанорыч говорил. Вы – у себя дома.

Низовьев обезоруживал своей воспитанностью, и неприятно-дворянского в нем ничего не сквозило. Да и по виду он был более похож на учителя или отставного офицера из ученых.

„Ужели он женолюб?“ – подумал Теркин и никак не мог пристегнуть к нему какую-нибудь парижскую блудницу, требующую подношений в сотни тысяч.

– Антон Пантелеич! – позвал он Хрящева.

Тот вышел, стыдливо обдергивая борты своего твидового пальтеца.

– Имею честь кланяться, – выговорил он, скромно не подавая руки. – Антон Пантелеев Хрящев.

– Весьма рад, – повторил Низовьев, ласково ему поклонился и протянул руку. – Вы, я слышал, видели мою дачу?

– Точно так.

– И, смею надеяться, нашли ее в порядке?

– В изрядном порядке. Василий Иваныч сам вам сообщит.

Первач объявил, что кушанье сейчас подадут. Водка и закуска стояли на том же столе. Низовьев сам водки не пил, но угощал гостей все с той же крайней вежливостью. При нем и у таксатора тон сделался гораздо скромнее, что Теркин тотчас же отметил; да и сам Теркин не то что стеснял-

ся, а не находил в себе уверенности, с какой обходился со всяким народом – будь то туз миллионщик или пароходный лоцман. Антон Пантелеич оставался верен себе: так же говорил и держал себя; такая же у него была усмешка глаз и губ, из-под которых выглядывали детские, маленькие, желтоватые зубы. Прислуживали приказчик и кучер.

За первым блюдом деловой разговор еще не завязался, и Теркин тотчас распознал в парижском барине– лесовладельце очень бывалого человека, превосходно усвоившего себе приемы русских сделок.

## XV

После завтрака Первач и Хрящев остались в зале. Деловой разговор патронов подходил к концу в комнате Теркина.

С цены, какую Низовьев назначил своей даче – еще в письме из Парижа, – он не желал сходить. В Васильсурске он удачно запродавал свою партию строевого леса и так же выгодно запродавал партию будущей навигации. Теркину досадно было на себя, что он сам оттянул сделку и не окончил ее тремя неделями раньше, когда Низовьев еще не знал, какие в нынешнем году установятся цены на лесной товар.

– В вас, почтеннейший Василий Иванович, – говорил Низовьев, тихо улыбаясь, сквозь дым папиросы со слащавым запахом, – мне приятно было видеть представителя новой генерации деловых людей на европейский образец. Вы берете

товар лицом. Мне нет надобности продавать дачу за бесценок. Если она не найдет себе такого покупателя, как ваша компания, на сруб у меня ее купят на двадцать процентов дороже.

– На сруб? – вырвалось у Теркина. – Уж и то прискорбно, что господа лесовладельцы, принадлежащие к дворянскому сословию, выказывают такое равнодушие к своим угодыям.

– Это камешек и в мой огород?

Низовьев прищурил свои подслеповатые, умные глаза.

– Извините за откровенность! Ведь вы, коли не ошибаюсь, желаете совсем отделаться от ваших лесов и перевести капитал за границу?..

– Может быть... Разве это преступление?

– С известной точки, да.

– Ой-ой! Как строго! Вы, как говорят московские остряки, – патриот своего отечества?

– Хотя бы и так Павел Иларионович! я выразился сейчас, что прискорбно видеть это; но, как представитель компании, я должен радоваться. По крайности, промысловые люди взялись за ум и хотят сохранить отечеству такое благо, как леса Поволжья.

– Именно. Вам, промысловым людям, как вы изволите называть, надо благословлять эту неспособность русских землевладельцев держать в своих руках хозяйство страны... Было время – и я мечтал служить отечеству.

„А теперь ты в француженок всаживаешь миллионы“, –

добавил мысленно Теркин и начал бояться, как бы раздражение не начало овладевать им.

Низовьев сделал жест рукой, в которой была папироса.

– Признаюсь, – продолжал он медленнее и с блуждающей усмешкой, – только дела заставляют меня возвращаться на Волгу и вообще в Россию.

– А то совсем пропадай она, эта Россия? – спросил Теркин с вызывающим жестом головы.

– У кого больше веры в нее, тот пускай и действует. Вот, например, в лице вашем, Василий Иванович, я вижу что-то новое. Люди, как вы, отовсюду выкурят таких изменников своему отечеству, как мы, грешные.

Сдержанный смех докончил его фразу.

Теркин услышал в ней скрытую иронию.

„Ладно, – подумал он, – в инвалиды записываешься, а на дебоширство с француженками хватает удали!“

– Всякому свое, Павел Иларионыч, – сказал он несколько бесцеремоннее и, на особый лад взглянув на Низовьева, подумал: „мы, мол, знаем, каков ты лапчатый гусь“. – Нашему брату, разночинцу, черная работа; господам – сниманье сливок...

– Сливки! Сливки!.. Это не великодушно, Василий Иванович. Насчет сливок, – и он подмигнул Теркину, вам некому завидовать.

Тон этих слов показывал, что Низовьев намекает на что-то игривое. Губами он перевел, точно что смаковал, и в глазах

явилась улыбка.

„Это еще что? – спросил про себя Теркин. – К чему он подъезжает?“

В таком тоне он не желал продолжать разговора. За всю зиму женщины точно не существовали для него. Он не бегал от них, но ему сдавалось, что они потеряли над ним прежнюю силу. Балагурства скоромного свойства он никогда особенно не любил. Еще менее с таким „тайным развратником“, каким считал Низовьева.

– Нам где! – ответил он, однако, в игривом же тоне. – Мы – лыком шитые простецы.

– Будто?

Низовьев наклонился к нему и стал говорить тише:

– У вас были встречи с пленительными женщинами... И одна из них до сих пор интересуется вами чрезвычайно.

– Уж не в Париже ли?.. Так я там не бывал.

– Не в Париже, а на Волге... Прежде чем я имел удовольствие сегодня познакомиться с вами, я уже знал, что вы – человек опасный.

Низовьев погрозил указательным пальцем.

Этот оборот разговора Теркин начал принимать за „финты“, за желание отделаться от более обстоятельного обсуждения цены.

– Не понимаю! – выговорил он и пожал плечами.

Лицо его досказало: „да и нет у меня ни охоты, ни времени переливать из пустого в порожнее“.



– К нам в Васильсурск пожаловала с одним из лесопромышленников... прелестная женщина. – Низовьев стал жмуриться. – Если не ошибаюсь, ваша хорошая знакомая.

– Кто же это?

В вопросе Теркина слышалась уже явная неохота продолжать такой разговор.

– Серафима Ефимовна... Рудич!.. Ведь вы ее знаете?

– Знаю, – ответил Теркин, не меняясь в лице и очень сухо.

Он никак не ждал этого. Имя Серафимы не смутило его. Ему было только неприятно, что деловой разговор переходил во что-то совсем „неподходящее“.

– Приехала она с очень курьезным господином. Фамилия его – Шуев... племянник миллионера, сектант, из той секты, – Низовьев сделал характерный жест, – которая не желает продолжения рода человеческого... И он, несмотря на это обстоятельство, безумно влюблен в госпожу Рудич и кротко выносит все ее шуточки. Вероятно, в сералах так достается от султанш их надзирателям. Тут надзиратель – в роли чичисбея. Носит розовые галстучки, душит. У этих господ лица такие, что трудно определить их возраст... Кажется, он еще молодой человек.

– И она его обрабатывает? – спросил Теркин с брезгливой усмешкой.

– Я в это не входил, Василий Иваныч. Знаю лишь то, что эта прелестная женщина, с изумительным бюстом и совсем огненными глазами – таких я не видал и в Андалузии, – иска-

ла на съезде лесопромышленников не кого другого, как вас!..

– Меня?

– Без всякого сомнения. Имел ли я право сказать, что вы снимаете сливки, ха-ха!?! И это не мешает вам прибираться к рукам наши родовые угодья... Второе менее завидно, чем первое. Вы не находите?

Любитель женщин все яснее выступал перед Теркиным, и ноты, зазвучавшие в его картавом голосе, раздражали его.

– Я, право, не знаю, что вам сказать, Павел Иларионыч... А за то какую жизнь ведет теперь эта особа, и кто при ней состоит, я не ответчик.

– Но кто же это говорит, добрейший Василий Иванович, кто же это говорит! Прошу вас верить, что я не позволил бы себе никаких упоминаний, если б сама Серафима Ефимовна не уполномочила меня, в некотором роде...

Он как бы искал слов.

– Уполномочила? – переспросил Теркин.

– Разве вам так неприятно выслушивать?..

– Мне?.. Нисколько!..

По глазам Низовьева Теркин хотел угадать, знает ли он что-нибудь про их прошедшее.

– Сколько я мог понять, Серафима Ефимовна остановилась в Васильсурске только затем, чтобы найти вас.

– Почему же меня?

– Она, вероятно, узнала, что вы стоите теперь во главе лесопромышленной компании, и предполагала, что вы пожа-

луετε на наш съезд „леших“...

– Вот как!..

На Теркина начала нападать неловкость, и это его сердило. С какой стати подъехал к нему с подобными расспросами этот женолюб?..

– Если вам неприятно, – продолжал Низовьев еще мягче, – я не пойду дальше...

– Мне безразлично!

– Будто? Ах, какой вы жестокий, Василий Иваныч!.. Безразлично – от такой женщины, как госпожа Рудич!.. Да этих двух во всей русской империи нет... Я был просто поражен... Так вы позволите досказать?

– Сделайте милость.

– Серафима Ефимовна почтила меня своим доверием, услышав, что с вами я буду иметь личное дело, и не дальше, как через несколько дней. От меня же она узнала, где вы находитесь... Признаюсь, у меня не было бы никакого расчета сообщать ей все это, будь я хоть немножко помоложе. Но я не имею иллюзий насчет своих лет. Где же соперничать с таким мужчиной, как вы!..

И Низовьев шутливо опустил голову; сквозь его деликатно-балагурный тон прокрадывалось нешуточное увлечение женщиной с „огненными глазами“. Теркин распознал это и сказал про себя: „И на здоровье! пускай обчистит его после французской блудницы“.

В зале стенные часы с шумом пробили три часа.

Он вынул свои часы и тем как бы показал, что пора перейти опять к делу.

## XVI

– Три часа? – спросил Низовьев. – Вы на меня не будете в претензии, Василий Иванович, за этот перерыв в нашем деловом разговоре? Разве для вас самих безразлично то, как относится к вам такая пленительная женщина?

– В настоящий момент... довольно безразлично...

Глаза Низовьева замигали, и его всего повело.

– Это не... *dépit amoueux*... вы понимаете?

– Извините, по-французски я плоховато обучен...

– Раздражение влюбленного человека. Временная обида, под которой тлеет иногда страсть и ждет взрыва.

„Ах ты, старая обезьяна!“ – выбранился мысленно Теркин.

– Ничего такого во мне нет... Госпожу Рудич я действительно знал...

– Довольно близко? – полушепотом подсказал Низовьев.

– Ежели она сама изливалась вам...

– Нет! Нет! Ничего я фактически не знаю о ваших прежних отношениях. Серафима Ефимовна дала мне только понять... И я был весьма польщен таким доверием.

Низовьев подался несколько и протянул вперед руку.

– Василий Иванович!.. Забудьте на минуту, что мы с вами

совершаем торговую сделку... Забудем и разницу лет. Можно и в мои года сохранить молодость души... Вы видите, я умею ценить в каждом все, что в нем есть выдающегося. Кроме ума и дельности в вас, Василий Иванович, меня привлекает и это влечение к вам такой женщины, как Серафима Ефимовна.

Теркин чуть заметно повел плечами.

– Вы, я вижу, несколько замкнуты и даже суровы. Конечно, вы меня совсем не знаете... Да к тому же я для вас продавец, а вы представитель общества, желающего у меня купить возможно дешевле. Условия не особенно благоприятны для более интимной беседы... Я постарше вас, мне и следует быть смелее.

– При чем же тут смелость, Павел Иларионыч?

– А как же?.. Вы надо мной подсмеиваться будете... Вероятно, уже и теперь это делаете про себя... называете меня старым сатиром... Сердечкиным? Что ж!.. Для меня Серафима Ефимовна была... как вам сказать... Извините за французское слово... *une revelation*... Откровение... неожиданная находка... Я просто был поражен, когда увидел такое существо... и где же? – в Васильсурске, на съезде лесопромышленников, и каких типов, и в сопровождении господина Шуева!.. Этот чичисбей из сектантов... вы помните, я сейчас упоминал о нем... Мое изумление было еще сильнее, Василий Иванович, когда я узнал, что Серафима Ефимовна – из семьи староверов, с низовьев Волги. И вдруг такая прелесть!..

Я уже не говорю о красоте... Туалеты, тон... И что-то... это-кое свое, бытовое... так ведь нынче любят выражаться... Самородок – и какой!

Низовьев совсем зажмурил глаза, вскинул руками и подался назад головой... Губы его выпятились...

Слушая его и глядя на эти „фасоны“ стареющего женолюбца, Теркин испытывал смесь брезгливости с тайным торжеством мужского тщеславия... Богатый барин, проживший полсостояния на женщин в таком городе, как Париж, по всем статьям – знаток и ценитель – и говорит о Серафиме как о жемчужине... Она захватила его в каких-нибудь два-три дня. Будь он, Теркин, на его месте, он ни за что бы не выдал себя, не согласился бы играть роль не то наперсника, не то парламентаря, да еще отправляясь улаживать дело на несколько сот тысяч.

– Вы нешто имели продолжительные беседы с госпожой Рудич? – помягче спросил он Низовьева и взглянул на него с усмешкой.

– Мы вдруг стали друзьями... с той минуты, как она узнала, что я еду сюда и вы меня ждете. Видите ли, Василий Иванович, моя миссия была для меня довольно тяжелая. Хе-хе!.. Вы понимаете... Есть такие встречи... Французы называют их... удар молнии... Особенно когда чувствуешь временную пустоту... после сердечных огорчений. Ведь только женщине и дано заставлять нас страдать. Я приехал в очень-очень подавленном настроении, близком к меланхолии...

– И госпожа Рудич некоторым образом спасла?

– Не говорите так! Вы – неблагодарный! Неблагодарный!

В ней до сих пор живет такое влечение к вам... Другой бы на моем месте должен был радоваться тому, что он находит в вас к Серафиме Ефимовне; но мне за нее обидно. Она не посвятила меня в самые интимные перипетии своего романа с вами. С какой смелостью и с каким благородством она вирила себя! И конечно, для того, чтобы поднять на пьедестал вас, жестокий человек!..

– В чем же она вирила себя?

Вопрос соскочил с языка Теркина против воли: он втягивался в разговор о Серафиме.

– Ах, Боже мой! Чуть не в уголовном преступлении. Она говорит, что вы, если б хотели, могли выдать ее... Она этого никогда не боялась. Пред благородством вашей природы она преклоняется. Ей нужно ваше... прощение. И кажется, не в том, в чем женщины всего чаще способны провиниться. Не правда ли? Не в измене или охлаждении?.. Отчего же вам хоть на это не ответить прямо? Ни измены, ни охлаждения вы не знали?

„Это правда, – подсказал себе Теркин. – Когда же она изменяла?“

– Или, быть может, излишняя скромность мешает вам быть откровенным? Я не берусь проникнуть в вашу душу, Василий Иванович; но если в вас нет затаенной страсти, то вряд ли есть и равнодушие... Буду чудовищно откровенен.

Равнодушию я бы обрадовался, как манне небесной.

– Хитрить мне с вами не из чего, Павел Иларионыч, – заговорил Теркин уже гораздо искреннее, но все-таки несколько суровым тоном, – я бы желал одного, чтобы эта особа успокоилась сама. Никакой злобы я к ней не имею... Все прошедшее давно забыл... и простил, коли она заботится о прощении. Все люди, все человеки. И я тоже не святой...

– Но если б Серафима Ефимовна пожелала лично выразить вам...

– Это совершенно лишнее, – отозвался Теркин, нахмурия брови.

– Вы боитесь за себя?

Низовьев спросил это, глядя на него боком и с двойственной улыбкой.

– За себя? Не думаю, чтобы это было для меня... слишком опасно... Знаете, Павел Иларионыч, на старых дрожжах трудно замесить новое тесто.

– Какое неизящное сравнение.

– Не обессудьте. Мы – простецы. Зачем же Серафиме Ефимовне, – он в первый раз назвал ее так, самой ставить себя в неприятное положение, да и меня без надобности пытаться?

– И вы позволяете мне ей сообщить ваш ответ?

– Сделайте милость, раз она об этом просила.

– Василий Иваныч! благодарю вас за такой искренний ответ.



Глаза Низовьева стали влажны.

– Вам же лучше! – не удержался Теркин.

Но радость Низовьева была так сильна, что он ничего не заметил на этот нескромный возглас, вздохнул и сказал еще раз:

– Благодарю вас.

– А тот?.. чичисбей... как вы его называете... Так при ней и состоит? И ей не зазорно?

В вопросах Теркина звучало более удивление, чем насмешка.

– Это так... Для курьеза... От скуки!.. Я понимаю ее, Василий Иванович... Она близка к перелому, когда женщина делается беспощадной... жестокой...

– И вы хотите ее примирить?..

– Хочу! Хочу!.. И вы меня воскресили!

Оба стояли друг против друга в позе людей, покончивших любовно важное дело.

– На здоровье! – воскликнул Теркин. – Но позвольте, Павел Иларионыч, мы совсем отделились от нашего главного предмета.

– Какого? Цены моей лесной дачи? Да стоит ли к этому возвращаться? Вам угодно иметь скидку? Извольте.

„Вот оно что! – сказал себе Теркин, и краска заиграла на его щеках. – Ты пошел на скидку оттого, что я тебе свою бывшую любовницу уступил! Нет, шалишь, барин!“

Резко меняя тон, он отодвинулся назад и выговорил гром-

ко, так что его могли слышать и в зале:

– Нет, зачем же, Павел Иларионыч? Стоять на цене так стоять... Для меня дело – прежде всего. Не угодно ли вам поехать со мной в дальний край дачи; мы вчера не успели его осмотреть... Коли там все в наличности, я буду согласен на вашу цену.

И глазами, глядя на Низовьева почти в упор, он добавил: „Я не таковский, чтобы мне куртаж предлагать из-за женского пола“.

Тотчас после того он подошел к двери, растворил ее и крикнул:

– Антон Пантелеич! извольте послать за ямскими лошадьми и собирайтесь с нами смотреть дачу.

Низовьев смущенно промолчал.

## XVII

Саня слушала, как замирал удаляющийся гул голосов, под своим любимым дубком. Заря потухала.

За рекой поднималась дымка тумана. Оттуда тянуло запахом поемных лугов. Ей дышалось легко-легко, и голова была возбуждена. И не на тот лад, как всегда, после сиденья в комнате тети Марфы за лакомствами и наливками.

Сегодня все шло по-другому. К обеду приехали покупатели. Накануне были большие разговоры между отцом и теткой Павлой Захаровной. С ними запирался и Николай Ни-

канорыч. Целую неделю она с ним не оставалась наедине, да его не было и в усадьбе. Только сегодня за обедом он совсем бесцеремонно касался ее ноги, а сам в это время смотрел на отца и продолжал разговаривать с покупщиком. В первый раз Сане сделалось ужасно стыдно: хорошо, что никто не заметил. Стыдно и как будто унижительно. В его обхождении с ней было что-то чересчур нахальное... Значит, он на нее смотрит точно на свою вещь... Все равно она от него не уйдет... Захочет целоваться с ней – будет целоваться. Доведет ее до всего, что только ему вздумается.

А любит ли он ее? Может быть, только морочит, как дурочку? Он знает, что красив и должен нравиться.

Красив – да! Очень красив! Но почему же нынче за обедом тот приезжий покупатель, Василий Иванович Теркин, – выговорила она мысленно, – казался ей не то что красивее, а интереснее? Нужды нет, что тетка Павла Захаровна говорила про него, что это какой-то „высочка“ мужичьего рода, что этикие зазнаются и надо им всегда „по носу давать“... Однако и тетка сидела тихонькая и оказывала ему всякое внимание; с него начинали обносить кушанья, отец беспрестанно угощал его вином, и все с ним обходились как с настоящим баринном, даже почтительнее, чем с предводителем.

Держит он себя так приятно, и в глазах у него что-то есть особенное. К ней он за обедом обращался, стал ее сразу звать „Александрой Ивановной“, точно будто давно знает ее имя и отчество. Выговор у него немножко простой, не совсем бар-

ский... Но это ей скорее понравилось.

И такой „богате́й“!

Она подумала словами тети Марфы... Ворочает миллионнами! И так про него говорит Николай Никанорыч. На него Василий Иваныч как будто не очень ласково смотрит, а тетя перед ним рассыпается.

И выходит – он сильнее всех. Отчего? Оттого что у него деньги? Так ведь он не сам скупает леса, а для какой-то „компаний“. Ему доверяют такие дела. Стало, он – честный и умный.

Тетя Марфа говорила ей, что отцу „до зарезу“ нужно продать лес, а может быть, пойдет в продажу и усадьба.

Кто же купит?.. Все он, все этот „высочка“, как называет его тетя Павла? Что же он будет делать с таким большим домом, если поселится здесь? Женится? Пожалуй, уже женат? Кажется, нет: что-то она припоминает из рассказов Николая Никанорыча.

И выходит, что ей не придется жить здесь барыней. Вдруг как и ничего не останется от обоих имений?.. Неужели Николай Никанорыч от этого и стал так обращаться с нею? Давит ногу под столом, точно свою собственность, а смотрит совсем в другую сторону... Бесприданницы ему не нужно... Он может влюбить в себя и не такую дурочку, как она.

И опять вопрос зашевелился в ней: любит он или так только играет с нею, добивается чего-то?

Ей стало стыдно сильнее, чем за обедом, и как не бывало

ни разу прежде, особенно после угощений в комнате тети Марфы. Сегодня она не выпила ни глотка наливки. Ведь она приучалась к сладкому хмелю. Нянька Федосеевна стала это замечать и еще третьего дня стыдила ее, что из нее хотят сделать „негодницу“ и добиться того, чтобы отец выгнал ее... Она раскричалась на няньку и даже – в первый раз – затопала ногами. А вдруг как это правда?

Саня отошла от дерева и остановилась около запущенной куртины, где рос кустик белых маргариток.

Ей захотелось сорвать цветок. Это была садовая маргаритка, когда-то пересаженная из горшка; белые матовые лепестки шли продольными полосками с обоих краев, и желтый пухлый пестик круглился своей головкой.

– Любит, не любит! – стала выговаривать Саня и маленькими шажками прохаживалась взад и вперед вдоль куртины.

– Не любит!

Она бросила оборванный цветок, сорвала другой и начала считать старательнее, делая чуть слышные придыхания:

– Любит, не любит!..

Ей еще стыднее и обиднее!.. Она наклонилась над кустом, где на стеблях сидело еще несколько цветков.

Может быть, всегда должно выйти: „не любит“. Она стала пересчитывать лепестки. На одном цветке было четырнадцать, на другом – восемнадцать, на третьем – двадцать: все – четные числа.

– Какая я...

Как же можно гадать, если всегда четное число лепестков!.. Когда выдастся с нечетным числом – должно быть, это так же редко, как орех-двойчатка или пять лепестков на цветке сирени. Начать со слова „не любит“ – выйдет непременно „любит“, и наоборот.

Никогда еще она не чувствовала себя такой маленькой и беспомощно-глупенькой. Две слезинки заблестели на ресницах. Щеки заметно побледнели. Она была в ту минуту очень хорошенькая. Светлая шелковая кофточка, вся в сборках, по талии перехваченная желтым кожаным кушаком, шла к ней чрезвычайно. Ноги мелькали из-под синей юбки, в атласных туфлях с бантиками... Руки почти до локтей выходили из коротких рукавов с кружевцами.

Она сорвала еще цветок, но больше не ощипывала, а загляделась на свою ручку. Ей она показалась смешной, почти уродливой. Но гость – это она заметила – раза два кинул боковой взгляд на ее руки, когда она держала ими нож и вилку.

Голоса стали приближаться. Саня подошла к тому месту, где верхняя возвышенность парка начинала идти под гору, и, стоя за деревьями, глядела вниз.

Все четверо поднимались по одной из балок, не тропинкой, а прямо по склону пригорка между дубами, направляясь к тому месту, где она стояла.

Впереди шел Теркин, опираясь на палку с ручкой из слоновой кости. На его лицо падала тень от низкой черной шляпы. Она могла свободно смотреть на него и не быть замечен-

ной.

Какие у него большие глаза! И совсем не такие, как у Николая Никанорыча. И борода славная... Немножко с рыжиной. Но это ничего!.. А ростом он чуточку ниже отца... И плечи широкие, весь стан – величавый. Позади его Николай Никанорыч кажется жидким. И точно он у него на службе... Отец идет немного сбоку и что-то ему показывает. Лицо у него, как всегда, с достоинством; но перед гостем он – хоть и выше его – тоже старается.

Она так и выразилась мысленно: „старается“.

Неужели это все одни деньги делают? А он поднимается по крутому склону большими шагами, грудь держит вперед, разговаривает свободно... Его молодой голос доносится до нее. У него такой вид, что не нынче завтра он должен стать хозяином всей этой усадьбы... Она теперь уверена, что иначе не может случиться.

Позади, как-то подскакивая, карабкается тот приказчик или землемер, что привез с собой Василий Иваныч, – она так назвала про себя Теркина, – пухленький и смешного лица... Он за столом ничего не говорил, а только поглядывал на всех своими веселыми мышинными глазками.

Если он землемер, так, значит, Николай Никанорыч – тоже, что и он... А этот вроде управителя или приказчика. Тот – „ученый таксатор“; даже и тетка Павла так его называет.

Не все ли это равно?.. Саня не ответила себе на вопрос и так засмотрелась вниз на Теркина, что он увидел ее снизу,

снял шляпу и крикнул:

– Как у вас здесь хорошо!.. Позвольте к вам взбежать.  
И пустился бегом по спуску, прямо на нее.

## XVIII

В беседке пахло цветом каприфолии. Растение вилось по переплету из березовых палок, и розовато-желтые лепестки и усики осыпали нежную зелень. Никогда еще так рано не цвело оно, как в этом году.

Они остались вдвоем. Иван Захарыч ушел показывать планы Хрящеву и увел с собой Первача.

Теркин сидел сняв шляпу, влобоборота к Сане, глядел на ее розовато-бледное лицо, на косу, заплетенную по-крестьянски, и на ее удивительные ручки. Он сам попросил позволения посидеть с ней. Саня застенчиво провела его в беседку.

– Там пахнет чудесно! – сказала она совсем по-детски.

И сам он начал как будто испытывать приятную неловкость и почему-то жалость к этой барышне-девочке. После осмотра парка и всех строений усадьбы у него было такое чувство, точно он у пристани и его вводят во владение родовым имуществом.

Дом был запущен; в верхнем этаже штучный паркетный пол вынут в нескольких комнатах; мебели – никакой, стены облупились; да и в нижнем этаже, кроме кабинета хозя-



ина, все остальное пахнет дворянской грязью и скудостью. Но парк наполнил его стародавним чувством, которое заново воскресло и еще ярче, чем на колокольне села Заводного, когда он по приезду туда лазил на нее, о вечернях.

И теперь, около этой милостивой свежей девушки, законной наследницы этого имения, уже обреченного на продажу, ему захотелось поскорее стать собственником усадьбы, не допускать других покупателей. А вместе с тем как бы и совестно было перед нею...

Глаза его с тихой улыбкой любовались ее головой и станом, и он хотел бы поговорить с ней как можно мягче, поскорее вызвать в ней искренность. Ему ее тетки, отец, этот шустрый и плутоватый таксатор весьма и весьма не нравились, и она среди них казалась ему горлинкой в гнезде воронов или нетопырей.

– Чудесный у вас парк...

– Да, – вдыхая в себя, сказала Саня, как делала всегда и в институте, когда бывала чем-нибудь стеснена.

Но тотчас же ей стало ловко с ним, и она, обернув к нему голову, спросила:

– Вы у нас все это купить хотите, Василий Иванович?

„Василий Иванович“ прозвучало для него с ласкою вздрагивающего голоса. Губы своего рта она раскрывала как-то особенно мило.

– А вам жалко будет?

– Разумеется, жалко.

– Не знаю. Папаша все равно хочет продать.

– Да? – грустно переспросила она.

Ему показалось, что на ресницах ее слезинки.

„Зачем я ей это рассказываю? – остановил он себя. – Бедняжка!“

– А вы для себя? – спросила она повеселее.

– То есть как для себя?

– Будете здесь жить... Вы женаты?

– Нет.

Она совсем обернулась к нему, и ручки ее упали на колени своеобразным движением.

– Вас всякий бы принял скорее за женатого. А я...

Досказать ей сделалось стыдно.

„Какие я... глупости! Разве можно?“ – подумала она, зная, что вот-вот покраснеет.

– А вы?..

– Ах нет! Ничего!..

Обе ручки протянулись к нему.

– Василий Иванович! Право, я не то хотела сказать.

– Да вы еще ничего не сказали. Ежели я для вас женатым не смотрю, значит, еще не так постарел... тем лучше.

Ему хотелось пошутить с ней и утешить ее как можно скорее.

– Видите ли, – он пододвинулся к ней, – я покупаю леса от имени общества.

– Какое это общество? Я ведь ничего не понимаю.

– Компания по лесной части. Я – ее главный директор.

– А говорят, что вы главный миллионщик?

Смех ее, высокий и drobный, задрожал в теплом вечернем воздухе и отдался в груди Теркина.

Он протянул ей руку.

– Хорошая вы барышня! Так у вас все как на ладоньке.

„Нет, не все, – поправила она про себя, – если б он знал!“

– Так вы не миллионщик?

– Какое... Большими делами заведую, это точно, но капиталы не мои.

– Стало быть, компании понадобились наш дом и парк? И она даст цену больше других? – Саня добавила грустно: – Вот папа и отдаст.

– Сказать вам всю правду, Александра Ивановна? Мне самому очень по душе ваш парк и все положение усадьбы. Давно я их знаю. Еще как деревенским мальчишкой с отцом в село Заводное попал.

Глаза ее широко раскрылись.

„Тетка Павла правду говорила; он – из мужиков“.

Теркин подметил ее взгляд.

– Вы хитрить не будете, барышня. Наверняка при вас... был обо мне разговор. Тетенька-то, та... сухоруконьякая... чай, разночинцем величала?

– Разночинцем... Это что такое?

– Н/ешто вы не знаете этого слова?

– Нет, что-то не припомню. Я ведь мало книжек читала.

Кажется, это значит – недворянин.

– Именно... Из податного состояния. Только нынче все к одному знаменателю подводится.

– К одному знаменателю! Как это хорошо вы сказали! Как в задачах!

– Нынче две силы...

– Одну я знаю, – перебила Саня.

– Какую?

– Деньги! Вот вы приехали сюда, – можете все купить. И все перед вами должны прыгать.

– Да ведь коли капиталы-то не мои!.. Есть и другая еще сила.

– Какая же?

– Ум, талант!..

– Ах да!

И она не могла сдержать быстрого взгляда на него.

– Это верно, – вслух выговорила она полушепотом, – вы умный.

– Я не к тому это сказал, чтобы выставяться перед вами. А так, к слову. С вами – вы увидите – я сразу нараспашку. Вы думали небось про то, что зовется судьбой?

– Как это?

– Ну, хоть так, как барышни думают. Растет девочка, станет девицей, а потом или завянет...

– Вот как мои тетки!

– Или встретится с суженым. Иногда бывает, что встре-

ча-то за несколько лет. И то, что западет в душу, кажется недосыгаемо, и вдруг судьба именно это и посылает.

– Вы о ком же говорите, Василий Иванович?

– О себе. Только я не про свою суженую. Кто она – я еще не знаю. А вот я к чему это. Крестьянским мальчишкой я влез на колокольню и оттуда облюбовал вот ваш парк и дом. Он мне тогда чертогом казался. Так захотелось, чтобы и у меня было точно такое угодье. И завидно стало до боли: вот, мол, господа владеют какими чудесными вотчинами и не чувствуют цены добра своего. Я не мог тогда и мечтать о том, чтобы когда-нибудь такая усадьба досталась мне. А судьба свою линию вела. Попадаю именно сюда, как директор лесной компании. Правда, капиталы не мои, но захоти я оставить усадьбу Ивана Захарыча за собой – это исполнимо!

– Лучше вы купите, лучше вы! – Саня захлопала руками. – Мы в то имение переедем. Вы будете наш сосед. Это чудесно!

– Да ежели и компания сама прихватит это имение, все равно по летам жить надо здесь же. Вот судьба-то как свою линию ведет, барышня!..

Теркину стало детски радостно оттого, что он с ней разговорился. Он ни секунды не подумал о том, уместно ли ему так откровенничать с простоватой барышней, которая все могла разболтать отцу и теткам.

## XIX

– Вы все еще здесь?

Оклик Первача заставил обоих встрепенуться.

Таксатор стоял у входа в беседку, улыбался и поправлял цветной галстук. Его светлый пиджак, скроенный очень узко, выставял его талию. Соломенная шляпа была надета немного набекрень.

– Да, мы здесь, – отозвался суховато Теркин и взглядом спросил его: что ему нужно?

– А меня Иван Захарыч и Павла Захаровна послали отыскать вас и просить чай кушать. Александра Ивановна, – обратился он к Сане с усмешкой, которая не понравилась Теркину, – вам не будет ли свежо? Солнце садится, а вы в одной легкой кофточке.

– Мне ничего! Мне отлично! Здесь даже душно немного!

– Вы позволите присесть? – спросил Первач больше Теркина, чем Саню, тоном человека, желающего и подслужиться, и соблюсти свое достоинство.

– Места много, садитесь.

Теркин вспомнил, что за обедом он подметил, как Саня вдруг покраснела и взглянула исподтишка на Первача, а он в ту минуту как бы нарочно смотрел в другую сторону, и подумал: „Между барышней и этим ловкачом, кажется, шуры-муры“.

Теперь ему присутствие Первача, прервавшего их милый разговор, сделалось вдруг особенно противно.

– Василий Иванович, вы как предполагаете: заночевать здесь? Комната вам приготовлена во флигеле, где и я живу. И для добрейшего Антона Пантелеича найдется место.

– Это кто Антон Пантелеич? Ваш землемер? Он ведь землемер? – живо спросила Саня.

– Какой же он землемер? – брезгливо перебил Первач. – Просто нарядчик.

– Нет-с, – оттянул Теркин и бросил взгляд на Первача. – Антон Пантелеич – агроном с отличными познаниями. По лесоводству – дока.

– Конечно, конечно, он много знает практически, – заметил Первач.

– Да и обучен достаточно. И вообще, личность очень своеобразная и достойная уважения.

– Он славный! – вскричала Саня. – Похож на батюшку... в штатском платье.

– Так как же, Василий Иванович, прикажете распорядиться насчет вашего ночлега?

Взгляды Сани и Теркина встретились. Она чуть заметно смутилась и отвела голову, но так, чтобы ее лицо не видно было Первачу.

– Вам разве нужно опять в город? – выговорила она.

– Нет... особенно я не тороплюсь. Только зачем же стеснять ваших?

– Ничего!.. Ничего!.. Няня Федосеевна вам отлично постелет. Николай Никанорыч, скажите, пожалуйста, тете Марфе Захаровне, что Василий Иванович останется ночевать... Ведь да?

– Благодарю вас.

– А чай? – спросил Первач, видимо желая уйти вместе с ними.

– Мы сейчас... Здесь так славно!

– Идите, идите, Николай Никанорыч!

Первач взглянул на Саню с особого рода усмешечкой, встал и в дверях беседки сказал Теркину:

– Все будет исполнено... Вас ждут.

Пока его шаги хрустели по дорожке, оба молчали.

– Александра Ивановна! – окликнул Теркин вполголоса.

– Мы с вами хоть и без году неделю знакомы, а я вас о чем спрошу... Можете и не отвечать.

– О чем, о чем?

Саня вся зарделась и правой рукой стала тереть конец своей косы, перекинутой на плечо.

– Этого... таксатора вы как находите?

– Николая Никанорыча?

– Да, Николая Никанорыча.

– Он очень милый.

– Ну, вот и нехорошо. Вы это сказали так... для отвода.

– Красивый. С ним весело.

– И только?



Теркин поглядел на нее вбок.

– Я не знаю.

– Ну, простите. Я ведь не инквизитор какой. А только этот франтоватый и ученый брюнет кажется мне... есть такая поговорка русская, коренная, да при барышне не пристало.

– Скажите.

– Не пристало. Смысл такой, что пальца ему в рот не клади. Эта пословица годится и для барышень. Иван Захарыч, кажется, вполне в него уверовал.

– Да, кажется.

– И тетенька, та – главная. Она ведь у вас, сдается мне, н/абольшая в доме. Как бишь ее зовут?

– Павла.

– Так и она его одобряет?

– Я думаю.

Сане становилось неловко от вопросов Теркина. Он это сейчас же заметил.

– Александра Ивановна, вы не подумайте, что я вас пытаться хочу.

– Как пытаться?

– Допрашивать, значит. Я по душе с вами... вы видите. Одно я вам скажу: вашего папеньку я не обижу и не воспользуюсь его нуждой. Прошу вас верить, что я не паук, развесивший паутину над всеми вашими угодьями.

Зачем он это говорил? Послушай его кто-нибудь из доверителей – членов компании – про него сказали бы, что он

способен размякнуть около каждой юбки, удариться в чувствительность перед смазливой барышней, только бы она его сочла благороднейшей души мужчиной.

Пускай!.. Ему жаль эту девочку больше, чем ее отца. Его положением он не воспользуется с бездушием кулака, но и не имеет к нему ничего, кроме брезгливо– презрительного чувства за всю эту землевладельческую бестолочь и беспутство.

– Нас ждут к чаю, – напомнила Саня и встала.

Она все еще была смущена. Почему же она не защитила Николая Никанорыча? Ведь он ей нравится, она близка с ним. Такие „вольности“ позволяют только жениху. А сегодня он ей точно совсем чужой. Почему же такой хороший человек, как этот Василий Иванович, и вдруг заговорил о нем в таком тоне? Неспроста же? Или догадывается, что между ними есть уже близость, и ревнует? Все мужчины ревнивы. Вот глупости! С какой стати будет он входить в ее сердечные дела?..

– Пожалуйте!..

Теркин предложил ей руку. Саня не ожидала этого, и настроение ее быстро изменилось. Ей так вдруг сделалось тепло и весело под боком этого рослого и красивого человека. Он, конечно, желает ей добра, и если бы они хоть чуточку были подольше знакомы, она бы все ему рассказала и стала бы обо всем советоваться.

Они проходили мимо куста сирени. На макушке только

что зацвели две-три кисти. Сирень была белая.

– Ах, я и не видала нынче! Василий Иваныч, вы большой, – достаньте мне вон ту кисть, самую верхнюю.

– Извольте!..

– Чудо как пахнет!

Своей крошечной ручкой она поднесла ему кисть к носу. Его потянуло поцеловать пальчики, но он удержался.

– Чудесно! – отозвался он. – И как жаль, что такой сад в забросе. Вы что же, барышня, не занимаетесь цветами?

– Я?.. Не умею.

– А научить некому?

– Некому.

– В большое равнодушие впали господа к своим угодьям.

Саня промолчала.

– Василий Иваныч! у вас хорошие глаза?

– Ничего! Не пожалуюсь.

– Пожалуйста! Вот в этой кисти... Поищите мне цветок в пять лепестков.

– А вы загадали, поди?

– Да!..

Теркин тихо рассмеялся и начал искать. Саня следила глазами. Она загадала: „дурной человек Николай Никанорыч или нет“; если дурной – выищется цветок в пять лепестков.

– Извольте!

– Нет, не может быть?..

– Смотрите.

Лепестков было пять.

– Ах! – почти вскрикнула Саня, и румянец залил ее даже за уши. – Идемте. Нас ждут!..

## XX

Карлик Чурилин, стоя у дверей, спросил:

– Ничего еще не прикажете?

– Ступай!.. Завтра разбудить меня в шесть часов.

– А господина Хрящева?

– Его не нужно. Он рано просыпается.

– Покойной ночи.

Комната была просторная, в три окна, выходивших в садик прямо из передней, где на „ларе“ постлали Чурилину. Внизу же ночевал и Хрящев. В мезонине флигеля жил Первач.

Теркин оглядел стены, мебель с ситцевой обивкой, картину над диваном и свою постель, с тонким свежим бельем. На ночном столике поставили графин и стакан. Пахло какими-то травами. За постелью дверь вела в комнату, где ему слышались мягкие шаги.

– Антон Пантелеич?.. Вы тут? – окликнул он.

Ему никто не ответил. Но дверь скрипнула, и просунулась голова в ночном чепце.

– Чего не угодно ли?

Голос был еще не старый. В просторной комнате от одной

свечи было темновато. Лица он сразу не мог рассмотреть.

Но тотчас же сообразил, что это, должно быть, ключница или нянька.

– Войдите, войдите, матушка! – пригласил он ее очень ласково.

Вошла старушка, с бодрым, немного строгим лицом, в кацавейке, небольшого роста, видом не старая дворовая, а как будто из другого звания. Чепец скрывал волосы. Темные глаза смотрели пытливо.

– Мы с вами соседи?

– Так точно. Я вот тут. Только вы не извольте беспокоиться. Меня не слышно. А может, чего вам не угодно ли на ночь? Кваску или питья какого?

– Спасибо! У меня таких привычек нет.

Спать ему не хотелось. Он посадил ее рядом с собою на диван.

– Утром рано извольте просыпаться? У нас господа – поздно. Кофею угодно или чаю?

– Чайку соблаговолите.

– Очень хорошо.

Тон у нее был особенный – вежливый, без подобострастия или наянливости.

– Вы не нянюшка ли барышни, Александры Ивановны? – спросил Теркин и пододвинулся к ней.

– Вынянчила, сударь, и не ее одну, а и маменьку их.

Губы ее, уже бесцветные, чуть-чуть вздрогнули.

– Славная барышня!

– Понравилась вам? Совсем еще малолетняя... Не по летам, а по разуму. Ее-то бы и надо всем поддержать и настаивать, а вместо того...

Она не договорила.

В ее голосе слышалась горечь.

– Вы меня не осудите, батюшка, – начала она полупшепотом и оглянулась на дверь в переднюю. – Я ведь день-деньской сижу вот здесь, во флигеле. И Саню-то не вижу по целым неделям – в кои-то веки забежит. Чуть не так скажешь – сейчас: „ах, няня, ты ворчунья!“ А у меня душа изныла. Вас имею удовольствие видеть в первый раз и почему-то заключаю, что вы – человек благородный.

Эти выражения показались Теркину странными.

– Вы, матушка, из старых дворовых?

– Нет, сударь, – почти обидчиво ответила Федосеевна. – Я никогда в рабском звании не состояла. К родителям Санечкиной маменьки я поступила в нянюшки по найму. Папенька мой служил писцом в ратуше, умер, нас семь человек было.

– А-а, – протянул Теркин, – понимаю. К питомице вашей привязались, потом и дочь ее вынянчили?

– Так точно. Позвольте ваше... имени и отчества вашего не имею чести знать.

– Василий Иванович.

– Дошло и до меня, Василий Иванович, что вы покупаете всю вотчину.

– Пока еще об одной лесной даче идут переговоры.

– Все, все хотят они спустить, – она кивнула головой туда, где стоял большой дом. – Сначала это имение, а потом и то, дальше. Старшая сестрица отберет все у братца своего, дочь доведет до распутства и вы гонит... иди на все четыре стороны. Вы – благородный человек, меня не выдадите. Есть во мне такое чувство, что вы, Василий Иванович, сюда не зря угодили. Это перст Божий! А коли нет, так все пропадом пропадет, и Саня моя сгинет.

Через полчаса он уже узнал про мать Сани, про „ехидну-горбунью“, про ее злобу и клевету, про то, как Саню тетка Марфа приучает к наливке и сводит „с межевым“, по наущению той же горбуни. Мавра Федосеевна клялась, что ее барыня никогда мужу своему не изменяла и что Саня – настоящая дочь Ивана Захарыча.

– Каждое после обеда, батюшка, толстуха угощает их с тем прохвостом, – она так звала Первача, – и когда он ее загубит, ехидна-то и укажет братцу – вот, мол, в мать пошла, такая же развратница; либо выдаст за этого межевого, – они вместе обводят Ивана Захарыча. Да и не женится он. Не к тому дело идет. К одному сраму!..

– А сама Александра Ивановна, – спросил Теркин, – он ей приглянулся, н/ешто?

– И-и, сударь, ведь она еще совсем птица.

– Птица! – повторил он с тихим смехом.

– Поет, прыгает... кровь-то, известное дело, играет в ней.

Кто первый подвернется... Я небось вижу от себя, из своей каморки... что ни день – они ее толкают и толкают в самую-то хлябь. И все прахом пойдет. Горбунья и братца-то по миру пустит, только бы ей властвовать. А у него, у Ивана-то Захарыча, голова-то, сами, чай, извольте видеть, не больно большой умственности.

„Что же я-то могу сделать?“ – подвертывался ему вопрос, но он его не выговорил. Ему стало жаль эту милую Саню, с ее ручками и голоском, с ее тоном и простодушием и какой-то особенной беспомощностью.

– Простите меня, Василий Иванович, почивать вам мешаю. Может, Господь вас послал нам как ангела– избавителя. Чует мое сердце: ежели благородный человек не вступится – все пропадет пропадом. Думала я к предводителю обратиться. Да у нас и предводитель-то какой!.. Слезно вас прошу... Покойница на моих руках скончалась. Чувала она, каково будет ее детищу... В ножки вам поклонюсь.

Мавра Федосеевна привстала с дивана и хотела опуститься на колени. Теркин удержал ее за обе руки и потом потрепал по плечу.

– Спасибо за доверие. Жаль барышню! Этого ловкача межевого можно сократить. Я еще побуду у вас...

– Не осудите меня, простите за беспокойство.

Он проводил ее до двери и сказал вслед:

– Покойной ночи! Еще раз спасибо!

В постели он лежал с открытыми глазами, потушил свечу



и не мог сразу заснуть, хоть и много ходил за целый день.

„Ангел-избавитель!“ – повторил он, улыбаясь в темноте. Он – скупщик угодий, хищник на взгляд всякого бывалого человека!

Федосеевна говорила правду. Эта горбунья – в таком именно вкусе, да и та чувственная толстуха. Первача он подзревал в сильной жуликоватости. Отец – важное ничтожество... Если милая девушка действительно жертва злобности этой ехидной тетки, отчего же и не спасти ее?

Но как?

Правду говорил он Сане про судьбу. Что она выделяет? Васька Теркин, крестьянский мальчишка, лазивший на колокольню, безумно мечтал о том, какое счастье было бы обладать усадьбой и парком на том берегу Волги, и может купить теперь и то, и другое, в придачу к лесной даче.

Почему же нет? Компания одобрит всякое его действие. В три-четыре года он с ней сквитается. Парк – его, дом – его. Но неужели он в этом доме поселится один?

На этом вопросе он заснул.

## XXI

Утро занялось мягкое, немножко влажное; дымка – розовато-голубая – лежала над Заволжьем. В парке на ядреных дубках серебрились звездочки росы.

Все еще спали, когда Антон Пантелеич Хрящев вошел в

аллею лип и замедленным шагом приближался к площадке со скамьей, откуда вид на село Заводное был лучше всего.

Он тихо улыбался, поглядывал во все стороны, любясь блестящей листвой дубов и кленов по склонам ближайшей балки, спускавшейся к реке. Низкая поросль орешника окутывала там и сям стволы крупных деревьев, и белая кора редких берез выделялась на зеленеющих откосах.

– Будет ведро! – шепотом выговорил он.

У него была привычка, когда он оставался один, произносить вслух свои мысли.

От деревьев шли чуть заметные тени, и в воздухе роились насекомые. Чирикание и перепевы птиц неслись из разных углов парка. Пахло ландышем и цветом черемухи. Все в этом году распустилось и зацвело разом и раньше. Его сердце лесовода радовалось. Для него не было лучших часов, как утренние в хорошую погоду или ночью, в чаще „заказника“, вдоль узкой просеки, где звезды смотрят сверху в щель между вершинами вековых сосен.

И садоводство он любил, хотя и не выдавал себя за ученого садовника. Его привлекали больше фруктовые деревья, прививка, уход за породами, перенесенными с юга. Бывало, если ему удавалось, хоть в виде кустика, вывести какое-нибудь южное деревцо, он холил его как родное дитя и сам говорил, что носится с ним „ровно дурень с писаной торбой“.

В этом парке он находил растительность богаче, чем можно было бы ожидать, судя по „градусу широты“, Антон Пан-

телеич придерживался научных терминов, и объяснял такое богатство удачным положением. Балки, круто поднимавшиеся к усадьбе, защищали низины парка, обращенного на юго-запад поворотом реки.

В тени дубов ему стало еще радостнее. Вчера он засыпал в тревожном настроении. Ему предстоял разговор с Василием Иванычем, крайне ему неприятный, противный его натуре, отзывающийся желанием выслужиться, выставить напоказ свою честность и неподкупность, а между тем он не может молчать.

Мысли его пошли все-таки в другую сторону. Все обойдется к лучшему. С таким человеком, как Василий Иваныч, знаешь, что дело будет спориться, – и дело крупное, хорошее дело.

К Теркину он быстро стал привязываться. Не очень он долюблял нынешних „самодельных людей“, выскочивших из простого звания, считал многим хуже самых плохих господ, любил прилагать к ним разные прозвания, вычитанные в журналах и газетах. Но этот хоть и делец, он ему верит: они с ним схожи в мыслях и мечтаниях. Этому дороги родная земля, Волга, лес; в компании, где он главный воротила, есть идея.

Хрящев вернулся снизу в цветник и присел на скамейку, откуда ему видна была калитка от флигеля. Уходя, он сказал Чурилину, чтобы тот прибежал сказать ему, когда Василий Иваныч оденется и спросит чаю. Тарантас он сам приказал

закладывать. Они должны были до завтрака съездить вдвоем без Первача осмотреть дачу.

Объяснение необходимо, и всего лучше бы переговорить здесь. Авось Василий Иванович захочет заглянуть в парк. За чаем было бы неудобно. Или тот ловкач спустится сверху, пожалуй, и подслушает под окнами. Такие на все способны.

Опять мысли Антона Пантелеича поползли в другую, более приятную сторону. Он смотрел на дом, на забитые окна второго этажа, на размеры всего здания, и его голова заиграла на новую мысль, тут же осветившую его.

– Да, да, в этом – идея!.. – полугромко выговорили его немного пухлые губы.

И сам Василий Иванович как будто желает приобрести и усадьбу из-за парка, который ему очень нравится. Не для себя же одного? Он холост. А может, жениться надумал. Да, наконец, одно другому не мешает, даже очень подходит одна комбинация к другой.

– Славная идея! – погромче выговорил он и застыдился.

Нельзя же так хвалить собственную мысль. Предложить ее можно. Такой человек, как Теркин, не обидится, не скажет: „Куда, мол, ты лезешь сейчас с собственными прожектами, у меня и своя голова есть на плечах“.

Ему не сиделось на месте. Он начал прохаживаться мимо клумб по одной из аллей четырехугольника и, от чувства душевного довольства, потирал беспрестанно руки.

Голова еще ярче заработала. Какой чудесный питомник

можно развести в парке! Запущенный цветник представлялся его воображению весь в клумбах, с рядами фруктовых деревьев, с роскошными отделениями чисто русских насаждений, с грядками ягод и шпалерами ягодных кустов. А там на дворе сколько уставится еще строений!

Щеки Антона Пантелеича розовели, и глазки то игриво, то задумчиво озирались вокруг.

Он повернул голову к калитке и увидел рослую фигуру Теркина в чесучовой паре и соломенной шляпе. Тот шел к нему навстречу. Это его еще более настроило на возбужденно-радостную ноту.

„Сначала о ловкаче!“ – решительно подумал он, снял шляпу и поспешил навстречу своего „н/абольшого“, так он уже про себя звал Теркина.

– С добрым утром, Василий Иванович! Благодать-то какая!

Тот подал ему руку, ласково взглянул на него и спросил:

– Небось душа ваша радуется, господин созерцатель?

– Именно!.. Не угодно ли вон туда в беседку, взглянуть на Заволжье сквозь розовую дымку? Или, быть может, чай кушать желаете, Василий Иванович?

– Чай подождет. Пойдемте.

– Только не обессудьте меня за то, что должен сейчас же довести до вашего сведения... нечто, не отвечающее откровениям благодатной природы...

– Погодите, погодите! – прервал Теркин. – Экой вы какой рьяный! Все дела да дела!.. Дайте хоть немножко полени-

ся... на холодке.

– Извините, извините, Василий Иванович, за это предупреждение. И я сам здесь замечтался. Чудесное место! На парк этот не наглядишься. И в таком все забросе...

– И не говорите!..

Теркин ускорил шаг по дороге, вдыхая в себя громко струю затеплевшего воздуха с его благоуханием.

– И что за дух!

– Превосходный!.. Ландыш!.. Майский цвет... И у немцев, кажется, так называется. Нет цветка краше и стыдливее...

– Антон Пантелеич! Да вы – поэт!

– Как-с?

– Поэт, говорю. Душа у вас с полетом и с чувством... как бы это сказать...

– Естества!.. Бесконечной жизни естества, Василий Иванович, это точно.

Они подошли к обрыву. Теркин сделал два шага к самому краю, сложил руки на груди и долго смотрел на реку, на Заволжье, на белые колокольни села Заводного.

В груди у него точно что вздрагивало. На таком душевном подъеме он еще не помнил себя. Вчерашний разговор с Маврой Федосеевной весь припомнился ему. Как все это чудно выходило!.. Голова Сани всплыла перед ним, ее коса, ручки, выражение глаз, стан... И голосок как будто зазвучал... Жалко ему стало этой девчурки, и какое-то новое чув-

ство великодушного покровительства шевельнулось в нем. Она же и законная наследница этой усадьбы, ее же обходит этот таксатор, а тетки развращают. Точно все в сказке, – и он явился тут, как богатырь, спасти царь-девицу, подскочить до двенадцатого венца ее терема.

Да и нужны ли такие усилия? Не приводит ли его судьба к более простому и достижимому?

Он продолжительно задумался.

## XXII

– Вот какое обстоятельство, Василий Иваныч...

Хрящев присел на кончик скамьи и раза два потер руки, но уже не так, как он это делал, когда размечтался полчаса перед тем.

– Что-нибудь небось насчет того... шустрого франта?

Теркин кивнул головой в сторону флигеля.

– Сколь вы проникательны! Так точно!

– Ну, и что ж?

Лицо Теркина приняло сейчас деловое выражение.

– Он... как бы это сказать...

– Подъезжал к вам? Посулы делал?

– В таком именно смысле повел речь. И я немножко притворился, Василий Иваныч, что не совсем его понимаю. Ему очень хочется попасть на службу компании.

– Еще бы!

– Меня, грешного, начал пытаться... знаете... на нынешний фасон... все отборными словами и так... неглиж/е с отвагой!..

– Как?

– Неглиж/е с отвагой! Это моя супружница употребляла такой оборот... От семинаров наслышалась, от братьев и свойственников.

– Что же вы ему на это сказали, Антон Пантелеич?

– Я все помалчивал... Пускай, мол, выскажется до самого дна. Да почему и не предположить, что такая величина, как я, польстится на то, чтобы вступить в союз с господином таксатором... Ни больше ни меньше, как всех мы должны провести и вывести Низовьева, Черносошного, вас, Василий Иваныч, и – в лице вашем – всю компанию.

Встретив взгляд Теркина, острый и ясный, Хрящев повел головой и немного смущенно продолжал:

– Мое положение весьма в эту минуту не авантажно, Василий Иваныч, хотя бы и перед таким человеком, как вы... Уподобляюсь гоголевскому Землянике...

– Да я-то не Хлестаков, Антон Пантелеич. Иначе вам и поступить было нельзя.

– Точно я этим совсем выслуживаюсь или прошу награды... вроде как за нахождение потерянного бумажника.

– Это вы напрасно!.. Первач – жулик, и его надо сейчас же устранить. За это берусь я!

– Известное дело, он будет запираться.



– Ну/ешто я прямо так и бухну? Или на очную ставку вас обоих? Не младенец малый... Я и сам его доведу до точки... Будьте покойны.

Глаза Теркина блеснули.

– Чего же лучше, Василий Иваныч, ежели вы сами уже определили этого молодца. Он не расчел. Принял меня за ваше доверенное лицо, только надевшее на себя скромную личину.

– Да он вряд ли и ошибся, Антон Пантелеич.

– В чем-с?

– Вы хоть и без году неделю на нашей службе, но я вам доверяю и говорю это прямо.

Ему приятно было обласкать Хрящева. Обыкновенно он с подчиненными, на первых порах, держал себя настороже.

– Не раненько ли, Василий Иваныч?

Краска заиграла на полных щеках Хрящева. Глазки его радостно и смущенно оглянули Теркина.

– Остальное уже от вас будет зависеть, Антон Пантелеич. Дела много и дело большое.

– Святое дело! – со вздохом вырвалось у Хрящева. – И вот вы меня так не по заслугам поощряете... Я вам сейчас же покаюсь в предеззостных мечтаниях.

– Кайтесь... Послушаем.

– Боюсь задержать.

– Чаю наскоро напьемся. Еще рано. Папироски не хотите?

– Не употребляю.

– Говорите, говорите!

– Пришла мне... хе-хе... идея перед вашим приходом.

– Давайте, давайте вашу идею! Без идей нельзя. Без идей только закоренелость одна да кулачество.

– Вашими бы устами, Василий Иванович... Очень уж я прельщен этим парком. И вам он, кажется, больно по душе пришелся. Положение его вместе с усадьбой – такое для лесной местности, что другого такого и не найдешь, пожалуй, во всем приволжском крае.

– Верно! – крикнул Теркин, но тотчас подумал: „уж и этот не ловчак ли, – пробирается в мою душу, учуял: чего мне самому хочется?..“

– Лесная дача господина Черносошного хорошего качества, спору нет. А приобретать ее без усадьбы и этих береговых насаждений как бы обидно.

Теркин сбоку взглянул на него.

– Вы что же это – у меня в голове подглядели, Антон Пантелеич?

– Следственно, и вам приходил уже замысел насчет и усадьбы? – И весьма!

Про свои детские мечты на колокольне села Заводного он не стал ему рассказывать.

– Тем более лестно мне будет, Василий Иванович, изложить вам мою идею. Сколько я вас разумею, вы не станете из своей только корысти или суетных поползновений приобретать барское имение...

– Однако, – перебил его Теркин и сделал широкий жест левой рукой, – приятно стать на место неумелых, выродившихся вотчинников, особенно мужичьему приемышу, как я.

Про то, что Теркин мужичий приемыш, Хрящев слышал впервые; но это его не озадачило.

– Хотя бы и так, – выговорил он. – Приятно, слова нет; но общее дело еще выше... Вот я сейчас и размечтался, ходя по той аллее. Василию, мол, Иванычу ничего не будет стоять: побудить компанию вместе с дачей приобрести и усадьбу с парком, сделать из нее центральный пункт всего приволжского лесного промысла и хозяйства компании и вместе – заложить здесь фундамент для распространения здравых познаний по лесоводству и уходу за всеми видами строительных и фруктовых деревьев... Поглядите на дом... Один этаж прямо просится под школу. А парк, а цветник! Какие богатые питомники можно устроить! Какой образцовый фруктовый сад! Что твой Горыгорецк! Что твое Лисинское лесничество!.. Вы такой ревнитель отечественных богатств, Василий Иваныч! Вам бы сделать из этой усадьбы свое летнее пребывание и центр управления всеми приволжскими дачами. Отсюда поведете вы поход против хищения и лесоистребления, против кулаческого разгрома и помещичьего недомыслия. Ведь так я говорю? Школа не Бог знает чего будет стоить обществу; а какое добро! Сколько она выпустит вот таких же, как я, грешный, немудрых практиков, не великой учености, однако с великим уважением к науке, к бережному уходу за

таким народным сокровищем, как лес, без которого и Волга совсем иссякнет, особенно в верховьях.

По мере того как он говорил, голос Хрящева делался менее сладким, зазвучали другие ноты. Несколько раз он даже вскидывал руками.

Слушая его, Теркин курил и не поднимал на него глаз. Прежде – года два назад – он бы его оборвал, ему стало бы досадно, что вот такой простец, служащий под его началом, в мелком звании, и вдруг точно подслушал и украл у него мысль, назревавшую в нем именно теперь, и дал ей гораздо большую ширь; задумал такое хорошее, исполнимое дело.

– Антон Пантелеич! – выговорил он после тирады Хрящева и приласкал его взглядом. – Нужды нет, что вы у меня ровно восхитили... если не всю идею, то начало ее... Но ваш план выше моего. Я, быть может, и пришел бы к тому же, но первый толчок был скорее личный.

– Все дороги в Рим ведут, Василий Иванович. Зачем же и от своей личности отказываться?.. Прямой повод сочетать свое имя с таким делом. Вашим именем и назовете этот рассадник разумного и благого лесоводства и лесного промысла... У вас найдутся весьма именитые предшественники... Я сам не бывал, но доподлинно знаю: на северо-востоке... фамилия Строгановых вроде этого устроила нечто... еще в начале века, а то и в конце прошлого... боюсь соврать. К немцам учиться посылали на свой счет и вывели несколько поколений лесоводов. А именитые-то люди откуда были

родом? Из гостей... Следственно, из простого звания... За-  
кваска-то оставалась деловитая и на пользу краю. Нынче и  
подавно всякому может быть дан ход, у кого вот здесь да вот  
тут не пустоует.

Он приложил руку ко лбу и к левой половине груди.

Теркин тихо рассмеялся.

– Правильно, Антон Пантелеич, правильно. Идея бога-  
тая, только надо ее позолотить господам компанейцам, что-  
бы не сразу огорошить непроизводительным расходом... Я  
вам, так и быть, признаюсь: хочется мне больно за собой  
усадыбу с парком оставить, войти с компанией в особое со-  
глашение.

– И того лучше! Вы не зароете таланта своего!.. А какое  
бы житье по летам... Особливо если б Бог благословил се-  
мьей... Ведь от вас – ух, какие пойдут... битки!

– Битки!.. И вы это слово знаете! Меня так в гимназии  
звали.

– Помяните мое слово... битки пойдут.

Оба рассмеялись и разом поднялись.

– А теперь чайку – да и в лес! – скомандовал Теркин.

## XXIII

В комнате Марфы Захаровны угощение шло обычным по-  
рядком. К обеду покушник не приехал, а обед был заказан  
особенный. Иван Захарыч и Павла Захаровна волновались.

Неспокойно себя чувствовал и Первач, и у всех явилось сомнение: не проехал ли Теркин прямо в город. Целый день в два приема осматривал он с своим „приказчиком“ дальний край лесной дачи, утром уехали спозаранку и после завтрака тоже исчезли, не взяв с собою таксатора.

И в Саню забрело беспокойство. Она принарядилась особенно и ждала нового разговора с Теркиным. Первач сидел с ней рядом и хотел было начать прежний маневр; она отставила ногу и сейчас же отвернула голову в другую сторону. К концу обеда, когда пошли тревожные разговоры насчет леса и Первач начал делать намеки на то, что Теркин хочет „перетонить“ и надо иметь с ним „ухо остро“, ей сначала стало обидно за Василия Иваныча, потом она и сама подумала: „Кто его знает, может, он только прикидывается таким добрым и сердечным, а проведет кого угодно, даже Николая Никанорыча, не то что ее, дурочку“.

И у тетки Марфы она стала с Первачом ласковее, позволила пожать себе руку под краем стола, много ела лакомств и чокалась с ним уже два раза наливкой.

– Марфа Захаровна! – окликнул Первач толстуху, сидевшую на диване, с соловеющими глазами и с папиросой, – она иногда курила. – А ведь Александре Ивановне взгрустнулось за обедом; господина Теркина поджидала.

И он подмигнул в сторону Сани. Та зарделась и нахмурила брови.

– Ничуть, ничуть!

– Да я вам говорю, что да.

– А я вам говорю, что нет.

Саня ударила даже кулачком по краю стола.

– Ну, чего вы спорите, дети! – остановила их тетка. – Милые бранятся – только тешатся!.. Саня, кушай наливку! Хочешь еще полрюмочки?

– Тетя... дайте мне покурить.

– Захотелось?

– Забыть свое горе желает, – ввернул Первач.

– Ах, какой вы гадкий... Хотела выпить за ваше здоровье и не выпью...

– Ну, ну, чокнитесь! – подсказала тетка.

Саня и Первач чокнулись. Она, с надутыми еще губками, улыбалась ему глазами и потянула из рюмки густую темно-красную вишневку.

– Спойте „Пловцов“! – пристала Марфа Захаровна.

– Ах, тетя, все „Пловцов“?... Что-нибудь другое. Это старина такая!

– Нужды нет!.. Какие стихи!.. Река шумит, Река ревет...

– Извольте петь! – скомандовал Первач.

Марфа Захаровна взяла гитару, и они запели втроем.

– Ах!..

Саня ахнула и вскочила с места.

Вошел Теркин. Он остановился в дверях и развел руками.

– Веселая компания! Желаю доброго здоровья.

– Василий Иваныч! Какая неожиданность!

Первач шумно отодвинул свое кресло и подбежал к нему. Марфа Захаровна начала застегивать верхние пуговицы капота.

– Извините, пожалуйста! – залепетала она. – Мы по-домашнему.

– Пожалуйста, не стесняйтесь!.. Позвольте мне присесть, вот к Александре Ивановне.

Он казался очень возбужденным, и тон его ободрил и толстую, и таксатора. Саня протягивала ему руку, все еще не овладев своим смущением. Ей вдруг стало совестно рюмки с наливкой, стоявшей перед ее местом. Она посторонилась. Теркин поставил стул между нею и Первачом.

– Марфа Захаровна! – весело окликнул он. – Вы и на гитаре изволите? Я тоже...

– Скажите, пожалуйста! Как это приятно! Но позвольте, не угодно ли вам... чего-нибудь? Или вы еще не кушали? Так я сейчас распоряжусь.

– Благодарю... Мы с Хрящевым попали к пчелинцу... И закусили там. Папушник нашелся... и медом он нас угостил... Но рюмку наливочки позвольте.

Все засуетились. Принесли рюмок и еще бутылку наливки сливянки. Теркин попросил гитару у Марфы Захаровны, заново настроил ее, начал спрашивать, какие они поют романсы.

Тетка, с пылающими щеками, захмелевшим взглядом широко разрезанных глаз, улыбалась Теркину и через стол чо-



калась с ним.

– У Санечки голосок хороший, – говорила она сладко и замедленным звуком, – только она сейчас и застыдится.

– Хотите дуэт? – спросил он Саню.

– Да я, право, ничего не пою.

– Выдумывает. И у Николая Никанорыча приятный голос.

– Тогда лучше уж хором!

– Вот не знаете... чудесный романс, хоть и старинный...

„Река шумит“?

– Ах, тетя! Все то же! – вскричала Саня.

– Отчего же не это? – спросил Теркин.

– Видишь! Видишь!

Марфа Захаровна разом задвигалась на своем диване, и пуговицы капота опять стали расстегиваться.

Гитара загудела под пальцами Теркина. Он наклонился к Сане и тихо сказал ей:

– Что же вам со мной дичиться, Александра Ивановна? Я ведь ваш друг?.. Да?..

– Да... – выговорила Саня и больше ничего не могла сказать.

Присутствие Первача беспокоило ее. И вообще ей показалось, что Василий Иваныч делает все это „не в самом деле“, как она говорила, а „нарочно“. Он ее наверно осудит за эти послеобеденные „посиделки“. И Николай Никанорыч сделался ей вдруг точно совсем чужой... Как бы хорошо было, если б он исчез!

– Что ж! Давайте, господа! Разом! – крикнул Теркин: Река шумит, Река ревет...

Все подхватили. Первач пел, сдержанно усмехаясь; Марфа Захаровна пускала свои бабьи визгливые ноты; голосок Сани сливался с голосом Теркина и задевал в нем все ту же струну жалости к этому „бутузику“. Он ее мысленно назвал так, глядя на ее щеки, носик, челку, ручки... И он почуял, что она застыдилась.

Нянька не выдумывала. Ведь ее развращают понемножку, и Первач, быть может, уже целуется с нею.

Целуется; но вряд ли пошло дальше. Ему почему-то стало больно от мысли, что бедная девочка могла и зарваться с таким негодяем. Но он продолжал бить по струнам гитары, напускать на себя молодецкий вид.

– Вы на все руки! – сказал льстиво Первач, когда они допели первый куплет. – Марфа Захаровна, позвольте предложить за здоровье Василия Ивановича!

Все стали с ним чокаться. Сане тетка налила полную рюмку. Она протянула ее к Теркину, но сделала маленький глоток. До его прихода она уже выпила полных две рюмки, и щеки ее показывали это.

– Ваше здоровье! – тихо выговорила она.

Он еще раз чокнулся с нею и так же тихо, как и она, сказал:

– И за нашу дружбу!

Первач услышал эти слова и вкось посмотрел на Саню из-за плеча Теркина.

„Уж не подстрелила ли она его?“ – подумал он, но ревности никакой не ощутил.

Ему и это было бы на руку. Если Теркин возьмет его на службу компании, в звании главного таксатора, а Саня очутится директоршей, – и прекрасно! Он сумеет закрепить за собою доверие мужа и жены.

Пропето было еще несколько цыганских песен и романсов Глинки: „Вы не придете вновь, дней прежних наслаждения...“ Теркин подпевал Сане на терциях.

Рюмки наливки она так и не допила.

– За ваше здоровье! – предложил он ей.

– Нет, довольно.

Она взглянула на него стыдливо и кротко, встала и сказала Марфе Захаровне:

– Тетя! Душно! Хочется в сад. Василий Иванович! Вы не пойдете?

– Мы все можем! – вмешался Первач.

– А вы забыли... папа просил вас зайти к нему... Он наверно проснулся. Тетя... вы посидите на диване?.. А я не могу! Совсем задыхаюсь здесь.

Саня выбежала.

## XXIV

За нею потянулась и Марфа Захаровна.

– Мы сейчас за вами! – крикнул вслед ей Теркин. – Мне

надо сказать два слова Николаю Никаноровичу.

Когда толстуха вышла из комнаты, он облокотился локтем на стол и пригласил таксатора подсесть к себе.

– Не выпьем ли еще по рюмке? – пригласил он.

– С удовольствием.

Пододвигая свой стул, Первач возбужденно поглядел на него. Ему сдавалось, что „лесной туз“, – так он называл Теркина про себя, – хочет его „пощупать“. До сих пор он избегал всякого разговора с глазу на глаз, а тут – сам предложил, перед тем как покончить с Иваном Захарычем. Да и с Низовьевым еще не дошло у него до окончательной сделки.

Лицо у Теркина было особенно благодушно. Они чокнулись.

– Что же, господин таксатор, – начал он шутливо, – вашей работой я доволен... и в низовьевских дачах и здесь. Вы дело смыслите.

– Мне чрезвычайно лестно, – начал было Первач, но Теркин перебил его.

– Только со мною надо во всем начистоту... Вам, быть может, желательно бы было продолжать и дальнейшие работы, какие наша компания будет производить в своих лесных угодьях?

– О, весьма!

Восклицание вырвалось у Первача раньше, чем бы он сам хотел, но устоять было трудно.

В глазах Теркина, – Первач был в этом уверен, мелькнуло

что-то, говорившее прямо: „любезный друг, ты, прежде всего, должен сам выказать готовность держать нашу руку...“

– По даче Низовьева, – продолжал Теркин, – вы не были посредником... Но в вотчине Ивана Захарыча...

– Позвольте, Василий Иванович, доложить вам, перебил Первач, – что и в даче Низовьева есть целое урочище, по которому сам владелец еще не имеет вполне ясного представления о ценности этого участка. Он ждет окончательной оценки от меня... Я уже не говорю о лесе Ивана Захарыча и усадьбе с парком, если бы вы пожелали приобрести их... Без моего мнения это дело не может состояться.

Теркин одобрительно качнул головой.

– Другой бы на моем месте заявил требования... знаете, как нынче разные штукмахеры... Но я далек от всякого нахального куртажа... Не скрою от вас и того, – Первач оглянулся и стал говорить тише, – в семействе Черносошных с этой продажей связаны разные интересы... И без моего совета, смею думать, ничего не состоится. Вся суть не в старике, главе семейства... а в другой особе, и вы, может быть, догадываетесь – в ком именно.

– А-а? – вопросительно протянул Теркин.

– В таком смысле я уже заводил речь с господином Хрящевым.

– Заводили? – переспросил Теркин и прищурился.

– Я полагал, Василий Иванович, что он ваш фактотум и вполне доверенное лицо... А между тем... он не больше

как... вроде нарядчика.

– Это неверно, Николай Никанорыч. Хрящеву мы думаем поручить довольно ответственное место. Он человек больших практических сведений.

– Не спорю. Но я боюсь, Василий Иванович, что он меня плохо понял. Пожалуй, подумал, что я ему предлагаю куртаж... подкупаю его. Ничего подобного не было... Совершенно понятно... я хотел знать немного и ваши намерения. Не скрываю и того, что судьба фамилии Чернососшных... для меня не безразлична.

– Породниться не хотите ли? – спросил Теркин и подмигнул.

– До этого еще далеко... Иван Захарыч может в скором времени очутиться в весьма печальных обстоятельствах... Я бы не сказал этого другому покупщику, но вы – человек благородной души, и вам я могу это сказать. Разумеется, компания не обязана входить в семейные интересы продавцов. С другой стороны, от меня зависит направить торг так или иначе.

Первач быстро вскинул на Теркина своими красивыми глазами и опустил ресницы.

– По моим соображениям, – отозвался Теркин спокойно и все так же благодушно, – Иван Захарыч настолько запутался в делах, что ему надо как можно скорее найти покупщика на усадьбу. И на ней он сделает б/ольшую уступку, чем на лесной даче.

– Понятное дело!

Первач засмеялся коротким смехом.

Дверь тихо отворилась.

Вошла Павла Захаровна.

Они оба разом встали.

– Николай Никанорыч! брат вас просит к себе, – сказала она и заглянула. – Вы вернулись, Василий Иванович, а мне никто не доложит... Где же ваши дамы?

– В саду, – ответил Первач.

– И вы туда собираетесь?

– Нет-с... Я к Ивану Захарычу. Мы вот с Василием Ивановичем побеседовали немножко.

Первач обернулся к Теркину.

– Имею честь кланяться, Василий Иванович; разговор наш, если позволите, как-нибудь продолжим.

– Я не хочу мешать! – выговорила Павла Захаровна и пристально поглядела на них обоих.

– Это не к спеху, – ответил Теркин. – Да все существенное и сказано.

Первач, уходя, шаркнул ногой.

– Вам в сад угодно? – еще раз спросила Павла Захаровна.

Она присела на конец дивана и оглядела стол с остатками угощения.

– Веселая компания у вас была. И пение, кажется?

Ее губы повела брезгливая усмешка.

– Да, – ответил ей Теркин, присаживаясь к столу. – Я за-

стал компанию в полном сборе. Кажется, у вас скоро и свадьба? – прибавил он простодушно.

– Свадьба? Кого же выдавать будут?

– Племянницу вашу, Александру Ивановну. Разве господин Первач не жених ее?

– От вас первого слышу.

– Так как же, почтеннейшая Павла Захаровна, сестрица ваша позволяет постороннему мужчине быть на такой ноге с девушкой хорошего дома?.. Вы меня извините: я не имею права делать какие-нибудь замечания... Я судил по очевидности...

– Девочка эта – по натуре испорченная в корень... Вся в мать... Я умываю руки... Сестра по слабости своего характера потакает ее наклонностям. Господин ли Первач, другой ли – точно так же бы повел себя.

– Жаль мне ее стало... Если позволите поговорить по душе, такая она юная и беспомощная... Опять же – единственная наследница своего отца... На нее охотников немало будет, на ее приданое.

– Какое?

Павла Захаровна повела своими приподнятыми плечами.

– Неужели же от двух вотчин Ивана Захарыча ничего не останется? Мне неловко спрашивать об этом. Я – представитель компании, которой ваш брат предлагает свой лес и даже – вам это, вероятно, известно – и эту усадьбу с парком. Если мы поладим, он получит самую высшую цену по здешним



местам... Но только, почтеннейшая Павла Захаровна, надо устранить всяких ненужных посредников и маклаков.

– Вы на кого же намекаете?

Она уже догадывалась, что он намекает на таксатора. Первач мог провести ее с братом и передаться на сторону покупателя. Пускай он поскорее осрамит девчонку, и тогда можно будет из денег, полученных за продажу одного имения, выкинуть тысяч пять или десять на приданое ей, – и чтобы ее духу не было!

Но этот разночинец сам простоват. Его можно поддеть на благородстве его чувств. Он желает показать, что у него больше благородства и честности, чем у дворян. Она еще вчера решила с глазу на глаз переговорить с ним... Кажется, и девчонка ему приглянулась... Пускай отобьет ее у землемера и увезет... Тем лучше...

– Не угодно ли вам пройти ко мне? – выговорила она и встала. – Я вас долго не задержу... Вы увидите, что вам нельзя покончить с братом, не выслушав меня.

– К вашим услугам, Павла Захаровна. Вы ведь здесь – голова... Я это сразу увидал.

Она ничего не ответила и только издала неопределенный звук носом.

– Василий Иваныч! – окликнула Саня, подбегая к террасе. – Вы здесь?

– Василию Иванычу сейчас некогда! – ответила в окно Павла Захаровна и застучала по полу палкой, уводя за собою

## XXV

– Так вот какое дело, Павла Захаровна!..

Теркин выслушал горбунью внимательно и с почтительным выражением лица; но внутри у него накипало желание „оттаскать“ ее – так она была ему противна. Под конец, однако, и эта злобная старая дева показалась ему жалка, – чем-то вроде психопатки. Она ему не открыла главной причины своего поведения; но он хорошо помнил то, что рассказывала Федосеевна, и все сообразил.

– Да-с, – с оттяжкой нижней губы выговорила Павла Захаровна. – Вы понимаете, милостивый государь, ежели брат мой имеет такие обязательства предо мною и сестрой и, по слабости своего характера, привел дела в такое расстройство, я должна была поставить вам это на вид...

– Конечно, конечно, – поспешил согласиться Теркин. – Но с чем же очутится племянница ваша? У Ивана Захаровича, если он продаст и усадьбу, останется то дальнейшее именьице; но и на него вы предъявляете свое право. Стало, оно фактически ему принадлежать не будет. Правда, наследницей вашей, во всяком случае, Александра Ивановна...

– Позвольте-с... Я умирать еще не собираюсь! Дело отца – заботиться о своей дочери... И наконец, это... это...

– До меня не касается, хотели вы сказать? Это точно, Пав-

ла Захаровна. Но ведь вашу барышню мне вчуже жаль. Она без всякого призора. Вы не можете же не знать, что здесь через стену делается. Вы меня извините... Я говорю так после вашего ко мне обращения... Вы желаете, чтобы я вас при предстоящей сделке с братом вашим поддержал? Стало, доверяете мне?

Горбунья повела плечами, глаза сначала замигали, потом в них вспыхнул огонек, и губы стали вздрагивать.

– Господин Теркин! Вы хоть и посторонний человек, но я должна вам сказать – эта девочка по натуре своей в корень испорчена... Бедный мой брат боготворил ее мать, а она его самым постыдным манером обманывала.

„Так, так! – думал Теркин. – Федосеевна правду говорила“.

– И вы, что же... теперь на дочери вину матери ее вымещаете, даже если предположить, что та и согрешила перед мужем своим?..

– Позвольте, милостивый государь! Эта девчонка вовсе не дочь брата Ивана и никогда ею не бывала!

– Быть может, почтеннейшая Павла Захаровна; но она значится его дочерью, она – дворянское дитя, воспитанная девушка из института... тоже, наверное, дворянского, и все в ней полудетское, чистое.

Говоря это, Теркин чувствовал, что выходит из своей роли дипломата, желавшего обойти горбунью, что он открывает перед ней свои карты... Его что-то влекло к Сане, что-то

большее, чем простая жалость.

– Чистое? – резко повторила Павла Захаровна. Шашни уже начала! Поди, во всех углах целуется...

– С кем?

Вопрос Теркина прозвучал почти гневно. Он присел к ней ближе и заговорил вполголоса и быстро:

– Как вам не грех – вам и сестрице вашей – толкать ее в лапы такому прощельге, как этот таксатор!.. Вы думаете, он женится на ней, не заполучив куша? Как бы не так! А вы, видимое дело, хотите се осрамить и выгнать без куска хлеба...

– Мои чувства и мысли при мне остаются.

– Полноте хитрить! – громче отрезал Теркин и заходил по комнате. – Я вас выслушал. Теперь мой черед. В ваши родственные расчеты я входить не обязан, но коли захочу – могу оказать давление на вашего брата и помочь вам получить с него если не все, то хоть часть долга... И я ставлю первым условием: этого шустрого таксатора сейчас же устранить. Он – плут, и моему лесоводу, и мне лично делает посулы и готов сейчас же вас всех продать.

– Все нынче такие!

– Может быть; но его чтобы завтра же здесь духу не было. Извольте на вашего братца подействовать: сделать это сегодня же и при мне. А затем – в случае покупки мною усадьбы с парком – Иван Захарыч обеспечит Александру Ивановну при жизни и при заключении нашей сделки.

Павла Захаровна поднялась, нервно обдернула платье вокруг своей жилистой шеи и порывисто отковыляла к дальнему углу комнаты.

– Но вы, милостивый государь, кажется, законы ваши думаете предписывать?

Этот „хам“ возмущал ее нестерпимо: в концах ее костлявых пальцев она ощущала зуд. Мужик, разночинец – и смеет так вести себя!

Она громко перевела дыхание и вернулась опять на свое место.

– Вы злоупотребили моим доверием, и теперь...

– Та-та-та! – перебил Теркин и махнул рукой. Без жалких слов, Павла Захаровна, без жалких слов... Я вам нужен. И кроме меня в эту минуту никто у Ивана Захарыча лесной его дачи за хорошую цену не купит. Только наша компания может это себе позволить. И усадьбу с парком компания не купит без моего особого ходатайства. Следственно, извольте выбирать: или сделайте порядочное дело и не обижайте ни в чем не повинной девушки, не развращайте ее, да еще так предательски...

– Я ее развращаю?!

– А то как же? Ваша сестрица прямо спаивает ее и... сводит с жуликом.

Он спохватился: не слишком ли он далеко зашел. Но ему уже трудно было переменить тон, да и не хотелось. Головка Сани с ясными глазами, ее голосок, особая беспомощность и

безобидность всего ее существа согревали его и настраивали на новый прилив жалости к этому чаду вырождающейся помещичьей семьи. В ней еще текли свежие соки. А остальное вызывало в нем гадливость и сознание своего превосходства: эта горбунья, ее жирная сестра-дура, их брат, вся бестолочь их ненужной и постылой прозябаемости, где самым жизненным нервом являлась мания старой девы, так бездушно мстящей за любовь брата к ненавистной невестке... Какая дичь!.. Стесняться ему нечего.

Глаза Павлы Захаровны блеснули ярче, и углы рта вздрогнули. Она издала короткий звук смеха.

– Да вы уж не желаете ли сами осчастливить нашу идиотку... предложением руки и сердца? Ха-ха!

Этот вопрос заставил его встрепенуться. К щекам прилила краска. Он подавил смущение и не сразу ответил ей.

– Нам где же, мы – простецы... На вашем барском наречии вы нашего брата кошатником величаете. Одно скажу – имей я виды на Александру Ивановну, я бы не так повел дело... Вы это изволили сказать в пику мне, что, мол, я об ее приданом хлопочу на всякий случай, так позвольте вам доложить, сударыня, – он в первый раз так назвал ее, – я в таких денежных делах, что мне зазорно будет и о более крупном куше хлопотать, когда надумаю жениться.

За дверью раздались шаги Первача.

– Можно войти?

– Уговор лучше денег! – шепотом произнес Теркин, на-

гнувшись над столом. – Его... – и он сделал жест рукой.

– Можете войти! – крикнула Павла Захаровна.

– Наша конференция с Иваном Захарычем кончилась, – заговорил он, потирая руки. Глаза его беспокойно перескочили от горбуны к Теркину.

– Брат у себя в кабинете? – спросила Павла Захаровна.

– И желал бы до чая побеседовать еще с Василием Ивановичем.

– Попросите Ивана Захарыча сюда! – сказал Теркин. – Одного! – прибавил он значительно.

– Понимаю-с!.. Я и не желаю быть лишним... Сделайте одолжение!

Первач повернулся на одном каблуке и у двери обернулся к ним лицом.

– Напрасно вы беспокоитесь, Василий Иванович! Лишним я не желаю быть.

– И разлюбозное дело! – сказал ему вслед Теркин точно так, как виденный им московский актер в Льве Краснове.

## XXVI

На балконе собрались все к чаю.

Разливала Марфа Захаровна. Саня сидела немножко поодаль. Первач отошел к перилам, присел на них, обкусывал стебелек какой-то травы и тревожно взглядывал на тот конец стола, где между Иваном Захарычем и его старшей сестрой

помещался Теркин. Он уже почувал, что ему больше ходу не будет в этом доме, что „лесной воротила“ на службу компании его не возьмет... Да и с барышней ничего путного не выйдет.

Иван Захарыч, в светло-голубой домашней тужурке, с закинутой назад маленькой головой, медленно курил папиросу и старался соблюсти свое достоинство. Лицо у него было краснее обыкновенного. Его грызло то, что он должен был при покупателе из разночинцев сводить свои родственные счета. Сестра Павла подвела его, стакнулась с покупщиком. Никогда еще его дворянский гонор так не страдал. Еще добро бы Теркин влюбился в Саню и сделал предложение... И того нет. Он только разыграл роль сердобольного опекуна: поставил условием сделки обеспечение Сани... Бог знает, что такое! На все это Иван Захарыч должен был согласиться и чувствует теперь, что сестра Павла еще больше заберет его; а на стороне у него на днях ожидается приращение незаконной семьи. Надо и тех обеспечить. Без продажи усадьбы нечего и думать обойтись; а лучшего покупщика не найти. Злиться на сестру он не смеет. Формально она права; но никак он уже не ожидал такого подхода.

Павла Захаровна поглядывала вкось на брата и прихлебывала чай с блюдечка. Она добьется того, что получит свое; но этот „кошатник“ как-то сразу изменил ее позицию. Ему она будет обязана, а не своей мудрой голове. Точно подачку ей подал. И как он ни хитри, ему „девчонка“ понравилась.



Очень может статься, она угодит за него!.. Брыкаться и брат не станет; а ей и подавно нечего стоять за ненавистное отродье распутной невестки. И что же выйдет? Госпожа Теркина вот здесь барыней заживет, миллионщицей; отец совсем прогорит, продаст и вторую вотчину. Положим, они с сестрой купят ее, и он при них останется. А если зятек с дочкой здесь очутятся? Они его к себе переманят... „Кошатник“ из одного разночинского задора это сделает.

Чай плохо шел в горло Павлы Захаровны, и она то и дело откашливалась.

Теркин сидел между ними, но разговаривал больше с Саней.

Его подмывало настроение, сходное с чувством, когда удастся кого-нибудь вытянуть из воды. На Саню он поглядывал точно на собственное „чадо“. Почему-то ему верилось, что теперь она уже не пропадет. Таксатора завтра же не будет здесь: он этого прямо потребовал. Не плутоватого маклака устранял он, главным образом, а нахала, способного развратить милую девушку. И он не стыдился такого сознания. Все сильнее и сильнее разгоралось в нем желание оставить Заводное за собою, если не сейчас, то через два-три года. Он уже решался взять на свой страх эту покупку. Если компания не одобрит ее, тем лучше: это будет его имение, и он на свой счет создаст в нем школу практических лесоводов.

Не одно это его тешило. Сидит он среди помещичьей семьи, с гонором, – он – мужичий подкидыш, разночинец, ко-

того Павла Захаровна наверное зовет „кошатником“ и „хамом“... Нет! от них следует отбирать вотчины людям, как он, у кого есть любовь к родному краю, к лесным угольям, к кормилице реке. Не собственной мощной он силен, не ею он величается, а добился всего этого головой и волей, надзором за собственной совестью.

– Вам покрепче, Василий Иванович? – донесся до него голосок Сани.

Она глядела на него из-за самовара.

– Да, покрепче, Александра Ивановна.

– Со сливками?

– Нет, позвольте с лимоном.

Что-то заиграло у него в груди от голоса Сани и мягкого блеска ее глаз. Прилив жалости подступил к сердцу. Захотелось сейчас же увести ее из этой семьи, обласкать, наставить, создать для нее совсем другую жизнь. Быстрая-быстрая мысль пронизала его мозг... Ведь женщина два года назад помогла ему. С ее деньгами дошел он в такой ничтожный срок до теперешнего положения... И она же довела его до сделки с совестью. Всю жизнь он будет помнить про эту сделку. Там он попользовался, здесь – сам должен оградить беспомощное женское существо, разделить с ним свой достаток, сделать из нее подругу не потому, что животная страсть колышет его, а потому что „так будет гоже“, мысленно выговорил он по-мужицки.

Его взгляд приласкал Саню, когда она подавала ему стакан

чаю.

Сегодня во всем доме произошло какое-то событие. И в ней самой есть что-то новое. Ей почти неприятно чувствовать позади себя Николая Никанорыча. Хотелось бы выкинуть то, что было между ними. Он ей чужой. „Хороший человек“ не он, а вот тот, Василий Иванович, перед которым все смирились, даже тетка Павла. Как будто и всю судьбу их семьи держит он в своих руках. Но ей он не страшен. Напротив! Василий Иваныч добрый и красивый, гораздо милее Николая Никанорыча. Наверное он будет с ней еще много говорить... И она ему во всем покается сама, не дожидаясь его расспросов.

– А ваш управляющий где же? – спросила Теркина Марфа Захаровна. – И ему бы чаю предложить.

– Он еще не вернулся из лесу, – ответил Теркин.

Павла Захаровна поглядела вбок на сестру: „довольно, мол, и одного хама, а то еще его приказчиков всяких в свою компанию принимать!“

Теркин подметил этот взгляд и сказал, обернувшись к Ивану Захарычу:

– Вашу дачу он теперь знает как свои пять пальцев.

Иван Захарыч промолчал и только слащаво усмехнулся. Ему предстояло объяснение с Первачом, и он не знал, как ему быть: сестра отказалась от всякого посредничества... Денег заплатить Первачу у него не было: приходилось просить их у покупателя.

Протянулось очень длинное молчание. Теркину оно не показалось тягостным. Он и не требовал, чтобы его занимали... Ему было хорошо. Из цветника долетало благоухание ветерка. В парке защелкал соловей. Позади, внизу, неслышно текла река, куда ему хотелось спуститься под руку с Саней.

– Колокольчик! – тихо вскрикнула Саня, будто она вздохнула.

– Кто бы это?.. – спросила Марфа Захаровна. Предводитель?

– Ему теперь не до разъездов! – выговорил Иван Захарыч. Звон резко оборвался у крыльца.

Теркин подумал о Звереве. Будь он тогда у него в таком же настроении, как сегодня, вероятно „Петька“ выклянчил бы у него тысчонку-другую.

Камердинер Ивана Захарыча показался в дверях террасы.

– Кто приехал? – спросила первая Марфа Захаровна.

– Барыня... Карточку вот дали... Господину Теркину...

По делу... Их желают видеть.

– Меня? – переспросил Теркин и быстро поднялся.

– Так точно.

На карточке стояло: „Серафима Ефимовна Рудич“.

Он подавил в себе смущение, но Саня заметила, как глаза его вдруг потемнели.

– Вы позволите принять эту госпожу, – обратился он к хозяевам – во флигеле?

– Почему же нет? Гостиная в вашем распоряжении, – чопорно выговорил Иван Захарыч.

Теркин был уже на пороге, скорым шагом прошел из гостиной и в зале столкнулся с гостьей.

Первая его мысль была не принять ее, но он сейчас же нашел это „гнусной трусостью“ и смело пошел на все, что этот приезд Серафимы мог повести за собою.

## XXVII

В той самой беседке, где он в первый раз говорил с Саней, сидели они друг против друга.

Теркин быстро-быстро оглядел ее и тотчас же отвел глаза. Серафима была одета пестро, но очень к лицу – шляпка с яркими цветами и шелковый ватерпруф темно– малинового цвета, с мешком назади и распашными рукавами. Ему показалось, что она немного притирается. Глаза выступали непомерно – она их или подкрашивала, или что-нибудь впускала в зрачки. На лице – бледном и немного пополневшем – пробегали струйки нервной дрожи. От нее сильно пахло духами. Из-под юбки светлого платья выставлялась нога в красноватой ботинке. На лбу волосы были взбиты.

„Кокотка, как есть кокотка!“ – определил он мысленно и в груди ощутил род жжения. Никакой радости, даже волнения он не сознавал в себе. Ему предстояло что-то ненужное и тяжкое.

– Здравствуй, Вася! – заговорила первая Серафима и подалась к нему своим, все таким же пышным станом.

Он ничего не ответил.

– Ты так меня встречаешь?

– К чему же этот приезд сюда?.. Ведь у меня есть квартира в городе.

– Кто же виноват, что ты здесь днюешь и ночуешь?.. Низо́вьев хотел тебя вызвать, нарочного послать. Он тебя ждет второй день. Ты получил его письмо?

– Получил... Но здесь я еще не покончил.

– Ну, я и рассудила поехать сама. Я по делу, ничего тут нет неприличного. Уж если ты нынче стал такой ц/ирлих-ман/ирлих... Или ты у этих уродов на правах не одного покупателя, а чего-нибудь поближе?

Губы ее начали заметно вздрагивать. Она их закусилась, чтобы удержать слезы.

– Все это ни к чему, и вы напрасно...

– Нет, уж пожалуйста, не на „вы“! В каких бы ты ни был ко мне чувствах – я не могу... слышишь, Вася, не могу. Это нехорошо, недостойно тебя. Я – свободна, никому не принадлежу, стало, могу быть с кем угодно на „ты“... Да будь я и замужем... Мы – старые друзья. Точно так и ты... ведь ты никому не обязан ответом?

Ее глаза остановились на нем пытливо и страстно. Ему стало неловко. Он не глядел на нее.

– Тут свобода ни к чему, – выговорил он немного помягче.

– Пойдем отсюда. Здесь мы на юру! Оттуда видно... И ты будешь стесняться...

– С какой стати?

– Прошу тебя.

Она так произнесла эти два слова, что он не мог не встать.

Встала и Серафима и взяла его сама под руку.

– Туда... туда!.. Книзу! Ведь они, там, могут меня считать за покупательницу. Явилась я к тебе... а ты скупаешь леса...

Вон там внизу лужайка под дубками... Как здесь хорошо!

Серафима придержала его за руку и остановилась.

– Ах, Вася! – Она вздохнула полной грудью. Как жизнь-то играет нами!.. Вот я попала в Васильсурск, на лесную ярмарку.

– Я знаю с кем...

Он не подавил в себе желания кольнуть ее, напомнить ей, с кем она туда явилась, какими поклонниками она теперь не пренебрегает. Ему припомнилось то, что рассказывал Низовьев о каком-то петербургском лесопромышленнике – сектанте.

– Тебе небось Низовьев говорил про Шуева?

– Какого Шуева?

– Ну, того... из „белых голубей“.

Она не закончила и рассмеялась.

– Правда это? – спросил он, и его губы сложились в усмешку жалости к ней.

Она схватила это глазами и отняла руку.

– Ты думаешь, я его вожу?..

– С такими трудно иначе, – шутливо выговорил он.

– Ну, все равно, думаешь, я обираю его? Могла бы!.. Так как он... страсти-ужасти!.. Ты не знаешь!.. До исступления влюблен... Да... И он душу свою заложит, не только что отдаст все, что я потребую... Дядя у него – в семи миллионах и полная доверенность от него... Слышишь: семь миллионов! И он – единственный наследник...

– Хорошо, хорошо!

Ему стало уже досадно на себя, зачем он намекнул на этого сектанта.

– Я запретила ему за мной следом ездить. Провались они все! – вскричала она и, обернувшись к нему, опять взяла его под руку. – Вон туда сядем... Пожалуйста!.. Там так славно!

Он не противился. Серафима опустилась прямо на траву в тень, между двумя деревьями.

– Садись сюда же... Ну вот, спасибо. Ты не желаешь, чтобы я тебя, по-старому, Васей звала и „ты“ тебе говорила?.. А?

– Мне, пожалуй...

– Ну, хоть и на том спасибо.

Над ними сбоку наклонились ветви большой черемухи, и к ногам их спадали белые мелкие лепестки.

Серафима подняла голову и громко потянула в себя воздух.

– Господи! – перебила она себя. – Так хорошо!.. Воздух!.. Пахнет как! Река наша – все та же. Давно ли? Каких-нибудь



два года, меньше того... Тоже на берегу... и на этом самом... А? Вася? Тебе неприятно? Прости, но я не могу. Во мне так же радостно екает сердце. Точно все это сон был, пестрый такой, тяжелый, — знаешь, когда домовой давит, — и вот я проснулась... в очарованном саду... И ты тут рядом со мной! Господи!..

Волнение перехватило ее речь. Она отвернула голову и взялась руками за лицо. Теркин сидел немного повыше ее, прислонившись спиной к одному из молодых дубов. И его против воли уносило в прошлое. Как тогда задрожали его колени, когда он, у памятника, в садике, завидел ее издали. Он себя испытывал, почти боялся, что вот не явится этого признака, по которому он распознавал страсть... И признак явился. В чувстве этой роскошной и пылкой женщины он находил потом больше глубины и честности, чем в себе. Ничего мудреного нет, что она осталась верна его памяти, даже если и начала кружить головы мужчинам... Кто его так любил?..

Глаза его украдкой остановились на ее профиле, на ее стене, на линии ее головы. Да, она смахивала на кокотку; но в ту минуту вся трепетала влечением к нему, жадной примирения, любовью, искупающею всякий грех.

Листки дубов и черемухи ласково шептались и слали им свое благоухание; вблизи ворковала горлинка, из травы выглядывали головки маргариток.

На сердце Теркина стало помягче. Он не хотел помнить

зла: но не мог и лгать, надевать на себя личину или поддаваться соблазну, чтобы сказать тотчас же потом: „Ты хотела добиться своего... Ну, а теперь прощай!“

Чуть-чуть дотронулся он до ее руки, немного ниже локтя. Серафима, точно от укола, повернулась к нему от одного прикосновения.

– Во мне, – заговорил он, не поднимая на нее глаз, – нет никакого против... тебя, – слово не сразу сошло с губ его, – сердца... Все перегорело... Может быть, мне первому следует просить у тебя прощения, я это говорю, как брат сказал бы сестре...

– За что? – почти изумленно перебила Серафима.

– Я тебя на грех подтолкнул... Никто другой.

– Вот еще! С какой стати ты на себя такое святошество напускаешь, Вася? Это на тебя не похоже... Или...

Она хотела сказать: „или Калерия тебя так переделала?“

– Никакого тут святошества нет. Я употребляю слово „грех“ попросту. Я тобой хотел овладеть, зная, что ты чужая жена... и даже не думал ни о чем другом. И это было низко... Остальное ты знаешь. Стало, я же перед тобой и виноват. Я – никто другой – и довел тебя до покушения и перевернул всю тебя.

За три минуты он не ожидал ничего похожего на такой приговор себе. Это вылилось у него прямо, из какой-то глубокой складки его совести, и складка эта лежала вне его обычных душевных движений... И ему стало очень легко,

почти радостно.

– Не фарисействую я, Сима. Осуждаю себя и готов всячески поддержать тебя, не дать тебе катиться вниз... Встретил я тебя нехорошо... Не то испугался, не то разозлился... А вот теперь все это отлетело. И никаких счетов между нами, слышишь – никаких...

– Никаких? – захлебываясь, выговорила она и наклонила к нему низко трепетное лицо.

– Никаких!..

## XXVIII

– Вася!.. Прости!..

С этим воплем Серафима припала головой к нему. Рыдания колыхали ее.

– Что ты! Что ты!..

Теркин не находил слов. Руками он старался поднять ее за плечи. Она не давалась и судорожно прижимала голову к его коленам.

– Прости! Окаянную!.. Жить не могу... не могу... без тебя! – прерывистым звуком, с большим усилием выговаривали ее губы, не попадая одна на другую.

Все ее тело вздрагивало.

Так прошли минуты... Ему удалось поднять ее за плечи и усадить рядом.

Внезапный взрыв страсти и раскаяния потряс его, и жа-

лость влилась в душу быстро, согрела его, перевернула взгляд на эту женщину, сложившийся в нем в течение года... Но порыва взять ее в объятия, осыпать поцелуями не было. Он не хотел обманывать себя и подогреть. Это заставило его тут же воздержаться от всякой неосторожной ласки.

С помутившимися, покрасневшими глазами сидела она у ствола, опиралась ладонями о дерн и силилась подавить свои рыдания.

– Полно, полно! – шепотом успокаивал он, наклоняясь к ней.

За талию он ее не взял и даже не прикоснулся к ее плечу кистью руки.

– Ты добрый, чудный... Я не оправдываюсь... Я, Вася, милостыни прошу! Все опротивело... вся жизнь... разъезды... знакомства... ухаживания... мужчины всякие, молодые, старые... Стая псов каких-то... Ужины... шампанское... франтовство... тряпки эти... – Она схватила свою шляпку и швырнула ее. – Не глядела бы!.. И таким же порывистым движением она прижалась к нему и положила голову на его плечо. – Вася! Жизнь моя!.. Не оттолкни!.. Возьми... Ничего мне не нужно... Никаких прав... Ежели бы ты сам предложил мне законный брак – я не соглашусь... Да и как я посмею! Тебя... тебя... слышать, сидеть рядом... знать, что вот ты тут... что никто не отнимет... никто, кроме... тебя самого или смерти... Да я умру раньше... Я это знаю. Мне хоть бы годков пять... Много... Хоть два года! Хоть год!

В ее отрывистой речи проглядывали неслыханные им звуки, что-то наивно-детское и прозрачное по своей беззаветной пылкости. Никогда и прежде, в самые безумные взрывы страсти, ее слова не проникали так в самую глубь его души, не трогали его, не приводили в такое смущение.

Он чуть не остановил ее возгласом: „Не нужно!.. Не говори так!“

Слезы подступили к глазам, он их уже ощущал в углах, и губы вздрагивали... Жалость к ней росла, жалость сродни той, какая пронизала бы его у постели умирающего или человека, приговоренного к смерти, в ту минуту, когда он прощается с жизнью и хватается за нее последними хватками отчаяния сквозь усиленный подъем духа.

Но больше ничего не было в сердце – он это сознал бесповоротно.

– Сима, – заговорил он нетвердо, боясь расплакаться, – ты меня тронула, как никогда... В любовь твою верю...

– Веришь! – вскричала Серафима и выпрямила стан. Глаза заблестали. Лицо мгновенно озарилось.

– Верю, – повторил Теркин и отвел от нее взгляд. – Но я прошу, умоляю тебя... Не насилуй моей души... Назад не вернешь чувства...

Докончить у него не хватило жестокости.

– Да-а, – протянула она глухо и поникла головой. Руки тотчас же опустились, и опять она уперла их ладонями в траву. – Я знала, Вася... могла предвидеть... Вы, мужчины, не

то, что мы. Но я ничего не требую! Пойми! Ничего!.. Только не гони. Ведь ты один... свободен... Если ты никого еще не полюбил, позволь мне дышать около тебя! Ведь не противна же я тебе?.. Не урод... Ты молодой...

Серафима вдруг покраснела. Ей стыдно стало своих слов.

Оба промолчали больше минуты.

– Зачем... унижать себя! – вымолвил первый Теркин и почувствовал тотчас бесполезность своих слов.

– Унижать!.. – повторила она без слез в голосе, а каким-то особенным полусшепотом. – Унижать! Разве я могу считаться с тобой! Пойми! Милостыни у тебя просят, а ты с нравов-учениями!

Это его задело. Он поднял голову, строже взглянул на нее, и она ему показалась жалка уже на другой лад. Что же из того, что она не может жить без него? Как же ему быть со своим сердцем?.. Любви к ней нет... Ваять ее к себе в любовницы потому только, что она красива, что в ней темперамент есть, он не позволит себе этого... Прежде, быть может, и пошел бы на такую сделку, но не теперь.

От всего ее существа, даже и потрясенного страстью, повеяло на него только женщиной, царством нервов, расшатанных постоянной жаждой наслаждений, все равно каких: любовных или низменно-животных. Психопатия и гистерия выглядывали из всего этого. Не то, так другое, не мужчина, так морфин или еще какое средство опьянять себя. А там – иступление клинических субъектов.

Запах сильных духов шел от нее и начал бить его в виски. Этот запах выедал из сердца даже хорошую жалость, какую она пробудила в нем несколько минут назад.

– Не хочу лгать, Серафима, – сказал он твердо и сделал движение, которым как бы отводил от себя ее стан.

– Я не требую... Не гони!

– Не гнать! Значит, жить с тобой... жить... Иначе нельзя... Я не картонный. А жить я не могу не любя!

– Боишься? – перебила она и с расширенными зрачками уставилась на него.

– Боюсь?.. Да! Не стану таиться. Боюсь.

– Чего?

– Все того же! Распусты боюсь!.. Тебя никакая страсть не переделает. Ты не можешь сбросить с себя природы твоей... С тобой я опять завяжу сначала один ноготок в тину, а потом и всю лапу.

– А теперь ты небось праведник?

Она достала шляпку, стала надевать ее.

– Не праведник. Куда же мне!..

– В гору пошел... Крупным дельцом считаешься.

– Потому-то и должен за собою следить... чтобы денга всей души не выела.

Серафима поднялась на ноги одним движением своего гибкого тела.

– И все это не то!

Щеки ее мгновенно побледнели, глаза ушли в орбиты.

– А что же? – тихо спросил Теркин.

– Не барышню ли присматриваешь? – Она указала правой рукой в сторону дома. – Вместе с усадьбой и породниться желаешь?.. Ха-ха! И на такого суслика, как эта толстощекая девчонка, ты меняешь меня... мою любовь!.. Ведь она не женщина, а суслик, суслик!..

Слово это она схватила с злорадством и готова была повторять до бесконечности.

– Почему же суслик? – остановил ее Теркин и тоже поднялся.

Они стояли близко один к другому, и дыхание Серафимы доходило до его лица... Глаза ее все чернели, и вокруг рта ползли змейки нервных вздрагиваний.

– Ну, да!.. Мы влюбляем в себя крупчатые, раздутые щеки... И дворянскую вотчину нам хочется оставить за собою. А потом в земцы попадем... Жаль, что нельзя в предводители... Ха-ха!..

Смех ее зазвучал истерической нотой.

– Полно, Серафима! Как не стыдно!.. – еще раз остановил он ее.

– Если так... на здоровье!.. Прощай!

Она начала было выгибать на особый лад пальцы и закидывать шею, переломила себя, перевела плечами, натянула перчатки, отряхнула полы пальто, повернулась и пошла вверх, промолвив ему:

– Владей своим сусликом!.. Совет да любовь!.. Провожать



меня не надо – найду дорогу... Дорогу свою я теперь знаю!..

## XIXX

Он не стал ее удерживать и смотрел ей вслед. Серафима пошла порывистой поступью и стала подниматься по крутой тропинке, нервно оправляя на ходу свою накидку.

Следовало бы проводить ее, объяснить как-нибудь хозяевам такой быстрый отъезд странной гостыи: она ведь прислала сказать с человеком, что явилась „по делу“. Ему не хотелось вставать с земли, не хотелось лгать.

Не мог он заново отдаться этой женщине. Обвинять ее он ни в чем не способен. Протянуть ей руку готов, но ведь ей не того нужно. „Или все, или ничего“ – так всегда было в ней и всегда будет. От него в лице этой разъяренной женщины уходил соблазн, власть плоти и разнузданных нервов. Он облегченно вздохнул. И сейчас же всплыло в душе стремление к чему-то другому. Надо перестать „блудить“ – ему вспомнилось слово Серафимы, из первой их любовной борьбы, когда она ему еще не отдавалась. К чему непременно искать страсти? – Разве не лучше, когда сближение с женским существом – доброе дело?.. Простой мужицкий брак, только без корысти и жесткости. Судьба посылает молоденькую девушку, здоровую, простодушную – делай из нее что хочешь, вызови в ней тихое и прочное чувство, стань для нее источником всякой правды, всякого душевного света. Если ты не

возьмешь ее, она сгинет, потому что она беспомощна.

Теркин все еще не двигался с места.

Покажись на верху обрыва светлое платье Сани – он бы вскочил и окликнул ее. Как будто что-то виднеется за деревьями. Не ищут ли его? Мелькнуло что-то темное. Он стал пристально всматриваться и узнал фигуру Хрящева.

– Антон Пантелеич! – крикнул он ему снизу. – Я здесь! Спускайтесь.

Хрящев ускорил шаг и спустился к нему прямо по пригорку, с картузом в руках, немного запыхавшийся.

– К вам, Василий Иванович, гонцом. Сейчас отъявился и нашел там всех господ Чернососных в большом волнении. Позвольте присесть маленько на травку?

– Садитесь. Что же такое?

Теркин спросил это с некоторой тревогой в голосе.

– Да сюда какая-то госпожа к вам приезжала. Я разминулся с ней у ворот... В коляске... Шляпка такая с цветами, и вообще с большим эффектом. – Ну, и что ж?

– Меня сейчас все обступили. И горбуля, и братец их... и ловкач таксатор: что, мол, за особа? Не желает ли как-нибудь помешать продаже?.. Уж не знаю, почему они так вдруг заподозрили. Говорят, по делу приехала, Василия Иваныча увела в сад, и сначала в беседке сидели, а потом вниз пошли. И в недолгом времени барыня эта прошла цветником в экипаж... В большом находятся смущении и просили вас отыскать. Ха-ха!.. А вы в целости и невредимости находитесь!

– Так они испугались не насчет того, что барыня эта в меня купоросным маслом плеснет, а насчет нашей купли-продажи?

– Известное дело. Однако должен присовокупить, Василий Иваныч, что барышня в смущении и насчет именно вас, не случилось ли чего... Проводила меня на балкон и тихонько проронила: дайте, мол, мне знак... может, что-нибудь нужно... Я по аллее похожу, говорит.

– Александра Ивановна?

– Так точно... И в глазках мельканье. Очень в ней много еще этой младости переливается.

Теркин сел и подобрал ноги. Его потянуло наверх, но ему не хотелось показать это сейчас Хрящеву.

– Спасибо, Антон Пантелеич, – заговорил он мягким деловым тоном. – Покончили с обзором дальнего урочища?

– Покончил, Василий Иваныч.

– И что нашли?

– Порубочки есть... болотца два. Немало и старых гнилых корчаг. Но в общем не плохо.

– А я вас могу порадовать: того жуличка в красном галстукe сегодня же фьютъ!

– Подорожную изволили прописать ему?

– Прописал.

Хрящев присел сразу на корточки и сбросил на траву свой белый картуз. Лицо его повела забавная усмешка с движением ноздрей. Теркин рассмеялся.

– Василий Иванович!.. Кормилец!.. Позвольте вас так покрестьянски назвать. Ей-Богу, я не из ехидства радуюсь... Только зачем же к вашему чистому делу таких мусьяков подпускать!..

И, точно спохватившись, Антон Пантелеич нагнулся к Теркину и шепотом спросил:

– Как же... к милой барышне сами подниметесь или мне прикажете ее успокоить?

– Я сам.

Одним взмахом встал на ноги Теркин и оправился.

– Александра Ивановна там, в аллее?

– Так точно. Около беседки ее найдете. А мне позвольте здесь маленько поваляться. Очень уж я полюбил этот парк, и так моя фантазия разыгрывается здесь, Василий Иванович... Все насчет дендрологического питомника...

– Будет и питомник... Как вы называете? Ден... Ден...?

– Это по-ученому: дендрологический, а попросту: древесный.

– Все будет, Антон Пантелеич. Все будет! – радостно крикнул Теркин и почти бегом стал взбираться по откосу, даже не цепляясь за мелкую поросль.

Наверху мелькнуло светлое платье Сани. Она шла к беседке. Там началось их объяснение с Серафимой какой-нибудь час назад.

Почему-то – он не мог понять – вдруг, в свете жаркого июльского дня, ему представился голый загороженный садик

буйных сумасшедших женщин, куда он глядел в щель, полный ужаса от мысли о возможности сделаться таким же, как они. И не за Серафиму испугался он, а вон за ту девчурку, за ту, кого она назвала презрительным словом „суслик“. Не пошли его судьба сюда – и какой-нибудь негодяй таксатор в красном галстуке обесчестил бы ее, а потом бросил. Она стала бы матерью, не выдержала бы сраму – и вот она на выжженной траве, в одной грязной рубашке, и воет, как выла та баба, что лежала полуничком и что-то ковыряла в земле.

Дрожь прошла по нем с маковки до щиколок, когда этот образ выплыл перед ним ярко, в красках и линиях. Он в эту минуту был уже на краю обрыва... Точно под захватом страха за Саню, он бросился к ней и издали закричал:

– Александра Ивановна, Александра Ивановна! Я здесь!

Саня – она уже подходила к беседке – быстро обернулась и ахнула своим милым детским „ах!..“.

Теркин подбежал к ней и повел ее в беседку.

Оба они видны были с того места, под дубком, куда перебрался Антон Пантелеич. Его белый картуз лежал на траве. Загорелый лоб искрился капельками пота... Он жмурил глаза, поглядывая наверх, где фигуры Теркина и Сани уже приблизились к беседке.

Юмор проползал чуть заметной линией по доброму рту Антона Пантелеича... Потом глаза получили мечтательный налет.

„Так, так! – думал он словами и слышал их в голове. –

Мать-природа ведет все твари, каждую к своему пределу... где схватка за жизнь, где влюбление, а исход один... Все во всем исчезает, и опять из невидимых семян ползет злак, и рождается человек, и душа трепещет перед чудом вселенной!.. “

Стены беседки, обвитые ползучими растениями, скрыли пару от глаз его. Он тихо улыбался.

### XXX

Грудь Сани заметно колыхалась и щеки пылали. когда Теркин вел ее усиленно к беседке.

– Милая моя барышня, вы меня искали?.. Беспокоились?

Под взглядом его больших глаз она еще сильнее смутилась; губы ее раскрывались в усмешку ласкового и точно в чем-то пойманного ребенка.

Ее послали узнать не о том, не приключилось ли чего с Василием Ивановичем, а не вышло ли какой „каверзы“ от этой дамы, не расстроилось ли дело продажи.

Лгать Саня не умела.

– Милый Василий Иванович! – она взяла его за обе руки и отвела голову, чтобы не расплакаться. – Папа боится... и тет-ка Павла также... вы понимаете... Думают – что-нибудь эта дама насчет имений... вы понимаете... Папу жалко... ему нужно продать.

– А вам самим жалко усадьбы, жалко парка?

– Да... жалко.

Слезинки задрожали на ресницах.

– И вы на меня смотрите как на хищного зверя какого? Возьмет да и пожрет ваше родное гнездо!

– Нет! Нет! – Саня начала трясти его за руки. Не думайте так! Вы добрый! Вы хороший!.. Они говорят: больше вас никто не даст. Но вы спрашиваете, жалко ли? Как же не жалеть!

– Сядьте, сядьте! – усаживал ее Теркин, не выпуская ее рук из своих. – Лгать не умеете! Милая... Вы ведь ребенок. Дитяtko! – так на деревне говорят. Не то что мы все, великие грешники!

– А я-то!

Этот возглас вырвался у Сани порывисто, вместе с движением головы, которую она еще сильнее отвернула, и одну руку высвободила, чтобы вынуть платок и утереть глаза.

– Вы-то?

– Да, я, я, Василий Иваныч... Вы со мной как друг общились... как старший брат... Думаете, я безгрешная, херувим с крылышками, а я гадкая!

– Ну, уж и гадкая!

– Гадкая!

Саня выдернула и другую руку и обеими ладонями закрыла лицо.

– Что же вы такое натворили?

– До вас мне не было стыдно... Я позволяла...

– Целовать себя? – подсказал Теркин, и его этот вопрос пронизал жутким ощущением... Ему не хотелось, чтобы она

ответила: „да“.

– Позволяла! – шепотом выговорила Саня, и слезы перешли в рыдания.

Сквозь них он различил слова:

– Будете презирать... Тетка Павла говорит: „развратная девчонка“... Неужели правда? Господи!

И у него навернулись слезы. Он не выдержал, схватил ее за руки, потом притянул к себе и горячо, долго поцеловал в лоб.

Рыдания прекратились; она только чуть слышно всхлипывала.

Ни одной секунды не подумал он: „Что ты делаешь? Ведь ты судьбу свою решаешь, под венец хочешь вести этого!“.

„Суслик“ стал ему в несколько минут еще дороже. Никакого прилива мужской хищности он не почувствовал в себе. Только бы утешить Саню и поставить на честный путь.

Она вся затихла, и в груди у нее точно совсем замерло. И так сладко было это замирение. Радость охватила ее оттого только, что „милый Василий Иванович“ знает теперь, в чем она гадко поступала, что он простил ее, не отвернулся от нее, как от развратной девчонки. Никакой надежды быть его невестой не промелькнуло перед ней. Она забыла даже, как ее десять минут назад схватило за сердце от приезда нарядной красавицы.

Когда Теркин целовал ее в голову, он почувствовал, до какой степени она далека в эту минуту от всякого девичьего



расчета... И он умиленно взял ее опять за руки, поднес их к губам и долго глядел ей в глаза, откуда тихо текли слезы.

– Дитяtko! – повторил он мужицким звуком. Дитя малое... неразумное!.. Все это стряхнули вы разом... И следа не будет. Все уладим. Не разорять я ваше гнездо пришел, а заново уладить!

– Как? – спросила Саня и сквозь слезы улыбнулась ему.

– За собой оставлю... усадьбу и парк. Только это я вам на ушко говорю... Вам стоит сказать одно словечко. Вы ведь знаете, я мужичьего рода... По– мужицки и спрошу: люб вам, барышня, разночинец Василий Иванов Теркин... а? Коли не можете еще самой себе ответить, подождите.

– Люб! – звонко откликнулась Саня и неудержимо засмеялась.

Этому смеху вторил и он, и его широкая грудь слегка вздрагивала, а на глазах наворачивались слезы.

Оба они опять сели рядом, рука в руку.

– Если я вам люб, не нужно вам будет расставаться с родным гнездом.

Глаза Сани удивленно расширились.

– Как же не нужно? Вы, стало быть, не покупаете?

– Покупаю. Ах, простота вы младенческая!.. Не понимаете?

Глаза его пояснили ей то, чего он не досказал.

До ушей залила ей кровь пышные щеки; она вся рванулась, прошептала:

– Пустите, голубчик, Василий Иванович! – и выбежала из беседки.

Он рук не удерживал, но вдогонку окликнул:

– Александра Ивановна!

Саня остановилась, вся трепетная.

– Уговор лучше денег! Никому ни гугу, пока я с папашей сам не переговорю... Может, ведь и коляску мне подадут.

Смущение Сани сменилось тихим смешком. Она подошла к нему, протянула руку и низко наклонила голову к его левому уху.

– Можно об одном спросить?

– О чем хотите, дитяtko!

– Та дама... ваша знакомая или родня?

– Ту даму, – весело ответил Теркин, – вы больше никогда не увидите в жизни вашей!..

– Да?..

Ее губы чуть-чуть приложились к виску Теркина, и она еще быстрее, чем в первый раз, выбежала на аллею. Щеки горели огнем; в груди тоже жгло, но приятно, точно от бокала шампанского. В голове все как-то прыгало. Она не могла задержать ни одной определенной мысли.

И вдруг, около пятой или шестой липы, она встала как вкопанная. Холодок прополз по ней и отдался внутри. Все ей стало ясно. Это было предложение. И она дала согласие. Но как? Звонко, чуть не с хохотом, выпалила мужицкое слово: „люб“.

– Ах, я несчастная!

Она схватилась рукой за ствол дерева: ноги у нее подкашивались.

Разве так дают свое согласие порядочные барышни?! Что он подумал?.. „Обрадовалась, матушка, что я тебя беру за себя. Ты нищей можешь остаться, а я хоть и разночинец, да миллионщик. Вот ты и закричала: "люб", точно в лото самый большой номер тебе вынулся!

– Господи! Господи! – шептала она растерянно.

Холодный пот выступил у нее на лбу, и даже в глазах у нее начало пестреть. Но это было не больше десяти секунд.

"Нет! Он не такой!" – радостно и убежденно вскричала она про себя и пошла скорой и легкой походкой к дому, не глядя перед собою.

– Александра Ивановна! Где вы пропали?

Ее остановил резкий мужской возглас. Первач преградил ей дорогу с руками, вытянутыми к ней. Он ими почти касался ее плеч.

– Николай Никанорыч! – громко выговорила она, на ходу уклоняясь от него. – Подите, скажите всем: Василий Иваныч что раз решил, того не изменит.

– Да что вы такая торжественная? Точно он вас чем осчастливил. Потеха!

– Он больше того сделал!.. Он меня от вас избавил... Прощайте!

Мимо террасы, где еще сидели за чайным столом, Саня

пробежала во флигель рассказать обо всем няне Федосеевне.

## XXXI

Тихое и теплое утро, с мелкими кудрявыми облачками в сторону полудня, занялось над заказником лесной дачи, протянувшейся за усадьбой Заводное. Дача, на версту от парка, вниз по течению, сходила к берегу и перекидывалась за Волгу, где занимала еще не одну сотню десятин. Там обособился сосновый лес; по заказнику шел еловый пополам с чернолесьем.

Часу в седьмом утра на одной из недавних просек, уже заросших травой и мелким кустарником, на широком мшистом пне с оголенными корнями присели два пешехода, бродившие по лесу с рассвета.

Это были Теркин со своим подручным, Хрящевым.

Они условились накануне чем свет встать, отправиться в заказник пешком, натошак, и никого в доме не будить. Вчера вотчина Чернососных с этим заказником перешла во владение компании, и вчера же обручили Теркина с Саней.

Ему нужно было отвести душу в лесу. Хоть он и сказал Хрящеву: "произведем еще смотр заказнику", но Антон Пантелеич понял, что его патрону хочется просто "побрататься" с лесом, и это его особенно тронуло. Их обоих всего сильнее сблизило чувство любви к родной природе и жалости к вековым угождам, повсюду обреченным на хищение.

Оба немного утомились, но ни голод, ни жара не беспокоили их.

Перед ними, через узкую прогалину, с тропкой вдоль ее, вставали могучие ели с синеющей хвоей. Иные, снизу обнаженные, с высохшими ветвями, казались издали соснами. Позади стены хвойных деревьев протянулась полянка, густо-зеленого цвета, а там, дальше, шли кусты орешника и рябины. Кое-где стройно и весело высились белые стволы берез. Вправо солнце заглянуло на прогалину, шедшую узкой полосой, и цвет травы переходил в ярко-изумрудный.

На нем остановился ласкающий взгляд умных и смешливых глазок Антона Пантелеича, он указал Теркину на эту полосу пухлым пальцем правой руки:

– Мурава-то какая, Василий Иванович, точно совсем из другого царства природы! Что солнышко-то может выделять... И какая это красота – ель!.. Поспорит с дубом... Посмотрите вот хоть на сего исполина! Что твой кедр ливанский, нужды нет, что не дает таких сладких орешков и произрастает на низинах, а не на южных высотах!

– На ель я сосны не променяю, – возразил Теркин и боковым приятельским взглядом поглядел на "созерцателя".

– Ах нет! Не скажите, Василий Иванович! Сосна, на закате солнца, тоже красавица, только ей далеко до ели. Эта, вон видите, и сама-то шатром ширится и охраняет всякую былинку... Отчего здесь такая мурава и всякие кусты, ягоды? Ее благодеяниями живут!.. А в сосновом бору все мертво.

Правда, идешь как по мягкому ковру, но ковер этот бездыханный... из мертвой хвои, сложился десятками лет.

– Нужды нет, Антон Пантелеич! Сосна – царица наших хвойных пород... Дом ли строить, мачту ли ставить... Поспорит с дубом не в одной красоте, а и в крепости... Она по здешним местам – основа всего лесного богатства. И дрова-то еловые, сами знаете, не в почете обретаются.

– Знаю, знаю! И полагаю, что это предрассуждение... Горят они слишком споро оттого, что в них смолы больше; но разве назначение таких вот великанов – топка? В них хватит жизни на век и больше. И все в тени их шатров цветет и радуется.

По краям просек и под их ногами, и вокруг елей, по густой траве краснели шапочки клевера, мигала куриная слепота, выглядывали венчики мелких лесных маргариток, и белели лепестки обильной земляники... Чуть приметными крапинками, точно притаившись, мелькали ягоды; тонкое благоухание подползало снизу, и слабый, только что поднявшийся ветерок смешивал его с более крепким смолистым запахом хвои.

Над их головами зашелестели листья одинокой осины, предвещая перемену в погоде. И шелест этот сейчас же распознал Хрящев, поднял голову и оглянулся назад.

– Наш приволжский тополь!

– Это осина-то? – спросил смешливо Теркин.

– В чем же она виновата, что ее с Иудой Искаротским

повенчали?. А какой трепет в ней... Музыка! И стройность! Не все же на хозяйский аршин мерить.

Эти слова могли показаться обидными Теркину. Хрящев даже покраснел и взглядом попросил в них извинения.

– Не обессудьте... Я от простоты.

– Понимаю! – благодушно откликнулся Теркин и положил ему руку на плечо. – В вас, я вижу, вся душа трепещет на лоне природы! И это мне чрезвычайно любо, Антон Пантелеич.

– Весьма счастлив! – с особенным вздохом и конфузливо вымолвил Хрящев, тотчас же смолк и прикрыл глаза.

Из чащи, позади их, в тишине, наступившей после мимолетного шелеста листьев осины, – такая тишь бывает перед переменной погоды, – просыпались нотки певчей птицы.

– Щегол!.. – чуть слышно произнес Хрящев.

– Щегленок? – переспросил Теркин.

– Он самый! А вот и пеночка отъявилась.

Дорогой до них не доходило пение и щебетание; а теперь в их ухо входил каждый завиток мелодии серебристым дрожанием воздуха.

Еще какая-то птица подала голос уже из-за прогалины, где все еще светлее изумрудов зеленела трава от закравшихся лучей.

– Не хочу наобум говорить, Василий Иваныч, а сдается мне – снегирь.

Она вскоре смолкла, но пеночка разливалась и где-то

очень близко.

Никогда еще в жизни не было Теркину так глубоко спокойно и радостно на душе, как в это утро. Пеночка своими переливами разбудила в нем не страстную, а теплую мечту о его Сане. Так напевала бы здесь и Саня своим высоким вздрагивающим голоском. Стыдливо почувствовал он себя с Хрящевым. Этот милый ему чудак стоит доверия. Наверное, нянька Федосеевна – они подружились – шепнула ему вчера, под вечер, что барышня обручена. Хрящев ни одним звуком не обмолвился насчет этого.

– Антон Пантелеич! – с опущенной головой окликнул Теркин.

– Ась?

– Птицы поют и у меня на душе...

– Лучше всего это, Василий Иванович.

– И вы небось знаете, по какой причине?

Он весело подмигнул ему.

– Ежели позволите... Лгать не буду... Еще вчера...

– Федосеевна, поди, не утерпела?

– Так точно. Позвольте от всего сердца и помышления пожелать вам...

Хрящев протянул ему ладонь. Теркин крепко пожал.

– Победу полную одержали. Во всех статьях... Виват! Небось будущий тестюшка ваш спасовал, а кажется, довольно высоко себя ставит... судя по обхождению...

– А вы скажите-ка мне, Антон Пантелеич, только без утай-



ки, – вы небось думаете, что я тестюшку-то поддел, по-делецки: сначала руки дочери попросил; а, мол, откажешь – не куплю у тебя ни одной десятины.

– Ни Боже мой!.. Конечно, такой подход был бы, пожалуй, и самый настоящий, ха-ха! – На глазах Хрящева показались слезинки смешливости. – Но вы не такой... Вы, как на Оке говорят... там, в горбатовской округе, вы боэс! Это они, видите, "молодец", "богатырь", "боец" выговаривают на свой лад...

– Спасибо!

Теркину заново приятно стало оттого, что он сначала заключил предварительную сделку с Иваном Захарычем, а потом уж попросил руки дочери... Тот было хотел поломаться, но как-то сразу осекся, начал что-то такое мямлить, вошла Павла Захаровна – и все было покончено в несколько минут.

– Тайна! – выговорил Хрящев, опустив обе руки. – Как и все! – прибавил он и смолк.

Ничего ему не сказал и Теркин. Оба сидели на мшистом пне и прислушивались к быстро поднявшемуся шелесту от ветерка. Ярко-зеленая прогалина начала темнеть от набегавших тучек. Ближние осины, березы за просекой и большие рябины за стеной елей заговорили наперебой шелковистыми волнами разных звуков. Потом поднялся и все крепчал гул еловых ветвей, вбирал в себя шелест листвы и расходился по лесу, вроде негромкого прибоя волн.

Птицы смолкли. Но сквозь гул от налетевшего ветра ти-

шина заказника оставалась все такой же, и малейший сторонний звук был бы слышен.

– Тук! – раздалось около них в двух саженях.

– Шишка упала с ели, – шепотом сказал Хрящев и поднялся.

– Айда, Антон Пантелеич! – крикнул Теркин. Пожалуй, еще дождь хлынет; а мне хочется вон в тот край.

Они пошли молча, бодрым, не очень спешным шагом. Солнце совсем спряталось, и все разом потемнело.

## XXXII

С четверть часа шли они «скрозь», держались чуть заметной тропки и попадали в чащу. Обоим был люб крепнувший гул заказника. С одной стороны неба тучи сгустились. Справа еще оставалась полоса чистой лазури. Кусты чернолесья местами заслоняли им путь. На концах свислых еловых ветвей весенняя поросль ярко-зеленым кружевом рассыпалась по старой синеющей хвое.

Птицы смолкли, чуя возможность дождя, а то и бури. Один только дятел тукал где-то, должно быть, далеко: звуки его клюва доносились отчетливо и музыкально.

– Старается старина! – вдумчиво выговорил Хрящев, отстраняя от себя ветви орешника и низкорослого клена, которые то и дело хлестали их обоих по плечам и задевали за лицо. – Ишь как старается! Мудрейшая птица и пользитель-

ная. Знаете, Василий Иванович, дятлы и дрозды – это указатели добра и зла в жизни природы.

– Как так? – с тихим смехом спросил Теркин.

Он пробирался впереди.

– Который ствол дятел обрабатывает – тот, стало, обречен на гниение, на смерть... Дрозд также тычет да тычет себе, улавливая чужеядных мурашек. Истребляет орудие смерти. По-нынешнему – микробов... Хорошо бы таких людей иметь на виду... Бьет кого примерно, тот, значит, душу свою давно продал духу тьмы.

– Как будто мало пресмыкается по свету рабов и прихлебателей около властных мерзавцев и распутников, бросающих им подачку!

– Это точно. И по ним можно диагноз свой поставить, по-медицински выражаясь. Но те сами вроде песьих мух или жуков, питающихся навозом и падалью. А эти – чистые птицы, долголетние и большого разума. Дрозд умнее попугая и стал бы говорить промежду собою, если б он с первых дней своего бытия с людьми жил в ежедневном общении.

Теркин опять рассмеялся и даже мотнул головой.

За чащей сразу очутились они на берегу лесного озера, шедшего узковатым овалом. Правый затон затянула водяная поросль. Вдоль дальнего берега шли кусты тростника, и желтые лилиевидные цветы качались на широких гладких листьях. По воде, больше к середине, плавали белые кувшинки. И на фоне стены из елей, одна от другой в двух саженях,

стройно протянулись вверх две еще молодые сосны, отражая полосу света своими шоколадно-розовыми стволами.

– Антон Пантелеич! – вскрикнул Теркин – они оба стали у воды. – Что я вам говорил! Гляньте-ка сюда! Сосны! Какая краса! Всю картину озарила!

Хрящев прищурился и долго глядел молча.

– Не спорю! Вроде столпов эллинского храма... Однако на ель и кедр не променяю.

– Кто-то и порубочку произвел... только хозяйственную.

Теркин указал на не доложенную до полной меры сажень дров.

– Лесник на зиму приготовил, – заметил Хрящев, воззришись. – Полсажня срубил, не ведая, что хозяева будут новые. И дрова-то ольховые, – не больно поживился.

Оба разом усмехнулись и пошли вдоль берега к тому месту, где перешеек разделял два озера. Место выдалось особенно милое, – точно ландшафт, набросанный мастером, воспитавшим свой талант и умение на видах русской лесной природы.

Дальнейший конец второго озера, в виде четырехугольника, весь сплошь зарос зеленью, и только ее резкий цвет и матовость не позволяли впасть в обман и принять ее за мураву.

– Плесень-то, плесень! – громко заметил Теркин. – Что твоя ботвинья!

– Плесень, – повторил за ним Хрящев и, взявшись рукой

за мясистый добрый подбородок, усмехнулся. Вы скажете – умничает Антон Пантелеич, все под видом агрономии в учебные метит. Плесень, известное дело. И с ботвиньей сходство немалое. А тут целое море низших произрастаний. И какая в них найдется красота, ежели под стеклышком рассматривать...

Взгляды их встретились. Теркин с благодушным любопытством слушал своего лесоведа и думал под его негромкую, немного слащавую речь:

"А разве он не прав, чудаков-созерцатель? Урок мне отличный преподавал, не желая умничать, а только любя правду. Ботвинья – для нашего брата, дешевого остроумца; плесень – для того, кто на обухе рожь молотит; а для него – чудо!"

Он уже запомнил теплое восклицание Хрящева: "все чудо!" – где прорвалось его отношение к жизни всего сущего.

Последнюю полоску света заволочло; но тучи были не грозные, темноты с собой не принесли, и на широком перелеске, где притулились оба озерка, лежало сероватое, ровное освещение, для глаз чрезвычайно приятное. Кругом колыхались нешумные волны леса, то отдавая шелковистым звуком лиственных пород, то переходя в гудение хвои, заглушавшее все остальные звуки.

И среди этой музыки не переставал проноситься один лишь птичий звук:

– Тю-ить! Тю-ить! Тю-ить!..

Помнил его Теркин с детства самого раннего. Наверное

знал мальчиком, какая птица издает его, но теперь не мог сказать. Это его как будто огорчило. Спрашивать у Хрящева он не захотел. Ему уже больше не говорилось... Весь он ушел в глаза и слух.

Замедленным, немного усталым шагом держались они левой руки. Там, по их соображениям, шла новая просека, проведенная недавно таксатором Первачом.

– Тю-ить, тю-ить, тю-ить! – пускала все оттуда же неизвестная Теркину птица.

Он шел опять впереди. Нога его попадала то на корни, то на муравьиные шишки. Кусты лиственных пород все густели.

– Антон Пантелеич! – окликнул он Хрящева, пробиравшегося осторожно.

– Здесь.

– Не сбиться бы нам?

– Помилуй Бог, Василий Иваныч!

Из-за колючих ветвей лесного шиповника, покрытого цветами, выглянуло широкое лицо Хрящева. В одной руке он держал что-то блестящее.

– Что это у вас? – спросил Теркин.

– Карманный компас, никогда не расстаюсь. Мы идем правильно. Вот север. Усадьба лежит па юго-востоке. Выйти нам надо на северо-запад.

Ветер притих, а небо все еще оставалось сереньким, с разрыхленными облаками, и между ними бледная лазурь про-

глядывала там и сям.

Лес поредел. Под ними зачуялся покатый подъем. На небольшой плешинке выделялось округлое место, обставленное матерыми елями, похожее на шатер.

– Не угодно ли отдохнуть?.. Вон там... в гнезде?

Они присели на самой середине, где совсем плоский пень столетней ели, почернелый и обросший кругом папоротником, служил им покойным диваном.

– Я такие места гнездами называю, Василий Иваныч, – отозвался Хрящев своим особым тоном, какой он пускал, когда говорил по душе. – Вот, извольте видеть, под елями-то, даже и в таких гнездах, всякий злак произрастает; а под соснами не было бы и на одну пяту. Рябина и сюда пробралась. Презорство! Зато и для желудка облегчительна... И богородицыны слезки!

Он говорил это вполголоса, как бы для себя.

– Чего-чего вы не знаете, Антон Пантелеич! А поглядишь на вас спервоначалу – как прибедниваетесь! Ну, вот былинка! – Теркин сорвал стебелек с цветом и подал Хрящеву. – Я ее с детства знаю и попросту назову, а вы, поди, наверное и по-латыни скажете...

– Уж эту-то не назвать, Василий Иваныч!.. За что же меня обучали на счет общества?

– Однако как?

– *Leontodon taraxacum*.

– Вот я не знаю. И не слыхал даже. А я три речи Цицерона

в гимназии знал наизусть, и на какой они мне шут?

– Все нужно, Василий Иванович.

Над самыми их головами жалобно протянулся птичий крик высоко в небе.

– Ястреб? – вопросительно сказал Теркин.

– Ждет бури... только бури-то не будет, – с капелькой яда выговорил Хрящев, особенно не любивший хищников.

Они сидели тут молча, среди сильного гула хвои и густой травы, каждый в своих мыслях.

В лесу совсем смолкло. Зачирикали и залились птицы. Небо над ними голубело. Минут через пять вдали где-то, не то сзади, не то сбоку, начало как будто хрустеть.

Хрящев уже прислушивался к этому звуку, когда Теркин окликнул его.

– Не узнаете? – спросил Хрящев и подмигнул.

– Порубка?

– Никак нет. Это – Топтыгин Михаил Иванович.

– Медведь?

– Он, он!..

Глазки Хрящева ласково заискрились.

– В какую же сторону ломит?

Теркин подавил в себе беспокойство и желание встать.

– Как будто вот сюды, в эту сторону.... Да ведь он не тронет. Только его не замай. Он теперь сытый... Идет побаловаться чем-нибудь к опушке... Зверь мудрейший и нрава игривого... Травоядный! Грызун, по-ученому.



Спокойно и достолюбезно вымолвил Хрящев последние слова. Теркин вытянул ноги, подложил под голову обе руки и, глядя в ленту неба, глядевшую вниз, между высоких елей, сладко зевнул и повернулся к своему подручному.

– Тайна все, в нас и вокруг нас, так ведь, Антон Пантелеич?

– Тайна! – с замедленным вздохом выговорил Хрящев и тоже прилег на мураву.

Веселая птичка пустила опять над ними свое: тюить, тюить, тю-ить!

### XXXIII

Со стола еще не убрали десерта, бутылок с вином и чашек от кофе.

В зале городской квартиры Низовьева, часу во втором, Серафима и Первач, низко наклонившись над столом, сидели и курили. Перед ними было по рюмке с ликером.

Разговор пошел еще живее, но без раскатов голоса Серафимы, как в начале их завтрака. Прислуга не входила.

– Да вы полноте, Николай Никанорыч, не извольте скромничать... Ведь я для господина Теркина – особа безразличная. Прав на него никаких не имею... значит. Целованье у вас было с тем сусликом, а?..

Первач сидел красный, с возбужденными веками своих маслянистых и плутоватых глаз, весь в цветном. Кольца на

его правой руке блестели. Мизинцем он снимал пепел с папиросы и поводил смешливо глазами.

В голове его немножко шумело. Серафима угощала его усиленно, пила и сама, но гораздо меньше. Она расшевелила в нем все его позывы, расчеты, влюбленность в свою красоту, обиду за то, как с ним обошлись в Заводном, откуда его удалили так быстро и решительно. В Серафиме он нашел неожиданную покровительницу. Через нее он получил у Низовьева место заведующего всеми его лесными угожьями... Да, такой женщины он еще не встречал. Низовьев – в ее руках, и вряд ли она ему отдалась. Кто знает!.. Может, она выберет сначала его в тайные друзья...

– Да ну же! кайтесь! – понукала Серафима и через стол дернула его за рукав.

Ее янтарная бледность перешла в золотистый румянец... Легкий, полупрозрачный пеньюар развевался на руках; волосы были небрежно заколоты на маковке.

– У меня есть на это правило, – выговорил Первач, поводя глазами, – даже когда та, кто была со мной близка и не заслуживала бы джентльменского отношения к себе.

– Да уж нечего!.. Чмок-чмок было?

– Если угодно, да.

– А может, и больше того?

– Не находил нужным торопиться.

– И наверно эта девчонка сама первая полезла к вам целоваться? Так только, цып-цып ей сделали? Это сейчас видно:

рыхлая, чувственная, с первым попавшим мужчиной сбежала бы! И господин Теркин, выходит, тут же и врезался; и начали они проделывать Германа и Доротею.

– Как вы назвали?

– А вы не читали?

– Нет, не приводилось.

– Есть такая поэма Гёте... Я в русском переводе в гимназии читала. Еще старее истории есть: Дафнис и Хлоя, Филемон и Бавкида, в таком же миндальном вкусе...

Глаза ее метали искры; рот, красный и влажный, слегка вздрагивал. Внутри у нее гремело одно слово: "подлецы!"

Все мужчины – презренная дрянь, все: и этот землемеришка, и тот барин-женолюб, которого она оберет не так, как его парижская "сударка", а на все его остальное состояние. Но презреннее всех – Теркин, ее идол, ее цаца, променявший такую любовь, такую женщину на что и на кого? На "суслика", которого землемеришка довел бы до "полного градуса" в одну неделю!

– Ха-ха! – разнесся по комнате ее смех. – Ха-ха! Чудесно! Превосходно! Отчего же вы ему не отрапортовали... хоть в письме? Благо по его приказу его будущая роденька вас вытурила так бесцеремонно!

– Я выше этого.

– Полноте! Оттого, что суслик этот уж больно легко вам доставался! А может, она и продалась ему... знаете... в институтско-дворянском вкусе...

– Вряд ли!.. Я и сам не ожидал от нее того... как бы это сказать... тона, с каким она...

– Вам коляску подала? На это подлости хватит у всякой безмозглой бабенки.

Сама Серафима не входила в это число. Она положила всю себя на одну безраздельную страсть – и так гнусно брошена человеком, пошедшим в гору "на ее же деньги"! Еще добро бы на ту "хлыстовскую богородицу" он променял ее в порыве глупого раскаяния, в котором никто не нуждался. Святостью взяла Калерка, да распущенными волосами, да ангельски-прозрачной кожей. А тут? Пузырь какой-то, золотушный помещичий выродок. Захотел дворянку приобрести вместе с усадьбой, продал себя своему чванству; а поди, воображает, что он благодетельствовал всю семью и осчастливил блудливую девчонку законным браком!

Все это казалось ей так низко и пошло. А между тем она не могла оторваться от всего этого, и если б Первач знал подробности того, как Теркин сближался с "сусликом", она бы расспрашивала его целый день... Но он ничего не знал или почти что ничего.

– Помолвка была ли? – спросила она, не дожидаясь ответа на свои бесцеремонные слова насчет "коляски", поданной ему барышней.

– Не знаю-с! – выговорил чопорнее Первач. – Да и нимало не интересуюсь.

И этому "лодырю", – она так уже про себя называла его, –

хотелось ей показать, что он такой же пошляк и плут, как и все вообще мужчины. Но он сейчас понял и не хвастал. Девчонка амурилась с ним перед самым приездом Теркина в Заводное. Чего бы лучше преподнести Василию Ивановичу сюрпризец в виде письма и прописать в нем, какое сокровище он обрел, с лодырем землемеришкой? Точно горничная в саду амурилась, – так, здорово живешь! Вот так идеал! Вот так желанная пристань, куда он причалил!

В груди у нее стянуло точно судорогой. Она уже писала в воображении это письмо, и яд лился у нее с пера. О! она сумеет показать, что и ее недаром выпустили с золотой медалью. Не чета она тупоголовой и мучнистой девчонке из губернского института...

Внезапная мысль брызнула на нее холодной струей. Та могла ведь и сама повиниться ему, когда он попросил ее руки; поди, разрюмились оба, и он, что твой раскольничий начетчик, дал ей отпущение в грехах, всё простил и себя в собственных глазах возвеличил.

Да если б и этого не было – не хочет она рук марать. Писать без подписи, измененным почерком – подло! А от своего имени – только большего срама наесться!

Все равно. Она резнула себя по живому мясу. Любовь ухнула. Ее место заняла беспощадная вражда к мужчине, не к тому только, кто держал ее три года на цепи, как рабыню безответной страсти, а к мужчине вообще, кто бы он ни был. Никакой жалости... Ни одному из них!.. И до тех пор пока

не поблекнет ее красота – не потеряет она власти над теми, кто подвержен женской прелести, она будет пить из них душу, истощать силы, выжимать все соки и швырять их, как грязную ветошь.

Небось! В них не будет недостатка. Первый Низовьев уже весь охвачен старческим безумием. Она не положит охулки на руку. Если его парижская любовница – графиня – стоила ему два миллиона франков, то на нее уйдут все его не проданные еще лесные угодья, покрывающие десятки тысяч десятин по Волге, Унже, Ветлуге, Каме!

И, точно спохватившись, как бы не потерять много времени, она откинулась на спинку стула и деловым, отрывистым тоном окликнула:

– Первач!

– Что угодно, Серафима Ефимовна?

– Павел Иларионыч должен вернуться к обеду?

– Так точно.

– Долго я с вами растабарывать не стану. Вы меня поняли вчера? А?

– Превосходно понял, Серафима Ефимовна.

– Хотите быть главноуправляющим – не забывайте, кто ваше начальство.

– Хе-хе! – Сдержанно пустил Первач веселым и злобным звуком. – Мать-командирша – Серафима Ефимовна. Так и подобает.

– То-то! А теперь я вас не удерживаю. Мне надо одеться.

– Имею честь кланяться.

Он удалился с низким поклоном, но в его масляных глазах мелькнула змейка. Влюбленный в себя хищник подумал тут же: "дай срок – и ты поймаешься".

По уходе его Серафима сидела минуты с две в той же откинутой позе, потом порывисто положила на стол полуобнаженные руки, опустила на них голову и судорожно зарыдала. Звуки глохли в ее горле, и только грудь и плечи поводило конвульсией.

### XXXIV

Огненной полосой вползала вечерняя заря в окна, полузатворенные ставнями. На постели лежала Серафима, в том же утреннем пеньюаре, в каком завтракала с таксатором.

С ней сделался припадок, и она не могла одеться к возвращению Низовьева. Припадок был упорный и долгий. Ее горничная Катя, вывезенная из Москвы, ловкая и нарядная, в первый раз испугалась и хотела послать за доктором, но барыня ей крикнула:

– Не хочу доктора!.. Оставьте меня!..

Несколько часов пролежала она одна, с полузакрытыми ставнями, осиливая приступ истерики. Такой "сильной гадости" с ней еще ни разу не бывало, даже тогда, как она была выгнана с дачи после покушения на Калерию.

Это ее возмутило и срамило в собственных глазах. Все

из-за него, из-за презренного мужчины, променявшего ее на суслика. Надо было пересилить глупый бабий недуг – и она пересилила его. Осталась только тупая боль в висках. Незаметно она забылась и проспала. Когда она раскрыла отяжелевшие веки, вечерняя заря уже заглянула в скважины ставень. В доме стояла тишина; только справа, в комнатке горничной, чуть слышно раздавался шепот... Она узнала голос Низовьева.

Наверное он уже в десятый раз приходил узнавать, как она себя чувствует и не лучше ли послать за доктором.

Чего еще ей надо? Этот барин в несколько раз богаче Теркина. Первач дал ей полную роспись того, что у него еще остается после продажи лесной дачи теркинской компании... На целых два миллиона строевого лесу только по Волге. Из этих миллионов сколько ей перепадет? Да все, если она захочет.

Разве она сразу попустила себя до положения его временной содержанки? Как бы не так! Она и здесь живет как благородная дама, которая осчастливила его тем, что согласилась поместиться в его квартире; а сам он перешел во флигелек через двор. Между ними – ни малейшей близости.

Низовьев прекрасно понимает, что приобрести ее будет трудно, очень трудно. На это пойдет, быть может, не один год. В Париж он не вернется так скоро. Где будет она, там и он. Ей надо ехать на Кавказ, на воды. Печень и нервы начинают шалить. Предписаны ей эссендуки, номер семнадца-



тый, и нарзан. И он там будет жариться на солнце, есть тошную баранину, бродить по пыльным дорожкам на ее глазах, трястись на казацкой лошади позади ее в хвосте других мужчин, молодых и старых. А потом – в Петербург!

У нее есть еще свои деньги. Она там заживет дамой "из общества". Имеет на то законное право. Кто она? Как прописывается? Вдова коллежского советника Рудич. Свекор ее – сановник... И до того она доберется.

Нужды нет, что убежала от его сынка. Сановник, ей это донесли, – так же, как и сын, любит карты и всякое транжирство; состояния нет, жалованья всего семь тысяч – не раскутишься! – долгов множество, состоит прихвостнем у какого-то банкира... Ничего не будет стоить подобраться к нему, – он ее никогда не видал, – заставить полюбить себя, помочь ему в его делишках. Одного Шуева – ее "ангела" – достаточно. Тот не то что даст займы свекру, сколько она прикажет, – сам себя заложит, взломает сундук дяденьки-благотетеля. Только она таких "ангельских" денег не хочет... И от Низовьева может пользоваться свекор.

Потом настанет черед Парижа. Там она заберет его уже вплотную! И у нее будет "отель" на миллион франков. Ее имя прогремит. Не кокоткой она себя поставит, а настоящей барыней. В год ее французский язык получит парижский звук. Захочет – будет зваться "madame la comtesse Rouditsch"; поди разбирай, графиня она или нет, когда в "Figaro" станут так называть ее репортеры! Еще жену его за-

ставит и дочерей ездить к себе с визитом и на вечера с "tout Paris", где она будет петь русские романсы с самим Иваном Решке. Все будет!

И только?.. Неужели только? Серафима закрыла глаза и повела по лицу ладонью правой руки.

Перед ней, – точно живой, с трепетом дубовой листвы, с зеленой муравой, с порханьем мягкого ветерка, – тот склон, где они сидели под дубом в Заводном, с ним, с "Васей"!

Она слышит его голос, где дрожит сердечное волнение. С ней он хочет братски помириться. Ее он жалеет. Это была не комедия, а истинная правда. Так не говорят, так не смотрят, когда на сердце обман и презрительный холод. И что же ему делать, если она для него перестала быть душевно любимой подругой? Разве можно требовать чувства? А брат в любви-ниги без любви – только ее позорить, низводить на ступень вещи или красивого зверя!

Как это ясно и просто! Ни в чем он не виноват. Она – безумная и злая баба – распалилась к нему злобой, не поняла его души, не схватила за его жалость к ней, за братскую доброту, как за драгоценный клад!..

Глаза ее делались влажны; но она не заплакала; лежала недвижно, опустив руки на одеяло... Ей так сладко вдруг стало мыслью своей ласкать образ Васи, припоминать его слова, звук голоса, повороты головы и всего тела, взгляды его в начале и в середине их разговора.

Так отрадно ей было чутать, что с души у нее что-то такое

спадают, что грызло тело и мутило разум.

Образы – все на том же зеленом косогоре парка – изменились. Не она сидит с ним, а другая... та девчонка... Как отчетливо видит она ее; нужды нет, что только мельком оглядела, когда проходила на балкон: это пухлое розовое личико, ясные глаза, удивительные руки, косу, девичий стан. Да. Она – непорочная девица, даром что целовалась с таксатором. Ее голубиная кротость и простоватое детство притянули Васю... Великая есть сила в таких "ничевушках", когда они пышут свежестью восемнадцати лет и целомудрия. Да, целомудрия! Ни у кого она в объятиях не была, не подпадала еще под зверство мужского обладания.

И он теперь вот, на закате, сидит с своей невестой, на том же месте, где она, как блудница, с воплем простиралась по траве и чуть не целовала его ног... Он смотрит на нее влюбленно-отеческим взглядом, гладит по голове, ласкает русую косу; а потом целует каждый пальчик ее крохотной ручки.

– Нет! – громко крикнула Серафима, вся потянувшись, подняла стан и села в кровати.

В груди зажгло нестерпимо, до потребности крика. Кровь хлынула к лицу. Судорожно подняла она кулаки.

Нет, нет пощады гнусному вору, ограбившему ее душу! Судьба знает, что творит. Недаром свела она ее с эти Низовьевым, владельцем несметных лесов. Теркин мечтает о сохранении народного богатства. Немало рацей слышала она от него. У расхитителей дворян будет он скупать их добро и

дуть на него. А она станет разорять лесного миллионщика, доводить его до продажи не таким радетелям, как Теркин с его компанией, а на сруб жадным и бесстыдным барышникам. И чтобы в три-четыре года все эти заказники приречные дебри пошли прахом. И везде Васька Теркин встретит ее, и кто кого осилит – старуха надвое сказала.

– Ха-ха-ха! – вырвался у нее глухой смех, и она еще выше подняла голову.

В щель двери раздался сдержанный голос Кати:

– Барыня! К вам можно?

– Погодите.

Горничная понизила еще голос.

– Павел Иларионыч в зале и беспокоятся насчет вашего здоровья. Что прикажете сказать? Можно им к двери подойти? – Можно.

Заслышались тихие мужские шаги по зале, и к другой двери, около нижней спинки кровати, подошел Низовьев.

– Серафима Ефимовна! Ради Бога! Как вы себя чувствуете?

– Ничего, все прошло.

– Не сейчас.

– Так я посижу здесь... в зале.

"Сиди! – злобно и весело подумала она. – Сиди, голубчик! Долго ты будешь ждать. Не один месяц!"

И вслед за тем она порывисто позвонила и спустила ноги на пол.

Низовьев перевел дыхание и также тихо присел к окну.

**XXXV – Ах, няня, как ты копаешься!  
Поскорее! – кричала Саня в аллее, в  
нескольких шагах от обрыва, где на скамье  
виднелась мужская широкая спина и  
русая голова в черной низкой шляпе.**

Федосеевна бережно несла блюдце с ягодами, посыпанными сахаром.

– Приспичило! Успеешь!

– Ну, подай... Я сама донесу.

Саня взяла у нее из рук блюдце и поцеловала ее в голову.

– Няня, милая! Спасибо! Старуха смотрела ей вслед, закрывая рукой глаза от последних лучей заката.

Вечер подходил к закату, – ласковый, теплый, с мириадами мошек по дорожкам цветника.

Вот Саня уже подбежала к скамье, где сидит ее жених. Сдержанная усмешка смягчает строгое лицо Федосеевны. Про себя она смекает, что счастье своей воспитанницы вышло через нее. Не наберись она тогда смелости, не войди прямо к приезжему, чужому человеку и не тронь его сердца – не вышло бы ничего.

И он за это не оставит. Не такой человек. Сейчас видно, какой он души. Успокоит ее на старости. И все здесь в до-

ме и в саду будет заново улажено и отделано. Слышала она, что в верхнем ярусе откроют школу, внизу, по летам, сами станут жить. Ее во флигеле оставят; а те – вороны с братцем – переберутся в другую усадьбу. По своей доброте Василий Иванович позволил им оставаться в Заводном; купчая уже сделана, это она знает. Сам он ютится пока в одной комнате флигеля, рядом с нею.

Федосеевна еще раз, вполуборота, поглядела на пару, сидевшую на скамейке, и пошла, не ускоряя шага, во флигель.

– Ах, какая земляника! Восторг!

Саня ела ягоды с ложки и немного причмокивала.

– Жаднюга вы! – проговорил Теркин и шутливо взглянул на нее.

Они еще были на "вы".

– Жаднюга, да, – кротко повторила она и даже вздохнула. – Люблю сладкое поесть. Разве это большой грех? – Чревоугодием называется. – Ха-ха! чревоугодием! как страшно!

Но по лицу ее пробежала тень. Она вспомнила про послеобеду у тети Марфы, про ее наливки и все, что от них вышло.

– Ей-Богу, я и наливки... полюбила...

– Оттого, что сладки?

– Да, да!

– А от сладкого-то зубки испортятся. Потом каяться будете.

– Буду! – вымолвила Саня и перестала есть землянику. – Довольно!

– Докончим! На двоих это не больно много.

"Зачем он говорит: "больно"? – подумала Саня. Говор Теркина показался ей совсем простым. Но это ее не огорчило. Весь он был такой статный, красивый, так хорошо одевался, по-своему, и так умно говорил со всеми и обо всем. Ей даже нравился небарский звук его речи и некоторые слова, вроде тех, что употребляют мужики и дворовые. Прискучили ей говор и склад речи ее теток и отца. У тети Марфы она знает вперед каждое слово: тетка Павла точно вся шипит или язвит и по книжке читает. У отца выражения благородные, только все одни и те же, и кажется, будто он говорит на каком-то заседании и отстаивает свое достоинство. От самого звука его голоса по ее спине пробегают всегда мурашки дремоты и челюсти начинает поводить.

– Дитяtko вы мое!..

Теркин поставил блюдце ягод, откуда он их ел, на край скамейки, взял ее руку и поцеловал. Саня вся зарделась и робко прикоснулась губами к его голове. Жених был с ней сдержан, не лез целоваться, не позволял себе никакой фамильярности в жестах. Это ее трогало, и чувство почти дочерней нежности назревало в ней. Она прекрасно понимала его деликатность и каждый день, как только он утром встречался с ней с глазу на глаз и целовал в лоб, она стыдила себя мысленно, спрашивала: как могла она дойти с таксатором до таких "целовушек"? – ее институтское выражение.

– Закат-то какой! – продолжал с тихим волнением Тер-

кин, отведя голову в другую сторону. – Посмотрите, как вправо-то, вон где за селом леса начинаются, в сосновом заказнике, стволы зажглись розовым светом.

– Да. Как красиво!.. Василий Иваныч. И все это ваше теперь!

– Не мое, а компанейское.

– Это все равно.

– Как все равно? Что вы, голубушка!

– Вы у них всему голова.

Саня обернулась к нему и дурачливо кивнула головой. Теркин рассмеялся и замолчал. Совсем еще неразумное чадо, барышня-институтка, не знает жизни, ума непрыткого, натуры рыхловатой. И он ее выбрал в подруги на всю жизнь!.. И никакой в нем думы и тревоги и жалости к своей холостой свободе.

"Чудно!" – вымолвил он про себя, чувствуя, как что-то простое, мужицкое, только без мужицкого презрения к "бабе", заливает его душу. Что тут разбирать да анализировать? Надо семьей обзаводиться; сладко и лестно – отдать свою тихую, прочную любовь вот такому немудрому, беззащитному "суслику". Это слово, брошенное Серафимой в припадке женской ярости, полюбилось ему.

– Василий Иваныч! – окликнула его Саня. – Посмотрите... там за селом вправо, за вашим лесом... дым какой... Что это? Неужели пожар?

Он встрепенулся, встал, отошел к самому обрыву, воз-



зрится своими дальнорукими большими глазами, и внутри его сейчас же екнуло.

Дым в надвигавшихся сумерках расстилался действительно правее от села, за сосновым заказником.

"Лесной пожар!" – выговорил он про себя, и ладони рук у него заохлодели. Заказник шел по левому берегу Волги широкой полосой и сливался с другой лесной дачей.

– Ведь там предводительское имение? – спросил он быстро Саню.

– Кажется... Там он не живет... а завод у него...

– Завод?

Он начал ходить взад и вперед по площадке.

– Вы боитесь, Василий Иванович, за ваш лес?..

– Только бы лес не горел! Выше этой беды нет!

Саня ничего не ответила и опустила голову.

В аллее показалась длинная фигура отца ее.

– Иван Захарыч! – громко окликнул Теркин. Пожалуйста сюда поскорее! Видите дым? Что это может быть?

Иван Захарыч двигался так же медленно. В домашней голубоватой тужурке, выбритый и с запахом одеколona, он курил сигару и шел, не сгибая колен. С самого дня продажи усадьбы он имел вид человека, чем-то обиженного и с достоинством носящего незаслуженный им крест.

– Что вы изволите? – спросил он чопорно.

– Да вот дым... Что это?

– Едва ли не леса горят, – процедил он.

– Едва ли!.. Ха-ха!..

Теркина взорвало. Он подошел к нему, взял его за пуговицу его сюртука и заговорил пылко и скоро:

– Ну, а если б вот на ваших глазах начало драть заказник – вы бы тоже ухом не повели, благо вы его продали?

– Не знаю-с...

– Вот так вотчинное чувство!.. Что не мое, то пропадай пропадом.

– Это еще далеко, – все так же чопорно и невозмутимо продолжал Иван Захарыч. – Там завод Петра Аполлосовича и еловый лесок... Где-нибудь там занялось; деревень в той местности нет; да и дым, надо полагать...

– Надо полагать! – чуть не передразнил его Теркин. – Да вы бы спосылали кого-нибудь.

Но он сдержал себя, приподнял шляпу и насмешливо выговорил:

– Извините... Потревожил ваше спокойствие.

До Сани долетел весь этот разговор.

На террасе показался в эту минуту Хрящев и добежал до них запыхавшись, бледный, но с решительным видом, какого у него еще никогда не подмечал Теркин.

– Что? – окликнул он его издали.

– Василий Иваныч! Пожар в имении господина Зверева. Завод загорелся и ельник. До заказника рукой подать. Надо действовать.

– Еще бы! Едем верхами! Коли нужно – сбить народ в За-

водном. Иван Захарыч, вашими лошадьми я распоряжусь... А вас не приглашаю... Александра Ивановна, прощайте! – Он подбежал к ней и пожал ей только руку. – Не беспокойтесь! Может, там и ночевать придется.

Иван Захарыч пустил кольца дыма вслед двух разночинцев, полетевших спасать заказник. Саня в сильном смущении опустилась на скамью.

## XXXVI

Измученная, потная, непривычная ходить под верхом, лошадь спотыкалась о пни и кочки. Теркин нервно понукал ее, весь черный от дыма и сажи, без шапки, с разодранным рукавом визитки.

Весь вечер и всю ночь, не смыкая глаз до утра, распоряжался он на пожаре. Когда они с Хрящевым прискакали к дальнему краю соснового заказника, переехав Волгу на пароме, огонь был еще за добрых три версты, но шел в их сторону. Начался он на винокуренном заводе Зверева в послеобеденное время. Завод стоял без дела, и никто не мог сказать, где именно загорелось; но драть начало шибко в первые же минуты, и в два каких-нибудь часа остались одни головешки от обширного – правда, старого и деревянного – здания.

Перекинуло на еловый лес Зверева, шедший подковой в ста сажнях от завода, в сторону заказника Чернососных, теперь уже компанейского. "Петьки" так он и не дождался.

Предводитель уехал в губернский город. На заводе оставался кое-кто, но тушить лесной пожар, копать канавы, отмахивать ветвями некому было. Пришлось сбивать народ в деревушке верст за пять и посылать нарочных в Заводное, откуда, посуливши им по рублю на брата, удалось пригнать человек тридцать.

Что можно было сделать с такой командой?

Зверевский ельник отделяла от заказника порядочная полоса пашни, стоявшей в пару. Копать канаву не было надобности: пожар шел сначала только по верху, а не по земле. Перекинёт – займётся заказник, не перекинёт – пронесет беду.

Перекинуло к полуночи; ветер переменился, подуло с юго-запада прямо на опушку того места, где рос самый ядреный строевой лес.

Когда он увидел, как занялись первые деревья, он чуть не заплакал; потом стал метаться на лошади вдоль опушки, кричать на народ, схватил ветку березы и, сознавая, что это бесполезно, махал ею. Хрящев успокаивал его, распоряжался толково, без крика и брани, с ясным и более строгим лицом. Он был неузнаваем.

Уж отхватило с десятину и подошло к узкой просеке.

– Василий Иваныч! – предложил ему Хрящев, весь в копоти и дыме, под треском и гулом, – позвольте зажечь с этой стороны? Огонь огнем остановить – одно средство.

– Что вы, с ума сошли? – гневно крикнул он, поднимаясь в стремянах.

Он и забыл, что к такому крайнему средству прибегают в лесных пожарах.

– Как угодно! Все равно займется!

И занялось. Он чуть не волосы на себе рвал, но потом вдруг успокоился и в подавленном настроении, близком к чувству потери близкого существа, ездил вдоль пожарища, сам не распоряжался, но и не сходил с седла ни на минуту.

Пожар то стихал, то опять занимался. Начала тлеть и земля. Пошел особый запах торфяной гари: огонь добрался до той части заказника, где наполовину рос черный лес и были низины.

Утром, в восьмом часу, продирался он сквозь чащу, за-скакивая, как в псовой охоте доезжачие, желая прервать путь огню. Тлела жирная земля и местами, где рос мелкий можже-вельник и сухой вереск, занималась полосами пламени, чуть видного на дневном свете.

Теркин соскочил на лошади с полукруглого вала в плешку, покрытую мхом и хвоей. Густой дым скрывал змейки огня и тление низины. Он круто повернул лошадь – она фыркнула и не хотела идти дальше. Он ударил ее нагайкой и направил туда, где должны были рыть канаву под надзором Антона Пантелеича. И вдруг из-под копыт по сапогу его лизнул огненный язык – точно он выскочил из земли. Лошадь еще сильнее шарахнулась. Он повернул ее в другую сторону и только что доехал до дальнего края этой пространной колдобины, как там тоже занялось и под ногами лошади начало

тлеть все сильнее и сильнее.

– Батюшка!.. Василий Иваныч.! Господь с вами! Сгорите! Сюда!

Кричал Хрящев, пеший, весь черный, в одной рубашке, с березовой обгорелой ветвью в руке. Он схватил лошадь под уздцы и сильно дернул ее. Не успела она перепрыгнуть через подъем почвы, как огненный круг замкнулся.

– Батюшка! Погибли бы! В мшару попали!

– Куда? – спросил Теркин растерянно и злобно.

– В мшару, Василий Иваныч! В такую низину... Торф тут под ногами. Сгорели бы дотла! Боже мой!

Хрящев почти плакал от радости.

– Спешьте вы! – упрашивал он. – Сейчас вот просека будет... А там успеют, Бог даст, окопать. Малый один толковый из Заводного. Я его в нарядчики произвел.

Теркин слез с лошади. Он очутился на полянке. Саженьях в ста видна была цепь мужиков, рывших канаву... Жар стоял сильный. Дым стлался по низу и сверху шел густым облаком, от той части заказника, где догорал сосновый лес. Но огонь заворачивал в сторону от них, дышать еще было не так тяжело.

– Ах, ручейка нет! – заговорил Хрящев, подсаживаясь на корточках к Теркину. – Умыться бы вам... родной!

Эта заботливость проняла Теркина. Он сейчас вспомнил, что ведь Хрящев спас его, пять минут назад.

– Антон Пантелеич! – Голос Теркина дрогнул. Без вас я

б в мшаре-то погиб!

– На все произволение Божие!

– А небось ни один вон из тех православных не стал бы меня спасать. Ну, скажите, – голос его становился все нервнее, – вы, кому лес дороже не меньше, чем мне... разве они не скоты? Как они вчера повели себя?.. Только на деньги и позарились! А чтобы у них у самих на душе защемило, чтобы жалость их взяла – как бы не так! Гори, паря! По целковому – рублю получил – и похаживает себе вдоль опушки да лапкой помахивает, точно от мух... А чуть мы с вами отвернемся, так спину себе чешет. Один подлец даже курить начал. Я его чуть самого в огонь не бросил! Скоты! Скоты! Непробудные!

Он не совладал с чувством и глухо зарыдал... Старая неприязнь к крестьянскому миру всплыла в нем и перемешалась с жалостью к тому лесному добру, что уже стлело, и к тому, что может еще погибнуть.

Раза два всхлипнул он и потом тихо заплакал.

– Самый-то лучший край отхватило!.. – силился он выговорить. – Сосны в два обхвата!.. Отстоял от дворянской распусты, так огонь донял. Да и огонь-то откуда? От завода Петьки Зверева... Он мог его и поджечь! Страховую премию получит. Он теперь и на это способен.

И опять вернулся он к мужикам.

– Вон как копаются! Грядки под репу отбивают, как бывало на барском огороде. Словно мухи пьяные!.. Эх!..

Слезы он обтер рукавом и сосредоточенно и гневно поглядел еще раз в ту сторону, где работали мужики.

– Василий Иваныч, – особенно тихо, точно на исповеди, заговорил Хрящев, наклонившись к нему и держа за повод лошадь, – не судите так горько. Мужик обижен лесом. Пospрошайте – здесь такие богатства, а чьи? Казна, барин, купец, а у общины что? На дровенки осины нет, не то что строевого заказника... В нем эта обида, Василий Иваныч, засела, все равно что наследственный недуг. Она его делает равнодушным, а не другое что. Чувство ваше понимаю. Но не хочу лукавить перед вами. Надо и им простить.

Ничего не возражал Теркин. Простые, полные задушевности слова лесоведа отрезвили его. Ему стало стыдно за себя. Хрящев указал на истинную причину того, что его возмутило до слез. Он радеет о родных богатствах... А кому ими пользоваться, хоть чуточку, хоть на свою немудрую потребу?.. Разве не народу?

Он быстро поднялся, нагнулся над Хрящевым, положил ему руку на лысую и влажную голову, всю засыпанную пеплом и черную, точно сажа.

– Спасибо, Антон Пантелеич! Это так!.. А все-таки надо их пришпорить.

– Все кончено!.. Верьте слову, дальше не пойдет огонь... Выхватило сотню-другую десятин. Дело наживное. Была бы только голова на месте да душа не теряла своего закона. Оставим лошадь здесь, стреножим ее. Сюда огонь не дойдет.



Верьте слову!

– Верю! – вскричал Теркин и – не выдержал – поцеловал своего лесовода.

## XXXVII

– Ты должна это сделать для отца твоего. Его приятель и сослуживец в таком положении. Ты хоть каплю имей дворянского чувства.

Павла Захаровна пропускала эти слова с усилием сквозь свои тонкие синеватые губы и под конец злобно усмехнулась.

Саню призвали в гостиную. В кресле сидела старшая тетка; младшая, с простовато-сладким выражением своего лоснящегося лица, присела на угол одного из длинных мягких диванов, обитых старинным ситцем.

С полчаса уже старшая тетка говорит Сане, настраивает на то, чтобы она подействовала на своего жениха. Когда ее позвали, она испугалась, думая – не вышло ли чего –нибудь? Вдруг как ее обручение нарушено? Отец в последние дни ходил хмурый и важный, все молчал, а потом заговорил, что надо торопиться поправкой дома в той усадьбе, чтобы тотчас после их свадьбы переехать. Тетка Павла поддакивала ему и даже находила, что будет гораздо приличнее для Чернососшных перебраться до свадьбы, а не справлять ее в чужом доме, где их держат теперь точно на хлебах из милости!

Василий Иванович после пожара два раза ездил в губерн-

ский город и дальше по Волге за Нижний; писал с дороги, но очень маленькие письма и чаще посылал телеграммы. Вчера он только что вернулся и опять уехал в уездный город. К обеду должен быть домой.

Она так испугалась, что в первые минуты даже не понимала хорошенько, о чем говорит тетка Павла.

Теперь поняла. Предводителя Зверева посадили в острог. Его обвиняют в поджоге завода для получения страховой премии. "Вася", – она про себя так зовет Теркина, – уже знал об этом и сказал ей перед второй своей поездкой: "Петьке Звереву я его пакости никогда не прощу: мало того что сам себе красного петуха пустил, да и весь заказник мог нам спалить".

И много потом говорил гневного о "господах дворянах", которые по всей губернии в лоск изворовались; рассказывал ей теплые "дела" в банке, где председатель тоже арестован за подлог, да в кассе оказалась передержка в триста с лишком тысяч.

Она не могла ему не сочувствовать... Что ж из того, что она дворянка? Разве можно такие дела делать – мало того что транжирить, в долги лезть, закладывать и продавать, да еще на подлоги идти, на воровство, на поджигательство? Этот Зверев и до подлога растратил сорок тысяч сиротских денег.

А вот от нее требуют, чтобы она "добилась" от своего жениха – шутка сказать! – внесения залога за Зверева. Почему же сам отец не вносит? Деньги у него теперь есть или должны

быть. Они с ним товарищи, кажется, даже в дальнем родстве.

– Ты как будто все еще не понимаешь? – раздался более резкий вопрос Павлы Захаровны. – Что же ты молчишь?

– Я не знаю... теть. Василий Иваныч сам...

– Сам!.. Как ты это сказала? Точно горничная девка – Феклуша какая-нибудь или Устюша. Он в тебя влюбился, а ты сразу так ставишь себя. Значит, тебе твой род – ничего: люди твоего происхождения!.. Вот и выходит...

Павла Захаровна не договорила и махнула рукой. Сестра ее поняла намек, и ей стало жаль Санечку – как бы Павла чего-нибудь не "бацнула" по своей ехидности. Она грузно поднялась, подошла к ней, обняла ее и начала гладить по головке.

– Милая моя! Как же ты так на себя смотришь? У тебя амбиции нет, маточка. Жених тебя обожает, и ты слово скажи – сейчас же тебе все предоставит, хоть птичьего молока.

"Ну, нет!" – убежденно подумала Саня и без всякой досады. Ее то и влекло к жениху, что он с характером, что у него на все свои мысли и свои слова.

– Колокольчик!..

Саня рванулась от тетки Марфы к дверям и, проходя мимо Павлы Захаровны, торопливо шепнула:

– Теть, я скажу, если вам и папе угодно...

– То-то! И не с глазу на глаз, а теперь, здесь... Слышишь?

– Хорошо!

В гостиную она привела Теркина прямо из передней.

Он прошел бы к себе во флигель умыться, но она ему на ухо шепнула:

– Пожалуйста!.. Милый!.. Для меня!

Он с недоумением поглядел на нее, но не возражал больше. Из города вернулся он недовольный – это она сейчас же почуяла. Наверное и там к нему с чем-нибудь приставали. Точно он в самом деле какой миллионщик; а у него своих денег совсем немного – он ей все рассказал на днях и даже настаивал на том, чтобы она знала, "каков он есть богатей".

Одного взгляда на Павлу Захаровну достаточно было, чтобы распознать какой-то семейный "подход". Она поздоровалась с ним суховато, к чему он уже привык. Марфа при сестре только приседала и омахивалась платком. В гостиной было очень душно.

Саня усадила его на тот же диван, где сидела Марфа, только на другом конце.

– Вы прямо из города? – спросила она его, и ее тон сейчас выдал ее.

– Оттуда, – ответил Теркин спокойно.

– Про Петра Аполлосовича ничего нового не слыхали?

– Ничего!.. Я по своим делам.

Он начал понимать.

– Его посадили!

Саня выговорила это вполголоса, отвернувшись к нему от тетки Павлы.

– Значит, за дело!

Протянулась пауза. Саня в спине своей чувствовала понукающий взгляд Павлы Захаровны.

– Он ведь ваш товарищ был в гимназии? – заговорила Саня и не докончила.

Взгляд Теркина смутил ее, и она начала краснеть.

– Был, – ответил он менее спокойно, оглядел всех и остановил взгляд на Павле Захаровне.

– Пожалейте его!.. Он в остроге сидит!.. Милый!

Стремительно выговорила это Саня и поникла головой под его плечом.

Теркин увидел в дверях Ивана Захаровича, почему-то в длинноватом парадном сюртуке, доверху застегнутом.

"Подстроили Саню!" – подумал он шутливо, но ощутил в то же время досаду на свою невесту за такую подстроенную сцену.

Иван Захарыч мог слышать последние слова дочери. У него в лице и выражение было такое именно, что он слышал их и ждет, какой эффект произведет просьба Сани на его будущего зятя.

Бесцветные глаза на этот раз как будто даже заискрились. В них Теркин прочел:

"Посмотрим, мол, какие ты шляхетные чувства выскажешь. Тянешься на линию землевладельца и чуть не важного барина, а поди, остался как есть кошатником и хамом!"

Внутри у него защемило. Он встал, немного отстранив рукой Саню, подошел к дверям и поздоровался с Иваном За-

харычем молча, пожатием руки.

– Саня просит Василия Ивановича, – начала тетка Павла бесстрастно и веско, – помочь своему товарищу по гимназии, Петру Аполлосовичу, в теперешней беде.

– Василий Иванович, – отозвался Иван Захарыч, кажется, не в особенно приятельских чувствах к своему товарищу. Пожалуй, и не знает до сих пор, в каком он положении.

– Слышал сейчас, – ответил Теркин немного резче и заходил по комнате в другом ее углу. – То, что я сказал Александре Ивановне, то повторяю и вам, Иван Захарыч: должно быть, не зря арестовали Зверева и в острог посадили. Особенно сокрушаться этим не могу-с, воля ваша. Разумеется, от тюрьмы да от сумы никому нельзя открещиваться... Однако...

Он хотел сказать: "заведомым ворам мирволить не желаю", но вовремя воздержался. Зверев сам ему открыл о своей растрате. Было бы "негоже" выдавать его, даже и в таком семейном разговоре. Слышал он еще на той неделе, что Зверева подозревают в поджоге.

– Позвольте спросить, – продолжал он, подходя ближе к Ивану Захарычу, – по какому же делу он попал в острог?

– Донесли... будто он поджег завод для получения страховой премии.

Иван Захарыч повел плечами.

– И вы не считаете его на это способным? – спросил в упор Теркин.

– Не считаю-с!.. Дворянин может зарваться, легкомысленно поступить по должности... Но пускать красного петуха...

– Вы такой веры?.. Ну, и прекрасно. Но опять что же я-то могу во всем этом? Мы были товарищи, но вам ведь неизвестно, в каких мы теперь чувствах друг к другу. Довольно и того, что от него нашему обществу убыток нанесен с лишком в десять тысяч рублей. А не заключи мы с вами как раз перед тем сделки – вы бы пострадали. Будь это за границей, против него помимо уголовного преследования начали бы иск. А я – представитель потерпевшей компании – махнул рукой, хотя, каюсь, сгоряча сам хотел начать расследование – почему это завод загорелся точно свеча, когда работы в нем никакой не было! Как же прикажете ему помогать?

– Залог внести, очень просто, – отвечала тетка Павла.

– Для сохранения его достоинства? – почти гневно вскричал Теркин. – Почему же господа дворяне не сложатся?

– Я бы внес, – выговорил обидчиво Черносошный и поднял высоко голову, – но у меня таких денег нет... Вы это прекрасно знаете, Василий Иванович. Во всяком случае, товарищ ваш осрамлен. Простая жалость должна бы, кажется... Тем более что вы при свидании обошлись с ним жестковато. Не скрою... он мне жаловался. Следственно, ему обращаться к вам с просьбою – слишком чувствительно. Но всякий поймет... всякий, кто...

– Белой костью себя считает! – воскликнул Теркин и, проходя мимо Ивана Захарыча к двери, бросил ему: – Извините,

я сказал, что умел; а теперь мне умыться с дороги нужно.

Глаза Павлы Захаровны уставились на Саню, сидевшую в стесненной позе, и говорили ей:

"Радуйся, милая, за хама идешь. Дворянина ты и не стоишь".

## XXXVIII

На широкой немощеной улице ветер взбивал пыль стеной в жаркий полдень. По тротуару, местами из досок, местами из кирпичей, Теркин шел замедленным шагом по направлению к кладбищенской церкви, где, немного полее, на взлобке, белел острог, с круглыми башенками по углам.

Он пошел нарочно пешком из своей въезжей квартиры. Вчерашнее объяснение с семейством Чернососных погнало его сегодня чем свет в город. За обедом разговор шел вяло, и все на него поглядывали косо; только Саня приласкала его раза два глазами.

С нею он погулял в парке и сказал ей, когда они возвращались на террасу:

– Вы, Саня, не думайте, что у вашего жениха хамские чувства; только я не жалею, чтобы мне в душу залезали.

Саня только вздохнула и ничего не промолвила. Она стояла за него, но боялась высказываться – как бы "не наговорить глупостей".

Всегда утром при пробуждении совесть докладывает, в



чем он провинился. Сильно не понравилось ему самому, как он повел разговор в гостиной; едва ли не сильнее недоволен он был, чем своей встречей и перебранкой с Петькой Зверевым, здесь в городе, на его – тогда еще предводительской – квартире.

И однако он ничем тогда не загладил своего мальчишества и обидчивой резкости и просто "озорства", каков бы ни был сам по себе Петька.

Как-никак, а тот первый повинился ему. Ну, он расхититель сиротских денег, плут и даже поджигатель; но разве это мешало ему – Ваське Теркину – тому товарищу, пред которым Петька преклонялся в гимназии, быть великодушным?..

"Душонка-то у меня, видно, мелка!" – вырвалось у него восклицание под конец утренних счетов с совестью. И тотчас же приказал он закладывать, а в девятом часу был уже в городе.

Узнал он от хозяев, что предводителя держат чуть не в секретной, что следователь у них – лютый, не позволял Звереву в первую неделю даже с больной женой повидаться; а она очень плоха. Поговаривали в городе, будто даже на себя руки хотела наложить... И к нему никого не пускали.

Надо было начать с визита следователю. Не раньше десяти тот проснулся. Теркину пришлось долго и убедительно рассказывать, кто он, и выгораживать всякую возможность стачки с подсудным арестантом.

– Положим, мы с ним вместе учились; но ведь он своим

пожаром спалил у компании лесу с лишком на десять тысяч.

Этот довод подействовал на следователя больше всего остального.

– Так что же вас побуждает видеться с ним? Из жалости или великодушия? – спросил он не без язвы.

– По человечеству! – выговорил почти смущенно Теркин.

В следователе он увидел полнейшую фактическую уверенность в том, что Зверев поджег свой завод. Он ничем не проговорился, смотрел вообще "нутряком" с порядочной долей злобности, но по его губам то и дело скользила особого рода усмешка.

Записку тюремному смотрителю Теркин, однако, добыл от него. Следователь, провожая его до двери, сказал ему:

– Вы теперь его не застанете...

– На допрос приведут? – спросил Теркин.

– Нет! Я разрешил ему побывать у больной жены; но к часу своего обеда он должен быть в остроге.

И вот он идет туда пешком, и жалость не покидает его. Поговорка, пущенная им в ход вчера в объяснении с Черносошным: "от тюрьмы да от сумы не открещивайся" – врезалась ему в мозг и точно дразнила. Со дна души поднималось чисто мужицкое чувство – страх неволи, сидения взаперти, вера в судьбу, которая может и невинного отправить в кандалах в сибирскую тайгу.

Справа, около самого тротуара, проплелась в клубах пыли одноконная городская долгушка.

Теркин поднял голову равнодушным жестом и остолбенел.

Лицом к нему сидел сгорбившись Зверев, в арестантском халате и шапке без козырька; по бокам два полицейских с пашками и у обоих револьверы.

Теркин хотел крикнуть, и у него перехватило в горле.

Зверев узнал его и тотчас же отвернулся... Облако пыли скрыло их.

Сермяжный халат всего больше поразил Теркина. Первое лицо в целом уезде и – колодник еще до суда. Может быть, и понапрасну заподозрен в поджоге? Растрата по опеке еще, кажется, не обнаружена. В сермяге!

Искренно порадовался он за Петьку, что улица была совсем пустая. Только вправо, туда к выезду в поле, тащилась телега, должно быть, с кулями угля.

До самого острога не покидало его жуткое чувство – точно саднило в груди, и ладони рук горели; даже в концах пальцев чувствовал он как будто уколы булавки.

Не больше пяти минут взяло у него с того места, где он увидал долгушку, до ворот острога. Инвалидный солдатик грузно ходил под ружьем, донашивая свое кепи, и служитель сидел на скамье под навесом ворот.

Теркин предъявил ему записку к надзирателю и всунул рублевую бумажку. Тот снял шапку и тотчас же повел его.

В острог попадал он в первый раз в жизни. Все тут было тесно, с грязью, довольно шумно, – начался обед арестан-

тов, и отовсюду доносился гул мужских голосов.

– Они кушают, – сказал ему тот же старший сторож, оставившись перед дверью камеры, помещенной особенно, в темных сенцах, и звонко щелкнул замком.

Теркин вошел вслед за ним. Сторож захлопнул дверь, но не запер ее.

За столиком, в узкой, довольно еще чистой комнате, Зверев, в халате, жадно хлебал из миски. Ломоть черного хлеба лежал нетронутый. Увидя Теркина, он как ужаленный вскочил, скинул с себя халат, под которым очутился в жилете и светлых модных панталонах, и хотел бросить его на койку с двумя хорошими – видимо своими – подушками.

– Василий Иванович! Ты! – глухо воскликнул он и сразу не подал Теркину руки.

– Здравствуй, брат! – с невольной дрожью выговорил Теркин и также невольно протянул к нему обе руки.

Они обнялись.

Зверев был красен. На глаза навертывались слезы.

– Ешь! Ешь!.. Ты голоден... Я посижу, – сказал Теркин.

Первой мыслью Зверева при входе Теркина было: "вот, друг любезный, пожаловал на мой срам полюбоваться".

Но когда тот обнял его, он сразу размяк.

Послушно присел он к столу и доел похлебку, потом присел к Теркину на койку, где они и остались. В камере было всего два стула и столик, под высоким решетчатым окном, в одном месте заклеенным синей бумагой.

Говорить про свою вину Зверев упорно избегал, только два раза пустил возглас:

– В поджигатели произвели!

Он полон был не того, что ему предстоит, а негодования на прокурора и следователя, которые "извели" его жену. Когда он был посажен в острог, она в тот же день заболела.

– Не верю я докторам, – шептал он Теркину на ухо. – Они дурачье, олухи, шарлатаны. Толкуют: невропатия, астма какая-то. А я вижу, что она себя опоила чем-то. И не сразу... а, может, каждый день подсыпает себе в их лекарства.

И вот сегодня только допустили его побывать у нее.

– Мерзавцы!.. Крапивное семя!

Он не выдержал и стал всхлипывать:

– Краше в гроб кладут. Как бросилась ко мне!.. И сейчас же обомлела. Столбняк! Не доживет до субботы... Любовь какая, Вася! Понимаешь ты! Кабы ты видел ее! Первая женщина в империи!

Его охватила струя мужского самодовольства, сознания, что из любви к нему женщина отравляется. О том, что из-за нее, для ее транжирства, он стал расхитителем и поджигателем, – он не тужил.

– Для какого черта, – крикнул он и заходил по камере, – для какого черта он меня в колодники произвел, этот правоведишка-гнусец! Что я, за границу, что ли, удеру? На какие деньги? И еще толкуют о поднятии дворянства! Ха-ха! Хорошо поднятие! Возили меня сегодня по городу в халате, с

двумя архаровцами. Да еще умолять пришлось, чтобы позволили в долгушке проехать! А то бы пешком, между двумя конвойными, чтобы тебе калачик или медяк Христа ради бросили!

Губы его брызгали слюной и болезненно вздрагивали. Он опять присел к Теркину, весь как-то ушел в плечи и одну ладонь положил ему на колени.

– Кто старое помянет... Ты знаешь!.. Тогда ты со мной форсить начал, Василий Иванович... Ну, поквитались!.. От моего ельника и у тебя выдрало сколько десятин. Я тебе мстить не хотел. Извини, брат! Да ведь это не твое собственное, а компанейское... Ну, и то сказать, и попросил я у тебя тоже здорово – сорок тысяч. Имел резон отказать. Только уж очень ты... тогда...

Зверев тряхнул головой и замолчал.

– Петя! – тихо и робко выговорил Теркин. – Тебя под залог выпустят?

– Мало ли что! Десять тысяч заломил правоведашка! У кого есть нынче такие деньги? Все прожились! Все прогорели! Вся губерния не лучше меня грешного. А в банке-то каких делов наделали!..

– Слушай! Заяви следователю, что я внесу.

– Что?..

Краска залила сразу лицо Зверева. Он откинулся корпусом в сторону и, заикаясь, выговорил:

– Ты – зря? Грешно!.. Лежачего не бьют!

– Не зря, а вправду.

– Нет?!

С нервным криком он вскочил, схватил за руку Теркина и стал целовать.

## XXXIX

Тарантас, открытый, четырехместный, запряженный тройкой бурых лошадей, стоял в тени опушки, в той части соснового заказника, которая уцелела от недавнего пожара. На козлах, рядом с кучером, сидел карлик Чурилин.

В глубине лужайки, около мшистого пня, разлеглось несколько человек. Они только что вышли из тарантаса. Посредине высилась голова Теркина, сидевшего спиной к лесу. Немного в стороне прилег Хрящев, в парусинной блузе и парусинной же большой шляпе, на зеленом подбое; он называл ее почему-то "брылём". По бокам, подобрав ноги углом, сидели капитан Кузьмичев и Аршаулов, все такого же болезненного вида, как и год назад; очень слабый и потемневший в лице, одетый тепло, в толстое драповое пальто, хотя было и в тени градусов восемнадцать.

Он все еще жил в Кладенце, где Теркин нашел ему постоянную работу – надзор за складами по его пароходно-торговому делу. Здоровье его падало, но он этого не примечал и верил в то, что поправится.

Его послали на кумыс; он с трудом согласился; но захо-

тел навестить сначала Теркина и прибежал к нему накануне на пароходе. Капитан Кузьмичев – теперь командир "Батрака" – зашел в Заводное грузить дрова и местный товар; но просидел целые сутки из-за какой-то починки. Он должен был везти Аршаулова книзу, до самой Самары.

Всякому было видно, как бедняга плох; но Аршаулов, еще более спавший с голоса, смотрел весело и порывался говорить. Кашель затруднял его речь и часто доходил до судорожных припадков; он хватался за грудь, ложился боком и томительно отхаркивал, а потом, со словами: "Это ничего! извините!" – вступал так же пылко в новый разговор.

Теркин показывал им сегодня оба заказника, на обоих берегах Волги; показал и пожарище. В усадьбе он успел представить их невесте; но остальных членов семьи они не видали, чему он был, в сущности, рад.

Как-то особенно отрадно было у него на душе в эту минуту вместе с горьким осадком от мысли, что такой славный "фанатик", как Михаил Терентьевич Аршаулов, обречен на скорую смерть... – Но он не сознавал этого, стало – не страдал.

Живо вспомнились ему все переходы их бесед в Кладенце... С того времени многое запало ему в совесть, под горячим обаянием веры в народ и жалости к нему этого горюна, считающего себя теперь счастливецом.

– Очень бы мне, братцы, хотелось, – заговорил он, – сделать вас участниками моего перехода в состояние женатых



людей, да грешно было бы задерживать вас.

– Я бы остался, Василий Иванович, – сказал Аршаулов чуть слышным звуком.

– Нет, поезжайте!.. Обвенчаемся мы не то через две недели, не то через месяц, где же вам ждать!.. Вы мою Саню видели; кажется, она вам обоим пришлась по вкусу?..

– И весьма! – крикнул весело Кузьмичев.

– Вот и мудрец одобряет. – Теркин кивнул головой Хрящеву, который придвинулся к ним. – Я Антона Пантелеича в шафера за это возьму.

– Мне непозволительно, – шутливо заметил тот и снял свой "брыль". – Я ведь вдовьего сана.

– Ничего!.. Свидетелем, во всяком случае, можно быть.

– Много благодарен за честь. Только, кажется, это мне не по чину будет.

– Это почему? – возразил Теркин, делая в его сторону жест правой рукой. – Вы, господа, Антону Пантелеичу не верьте! Он только приbedнивается, а у него в голове столько есть всякого добра... да и в сердце также, – добавил он пониже тоном.

Хрящев стыдливо отвернулся.

– Нечего, нечего конфузиться-то!.. Унижение паче гордости. Здесь Антон Пантелеич в своем царстве.

– Что твой леший! – подсказал Хрящев и детски рассмеялся.

– Не леший, а лесной пестун и созерцатель!.. Господа! –

Теркин обратился к своим гостям. – Ежели мы с вами сегодня любовались этим заказником, тем, что уцелело от пожара, – это дело рук Антона Пантелеича.

– Ни Боже мой!

– Толкуйте!.. Без вас я бы совсем зарвался, да и сам бы сгинул во мшаре.

– Как это? – вскричал заинтересованный капитан.

– Василий Иваныч! Пожалуйста! – заговорил просительно Хрящев. – Никакого тут подвига не было... Вы бы и сами...

Но Теркин не дал ему договорить и рассказал гостям, как он мог сгореть в мшаре, не явись ему на помощь Антон Пантелеич.

Тот сидел с поникшей головой, обращенной к лесу, и видно было, что ему действительно было неловко.

Когда Теркин кончил, он обернул к ним свое загорелое, с лоском, пухлое лицо и, часто мигая серыми глазками, выговорил с юмором:

– Этак вы меня заставите, Василий Иваныч, подать прошение о выдаче мне медали за спасение погибающих.

– Ладно! Толкуйте! – крикнул Теркин, и его начало еще сильнее подмывать: выставить напоказ перед этими отличными ребятами-сотрудниками и приятелями – достоинства своего лесоведа-мудреца.

– Ведь вот, господа, – он оторвал ветку от молодой сосенки, стоявшей около него, – для вас и для меня лес – известно что такое. Я вот собираюсь даже удивить матушку-Россию

своими делами по сохранению лесов; а ничего-то я не знаю. Да и профессора иного, который книжки специальные писал, приведи сюда – он наговорит много, но все это будет одна книжка; а у Антона Пантелеича каждое слово в глубь прозябания идет.

– Книжка! – перебил его Хрящев и еще ближе подо двинулся к ним. – Не извольте относиться к ней свысока. Откуда же и я-то извлек то, о чем маракую? Из книжек. Без науки ничего нет и быть не может в человеческом разумении.

– Нет, не из книжки, а из своего проникновения, из души. Вы влюблены, дружище, во все естество, в каждую былинку, в каждую козявку.

– Есть тот грех! Хе-хе!

Хрящев засмеялся и шутливо закивал головой.

Всем стало очень весело.

– Да вот, – указал Теркин, – хоть эта сосенка! Пари держу, что Антон Пантелеич до тонкости определит, сколько ей лет, так, на глазомер, а не под микроскопом.

– Ну, это не большая премудрость, Василий иваныч! Это каждый мужик бывалый знает.

– Однако!..

– Сколько же ей лет? – спросил и задорно подмигнул капитан.

Хрящев подполз к сосне, поглядел на нее снизу вверх, пощупал ствол и стал что-то считать, дотрогиваясь до ветвей.

– Видите ли, – начал он медленно и тихо закрыл глаза, –

каждый год сосна дает венчик в несколько ветвей. Сколько венчиков, столько и лет, – без ошибки. В этом деревце венчиков до пятнадцати – стало быть, и лет ему пятнадцать. Это вернее, чем ежели теперь срубить у корня и пласты считать, особливо в старом дереве. К коре пласты сливаются, и их надо под лупой рассматривать, чтобы не ошибиться.

– Ну вот видите, господа! – крикнул Теркин. – И всякое дерево у Антона Пантелеича – точно живой человек: свою, как бы это сказать, душу имеет, психологию.

– А то как же! – со вздохом подтвердил Хрящев, лаская рукой тонкий ствол сосенки.

– Ель он до обожания любит... А я – сосну!.. У нас всегда насчет этого идут диспуты.

– И сосна – почтенное дерево, – выговорил вдумчиво Хрящев, оглядывая всех троих, – и притом целомудренное.

– Как это?

Кузьмичев расхохотался.

– Потому что в брак она вступает редко – раз в шесть, в семь лет, а не ежегодно, как столько других произрастаний. Ей приходится вести жизнь строгую. На постноядении стоит всю жизнь – и в какие выси поднимается. На чем держится корнями, сами изволите знать. Потому и не может она вокруг себя разводить густой подлесок, обречена на одиночество, и под нею привольно только разве вереску. Но и в нем есть большая краса. Не угодно ли поглядеть... Вон он в полном цвету!

Все трое поглядели в сторону опушки, где позади стволов протянулась лиловая полоса.

– Лес, – продолжал Хрящев, попадая на свою любимую зарубку, – настоящее царство живых существ. Мы в своей гордыне думаем, что только в нас вся суть, а кроме нас ничто не чувствует, не любит, никаких нет стремлений и помыслов... А это неправда, – выговорил он горячо и мягко, – неправда! Не то что вот эта сосна, – камень – и тот живет!.. А уж о пернатых и говорить нечего! Те еще так живут, как многим из нас ни единожды на своем веку не удастся. Везде одна сила, один дух... Я в это верю, грешный человек... И куда ни обернусь – вправо, влево, – везде чудо... И один наш мятущийся, ограниченный дух все фордыбачит, корит, судит, рядит, приговоры изрекает. И все всуе! Никто не прав, никто не виноват... И ежели для нас зло существует, то для нас только. А для сосны – вот этой самой – есть свое зло, а для муравья или червя – свое... Их-то мы не слушаем и не разумеем, а только со своей подоплекой носимся!

## XL

– Нет, позвольте!..

Аршаулов весь заволновался; его жилистая шея точно проглотила с трудом кусок; он развел руками и тотчас после того стал сжимать ими грудь.

– Позвольте, – стремительно заговорил он, с усилием под-

нимая глухой, сильный звук голоса. – С такой теорией Антона Пантелеича и обовшивеешь, по-мужицки выражаясь! "Никто не прав, никто не виноват! Все-чудо в мироздании!"

– Чудо-с! – повторил Хрящев.

– Не знаю, да и знать не хочу! Так и все изуверы рассуждают, гасильники. С этим дойдешь до непротивления злу... Прибаутку-то эту мы теперь везде слышим.

– Слыхал и я, – твердо выговорил Хрящев.

– То-то!.. Мы не муравьи, не черви, не сосны и ели! Мы – люди! – все распался Аршаулов, и щеки его начинали пылать сквозь бурую кожу, натянутую на мышцах, изъеденных болезнью. – Мы люди, господа! А потому имеем священное право – руководиться нашим разумом, негодовать и радоваться, класть душу свою за то, во что мы верим, и ратовать против всякой пакости и скверны...

– Всеконечно, – прервал Хрящев, и мягкое выражение сменилось на его пухлом лице другим, сосредоточенным и немножко насмешливым. – Всеконечно, Михаил Терентьич, но ни рассуждать мы по существу, ни судить без апелляции не можем, не токмо что о вселенной, а о том – откуда мы и куда идем. Это все равно, как если бы муравьи – а они как мудро свое общежитие устроили – стали все к своей куче приравнивать. Так точно и людское суемудрие... Жалости достойно! Я это говорю не как изувер, Василий Иваныч знает, божественным я не захибаюсь, – а так, быть может, по скудоумию моей головы.

– Не в этом дело! – ослабшим голосом возразил Аршаулов, и руки его упали сразу на костлявые бедра. – Не в этом дело!.. Теперь в воздухе что-то такое... тлетворное, под обличьем искания высшей истины. Не суетным созерцанием нам жить на свете, особенно у нас, на Руси-матушке, а нервами и кровью, правдой и законом, скорбью и жалостью к черной массе, к ее невежеству, нищете и рабской забитости. Вот чем!..

В горле у него захрипело. Он закашлялся и приложил платок к губам. Теркину показалось, что на платке красные пятна, но сам Аршаулов не заметил этого, сунул платок в наружный карман пальто и опять стал давить грудь обеими руками своим обычным жестом.

– Голубчик! Михаил Терентьич! – остановил его Теркин. – Вам ведь не весьма полезно так волноваться. Да и не о чем.

– Нет, позвольте! – отстранил его одной рукой Аршаулов и порывисто подался вперед всем туловищем. – Вот я прямо из нашего села, где Василий Иваныч родился и вырос, – добавил он в сторону Хрящева. – Ежели в эмпиреях пребывать и на все смотреть с азиатским фатализмом, так надо плюнуть и удрать оттуда навеки: такая там до сей поры идет бестолочь, столько тупого, стадного принижения, кулачества, злобы, неосмысленности во всем, и в общинных делах, и в домашних, особенно между православными. Ан нет! Надо там оставаться... Ни за какую чечевичную похлебку не следует

менять своей веры в народ и свой неблагодарный завет. Ни за какую!.. Так-то!

– Да что вы, голубчик, на моего мудреца так накинудись? – заговорил веселее Теркин. – Вы его совсем не знаете. Быть может, из нас троих Антон Пантелеич никому не уступит в жалости к мужику и в желании ему всякого благополучия.

– Опять вы меня не по заслугам хвалите, Василий Иванович, – пустил жалобной нотой Хрящев и отвернулся.

– Не замайте! – крикнул ему Теркин. – Кто меня обрзумил на пожаре, вон там, когда я даже разревелся от сердца на мужичье, не показавшее усердия к тушению огня? Вы же! И самыми простыми словами... Мужик повсюду обижен лесом... Что ж мудреного, коли в нем нет рвения, даже и за рубль-целковый, к сохранению моих ли, компанейских ли маетностей?

– Еще бы! – вырвалось у Аршаулова, и он ласковее взглянул на жирный затылок Хрящева.

– И выходит, – подхватил капитан, закуривая толстую папиросу в мундштуке, – Антон-то Пантелеич не токмо что из мшары вас высвободил, да еще мудрым словом утишил?

– Именно! – вскричал, вскакивая обеими ногами, Теркин. – И пожар пошел с той минуты на убыль, да и во мне все улеглось. Там же в лесу, около полудня, как бухнулся в траву, так и проспал до вечерней зари, точно коноплю продал.

– Коноплю продал! – повторил со смехом капитан. – Самая простецкая прибаутка – и какая верная!



– За Москвой в большом употреблении, – скромно подсказал Хрящев, – где этой коноплей нарочито занимаются. Только нынче пришло и это в умаление. Нефть подкузьмила... Смазочные масла.

– Все знает! – крикнул Теркин. – Ну, господа, пора!.. Андрей Фомич! – окликнул он капитана. – Поглядите-ка, как на ваших часах?

Кузьмичев вынул часы, потряхнул своей курчавой головой и сказал:

– И весьма!

Аршаулову Теркин помог подняться. Они все вчетвером сели в тарантас и по узковатой дороге шажком пустились к реке.

Там Теркин крикнул кучеру: "стой!" – и начал прощаться с Аршауловым и капитаном.

– А вы как же? – спросил Кузьмичев.

– Я пешком добреду до перевоза. На пароме перееду. Антон Пантелеич проводит вас до Заводного. Ну, дорогой Михаил Терентьевич! в добрый путь!.. На пароходе не извольте храбриться. Как семь часов вечера – в каюту... Капитану я строго-настрого вменяю в обязанность иметь над нами надзор. И в Самаре не извольте умничать – противиться лекарям... Пейте бутылок по пяти кумысу в день – и благо вам будет.

– Слушаю! – с смешливой кротостью выговорил Аршаулов. – Досадно, ужасно досадно, что не удастся расписаться

в книге "по женихе" или "по невесте".

– Ну, мы наверстаем! – сказал капитан. – Через годик, а может, и раньше на крестины попадем.

– Всенепременно! – пустил Хрящев в ход свое любимое слово.

Все рассмеялись.

– Нарочно прибегу! Вот на "Батраке" же, – заговорил с усилием Аршаулов, и в его блестящих зрачках тяжкобольного заиграла уверенность, что он будет пить шампанское на этих крестинах.

Теркин поглядел было на него, но тотчас же отвел глаза.

"Бедняга! – подумал он. – Хорошо, если до Самары-то тебя доставят".

То же подумали капитан и Хрящев.

– Ну, трогай! Путь добрый! – кричал Теркин, стоя на рассыпчатом грунте прибрежной дороги, и замахал рукой.

– До свидания, Василий Иванович! Спасибо вам, большое спасибо! – долетели до него хриплые, прерывистые звуки голоса Аршаулова.

– Пошел! – пискнул Чурилин и снял картуз.

"Болезный!" – подумал Теркин крестьянским словом, каким, бывало, его приемная мать жалела его, когда он, мальчиком, заболел. Но ему отраднее стало от этого, – конечно, предсмертного – свидания с Аршауловым. Ничто не сокрушило веры энтузиаста: ни последний градус чахотки, ни та вечная кладенецкая сумятица, про которую он сейчас так са-

моотверженно и пылко высказался.

Без чванства и гордости почувствовал Теркин, как хорошо иметь средства помогать горюнам вроде Аршаулова. Без денег нельзя ничего такого провести в жизнь. Одной охоты мало. Вот и мудреца лесоведа он пригрел и дает полный ход всему, что в нем кроется ценного на потребу родным угодыям и тому же трудовому, обездоленному люду. И судьбу капитана он обеспечил – взял его на свою службу, видя что на того начали коситься другие пайщики из-за истории с Перновским, хотя она и кончилась ничем.

Деньги!.. Они будут у него всегда, и все больше и больше их будет. Не глупая удача, а что-то в нем самом сулит ему это. И находятся же такие суесловы, что требуют одного личного ручного труда. Что бы он сделал мужицкой работой хоть бы для Аршаулова?

– Ха-ха! – рассмеялся он и замедлил шаг.

Ему показалась впервые эта проповедь такую юродивую, что он даже не огорчился.

Взгляд его упал на синеющий вблизи плес реки, далее – на темную стену заказника и повернул вправо и назад, к нагорному берегу, где за полверсты виднелись парк и усадьба.

Спасти великую реку от гибели, положить предел истребления лесных богатств... Поди!.. Добивайся этого ручной работой одного человека!

– Ха-ха!..

Теркин встал лицом к реке и вдруг глубоко задумался.

Там, в усадьбе, его невеста. Неужели он в ней нашел свою желанную?.. Кто знает! Да и к чему эта погоня за блаженством? Лучше он, что ли, своего отца, Ивана Прокофьича? А тому разве был досуг мечтать о сладостях любви? Образы двух женщин зашли в его душу: одна – вся распаленная страстью, другая, в белом, с крыльями, вся чистая и прозрачная, как видел он ее во сне в первую ночь, проведенную с ней под одною кровлей... Живи Калерия – она бы его благословила...

Глаза его стали влажны.

Он поднял голову и радостно оглянулся кругом, прислушиваясь к бодрящему шепоту великой реки.